



ТАРТУ RIIKLIKU ÕLIKOOLI TOIMETISED
УЧЕННЫЕ ЗАПИСКИ
ТАРТУСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

ALUSTATUD 1893. a.

VIHK 98 ВЫПУСК

ОСНОВАНЫ в 1893 г.

ТРУДЫ ПО РУССКОЙ И
СЛАВЯНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ

III



ТАРТУ 1960

TARTU RIIKLIKU ÜLIKOOLI TOIMETISED
УЧЕННЫЕ ЗАПИСКИ
ТАРТУСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
ALUSTATUD 1893. a. VIINIK 98 ВЫПУСК ОСНОВАНЫ В 1893 г.

ТРУДЫ ПО РУССКОЙ И
СЛАВЯНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ

III

ТАРТУ 1960

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ РУССКОГО РЕАЛИЗМА¹

Ю. М. Лотман, Б. Ф. Егоров и З. Г. Минц

1

В ходе дискуссии о природе реализма был высказан ряд интересных положений, касающихся как истории мирового искусства, так и развития русской литературы в частности.

Настоящая работа ставит своей целью выявить некоторые общие закономерности развития русского реализма, понимая этот термин в его узком, исторически конкретном смысле.

Термин «реализм», применительно к истории русской литературы, следует, по нашему мнению, употреблять для обозначения прогрессивного литературного направления, возникающего в период кризиса феодализма и формирования демократической идеологии. Таким образом, само возникновение реализма оказывается возможным лишь на определенном этапе классовой борьбы. В то же время сам процесс классовой борьбы обусловлен стадией развития производства, а следовательно, и определенными достижениями науки. Поэтому формирование новой идеологии и нового искусства оказывалось связанным не только с остротой классовых конфликтов, но и с прогрессом в области науки — прежде всего, естествознания и философии, теоретически обобщавшей общественно-политические и естественно-научные достижения человеческой мысли.

Вместе с тем, возникая в связи с определенными классовыми потребностями, реализм, как и многие сферы идеологии, имеющие отношение к познанию объективных закономерностей действительности, оказывается долговечнее, чем та социальная ситуация, которая обусловила его появление. Изменяясь, переживая различные фазы развития, облекаясь в новые конкретные формы, он становится оружием в руках передовых классов, ко-

¹ Настоящая статья представляет сокращенный текст докладов, прочитанных авторами на заседаниях кафедры русской литературы Тартуского государственного университета в 1957 г., и выступления Б. Ф. Егорова на Всесоюзном совещании по вопросам реализма в Москве 14 апреля 1957 г. Авторы не ставят задачи рассмотрения всех своеобразных черт русского реализма, что было бы невозможно, учитывая объем публикуемой статьи.

торые история в своем поступательном развитии выдвигает на общественную арену.

Формирование русской антифеодальной мысли как идеологической системы падает на конец XVIII в. Именно в этот период в России получает распространение философский материализм в его характерных для мировой общественной мысли XVIII в. формах: вере в опытное происхождение знаний, в добрую природу человека. В это же время возникает и своеобразная эстетика, получившая наиболее полное выражение в творчестве А. Н. Радищева. В качестве объекта искусства здесь выступает не мир отвлеченных общих понятий (как требовал классицизм), а реальная, чувственно постигаемая действительность. Одновременно внимание к чувственно-постигаемому противопоставлялось субъективизму масонов и Карамзина. Карамзин, демонстративно отрицая влияние среды на человека, утверждал идею врожденной, «темпераментальной» сущности характера («Чувствительный и холодный»). Внимание Радищева, напротив, сосредоточивалось на действительности, объективный характер истины не подвергался сомнению. Главным вопросом делается вопрос о том, как влияет на человека окружающая его среда. Человек рассматривается как существо, черты характера которого не определяются врожденными идеями («небытие коих доказано с очевидностью», — писали Ф. Ушаков и Радищев), а с неизбежностью вытекают из характера окружающей его среды. В «Житии Ф. В. Ушакова» Радищев дает предельно четкую формулу: «Человек есть хамелеон общества». Обращение внимания на объективную действительность и решение вопроса о соотношении среды и человеческого характера дают возможность определить художественный метод Радищева как реалистический.

Однако ранняя стадия развития демократической мысли определила конкретные формы этого метода. Демократическому сознанию XVIII в. была присуща метафизическая нормативность. Приходя в противоречие с собственным отрицанием врожденных качеств человека, передовые мыслители XVIII в. рисуют идеальный общественный порядок, как «естественный», вытекающий из природы человека. Сама же эта «природа» представлялась как простая арифметическая сумма положительных качеств. Человек (по своей природе «ни добрый, ни злой»), представленный «естественным» влечениям, «стремится всегда к прекрасному, величественному, высокому» (Радищев). Воздействие внешних обстоятельств, о котором мы говорили выше, мыслится как искажение благородной сущности человека. Всякий социально-конкретный тип (помещик, крестьянин) представляет собой изуродованного человека. В связи с этим, степень положительности литературного персонажа определяется близостью его к идеалу гармонической, «естественной» человеческой личности. В произведениях Радищева это, в первую очередь, — революционный борец («Не раб, но человек!»), который не принадле-

жит ни к угнетателям, ни к угнетенным, а является *человеком вообще* (ср. «Беседу о том, что есть сын отечества»). Далее идет крестьянин, — он хотя и угнетенный, но человек труда, ведущий нравственно здоровую, «естественную» жизнь. Полностью отрицательным оказывается образ тунейдца — помещика и купца. Представление о «нормальном» человеке и обществе порождало еще одну характерную особенность. Художественное изображение велось в двух планах. Современная, реальная действительность воспринималась как «противоестественная», что приводило к «наивно революционному, простому отрицанию всей протекшей истории».² *Истории противопоставлялась теория, а реальной действительности — «естественный» уклад.* И изображение современности, противопоставляемой нормативному идеалу («Путешествие из Петербурга в Москву»), и философско-утопический роман XVIII в., отображавший «естественный порядок», который читателю предоставлялось сравнить с «неразумной» действительностью, были заряжены пафосом революционного отрицания. Ранний реализм подразумевал сопоставление существующего лишь с нормативным, *и в этом была его сила, ибо до Французской буржуазной революции 1789—1793 годов именно метафизическое сознание являлось сознанием революционным, а любая попытка опереться не на теорию, а на историю связана была со стремлением оправдать «неразумие» феодального общества традицией.* Руссо настойчиво проводил мысль о том, что историческая реальность не может рассматриваться как аргумент. По поводу стремления обосновать права историческими фактами он писал: «Можно было бы применять метод более последовательный, но нельзя найти метода, более благоприятного для тиранов» («Об общественном договоре»).

2

Период после Французской буржуазной революции поставил перед передовой эстетической мыслью новые задачи. После того, как «естественный порядок» предстал в облике буржуазного общества, поднялся вопрос о новом подходе к действительности. История не должна отвергаться в угоду теории; напротив — сама теория должна быть извлечена из реального исторического материала. Историзм делается ведущей тенденцией передовой мысли. В 1830 году И. Киреевский, переживавший временное сближение с пушкинской литературной группировкой, писал: главная мысль эпохи состоит в убеждении, «что семена желанного *будущего* заключены в *действительности настоящего*, что в необходимости есть провидение, что если прихотливое создание мечты гибнет как мечта, зато *из совокупности существующего* должно образоваться лучшее прочное. Отсюда уважение

² К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. XIV, стр. 25.

к действительности, составляющее средоточие той степени умственного развития, на которой теперь остановилось просвещение Европы и которое обнаруживается историческим направлением всех отраслей человеческого бытия и духа» («Обзорение русской словесности за 1829 год»).

Замена «наивно-революционной» метафизики — диалектикой, как «алгеброй революции», была ведущей тенденцией общеевропейского умственного развития, подымавшей отражение действительности в литературе на новый исторический этап. Однако для русского реализма этап этот был осложнен своеобразием исторических событий, переживаемых Россией в первой половине XIX в. Уроки буржуазного развития в Европе, зрелище открытой, обнаженной классовой борьбы, выход на теоретическую арену идей диалектики и социализма — все эти события совпали с периодом, когда собственно-русский исторический процесс ставил задачи борьбы с крепостным правом и неизбежно порождал революционную *демократическую* идеологию с её неотъемлемыми чертами: нормативностью, антропологизмом, представлением о социальном зле как порождении «неразумия» и, вместе с тем, — с ее страстным отрицанием угнетения, боевым революционным пафосом. Сложное сочетание историзма, диалектики с метафизическим антропологизмом и составляло одну из главных своеобразных черт русского реализма XIX в. Несмотря на историческую ограниченность этого метода, наличие антропологизма и нормативности было неразрывно связано и с сильными сторонами русской литературы XIX в. Оно обусловило тот пафос отрицания, сурового стремления к истине, нравственной чистоте, то «срывание всех и всяческих масок», которые иначе были бы невозможны в домарксистский период развития литературы, ибо *домарксистская* диалектика, ориентируя писателя на изучение действительности, вместе с тем, неизбежно несла в себе и элементы примирения с этой действительностью, а отрицание нормативной истины порой превращалось в отрицание истины объективной.

Путь развития демократического направления в русской литературе был непрямым. Целый ряд исторических причин привел к тому, что прямые наследники радищевской традиции — писатели антидворянского лагеря — в начале XIX в. утратили революционность воззрений и руководящее положение в литературе. Формирование революционно-демократического мировоззрения 1840—60-х гг. шло двумя путями. С одной стороны, неревolutionный демократизм 1820-х гг. под влиянием обострения общественной борьбы переходил в новое качество, обретая революционность. С другой стороны, революционное мировоззрение декабризма имело тенденцию к углублению демократических элементов. Пути от Надеждина к Белинскому и от декабристов к Герцену весьма показательны в этих двух планах. Не рассматривая сложного вопроса об эстетической программе

дворянских революционеров, необходимо отметить лишь бесспорное накопление в их мировоззрении черт демократизма (вспомним определение В. И. Ленина, назвавшего декабристов дворянами, которые «были заражены соприкосновением с демократическими идеями»³) и постепенное усиление реалистических тенденций в их творчестве. Последнее хорошо прослеживается на эволюции ведущих жанров декабристской литературы: от «дум» Рылеева, с их отчетливо выраженной субъективно-лирической трактовкой темы, к поэмам типа «Войнаровского», где наличие сюжета, усиление описательной части вносили в повествование элементы объективности (характерно, что Пушкин, занявший в эти годы уже реалистическую позицию, резко критически отнесся к «думам» и приветствовал «Войнаровского»). Следующим этапом явились, с одной стороны, агитационно-сатирические песни, и политически, и эстетически находившиеся на грани демократизма, а, с другой, — политическая трагедия (драматические наброски Рылеева, «Аргивяне») и политическая комедия («Горе от ума»). Последний жанр и в силу объективности, присущей драматическим произведениям, и по принципам изображения человеческого характера стоит уже на грани реализма. В романтическом произведении герой изъят из-под влияния среды. Это приводит к тому, что все конкретно-историческое в его характере стирается. На первый план выступают «вечные страсти» и «вечные вопросы». Герой не объединяется с другими персонажами по принципу принадлежности его к какой-либо политической группе, национальной или социальной среде:

«Он меж людей не раб, не господин,
И все, что делает, он делает один» (Лермонтов).

В произведениях типа «Горе от ума» герои отчетливо делятся на группировки, и, хотя сквозь речи Чацкого явственно просвечивают убеждения автора, однако, сам характер героя определен принадлежностью его к «умным», передовым людям — сынам «века нынешнего». В основу характера кладется интеллектуальный уровень и определяемый им политический облик героя. Даже любовная трагедия героя объясняется тем, что глубоко чуждые ему идеалы старого общества имеют власть над его возлюбленной. В этом смысле показательна «прелестная», по характеристике Пушкина, «недоверчивость Чацкого в любви Софьи к Молчалину». Чацкий воспринимает открытое признание Софьи как «сатиру и мораль», поскольку не допускает возможности искреннего преклонения перед идеалами «умеренности и аккуратности»: Софья в похвалу Молчалину говорит, что «нет в нем этого ума». Любовная интрига, организовавшая трагедию страстей, заменена противоречием убеждений. Политический характер грани, отделяющей Чацкого от других персонажей, очевиден.

³ В. И. Ленин, Сочинения, т. 23, стр. 237.

Следующий этап в развитии русского реализма связан с художественными достижениями пушкинского творчества Михайловского периода. Характер героя теперь мыслится как производное от народного характера. Понимание национального своеобразия художественных персонажей ставило каждый отдельный литературный образ в зависимость от объективных, не связанных с авторским «я» условий. При этом необходимо отметить следующее. Когда писатели XVIII в. говорили о национальном своеобразии, они, в первую очередь, имели в виду сумму внешних материальных факторов, определяющих специфику условий жизни. Эти внешние условия (климатическая среда и т. д.) влияют на «умственность» народа и определяют облик отдельного человека. «Наипаче действие естественности явно становится в человеческом воображении, и сие следует в начале своем всегда внешним влияниям», — писал А. Н. Радищев. Разум человека, утверждает он далее, «зависел всегда от жизненных потребностей и определяем был местоположением». При всей метафизической прямолинейности такой постановки вопроса, утверждение зависимости человека от внешних обстоятельств имело отчетливо материалистический характер.

Постановка этого вопроса в творчестве Пушкина Михайловского периода и второй половины 1820-х годов имеет иной смысл. Она гораздо гибче, национальные черты литературного образа не конструируются на основе общеполитических предпосылок, а подмечаются в живой действительности. Кроме того, нормативному сознанию XVIII в. воздействие конкретных климатических условий представлялось лишь своеобразным *искажением* «нормального» человека. Так, Радищев, указывая, что «воображение» «зависит от климата», добавлял, что внешние условия делают человека «совсем от того, как рожден, отменным». Для Пушкина национальный характер становится исторически сложившейся реальностью и ни с какой абстрактной «нормой» не сопоставляется. Более того, поскольку национальное (этнографическое) и народное (социальное) в характере еще не различались, художественный образ, окрашенный чертами национального своеобразия, выступал как *нравственная норма*, противопоставленная индивидуализму «света» (Татьяна — Онегин). Однако нельзя не видеть и другого: Радищев ставил национальный характер в зависимость от *материальной* внешней среды; для Пушкина в этот период определяющим является исторически сложившийся *психологический* уклад, «образ мыслей и чувствований», «тьма обычаев, поверий и привычек». Вопрос о материальной обусловленности психологии героев еще не подчеркнут. Правда, идя за общераспространенными формулами философов XVIII в., Пушкин ставит в связь «климат», «образ правления» и «особенную физиономию» народа; однако, в собствен-

ном творчестве поэт идет иным путем. Ясно, что климат не может послужить основой для противопоставления Онегина Татьяне. Если же ставить «народность» в зависимость от материальных (т. е. социальных) условий, то объединение Татьяны с народом и противопоставление ее Онегину делается просто невозможным. Очевидно, что «народность», в данном случае, мыслится как приобщение к некоему национальному *психологическому* складу, возможное без изменений общественного бытия героя. Ср. у Толстого: духовное приобщение героя к народу будет связываться со стремлением «жить как крестьянин» (Олеин), порвать со своим классом (Нехлюдов). Для писателей, понимающих национальную специфику как, в первую очередь, особый психологический склад, «народный дух», характерно обращение именно к поэзии, фольклору. Фольклор, пользуясь выражением Пушкина, является «зеркалом, в котором отражается особенная физиономия народа». Толстой в «Казаках» раскрывает специфику душевного мира народа через описание простоты воинственного и трудового *быта* — Пушкин улавливает этот душевный мир в народной *поэзии*.

Следующий этап в становлении русского реализма — историзм Пушкина. Характер героя выводится не только из «духа народа», но и из «духа эпохи». История рассматривается как цепь взаимосвязанных и взаимообусловленных периодов, каждый из которых порождает свой тип человека, свои характеры. Поскольку эпоха мыслится как нечто единое, характеризующее специфическим «духом времени», в изображении людей одного исторического этапа подчеркиваются черты сходства, а не различия. «Каждый век представляет вам один общий цвет, — писал в 1832 году И. Киреевский. — Все воспитаны одномысленными обстоятельствами, образованы одинаким духом времени» (статья «Девятнадцатый век»). Типичным конфликтом делается столкновение героев, воплощающих черты двух сталкивающихся исторических этапов (Герман — старуха, Альбер — барон, Дон-Гуан — командор). Сюжет черпается из исторически-переломных эпох. Поскольку при таком конфликте герой должен персонафицировать эпоху, в его характере конденсируются черты времени в гораздо более «сгущенном» виде, чем это допускали бы требования точного изображения каждодневной действительности. В конфликте автор стремится не столько сохранить бытовое правдоподобие, сколько раскрыть правду исторических законов. Это заставляет порой в построении сюжета прибегать к элементам фантастики («Пиковая дама», «Медный всадник», план окончания «Сцен из рыцарских времен»). Однако в данном случае фантастика не уводила от действительности в мир, творимый воображением автора, а помогала раскрытию объективных исторических закономерностей.

Следующий этап связан со стремлением обусловить героя не только исторической эпохой, но и социальной средой. Изображение общественной среды в ее влиянии на характер героя делается центральной проблемой. Показу героя предшествует «коллективный портрет», обобщающий характерные признаки среды («Невский проспект», Миргородская лужа, Тамбов — собирательный образ провинциального города в «Тамбовской каначейше» Лермонтова). Герои, связанные с общей средой, обладают и сходными чертами характера. Ничтожная и пошлая современная среда порождает ничтожные и пошлые характеры. Для создания же положительного образа автор обращается не к отвлеченному внесоциальному идеалу добра, как это делали романтики, и не к абстрактному «естественному человеку» XVIII в. — он ищет героическую среду, которая могла бы породить героические характеры (Запорожская сечь в «Тарасе Бульбе»).

Вместе с тем, именно к этому периоду относится начало нового усиления элементов антропологизма в художественной системе писателей реалистического направления. Критика существующей действительности заложена была в самом принципе изображения героя как обусловленного средой. «Если характер человека создается обстоятельствами, то надо, стало быть, сделать обстоятельства человеческими».⁴ «Человечные обстоятельства» же ассоциировались с «естественным порядком». Стихийному демократизму Гоголя свойственно остро-критическое и, вместе с тем, наивное представление о том, что миру *подлинных* ценностей: смелости, дружбы (Тарас Бульба), таланта (Пискарев) — противостоит «выдуманый» мир, не имеющий реальной сущности, хотя и господствующий в настоящее время. Чин — «не какая-нибудь вещь видимая, которую бы можно взять в руки», орден — «какая-то ленточка», не имеющая «никакого аромата», если лизнуть — «соленое немного» («Записки сумасшедшего») и т. д. Характерно, что чины и отличия в их подлинном свете представляются лишь «естественному» сознанию, стоящему «вне гражданства» современного общества: безумцу и собачке. Таким образом, реальный мир представляется миром нелепым, уклонившимся от нормы. Отсюда реалистическая фантастика как сатирический прием изображения «ненастоящего» мира и, с другой стороны, — вера в легкость исправления общественного зла. Для этого, полагает Гоголь, достаточно изменить «мнения».

Новый этап развития реализма, выраставший на базе гоголевского творчества, подразумевал сознательное стремление писателя сформулировать те общественные выводы, которые объ-

⁴ К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, издание 2-е, т. 2, М., 1955, стр. 145—146.

ективно вытекали из реалистического метода. Среда начинает пониматься дифференцированно. Если прежде конфликт внутри среды оказывался мнимым (Иван Иванович — Иван Никифорович, Пирогов — Шиллер), т. к. оба борющихся героя были одинаково пошлыми сынами пошлой действительности, то теперь столкновение героев становится отражением внутренних противоречий общества. Гениальные догадки, прямо пролагавшие путь этому новому этапу, высказал еще Пушкин. В «Замечаниях о бунте» Пушкин теоретически сформулировал положение об определяющем влиянии материальных интересов на действия человека. Объясняя неудачу попыток Пугачева «склонить на свою сторону» дворян, он пишет: «Выгоды их были слишком противоположны». Такой подход позволяет Пушкину увидеть в рамках одного исторического периода не одну, а две среды, причем каждая порождает свои представления о государственной власти, свою «правду», свою эстетику (ср. чередование эпитафий из народной песни и поэзии XVIII в. в «Капитанской дочке»). Увидев связь каждой из двух «правд» с материальными «выгодами», Пушкин понимает историческую необходимость существования обоих и, считая антиисторичной самую постановку вопроса о моральной оценке исторического процесса, отказывается встать на точку зрения любого из описываемых им лагерей.

Дальнейшая демократизация литературы, формирование революционно-демократической идеологии приводили к представлению о народной «правде» как единственной и «естественной». «Выгоды» господствующего класса объявлялись угнетением, его «правда» — ложью.

Принцип «социальности» характера, сознательно положенный в основу художественного метода «натуральной школы», приводил к тому, что в художественном образе подчеркивались социально-типические черты, а индивидуальные стирались, и все произведение превращалось в своеобразный опыт социального изучения общества. Личная судьба героя, острота сюжетного конфликта — все это отходило на второй план, повесть 30-х гг. заменилась «физиологическим очерком». Однако вскоре назрела необходимость нового этапа: на основе четкого социального анализа «физиологического очерка» — переход к показу диалектики формирования индивидуального характера, возникновении характера, порожденного социальной средой и возвышающегося над ней. Решение этих вопросов обусловило переход от очерка к социально-психологическому роману.

5

Очерк мог быть формой изображения только массового явления, среды, а само это понятие в системе реализма 40-х гг. воспринималась как отрицательное. Для изображения фигуры

борца с общественным злом потребовалась индивидуализация. Возник роман. Реалистический роман XIX в. раскрывал судьбу человеческой личности в свете двух данностей: среды и природы. Поэтому судьба героя в романе — это история его возвращения (движение от «природы» к среде) или возрождения (от среды к «природе»).

Напряженная обстановка 60-х гг. потребовала не только изображения социально-типического героя, но и создания такого романа, который, описывая личные судьбы персонажей — представителей определенных общественных сил, — раскрывал значение и место этих сил в судьбе России. Основной темой произведений делается вопрос о путях развития России. Это вызывает, с одной стороны, тяготение к эпосе, а, с другой, — поиски художественных средств, которые позволили бы личной судьбе героя придать предельно обобщающий смысл. Вновь, как в 30-е годы, в период выработки Пушкиным принципов историзма, каждая отдельная деталь произведения начинает соотноситься не только с бытовой правдой, но и с общей правдой исторического развития, «сгущается» до реалистического символа (романы Тургенева, «Гроза» Островского). Задача создания эпического романа полностью сохраняется и в пореформенный период. Вместе с тем, резко возросший удельный вес экономических проблем вновь выдвигает когда-то сформулированное Белинским требование научного изучения жизни, знакомства «с различными частями беспредельной и разнообразной России» (Вступление к «Физиологии Петербурга»). Опять на одно из ведущих мест выдвигается очерк, должностующий помочь проникнуть в пути послереформенного развития России.

Настроения, интересы, борьба миллионных масс крестьянства, сложно преломляясь в сознании теоретиков и писателей, составляли основную движущую силу развития русской литературы XIX в. Начался процесс революционизации народных масс. Он обусловил возможность появления революционной демократии — передового отряда народа. Однако, взаимоотношения этого отряда и основной массы народа не были отношениями идейного *тождества*. Существенной особенностью исторического развития той эпохи являлось наличие в России широких масс, измученных вековым угнетением, но не поднявшихся до сознания собственных интересов. Выражая *интересы* крестьянских масс, идеи революционного демократизма, бесспорно, не отражали *реального уровня народного сознания*. Поднять настроения массы «до сознательной жизни демократов»⁵ оказалось возможным лишь в условиях пролетарского руководства крестьянством. В. И. Ленин говорил об «отсутствии революционности в массах великорусского населения»⁶ в эпоху Чернышевского.

⁵ В. И. Ленин, Сочинения, т. 21, стр. 85.

⁶ Там же.

Это создавало почву для распространения в протестующих, но идейно незрелых массах, наряду с революционным настроением, идей, объективно глубоко чуждых народным интересам. Действительность России середины XIX столетия имела два лица. На поверхности была зрима огромная народная масса, страдающая, готовая к протесту, но еще бесконечно отдаленная от понимания своих собственных классовых интересов, от революционного мышления. Говоря о революционной сознательности народа, Ленин писал, сравнивая эпоху Чернышевского с третьим этапом революционного движения в России: «Тогда её не было. Теперь её мало, но она уже есть»⁷. В 60-е гг. XIX в. надо было обладать мышлением революционера и теоретика, чтобы под внешностью народной жизни прозреть будущую революционную Россию.

Поэтому близость к действительности в литературе тех лет тоже была двоякой. Она могла быть близостью к настоящему, рабскому состоянию народа, к «кажимости» его жизни. Писатели этого типа бывали подчас настроены субъективно демократически, искренне стремились встать на народную точку зрения. И они действительно сближались с народом. Однако при этом они сближались лишь со слабыми сторонами народного мировоззрения и объективно оказывались в антидемократическом лагере. Самой сильной стороной народа являлась его практическая борьба за свое освобождение, самой слабой — идеологическая беспомощность, неумение создать теорию, стоящую на уровне его собственной практики.

Такую теорию создавали революционные демократы. Обобщая практику народной борьбы, они поднимали стихийную деятельность народа до уровня идеологического фактора. Писатели же типа Достоевского брали народное сознание, то есть то, в чем демократическая природа народа проявлялась в наименьшей степени, и возводили его в норму *теоретического мышления*. Тем самым они узаконивали духовное рабство народа.

Сложность подобной позиции проявилась в переплетении реалистических и антиреалистических элементов в творчестве таких писателей, как Достоевский, отчасти Лесков. В силу разрыва между реальным уровнем сознания народа и его классовыми интересами оказывалось возможным характерное противоречие. Писатели, разделявшие с народом его заблуждения (Достоевский), подчас были способны живее, конкретнее отобразить «кажимость» действительности, сложность человеческого характера и *частные* конфликты, но искаженно изображали *общие закономерности* жизни. Писатели же типа Чернышевского, выражая программу народа, могли быть иногда схематичны в деталях, но глубоко отражали внутренние законы действительности. Бесспорно, что зримый мир и реальная сложность психологии

⁷ Там же.

человека XIX в. изображены Чернышевским менее богато, чем Достоевским. Но следует отметить и другое — к действительности в её внутренних закономерностях Чернышевский оказался ближе. Полное слияние конкретного отражения жизни во всех ее частностях и правдивого показа общих закономерностей могло наступить лишь на том этапе освободительного движения, когда формулируемая теоретиками идеология класса начинала проникать в толщу класса, овладевать им, а сам народ, возвышаясь «до сознательной жизни демократов», ясно осознал свои интересы.

Нападая на революционную демократию, писатели типа Достоевского порой метко указывали на действительно слабые стороны мировоззрения лагеря Чернышевского — элементы абстрактного антропологизма. Выступая с требованием изображать сложность психологического мира человека, писатели этого типа не оказались, однако, в силах противопоставить антропологизму шестидесятников что-либо, кроме не менее метафизического представления об исконно злой природе человека. Необходимо отметить, что элементы диалектики накапливались в художественном методе писателей именно демократической ориентации. Этому способствовало, с одной стороны, глубокое проникновение в законы общественной жизни, экономики, вплотную подводящее писателей к идее классовой борьбы. С другой стороны, представление о «естественных» качествах человека было тесно связано с господствующими тенденциями естествознания. Уровень естественных наук 60—70-х гг. XIX в. не походил на состояние этих дисциплин в конце XVIII в. Физиология XIX в. стихийно пропитывалась элементами диалектики. Последнее обстоятельство влияло на творчество писателей второй половины XIX века — авторов типа Чехова и Короленко. Ставя типичную для демократической литературы тему социального воспитания, тему ребенка как «нормального» человека и т. п., писатели стремятся раскрыть сложный, непрямолинейный характер воздействия обстоятельств на людей. Они ставят своей задачей показать противоречивый, во многом интуитивный характер психологических процессов.

6

Со второй половины 1860-х гг. демократическая идеология переживает глубокий кризис. Надежда на крестьянство как главный революционный класс все более слабеет. После отмены крепостного права народ не только перестает быть самостоятельной революционной силой («пролетариатом феодализма», по выражению Ф. Энгельса), но постепенно распадается на пролетариат и сельскую буржуазию. Конечно, процесс этот был длительным. Пореформенная Россия — страна с миллионными крестьянскими массами, далеко не исчерпавшими своей револю-

ционной энергии. Недаром в конце 70-х гг. в стране вновь назрела революционная ситуация. Однако, чтобы проявить свои революционные возможности, крестьянство нуждалось в руководстве пролетариата, который в этот период, в свою очередь, не мог еще выступить на общественной арене как самостоятельная сила.

В то же время острота классово́й борьбы не ослабевала, степень заинтересованности народных масс в передовой идеологии, в познании жизни не уменьшалась. Сказанное привело к тому, что реалистическое направление в искусстве не остановилось в своем развитии, а, напротив, в творчестве ряда писателей добилось новых блестящих успехов.

И всё же «междувременье» второй половины XIX в. не могло не отразиться на литературе этого периода.

Большие писатели, в той или иной степени связанные с демократическим движением эпохи, чутко реагировали на сложные социальные и идеологические события «междувременья». Здесь возникало несколько путей. Те, кто наиболее близко стоял к революционным кругам (эволюционировавшим от идеологии научной «объективности» шестидесятников к народническому субъективизму 70-х годов), не могли не испытать на себе влияния подобной эволюции. Воздействие народнической идеологии отражается на некоторых произведениях Некрасова начала 70-х годов, в которых характеры героев не являются продуктом определенной социальной среды и не действуют в такой среде, а воплощают в себе идеал революционера-семидесятника с его мужеством и жертвенностью. Особенно характерно в этом отношении стихотворение «Пророк», посвященное Н. Г. Чернышевскому. Здесь в каждом четверостишье подчеркивается мотив жертвенности: «жертвуя собой», «умереть возможно для других», «смерть ему любезна». В заключении герой сравнивается с мучеником — Христом. На самом деле, как известно, для Чернышевского не было, пожалуй, ничего более чуждого, чем жертвенность, мученичество, «искупление». В стихотворении воплощен образ не шестидесятника Чернышевского с его девизом «прекрасна жизнь!», а типичного народника 70-х гг., утверждающего, что «смерть желанна и любезна».

Мотив обреченности и жертвенности сближает в некоторой степени народников с декабристами, при всем их социальном различии (ср. слова А. Одоевского: «Умрем, братцы, ах, как славно умрем!»). Недаром Некрасов именно в эти годы обращается к декабристской теме. Его поэмы о Трубецкой и Волконской — яркий образец народнических тенденций в литературе. Образы героинь приобретают некоторые черты революционерок-народоволок.

Отношение героинь к народу скорее народническое, чем декабристское («Страдания нас породнили»). Этим объясняется

тот громадный успех, какой имели некрасовские поэмы среди передовой молодежи 70-х гг.

Следовательно, образы героев являются не столько социальными характерами в социальной среде, сколько идеалом, отражающим стремления передовых кругов того времени. Несомненно, что такой идеал не лишен был элементов субъективизма. В этом проявляется диалектика истории: в период 70-х годов наиболее революционные произведения не могли не воспринять субъективистских тенденций, т. к. революционная идеология тех лет была субъективистской. Революционный, общественно-активный характер этого субъективизма, который не должен смешиваться с реакционным субъективизмом уходящих классов, придавал произведениям Некрасова большую силу воздействия на общество.

Революционный субъективизм — явление неустойчивое, в конечном счете оно приводит к отказу или от субъективизма, или от революционности. Некрасов пошел по первому пути. Преодолевая субъективистские элементы в своем методе, он создал в середине 70-х годов такие глубоко реалистические произведения, как «Современники» и «Пир на весь мир».

Другой писатель, у которого в художественном методе в 70-е годы также большое место занимал субъективизм — Тургенев — шел по иному пути. Лишенный некрасовской революционности, напротив, страшась революции, он все более и более отказывается от познания объективных закономерностей жизни. Герои повестей Тургенева из года в год теряют свою социальную определенность (если же они социально определены, то это — не современные деятели, а типы из прошлого: «Пунин и Бабурин», «Часы», «Бригадир»). Уже в 60-е годы в творчестве Тургенева усиливается тема роковой любви как страшной, внесоциальной, таинственной силы («История лейтенанта Ергунова», «Бригадир», «Вешние воды»), а затем таинственное, иррациональное захватывает все больше места в тургеневских повестях («Сон», «Песнь торжествующей любви», «Клара Милич»). И в то же время Тургенев, в какой-то степени сочувствуя движению народнической молодежи, в некоторых стихотворениях в прозе («Памяти Вревской», «Порог») выразил свое преклонение перед героизмом, мученичеством, жертвенностью. Поэтому народнические круги 70—80-х годов воспринимали тургеневское творчество сквозь призму *своего* субъективизма. Отсюда — возросший успех Тургенева в России этих лет, несмотря на антиреалистические элементы в его творческом методе. Впрочем, хотя Тургенев и отошел от демократического движения, но в целом та реалистическая закваска, которую он получил в гоголевской школе, не могла не оказать своего воздействия и на Тургенева поздних лет. Многого не понимая и многого боясь, он все же мучительно стремится уяснить себе основные закономерности жизни. Этим

объясняется реалистическая схема романа «Новь» (если отбросить ряд антиреалистических моментов).

Был возможен и еще один путь: сближение с реальной народной массой — крестьянством пореформенного периода. По этому пути пошел Л. Толстой. Сильные стороны крестьянской идеологии позволили Толстому создать выдающиеся реалистические произведения, написать роман — социальное обозрение, где подвергаются беспощадной критике все господствующие классы России. Но то реакционное, косное, что имелось в народном сознании, обуславливало антиреалистические моменты в творческом методе Толстого.

В условиях, когда жизнь не выдвинула еще революционного класса, писателю, для того чтобы избежать в своем мировоззрении ограниченности любой из реальных социальных сил, имелся единственный выход: преодолеть узость соответствующей группировки, стать выше ее, но тем самым и обречь себя на своеобразное одиночество.

Так, особняком стоит в литературе этих лет Салтыков-Щедрин. Не становясь на точку зрения какой-либо социальной группы, он стремится в духе традиций 60-х гг. объективно, реалистически отобразить действительность. Не разделяя реакционных сторон толстовского мировоззрения, Щедрин дошел в протесте против самодержавного строя до крайних пределов. Характерны фантастика и гиперболизм в его методе, не противостоящие реализму, а усиливающие его. Щедрин был одним из тех писателей послереформенной эпохи, которые стояли не ниже и даже не на уровне передовой народнической идеологии, а выше ее уровня. Это и обусловило, с другой стороны, трагические нотки в его творчестве: он видел ограниченность народников, но не видел тех реальных сил, которые преодолели бы эту ограниченность, совершив революционные преобразования в стране. Сказанным объясняется тот факт, что Щедрин не изобразил реального героя тех лет: апологетически он его показать не мог, стоя выше его, а раскрывать его недостатки — не хотел, не желая давать пищу реакционным критикам «нигилистов». В этом была и слабость послереформенной демократии, и сила Щедрина — реалиста и демократа.

Однако идеологический кризис в России второй половины XIX века не привел к кризису реализма. Возможности последнего еще далеко не были исчерпаны. Более того, именно в эти годы, опираясь на демократическую идеологию, Толстой, Щедрин, Достоевский, Чехов создали произведения мировой значимости.

7

К концу XIX века в реалистическом искусстве вновь наблюдается тенденция к усилению антропологизма. Последняя особенность оказывалась свойственной даже самой последователь-

ной демократической литературе, подготавливавшей путь к искусству, связанному с третьим периодом освободительного движения в России (В. Г. Короленко, ранний Горький). Преодолевая слабые стороны пореформенной демократической мысли (в частности — взглядов Толстого), Короленко и Горький 90-х годов доводят протест против социальной несправедливости до проповеди революционной активности, прямой борьбы с социальным злом. Но для писателей-демократов, творивших после краха народнических иллюзий, *реалистический* показ положительного героя второго периода освободительного движения — крестьянина — и пропаганда *революционных* идей не совпадали. В этих условиях складывалась весьма противоречивая эстетическая система названных авторов. Исходя из традиций классической русской литературы, Короленко и Горький рисуют характер героя как порожденный средой. Но в реальной русской «среде» конца XIX в. писатель, не видящий еще революционного пролетариата, мог заметить лишь «ненастоящий город» (Короленко), отупевший от мещанского застоя, и столь же «ненастоящую», забитую деревню. *Такой* средой оказывается возможным мотивировать лишь характеры тех героев, которые озверели от нелепости жизни (Горький «Скуки ради») или были раздавлены этой жизнью («Горемыка Павел»). Но идеи борьбы и протеста, не выводимые из «ненастоящей» действительности, осмысляются в антропологическом плане, как «естественно» присущие человеческой природе. Человек, по всем своим задаткам, «рожден для счастья, как птица для полета» (Короленко «Парадокс»). Потребность счастья у человека врожденная, и, подобно тому, как слепорожденный Петр ощущает потребность в зрении, в свете («Слепой музыкант»; ср. аналогичный мотив в опере П. И. Чайковского «Иоланта»), — забитый Макар чувствует неистребимую тягу к счастью и готовность бороться за него («Сон Макара»), а племя несчастных, никогда не видевших счастья людей верит в возможность прекрасной жизни и стремится ей навстречу («Старуха Изергиль»). В отличие от антропологизма Чернышевского и Добролюбова, антропологизм Короленко и молодого Горького (1890-х гг.) включает в себя отдельные точки соприкосновения с идеалистической эстетикой. Идеи борьбы и протеста осмысляются не как порожденные действительностью, а как привносимые в нее передовым сознанием («Жизнь <...> бедна красками, тускла, скучна <...> Что же делать? Попробуем, быть может, *вымысел и воображение* помогут человеку подняться ненадолго над землей и снова высмотреть на ней свое место, потерянное им»)⁸. Положительный герой не только не объясняется средой, но и противопоставлен ей. Поэтому оказывается

⁸ А. М. Горький, Собрание сочинений в 30 томах, т. 1, М., ГИХЛ, 1949, стр. 198.

возможным поместить этого героя в условную среду, являющуюся не *причиной* его поступков, а *параллелью* к его высокой душе («условные» героические произведения молодого Горького). Эта сторона творчества Короленко и Горького 90-х гг., вопреки распространенному убеждению, вовсе не отражала силы их позиции. Сильной стороной здесь было иное — пафос борьбы, вера в революционные возможности человека⁹. В то же время антропологизм демократической литературы конца века, несмотря на непоследовательность его реалистических принципов, отчетливо противостоял субъективно-идеалистической эстетике декаданса. — Последняя отрицала социальную природу человеческого характера, в то время как демократическое искусство утверждало именно «естественность» для человека единения с обществом, служения ему (Данко). Наконец, совершенно очевидно и то, что, утверждая активную, революционную роль человеческих идей, диалектику среды и личности, произведения Короленко и Горького подготавливали почву для одной из важных сторон нового, социалистического искусства.

8

Зарождение социалистического реализма, связанного с третьим периодом освободительного движения и марксистским мировоззрением, происходило в обстановке намечающегося кризиса демократической литературы, которая кончала с творчеством Чехова и Толстого классический период своего развития. В этих условиях как качественно-новое в искусстве социалистического реализма подчас субъективно воспринималось то, что объективно противопоставлялось лишь реализму *начала XX в.* и было, по существу, развитием *традиций реалистического искусства XIX в.*¹⁰ Таковы общеизвестные мысли А. М. Горького о новом искусстве, как оптимистическом, героически-утверждающем и т. п. Эти положения вырастали в конкретно-исторической обстановке борьбы с пессимизмом декадентской и той реалистической литературы, в которой начали проявляться элементы натуралистического бытописательства. Однако они не являлись теоретическим обоснованием качественного своеобразия пролетарского искусства. И оптимизм, и утверждающее начало, и героические образы, как мы видели, были характерны и для передовой реалистической литературы XIX в.

⁹ Позиции Короленко и Горького первой половины 90-х гг., разумеется, не тождественны. В творчестве Горького в гораздо большей степени назревают элементы нового метода. Рамки статьи не позволяют остановиться на этом, к тому же хорошо изученном вопросе, детальнее.

¹⁰ См. Б. Бурсов, «Мать» М. Горького и вопросы социалистического реализма, М.—Л., ГИХЛ, 1951. Бесспорно, что уже в момент своего зарождения социалистический реализм опирался на такие огромные достижения передовой литературы XIX в., как понимание обусловленности характера средой, элементы историзма, диалектику типического и индивидуального и т. п.

В то же время социалистический реализм не был простым возрождением реализма XIX в. Третий период освободительного движения внес в искусство и качественно новый принцип — принцип окончательного отказа от антропологизма и построения образа на основе полного, последовательного историзма. Мир рассматривается не как антитеза «нормальной» человеческой природы и искажающего ее социального строя, а как борьба классов угнетателей и угнетенных, реакционного и прогрессивного. Вследствие этого «человек вообще», как носитель положительных представлений автора, исчезает. Сохраняется он лишь в такой мере, в какой сохраняется традиция общедемократической идеологии. Положительным, носителем передовых взглядов и морали оказывается герой, связанный с бытом, жизнью и идеалами передового класса. Ни с какой абстрактной нормой «разумности» положительный герой не соотносится: он — представитель конкретного класса, во всей его определенности (и — даже — возможной ограниченности). Соответственно с этим и отрицательное — это не искаженное средой «человеческое», а то, что порождено жизненным укладом определенного господствующего класса, связано с его моралью и идеологией. В связи с этим деление героев на противоположные группы отражает уже не антитезу абстрактной человеческой сущности и искажающей эту сущность среды, а обуславливается, в конечном счете, классовой борьбой эпохи. Именно такова структура образов в пьесе «Враги», романе «Мать» и других первых произведениях пролетарского искусства. Отсюда, в частности, — различный смысл биографии героя в реалистической литературе XIX в. и в литературе социалистического реализма. Для подавляющего большинства биографических произведений XIX в. события жизни героя — веки на пути извращения «естественных» качеств человека социальной действительностью (автобиографическая трилогия Толстого, «Сон Обломова» и т. д.) или, напротив, — на пути возрождения героя к его «естественной», человеческой сущности («Воскресенье»). Биография героя в произведениях социалистического реализма — это движение человека от стихийных, неосознанных связей с определенным конкретным классом к сознательному освоению морали и идеологии этого класса («Мать», «Детство», позже — «Как закалялась сталь» и др.).

Преодоление антропологизма явилось огромным шагом в развитии литературы, — шагом, имеющим всемирно-историческое значение. В то же время художественным открытием классовой природы характера история искусства не окончилась. Социалистический реализм, как и реализм XIX в., — явление исторически конкретное, развивающееся, а не механическая совокупность «черт» и «признаков». Это — метод, прошедший и проходящий через различные этапы развития.

Осознание человека как человека класса, являясь величай-

шим художественным достижением, на первых порах неизбежно повлекло за собой известный схематизм — подчеркивание, в первую очередь, классово-типического в ущерб индивидуальному. Унаследованное от искусства XIX в. внимание к индивидуальному в первых произведениях социалистического реализма связывалось обычно либо со стремлением показать, как за внешним различием скрывается единство основного — классовой позиции (либерал Бардин и реакционер Скроботов в пьесе «Враги»), либо с раскрытием различных сторон жизни, морали и психологии определенного класса (образы рабочих в романе «Мать»). В России эта специфика первой фазы в становлении искусства социалистического реализма усиливалась влиянием на пролетарскую литературу непролетарских идей (в период реакции 1907—1912 г.г. — «богостроительство», в годы Гражданской войны — пролеткультовские взгляды на искусство). В дальнейшем литература социалистического реализма преодолевает этот схематизм различными путями. С одной стороны, уточняется и конкретизируется представление о классовой природе личности. Прежде всего, сама классовая позиция, с которой связан герой, могла быть (что особенно бросалось в глаза в России — стране с крестьянским большинством) более сложной и противоречивой, чем у героев «Врагов» — представителей антагонистических классов. Эта позиция, отражавшая противоречивость крестьянства, мещанства и т. п., не могла определяться одним словом, как «реакционная» или «революционная», а сложно сочетала в себе элементы различных идеологий, морали и т. п. Стремление показать сложность, противоречивость и двойственность человеческого характера, связанную с противоречивостью жизненного уклада, порождает и Окуровский цикл, и целый ряд других произведений А. М. Горького 1910-х гг. В то же время классовая позиция конкретизируется и через понимание национального своеобразия (русский крестьянин в цикле Горького «По Руси»).

9.

Октябрьская революция ознаменовала новый этап в развитии социалистического искусства. После окончания Гражданской войны классовая борьба вступила в новую, более высокую стадию, связанную, в частности, с задачей перевода многомиллионных масс демократии (в первую очередь — крестьянства) на рельсы социализма и социалистического сознания. Этот новый фазис борьбы классов поставил перед пролетарским искусством вопрос о более конкретном понимании природы характера. Наряду с показом «человека — сына класса», встает задача углубленного раскрытия индивидуальной стороны образа.¹¹

¹¹ См., например, статью: Ю. Либединский, Реалистический показ личности как очередная задача пролетарской литературы, На литературном посту, 1927, № 1.

Новыми вехами на пути развития социалистического искусства были романы «Дело Артамоновых» и «Жизнь Клима Самгина», где социально-типическое выступало в неразрывной связи с индивидуально-неповторимым и проявлялось только в нем.

В 20-е гг. появляется «Разгром» А. Фадеева, с его тяготением к глубокой обрисовке психологии, а творчество Маяковского эволюционирует от изображения только социальной сущности человека («Мистерия — Буфф», «150.000.000» и др., где личное, индивидуальное почти не интересует автора) к показу многообразных форм проявления общих социальных закономерностей в жизни отдельных людей, к изображению индивидуального в человеке (лирический герой поэмы «Хорошо», который не только «каплей льется с массами», но и имеет свои, неповторимые лицо, характер, судьбу).

К концу 20-х — началу 30-х гг. в литературе социалистического реализма еще больше углубляется вопрос о диалектике классового и индивидуального в судьбе и характере человека. Важнейшим этапом были произведения, показывающие *относительную свободу* индивидуальной судьбы в рамках общих исторических закономерностей (образ Григория Мелехова в «Тихом Доне»). И, наконец, уже в 30-е годы становится возможным раскрыть диалектику среды и личности, широко показать возможности и конкретные пути перехода человека на позиции передового класса (роман начала 30-х гг. о социалистическом строительстве, «Педагогическая поэма»).

Рассмотренная линия развития искусства не была, однако, единственно возможным путем движения советской литературы к социалистическому реализму. Наличие в России широких непролетарских народных масс создавало — даже после начала третьего периода освободительного движения — условия и для существования литературы, отражающей общедемократические взгляды. Эта литература опиралась на традиции реалистического искусства XIX в., однако, классический период развития критического реализма был уже позади; год от года демократическая литература становилась все менее единой. «Кричащие противоречия» демократии в условиях буржуазного строя теперь проявляются уже не только как противоречия внутри взглядов и творческого метода того или иного писателя, а как два возможных пути в развитии авторов этого типа. С одной стороны, усиление элементов исторической ограниченности демократических взглядов приводило в искусстве к росту антропологии, а через него — биологии (Куприн) и — в конечном счете — к отрицанию социальной природы характера и сближению с декадансом (Л. Андреев). С другой стороны, под воздействием пролетарского движения в стране, а затем — пролетарской революции, у лучших из писателей данного типа могли побеждать прогрессивные элементы взглядов, что сближало их позицию с пролетарской. В искусстве это приводило к усилению

элементов историзма, и формула «человек определяется средой», в конечном итоге, конкретизировалась как понимание *классовой* природы характера. Подобный путь уже в конце XIX — начале XX в. прошел основоположник пролетарской литературы А. М. Горький, в XX в. — А. С. Серафимович и Д. Бедный; после Октябрьской революции, в 20-х гг., им шли Чапыгин, Багрицкий, Тренев и мн. др.

Таким образом, если для одной группы советских писателей эволюция состояла в преодолении схематизма и во все более углубленном понимании соотношения типического с индивидуальным, то для другой группы центральным был приход к пониманию исторически-конкретной основы типизации в реалистическом искусстве.¹² Исходя из различных источников, развиваясь по разным линиям (и — нередко в весьма острой полемике¹³), эти два направления к началу 30-х гг. слились в общий поток социалистического искусства, каждый по-своему обогатив его и создав условия для дальнейшего расцвета и нового непрерывного развития литературы социалистического реализма. Именно метод социалистического реализма дал возможность литературе последних лет, в ее лучших образцах, добиться выдающихся успехов, свидетельствующих о громадных возможностях нашей литературы в будущем.

¹² Разумеется, указанная схема не охватывает всего многообразия движения советских писателей к социалистическому искусству, а лишь намечает пути « типовые ». В частности, необходимо учитывать, что общедемократическая позиция как исходная точка развития многих писателей, в силу ее противоречивости, часто осложнялась влияниями декадентского искусства (дооктябрьское творчество Н. Асеева, Э. Багрицкого и др.). С другой стороны, влияния декадентского субъективизма могли сложно соприкасаться со схематизмом и элементами вульгаризации, характерными для первых стадий развития литературы социалистического реализма (сближение позиций РАПП'а и ЛЕФ'а).

¹³ В этом смысле и позиция критиков из «На литературном посту», и позиция «Красной нови», несмотря на острые споры этих журналов, отражали именно движение к общей цели, хотя и с разных исходных позиций.

П. А. ВЯЗЕМСКИЙ И ДВИЖЕНИЕ ДЕКАБРИСТОВ

Доц., канд. филол. наук Ю. М. Лотман

Тема «Вяземский и декабристы» принадлежит к наиболее существенным при изучении связей декабристов с окружающей их общественной средой. Большой интерес представляет она и при определении взаимоотношений дворянской революционности и дворянского либерализма 1810—1820 гг. Последнее особенно важно для выяснения специфических черт преддекабристского и ранне-декабристского периодов.

Интересующей нас теме в научной литературе посвящена одна, но весьма обширная и обстоятельная работа — исследование Н. Кутанова (С. Н. Дурылина) «Декабрист без декабря»¹. Труд этот, построенный на основании детального изучения всех имевшихся тогда печатных материалов, совершенно не затронул, однако, рукописных фондов, особенно важных для анализа взглядов Вяземского. На это указала тогда же М. С. Боровкова-Майкова: «Вопрос, поскольку и в какой мере Вяземский являлся соучастником или сочувствующим декабристскому движению, прежде всего, зависит от содержания многих, еще не опубликованных или опубликованных частично, документов».²

С момента опубликования статьи С. Н. Дурылина прошло более, чем четверть века, накопилось большое количество новых данных о движении декабристов, а ни нового обобщающего исследования, ни частных разысканий, даже по таким кардиналь-

¹ Н. Кутанов, *Декабрист без декабря*, сб. «Декабристы и их время», т. II, М., 1932. В той или иной мере вопрос затронут в общих исследованиях о Вяземском. См. Л. Я. Гинзбург, *Вяземский — поэт*, в кн.: П. А. Вяземский, *Стихотворения*, Л., Советский писатель, 1958; Н. И. Мордовченко, *Очерки по истории русской критики первой четверти XIX в.*, М.—Л., Изд. АН СССР, 1959; М. И. Гиллельсон, *Вяземский-критик*, в кн.: *История русской критики*, т. I, Л.—М., Изд. АН СССР, 1958. Вызывает недоумение, что М. И. Гиллельсон в начале своей основательной статьи несколько пренебрежительно отзывается о работе Н. И. Мордовченко, как о содержащей «интересные замечания о некоторых статьях Вяземского» (ук. соч., стр. 228). Работа Н. И. Мордовченко содержит не «интересные замечания», а глубокий анализ всего критического наследия Вяземского. Хорошая статья Гиллельсона лишь выиграла бы от справедливого отношения к научным предшественникам.

² М. С. Боровкова-Майкова, П. А. Вяземский. Письма к жене за 1830 год, *Звенья*, т. VI, Academia, М.—Л., 1936, стр. 198.

ным и лежащим на поверхности темам, как «Вяземский и М. Орлов», «Вяземский и Н. Тургенев», в печати не появлялось. Нет специальных исследований и о соотношении деятельности Вяземского и его крупнейших современников, непосредственно не примыкавших к декабристскому движению (Пушкин, Чаадаев, Д. Давыдов) или чуждых ему (Жуковский, Карамзин). Таким образом, хотя значительность места, занимаемого Вяземским в литературной жизни его эпохи, особенно в преддекабристский и ранне-декабристский периоды, никем не оспаривается, вопрос все еще находится в начальной стадии изучения. Это заставляет и настоящую работу строить в плане рассмотрения проблемы в целом.

* *
*

Близость П. А. Вяземского к декабристскому движению была очевидна для его современников. Многие из них, также как и правительство Николая I, недоумевали по поводу того, что никто из привлекавшихся к следствию декабристов не дал уличающих Вяземского показаний. П. Бартнев вспоминал, как «недоброжелатели» Вяземского в дни кончины А. С. Пушкина «не скрывали надежды найти в забранных бумагах сего последнего следы и улики участия кн. Вяземского в деле тайных обществ 14-го декабря». ³

То, что репрессии 1826 г. не затронули Вяземского, вызвало у современников чувство, близкое к изумлению. Даже в семье Карамзина это считалось почти чудом. В письме, посланном с «оказией» (передатчиком был М. Погодин), Карамзин с радостным удивлением писал о том, что «бурная туча» не коснулась Вяземского «ни краем, ни малейшим движением воздушным». ⁴

В том же письме показательна приписка дочери Карамзина Е. Н. Карамзиной: «Да, дорогой и добрый дядя! Из глубины души я благодарю все дни небеса за то, что они Вас сохранили *невредимым*» ⁵.

Мнение современников было не лишено оснований: лучшая пора жизни Вяземского протекла в окружении деятелей тайных обществ. С многими из них он был связан узами долголетней дружбы, многочисленными идейными и биографическими нитями. Так, постоянной, проходящей через всю жизнь была дружба с М. Орловым и Н. Тургеневым. С братом последнего — Сергеем, человеком, бесспорно, разделявшим декабристские настроения, Вяземский «встретился нечаянно, но со-

³ Русский архив, 1879, № 3, стр. 387.

⁴ Письма Н. М. Карамзина к князю П. А. Вяземскому 1810—1826 (Из Остафьевского архива). Изданы с примечаниями и предисловием Н. Барсукова, Спб., 1897, стр. 171.

⁵ Там же. Оригинал по-французски, курсив подлинника.

шелся чаянно». Многолетней была дружба с И. И. Пушиным и его братом Михаилом⁶. Еще в детстве, в пансионе иезуитов, Вяземский познакомился с К. А. Охотниковым. Знакомство это было возобновлено в 1821 г. в Москве, куда М. Орлов и Охотников приехали для участия в работе съезда Союза Благоденствия. В дальнейшем Вяземский пользовался услугами Охотникова для пересылки из Москвы в Кишинев писем М. Орлову и Пушкину. Посылка писем по почте, видимо, была нежелательна⁷. Охотников приходился Вяземскому родственником: его мать, Наталья Григорьевна, в девичестве была Вяземская. Вяземский, сблизившийся с Охотниковым в 1821 г., видимо, догадывался об его конспиративной деятельности. По крайней мере, много лет спустя, уже в глубокой старости, он назвал его «историческим таинственным лицом»⁸.

С Никитой Муравьевым Вяземский, видимо, познакомился еще до 1812 года в Москве. В дальнейшем их имена все время переплетаются: общие друзья — Тургеневы, Батюшков, общий круг знакомств в Москве и Петербурге. Н. Муравьев — товарищ Вяземского по Арзамасу.

С М. Луниным Вяземский познакомился в 1815 г., на что указывает не имеющее даты, но относящееся к этому году письмо Вяземского Батюшкову: «... я тебе написал до получения письма твоего через Лунина, которого рад любить, потому, что ты его любишь, но которого я еще не видел»⁹. В дальнейшем Вяземский и Лунин встречались в Варшаве. В письме от 1 ноября 1818 г. А. М. Пушкин сообщал Вяземскому: «Получил твое письмо, любезный мой князь, через Лунина». С сестрой Лунина Е. С. Уваровой, как и со всей «фамилией известных Луниных» (выражение Вяземского), Вяземский был знаком еще до московского пожара. Е. С. Лунина вместе с В. Ф. Вяземской участвовала в нашумевшем московском празднике, данном в честь победы над Наполеоном. Одним из организаторов этого торжества был П. А. Вяземский. В 1856 г. Е. С. Уварова напомнила Вяземскому «старое знакомство, которое Вас восхищало в счастливейшие и, увы, уже протекшие времена»¹⁰. Вяземский был знаком с Сергеем Муравьевым-Апостолом¹¹ и Штейнгелем, с которым он в декабре 1819 г. ведет политические беседы.¹² Среди декабристских знакомцев Вяземского следует назвать и И. Д. Якушкина.

Длительной и сложной была история взаимоотношений Вя-

⁶ И. И. Пушин, Записки о Пушкине. Письма, Гослитиздат, 1956, стр. 94, 96, 184, 188 и др.

⁷ Литературное наследство, т. 58, изд. АН СССР, М., 1952, стр. 36

⁸ ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, ед. хр. 972.

⁹ ИРЛИ АН СССР (Пушкинский Дом), ф. 19, № 28, л. 19.

¹⁰ ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, ед. хр. 2908, л. 1. Оригинал по-французски.

¹¹ Остафьевский архив, т. 1, СПб., 1889, стр. 60.

¹² Там же, стр. 378.

земского и М. А. Дмитриева-Мамонова. Поместье последнего — Дубровицы — находилось по соседству с Остафьевым; другим соседом Вяземского по имению был С. Трубецкой. В бумагах Вяземского сохранились письма П. Х. Граббе, С. Волконского, Ф. Вадковского, Ф. Глинки. Наконец, проживая после отставки в Москве, Вяземский постоянно встречался с Мухановым и членами кружка Пушкина, а также с Завалишиным и Оржицким. «Мы, бывало, собирались у Оржицкого, у которого он (Вяземский. — Ю. Л.) обедал иногда и где в его присутствии был прочитан привезенный мною экземпляр «Горя от ума»,» — вспоминал Д. Завалишин¹³. В это же время Вяземский выступает как деятельный литературный сотрудник Рылеева и Бестужева и покровитель Кюхельбекера.

Перечисленные имена, конечно, не исчерпывают круга декабристских знакомств Вяземского.

В глубокой старости Вяземский затеял интересную работу — словарь своих знакомств. Рукопись эта, представляющая хаотическое перечисление припоминаемых фамилий и озаглавленная: «Алфавит имен и списки лиц, припоминаемых Вяземским П. А.», хранится в бумагах Архива Вяземского (ЦГАЛИ). Это не автограф — старик Вяземский, видимо, диктовал свои заметки. Рукопись не имеет систематического характера: пропущены многие дорогие и близкие Вяземскому имена — нет даже Карамзина, Жуковского, Батюшкова. Тем более интересно обилие в этом списке имен декабристов. Имена казенных руководителей движения повторены в списке пять раз! На букву «б» вписан Бестужев и тут же в скобках «Рылеев, Сергей Муравьев, Пестель, Каховский». И вписывая каждую из этих фамилий в алфавитный список, Вяземский снова и снова повторял все пять имен.¹⁴

Кроме казенных, в список попали: «Ивашев, сибирск<ий>, декабрист»,¹⁵ Лунин¹⁶, Сутгоф¹⁷, «Батенков, декабрист, приятель Сперанского»¹⁸, «Анненков, декабрист»,¹⁹ Охотников²⁰. Видимо, по ассоциации идей попал в список и «Лепарский, командир крепости (Чита), в которой содержались декабристы».²¹

Таким образом, круг декабристских знакомств Вяземского был необычайно широк. К нему следует прибавить имена Чаа-

¹³ Д. Завалишин, Воспоминания о Грибоедове, Древняя и новая Россия, 1879, № 4, стр. 311—321.

¹⁴ ЦГАЛИ, ф. 195, он. 1, ед. хр. 972, лл. 3 об., 10, 15, 19, 19 об.

¹⁵ Там же, л. 9.

¹⁶ Там же, л. 13.

¹⁷ Там же, л. 22 об.

¹⁸ Там же, л. 41.

¹⁹ Там же, л. 67.

²⁰ Там же, л. 74 об.

²¹ Там же, л. 12 об.

даева, Пушкина и Грибоедова, чтобы понять, насколько обширны были связи Вяземского с деятелями тайных обществ.

Однако, как бы ни были интересны те или иные биографические связи, вопрос не может быть ограничен их установлением — необходимо сопоставить мировоззрение Вяземского и идейную позицию дворянских революционеров. Эта задача и поставлена в настоящей работе.

* *
*

Для правильного понимания позиции Вяземского необходимо проследить само зарождение политических интересов в его мировоззрении. Первые же шаги П. А. Вяземского на общественно-литературном поприще свидетельствовали о самостоятельности занятой им творческой позиции. Выступая с самого начала своей писательской карьеры как убежденный сторонник идейно-художественных принципов Карамзина — Жуковского, Вяземский сразу же обнаружил в своих воззрениях и определенных расхождении с господствующей доктриной этой школы.

Литературная позиция Карамзина — Жуковского была окрашена в тона субъективизма. Карамзина это приводило к скептическому неверию в возможность постижения объективной истины, следствием чего явилась и специфическая окраска всей литературной позиции писателя. Отрицая возможность познания объективной истины, Карамзин считал ложной любую теоретическую позицию и, тем самым, дискредитировал самую идею литературной критики. Вместо борьбы и убежденности — терпимость и скепсис; не осуждая плохого, хвалить хорошее — таковы были принципы Карамзина-критика. В программном вступлении к первому номеру «Вестника Европы» за 1802 год Карамзин писал: «... Точно ли критика научает писать? Не гораздо ли сильнее действуют образцы и примеры? И не везде ли таланты предшествовали ученому, строгому суду? *La critique est aisée, et l'art est difficile!* Пиши, кто умеет писать, хорошо: вот самая лучшая критика на дурные книги!» И далее: «Не знаю, как другие думают, а мне не хотелось бы огорчить человека даже и за «Милорда Георга», пять или шесть раз напечатанного. Глупая книга есть небольшое зло на свете».²²

Из подобных предпосылок закономерно вытекало отрицательное отношение к критике, как к занятию бесполезному и унижительному. Особенно же осуждалась полемика, журнальная борьба. Не считая литературные споры путем к постижению скрытой от людей истины, Карамзин видел в них лишь проявление низменных свойств природы самих критиков: зависти, честолюбия. «Мне отвратительно и думать о перебранке с издате-

²² Вестник Европы, 1802, № 1, стр. 7—8. Критика легка, искусство трудно. — франц.

лем Вестника Европы»,²³ — писал Карамзин Вяземскому по поводу полемики последнего с Каченовским.

Несколько иной по идеологической структуре субъективизм Жуковского приводил к сходным результатам. Стремление отвернуться от внешнего мира и погрузиться в глубину интимно-лирических переживаний заставляло поэта отрицательно относиться к политической борьбе и к журнальной критике. Став редактором «Вестника Европы», Жуковский ликвидировал отдел политики и систематически уклонялся от полемики с другими журналами, даже по литературным вопросам. Это привело к тому, что на первом этапе карамзинисты были в литературной борьбе обороняющейся стороной, передав инициативу литературной полемики шишковистам.

Однако уже к началу десятых годов среди карамзинистов наметилась тенденция к активизации литературной программы: сатиры Батюшкова и В. Л. Пушкина означали переход к новой, наступательной тактике — первый шаг к пересмотру взгляда на литературную борьбу.

Но связанные с этой тенденцией первые же статьи Вяземского знаменовали новый этап в развитии карамзинизма как литературного явления: Батюшков, В. Л. Пушкин нападали на врагов карамзинизма, лишь нарушая принципы невмешательства в литературную борьбу, Вяземский же начал с критики самих карамзинистов, требуя изменения их литературной программы. Первым объектом нападок его сделались не Шишков и Шихматов-Ширинский, а Жуковский и Шаликов. В статье «Два слова постороннего»²⁴ Вяземский попытался повлиять на позицию Жуковского как редактора «Вестника Европы», втянуть его в полемику с Шаликовым. Вяземскому «хотелось видеть войну двух издателей журналов», а вместо этого, пишет он иронически, «мы увидели благодарность, сияющую во всем своем блеске».

Еще более интересна следующая статья Вяземского, посвященная разбору позиции Жуковского как составителя хрестоматийного сборника «Собрание русских стихотворений, взятых из сочинений лучших стихотворцев», — «Запросы господину Василию Жуковскому от современников и потомков».

Принципы отбора Жуковским произведений русской поэзии для сборника имели определенную тенденцию — на первый план была выдвинута карамзинистская традиция. Почти полностью игнорировалась гражданская поэзия. Оды печатались лишь

²³ Письма Н. М. Карамзина к князю П. А. Вяземскому. 1810—1826 (Из Остафьевского архива). Изданы с предисловием и примечаниями Н. Барсукова, Спб., 1897, стр. 75.

²⁴ Цветник, 1809, № 9; Ю. Лотман, «Два слова постороннего» — неизвестная статья П. А. Вяземского, сб. «Вопросы изучения русской литературы XI—XX веков», Изд. АН СССР, М.—Л., 1958.

в образцах первой половины XVIII в. — этим подчеркивалась архаичность жанра. В современной же лирике выделялась «легкая поэзия». Образцы современной торжественной поэзии были подобраны из Шишкова и Боброва, видимо, не без намерения, демонстрируя беспристрастность, дискредитировать сам жанр.

Вяземский резко осудил издателя за то, что он не захотел «нам показать лучшего нашего перевода из Горация, то есть «Оды к Венере» Востокова, а напечатал уродливейший, то есть Боброва: «О ты, Бландузский ключ кипящий». Далее он спрашивает Жуковского: «Отчего предпочли вы «Похвалу зиме» Шишкова оде Востокова «На зиму», или потому, что в первой стихи подобны следующим: «О, какие тут дурные есть личищи на игрищи», а во второй подобны этим:

«От Ладоги на белых льдинах
Течет зима к нам по реке,
Глава сей старицы в сединах,
Железный скиптр в ее руке».²⁵

Энергичная защита творчества Востокова — своеобразная черта в позиции убежденного карамзиниста. Особенно же показательно то, что Вяземский резко упрекает Жуковского за отсутствие в сборнике «прекрасного перевода Мерзлякова Тиртеевых од». Переводы Мерзлякова из Тиртея были задуманы и воспринимались современниками как образцы «спартанской», героической поэзии. Не случайно образ Тиртея сделался одним из любимейших в поэзии декабристов.

Таким образом, Вяземский еще до Отечественной войны 1812 г. занял среди карамзинистов своеобразную позицию.

Характер этой позиции позволил Вяземскому уже на следующем этапе его творческой эволюции с наибольшей полнотой выразить новые тенденции в развитии карамзинизма. Именно поэтому мировоззрение и творчество Вяземского особенно показательно при исследовании соотношения дворянской революционности и дворянского либерализма в истории русской общественной мысли первой четверти XIX в.

Сразу же после окончания войны с Наполеоном современникам стало ясно, какие глубокие изменения произошли за эти годы в умах людей. Старые литературные интересы начали казаться мелкими и незначительными.

В новых условиях поэты и литературные деятели, группировавшиеся вокруг Жуковского (карамзинисты), должны были активизировать свою позицию. Возрастание интереса к полемике, сатирическим жанрам, литературной борьбе, формам литературной организации были разными сторонами этого нового этапа.

²⁵ П. А. Вяземский, Полное собр. соч., в 12 тт., 1878—1896, т. 1, стр. 1--2.

Свойственное Карамзину пренебрежительное отношение к полемике уступает место представлению о борьбе как норме литературной жизни. Участие в литературных боях принимает весьма широкий круг литераторов-карамзинистов: Батюшков, Блудов, Дашков, В. Л. Пушкин и др. Но ни для одного из них полемика не сделалась такой органичной, живой творческой потребностью, как для Вяземского. Современниками Вяземский воспринимался как поэт-сатирик, в первую очередь, и недаром он — единственный из всех карамзинистов — сделался профессиональным критиком. Вяземский прекрасно осознавал отличие своей позиции, в этом смысле, от взглядов Карамзина — Жуковского.

Карамзин еще в 1792 г., отказываясь от полемики с Клушиным, писал И. И. Дмитриеву, демонстративно подчеркивая аристократическое презрение к писателю-разночинцу: «Ужели ты, ты мог думать, что я приму от него перчатку и выведу на рыжак с ланцом? Признаюсь, что, несмотря на мое человеколюбие, едва ли бы я простил тебе эту мысль».²⁶ Позиция Вяземского была иной. В 1819 году он писал А. И. Тургеневу:

«У каждого свой образ мыслей: я считаю, что связаться с повесою на улице непристойно, но ударить раз дубиною дурака, который кинул в тебя грязью, и после отойти прочь не только можно, но и должно. Не будь Христос богом, он был бы забитым плюгавцем: нам, грешникам, нельзя садиться в чужие сани, то есть на чужие кресты. Я в смиреннии своем не добиваюсь славы распятия».²⁷

Это убеждение проходит лейтмотивом через все творчество Вяземского 20-х годов. В 1823 году он писал: «Я скажу, как Бомарше: *«Ma vie est un combat»*. Драки все довольно подлые, признаюсь, но что же делать?

Раскройте новый круг, бойцов сзовите новых,
Я и на них пойду!»²⁸

Еще более подробно свое отношение к «журнальным дракам» Вяземский изложил в письме к Дашкову от 30 мая 1823 г.:

«Бог знает, что лучше: отмалчиваться или отбраниваться? Конечно, полемика наша — самое поганое ремесло, ибо вводит в сношения с людьми, не стоящими уважения; но общее мнение или, по крайней мере, то, что заменяет у нас общее мнение, стоит уважения. Хорошо Карамзину пренебрегать тем, что мыслит о нем Каченовский и, вследствие его мыслей, что мыслит о нем часть публики нашей, но не каждому дано право брать пример с великих подлинников. *Du sublime au ridicule il n'y a qu'un pas*; от великодушного презрения к ничтожным оскорблениям до малодушного претерпения христианских пощечин тоже один шаг. Поди после разбери, по какую сторону стал ты едва означенной черты. Беда только в том, что я один, если не из хороших, то, по крайней мере, из честных полемиков и потому всегда или сам должен наскочить на какого-нибудь плюгавца или какому-нибудь плюгавцу дать наскочить на себя. И в том и в другом случае накладно, если не бокам,

²⁶ Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву, Спб., 1866, стр. 28.

²⁷ Остафьевский архив, т. I, стр. 221—222.

²⁸ Остафьевский архив, т. II, стр. 333. Моя жизнь — борьба. — франц.

то имени, которое должно склещиться с именами позорными и быть вывешено на театр наших журналов».²⁹

Интерес к полемике вытекал из известной демократизации литературной позиции³⁰ и связан был с изменением целого ряда эстетических принципов.

Прежде всего, он подразумевал определенный отход от субъективизма и скептицизма: вступать в спор, противопоставляя программе противника только неверие в постигаемость истины, было невозможно. Предпосылкой для участия в литературной борьбе могло быть лишь зарождение каких-то позитивных, представляющихся безусловными, воззрений. И напротив: тенденция к полемике сама по себе стимулировала зарождение новых взглядов на искусство. Она привела и к трансформации художественного метода, стиля, ведущих жанров.

Другой ряд последствий был связан с организационно-тактическими вопросами.

Позиция карамзиниста, в том виде, в каком она была сформулирована старшими деятелями этого направления, по сути дела, исключала возможность создания творческого объединения. Замкнутый в кругу своих неповторимо-субъективных представлений, писатель не только единомышленника, но и друга может иметь лишь в той мере, в какой этот последний сходствует с его индивидуальностью. В. Л. Пушкин писал:

«Я истинно счастлив, имея друга в брате!
Сердцами сходствуем; он точно я другой» ..

Не случайно Карамзин, бывший долгие годы издателем журналов, так и не создал литературной группировки, связанной организационно и тактически, да, видимо, к этому и не стремился.

Жуковский, входя в литературные общества, никогда не был их инициатором — его творчество по самой своей природе не могло быть голосом группы, литературной партии.

Между тем, Вяземский, который, по меткому выражению Пушкина, был *sectaire*,³¹ один из первых в литературном кругу карамзинистов осознал необходимость организационного объединения как насущную потребность времени.

Уже в 1813 году Вяземский в письме к А. И. Тургеневу отстаивал идею объединения:

²⁹ Рукописный отдел ГПБ им. Салтыкова-Щедрина, Архив Вяземского (ф. 167), № 24, л. 7. От великого до смешного — один шаг. — *франц.*

³⁰ Это подчеркивал позже Пушкин: «У нас вошло в обыкновение между писателями, заслужившими доверенность и уважение публики, не возражать на критики. Редко кто-нибудь из них подает голос и то не за себя. Обыкновение вредное для литературы <...> Возразят, что иногда нападающее лицо само по себе так презрительно, что честному человеку никак нельзя войти в сношение с ним, не марая себя. В таком случае объяснитесь, извинитесь перед публикою» (Пушкин, Полн. собр. соч., т. XI, Изд. АН СССР, 1949, стр. 132).

³¹ Пушкин, Полн. собр. соч., т. XIII, стр. 96. Сектант. — *франц.*

«... Отчего дуракам можно быть вместе? Посмотри на членов Беседы: как лошади, всегда все в одной конюшне и, если оставят конюшню, так цугом или четвернею заложены вместе. По чести, мне завидно на них глядя, и я, как осел, завидую этим лошадям. Когда заживем и мы по-братски: и душа в душу, и рука в руку?»³²

Как мы увидим в дальнейшем, «Арзамас» не полностью удовлетворил ожидания Вяземского. Он и в 1816 г. продолжал мечтать о создании литературного объединения. В сентябре этого года он писал: «Мысль о авторолюбивом обществе — мысль святая у нас.»³³

Когда возник «Арзамас», в ряду других арзамасцев Вяземский занял своеобразное место. Чисто литературная полемика с самого начала казалась ему занятием недостаточно серьезным. В этом смысле показательным отношением его к одной из первых вех на пути создания «Арзамаса» — к нашумевшей речи Дашкова в петербургском Вольном обществе любителей словесности, наук и художеств,³⁴ Письмо Батюшкова Вяземскому, излагавшее этот эпизод, давно уже известно, однако, отклик на него, чрезвычайно показательный для характеристики отношения Вяземского к будущей тактике «Арзамаса», до сих пор еще не вводился в научный оборот. Отношение Вяземского к выступлению Дашкова было резко отрицательным. Он писал:

«Что слышу я? Et toi aussi Brutus? И ты вдался в петербургскую глупость? И ты на коленях перед Дашковым, речь его на Хвостова тебя восхищает. А эта речь — дерзость и глупость. Остроты в ней нет, подлости много. Что за мудрость обругать старика, который, хотя и дурно пишет, но ни мало не заслуживает никакого внимания. Пусть его пишет <...> После того уж пойдете по улицам показывать голые ж... Что за пажеские шутки такие. Батюшков! Батюшков! Что с тобою стало? Василью Пушкину прощаю хвалить такие дурачества и пристращаться к людям, сам не зная для чего, но тебе это стыдно.»³⁵

Приведенное письмо совсем не означает отказа от полемики из боязни «огорчить» человека (в духе старших карамзинистов). Несколько ниже в нем же он сообщает о посылке новых эпиграмм в журналы. И тут же призывает к решительной борьбе с П. И. Голенищевым-Кутузовым: «Эту бестию надобно всячески мучить <...> Такого человека жалеть не надобно; эпиграммами, дубиной, происками — вреди ему как можешь и как умеешь».³⁶ В чем же разница, по мнению Вяземского, между гр. Хвостовым и Голенищевым-Кутузовым? Ответ на этот вопрос дает сам Вяземский. Вина Хвостова в том, что он «дурно пишет», между тем Голенищев-Кутузов для Вяземского — ретро-

³² Остафьевский архив, т. 1, стр. 19.

³³ Там же, стр. 53.

³⁴ См. Н. С. Тихоново, Д. В. Дашков и гр. Д. И. Хвостов, Русская старина, 1884, кн. 8.

³⁵ Архив ИРЛИ (Пушкинского Дома) АН СССР, ф. 19, № 28, л. 10. И ты, Брут! — франц.

³⁶ Там же, лл. 10 об. — 11.

град, противник просвещения, враг наук. «Малейший в нем порок есть то, что он дурной стихотворец».³⁷

На основании приведенных цитат, однако, преждевременно было бы заключить, что Вяземский противопоставляет чисто литературную полемику политическим спорам, как более глубоким и содержательным. Такая мысль была свойственна в 1817 г. Н. Тургеневу, писавшему: «Другие члены наши (т. е. «Арзамаса» — Ю. Л.) лучше нас пишут, но не лучше думают, т. е. думают более всего о литературе».³⁸ Как увидим, в дальнейшем подобный взгляд был усвоен и Вяземским, но ни в 1812, ни в первые годы после войны политическое мышление его еще не достигло такой остроты.

В эти годы Вяземский еще не осуждает своих сотоварищей по творческим интересам за чисто литературную направленность деятельности, но само содержание понятия литературы и ее задач у него уже иное.

Для старших карамзинистов с их убежденностью в том, что поэт — «искусный лжец», а истина закрыта «непроницаемым туманом» от глаз людей, содержание произведения не было критерием его достоинства. Речь не могла идти о том, правдиво ли произведение, ибо сама возможность постижения истины бралась под сомнение; не могло рассматриваться как критерий и представление о «высокости», общественной значимости избранного поэтом предмета. Субъективизм мировоззрения заставлял в равной степени отвергать и «возвышенные предметы» классицизма, и «высокие песни» декабристов, потому что сам критерий «возвышенности» подразумевал и веру в общеобязательность истины, и — как результат — интерес к торжественной, общественно значимой поэзии.

Единственным возможным достоинством искусства, с позиции старших карамзинистов, делалось изящество слога, мастерство исполнения, а доминирующим критерием — критерий вкуса. Эти принципы, от которых сам Карамзин к интересующему нас времени уже отошел, нашли фанатических поборников в лице таких деятелей «Арзамаса», как Дашков и «маркиз» Блудов. Борьба с «Беседой» для Блудова и Дашкова — это критика плохих писателей, война с дурным вкусом. Главные объекты насмешек — это употребление шишковистами «грубых» архаизмов, недостатки их стиля и версификации.³⁹

³⁷ Там же, л. 10 об.

³⁸ Декабрист Н. И. Тургенев, Письма к брату С. И. Тургеневу, М.—Л., Изд. АН СССР, 1936, стр. 238—239.

³⁹ Именно в этом смысле Н. Тургенев писал брату Сергею Ивановичу: «Здесь тористы, как-то: Блудов, Дашков и другие, к коим присоединился в почетные и безгласные члены и Ал<ександр> Ив<анович>, соединившись в общество, под названием Арзамаса, утешают себя, и только что себя, критикою и посмеянием других писателей и похвалами Карамзину» (Декабрист Н. И. Тургенев, Письма к брату С. И. Тургеневу, М.—Л., изд. АН СССР, 1936, стр. 204).

Для Вяземского (его позиции в известной мере разделяли В. Л. Пушкин и Батюшков) задача литературы — распространение просвещения. «Беседчики» воспринимаются как невежды, враги просвещения. Более того, если Блудов и Дашков сводили критику к «спору о словах», то для Вяземского и его единомышленников этого периода антитеза «Беседа» — «Арзамас» выглядит так: беседчики хлопочут о возрождении старого слога, спорят о словах, т. е. занимаются пустяками, между тем как арзамасцы — защитники просвещения, отстаивающие содержательную поэзию.

Эту мысль подчеркивал В. Л. Пушкин:

«Слов много затвердить не есть еще ученье;
Нам нужны не слова, нам нужно просвещение».
(К В. А. Жуковскому).

«Поверь: слова невежд — пустой кимвала звук;
Они безумствуют — сияет свет наук!»
Невежда,

«... бедный мыслями, печется о словах!»
(К Д. В. Дашкову).

Такой подход вводил в литературу политические ноты, и полемика с шишковистами получала оттенок борьбы с реакцией. Спор о старом и новом слоге, развернувшийся еще до наполеоновских войн, после заключения мира с Францией приобрел новый смысл.

Полемика Шишкова против «нового слога» Карамзина усилиями ее инициатора с самого начала была переведена в отчетливо-политический план. Противопоставляя всяческим новшествам старину и традицию, Шишков намекал на единство устремлений реформаторов русского языка и французского политического быта. Защита традиции, существующего, феодально-церковного уклада противопоставлялась «мечтаньям» новаторов.

После окончания эпохи революции и империи само содержание понятий «традиция» и «мечтанья» в политической жизни Европы изменилось. Социальная структура общественной жизни во Франции претерпела столь глубокие изменения, что полная реставрация дореволюционного порядка оказалась невозможной. Если ультра-роялисты, поддерживаемые в совете монархов австрийской дипломатией, считали возможным настаивать на бескомпромиссной реставрации, то умеренно-консервативные и либеральные деятели, не одобряя революции, доказывали, что изменения *уже* произошли, а потому попытки воплотить в политической действительности реакционные химеры эмигрантов ни к чему, кроме новых революций, не приведут. В этих условиях аргумент «традиции» оказывался в руках сторонников конституции 1815 г., а «мечтателями» представляли сторонники «чистого» абсолютизма и возвращения к дореволюционным порядкам.

Политические споры в России не были отгорожены стеной от этой кардинальной дискуссии эпохи. В свете новой идейной ситуации карамзинисты предстояли как защитники изменений, уже произошедших в языке и внедренных в его практику, в то время как Шишков предлагал загримированные под старину неологизмы, научная состоятельность которых была уже под подозрением, или прямой возврат к отвергнутой жизнью старине. В этих условиях нападки на шишковистов приобретали широкую политическую перспективу, международный аспект которой не был тайной для современников. Одной из сторон этой позиции — что особенно важно для Вяземского — был отказ от взгляда на Францию как на гнездилище разврата и безбожия и национального врага. Французская философия, просветительская публицистика и даже в какой-то мере революция переставали быть темами, упоминание которых возможно лишь в контексте грубых ругательств.

Принятие предпосылки о том, что Европа 1815 года не может походить на Европу 1788, а также призыв к уважению «духа времени» и произведенных им изменений не означал, конечно, сочувствия революционной эпохе. Этот был тот умеренный конституционализм, который в те годы еще не противоречил правительственному курсу Александра I. Не следует забывать того, что именно русский император был инициатором и защитником парижской и варшавской конституций. В этом смысле либеральный «Арзамас» был гораздо более официозен, чем откровенно-реакционная «Беседа». Но это же положение — в условиях первых лет мира вполне выдержанное в духе правительственного курса — потенциально содержало и возможность революционных выводов. На этот счет позже недвусмысленно показал Пестель:

«Возвращение Бурбонского дома на французский престол и соображения мои впоследствии о сем происшествии могу я назвать эпохою в моих политических мнениях, понятиях и образе мыслей: ибо начал рассуждать, что большая часть коренных постановлений, введенных революцією, были при ресторации (так! — Ю. Л.) монархии сохранены и за благие вещи признаны, между тем как все восставали против революции и я сам всегда против нее восставал. От сего суждения породилась мысль, что революция, видно, не так дурна, как говорят, и что может даже быть весьма полезна, в каковой мысли я укреплялся тем другим еще суждением, что те государства, в коих не было революции, продолжали быть лишенными подобных преимуществ и учреждений».⁴⁰

Для характеристики позиции Вяземского необходимо иметь в виду еще одну существенную черту. Среди других арзамасцев — и это роднит его с А. С. Пушкиным — Вяземский выделялся прочностью связей с просветительской традицией XVIII в. Это особенно важно было для периода, когда огромное большинство общественных деятелей от Жозефа де Местра и Шатоabriана до мадам де-Сталь, от Шишкова до Жуковского поло-

⁴⁰ Восстание декабристов. Материалы, Центрархив, т. IV, М.—Л., Госиздат, 1927, стр. 90.

жили в основу своего мировоззрения отказ от просветительской традиции XVIII в. Резче всего это проявилось в отношении к религии. Вяземский не скрывал своего отрицательного отношения к церкви и христианству. В письме Батюшкову от 20 октября 1813 г. он возмутился:

«Скажи мне, ради бога, которому я, сказать мимоходом, мало верю, что тебе вздумалось написать на адресе: «в жительстве». Ты совсем с ума сходишь. Песня песней сделает из тебя, как я вижу, Шишкова. Сделай милость, не связывайся с библией. Она портит людей, я ее прочел нынешнее лето и теперь уж ничему не верю. C'est un ramas d'infancies et de bêtises emphatiques.⁴¹ Приезжай в Москву поспорить со мною. Je suis herissé de citations de la Bible». ⁴²

Если в приведенной цитате в гораздо большей степени чувствуется «вольтерьянская» насмешка над библией, чем серьезный материалистический взгляд, то в письме А. И. Тургеневу от 16 мая 1819 г. явно ощущается влияние философии XVIII в. Вяземский цитирует «Орлеанскую деву» Шиллера в переводе Жуковского:

«Творец земли себя в смиренной деве
Явит земле, зане Он всемогущий».

Далее следует комментарий: «А я говорю: «Зане она всемогущая», et pour cause.³⁴ То-есть, кто она? — Природа. Зачем же не бог? — Я его не понимаю! Ну, доволен ли ты? Режь, жги меня». ⁴⁴

С еще большей определенностью свое безразличие к вопросам религии Вяземский выразил в письме к Воейкову от 2/14 ноября 1818 г.:

«Я не безбожник и не божник, так как я не молинист и не жансенист, не глукист и не пичинист; потому, что мне ни до того, ни до другого дела нет. Не иначе буду жить, если докажут мне как дважды два четыре, что все то, что говорят попы, правда или ложь <... > Я во французских философах не веру их люблю, но ум, так как и в Аталии не духовность люблю, а поэзию. Вольтер воевал во Франции, в земле католической, где духовные зарезали Генриха IV и готовились зарезать просвещение; может быть, увлечен он был за край: но пламень души, как и другой пламень, не может быть обуздан. Жалея о том, что он опалил соседние дома, поблагодарим его за то, что он выжег дом, где царствовала чума; а в слепой ненависти к огню, что мы делаем? Идем шевелить оставшийся пепел и отыскивать головешки, из коих старого дома не построим, а только что разнесем заразу. Как вы ни говорите, а религия со всеми своими приборами — скипетрами, топорами, свечами — не оживет по-прежнему. Даром, что она сделалась вещь казенная, а что пословица говорит: казенная на воде не тонет и в огне не горит».⁴⁵

⁴¹ Это свалка инфантильностей и надутых глупостей. — *франц.*

⁴² Архив ИРЛИ (Пушкинского Дома) АН СССР, ф. 19, ед. хр. 24, л. 5. Я набит цитатами из библии. — *франц.*

⁴³ И с основанием. — *франц.*

⁴⁴ Остафьевский архив, т. I, стр. 235.

⁴⁵ ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, ед. хр. 1234, лл. 1—1 об.

Воейков имел основания утверждать, что Вяземский смотрит на вопросы религии «в очки Гельвеция и Дидерота». ⁴⁶ Отношение к религии сразу же клало между Вяземским и шишковистами грань, гораздо более глубокую, чем чисто литературные разногласия. Более того, с его точки зрения удавалось раскрыть некоторые общие аспекты в, казалось бы, столь противоположных воззрениях беседчиков и сторонников Жуковского.

В борьбе с просветительством XVIII в. Шишков опирался на ортодоксальную церковность и подозрительно относился к придворному мистицизму. Однако творчество наиболее самобытных поэтов «Беседы»: Шихматова-Ширинского, Боброва — было органически связано именно с иррационалистическими тенденциями литературы XVIII в. Вопреки общераспространенному мнению, «Беседа» ни в малой степени не была связана с традициями классицизма, то есть рационалистической эстетики в духе Буало. Само имя этого последнего гораздо чаще встречается в эти годы как авторитет в сочинениях Вяземского, В. Л. Пушкина и начинающего А. С. Пушкина. В творчестве Пушкиналицеиста Буало неизменно выступает как поборник разума, авторитет, на который поэт опирается в борьбе с невежественными шишковистами.

«Дай бог <...>
Чтобы Шихматовым на зло
Воскреснул новый Буало —
Расколов, глупости свидетель». ⁴⁷

В послании «К Жуковскому» вслед за выпадом против «Беседы» («Варяжские стихи визжит Варягов строй») следует:

«Явится Депрео, исчезнет Шапелен.» ⁴⁸

В. Л. Пушкин программному посланию «К Д. В. Дашкову» предпосылает эпиграф из Буало. В сходной функции фигурирует и имя Расина. Классицизм — искусство, опирающееся на разум, отрицательно относящееся к традиции — исторической и церковной — не мог быть основой для контрреволюционного традиционализма. Творчество беседчиков — от одаренного Шихматова-Ширинского до бездарного Евстафия Станевича — опиралось на предромантическую теорию искусства, в ее специфическом истолковании русской масонской эстетикой XVIII в. Здесь мы встречаем и аллегоризм, и напряженную эмоциональность, и культ Клопштока и Мильтона, и, главное, атмосферу иррациональности, характерную для творчества А. М. Кутузова, позднего Хераскова и т. д.

⁴⁶ Там же, л. 18 об. Показателен интерес Вяземского к «Куму Матвею» — одному из наиболее резких антирелигиозных романов XVIII в. (Остафьевский архив, т. I, стр. 83). Автор — Дюлоран (Le compère Mathieu par Dulaurens), русский перевод П. А. Пельского в 1803 г.

⁴⁷ Пушкин, Полн. собр. соч., Изд. АН СССР, 1937, т. I, стр. 181.

⁴⁸ Там же, стр. 196 и 197.

Творчество Жуковского противостояло художественной практике «Беседы» в вопросах языка и стиля и в целом ряде общезстетических проблем. Однако в одном, чрезвычайно существенном аспекте — отрицательном отношении к просветительскому наследию, тяге к иррациональному — они совпадали. В этом смысле отгородить поэтику сокровенных мистических тайн (напр., в творчестве Шихматова) от поэтики Жуковского было нелегко. Неслучайно упрек в непонятности, постоянно адресуемый Вяземским и молодым Пушкиным «Бибрису» и «шахматно-пегому гению», мог быть (а в дальнейшем и был) обращен против Жуковского.

В этом смысле знаменательно демонстративное тяготение Вяземского и молодого Пушкина к традиции французской поэзии с ее подчеркнуто четким, прозрачным стилем и отталкивание от «бесмыслицы» предромантической стилистики.

Однако атеистические настроения Вяземского этих лет отгораживали его не только от лагеря реакции. Указание на принадлежность того или иного деятеля интересующей нас эпохи к «либеральному лагерю» порой оказывается еще недостаточным для определения его реального исторического места. Либеральный лагерь этого периода весьма емок, исполнен различных оттенков, причем те или иные его варианты, практически неразличимые в условиях 1815—1818 гг., в исторической перспективе могут являться исходными точками становления различных, порой враждебных, группировок. В первые годы после окончания наполеоновских войн реакционная сущность придворного мистицизма еще не раскрылась перед современниками. Глубоко прав был А. Н. Шебунин, писавший, что «конечно, не Священный Союз и не мистика в 1816 г. отталкивали прогрессивную часть дворянства от реакционной. Образование Священного Союза, как мы видели, не встретило протеста со стороны такого убежденного либерала, как Н. И. Тургенев. Мистика же отталкивала скорей Шишкова, сторонника церковного православия, чем А. И. Тургенева, активного деятеля библейского общества, или В. А. Жуковского».⁴⁹

А. Н. Шебунин не учел лишь того, что либеральный лагерь этих лет не был единым. В частности, отрицательное отношение к религии и мистицизму составляло одну из потенциальных граней будущего размежевания передовой дворянской общественной мысли и правительственного лагеря. Это уже в 1815 г. выделило Вяземского и молодого Пушкина из числа других арзамасцев. В 1819 г. Вяземский и А. И. Тургенев резко разойдутся в оценке речи М. Орлова в киевском отделении Библейского общества. К этому времени отличия в позиции друзей будут уже явными, и Вяземский в резкой форме напишет А. И. Тургеневу: «Воля твоя и всех православных, ваши общества никакой народ-

⁴⁹ Декабрист Н. И. Тургенев, Письма к брату С. И. Тургеневу, стр. 27.

ной прибыли не принесли. Я ручаюсь, что в городах изо ста простолудинов едва ли у одного сыщется библия, а в деревнях о ней и слуха нет. Они все разошлись по барам, которые держат библию у себя в доме, как вельможи Александра держали шею на стороне. Вот и вся тут недолга. А вы своими отчетами только морочите людей, и то по условию взаимному; кстати спросить, кого здесь обманывают? Спросите у России: все голоса сольются в один анти-библейский. Иные видят в обществе зло, другие — дурачество». ⁵⁰ Когда в 1819 г. Сперанский перевел сочинения Фомы Кемпийского, Вяземский в резкой эпиграмме назвал его «угодником самовластья» и далее, в письме А. И. Тургеневу, писал: «Он поставил в дураки своего Фому, который говорил: «Человек имеет два крила, на коих может воспарить от вещей земных: простоту и чистоту». Он навязал себе два лучшие крила: ханжество и подлость. Как можно себя унижить до такой степени, чтобы промышлять этою дрянью; и как можно унижить людей до того, чтобы требовать от них такие дурачества! Нет сомнения, что ни со стороны требующей, ни со стороны угождающей нет никакой искренности. Что за юродливость такая! Тьфу, чорт вас всех побери!» ⁵¹ А еще за полтора года до этого письма, летом 1818 года, он писал Воейкову: «При Александре Македонском, если бы я и был кривошеею, то старался бы как-нибудь скрыть этот недостаток; у нас, в наше время, если бы я был набожен, то был бы про себя, чтобы не замешаться в ряды ханжей и обезьян» ⁵². В указанном смысле из арзамасцев настроения Вяземского разделял только А. С. Пушкин с его демонстративным культом «святой библии Харит» — «Орлеанской девственности» Вольтера и, совершенно в тон Вяземскому, выпадами против

«Святых невежд, почетных подлецов
И мистики придворного кривлянья». ⁵³

Из подобных предпосылок вытекало отрицательное отношение к библейской стилистике в поэзии, неоднократно выражавшееся Вяземским в те годы.

Однако, отгораживая поэта от более умеренных единомышленников и прямо реакционных противников справа, эта же самая тенденция свидетельствовала об ограниченности его возможностей слева.

Формирующиеся тайные организации декабристов сразу же встали перед необходимостью выработки художественного стиля, который мог быть легальным адекватом нелегальных политических устремлений. Потребовалась поэзия политической тайнописи, емкая по общественно-эмоциональной насыщенности.

⁵⁰ Остафьевский архив, т. I, стр. 346—347.

⁵¹ Там же, стр. 358.

⁵² ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, ед. хр. 1234, л. 13.

⁵³ Пушкин, Поли. собр. соч., т. II, кн. I, стр. 115.

Церковная литература выработала вековую традицию аллегорического толкования библейских текстов. Это превращало усвоенный русской поэзией XVIII в. обширный ассортимент ветхозаветных образов (новый завет, пронизанный идеей смирения, меньше подходил для революционной символики; Пушкин позже, переводя тексты священного писания на современный ему язык политики, иронически назвал Христа «умеренным демократом») в готовый арсенал конспиративной поэзии. Именно так использовался библейский стиль Ф. Глинкой, М. А. Дмитриевым-Мамоновым. Подобный стиль был чрезвычайно характерен для ранних, еще не свободных от заговорщической тактики, организаций декабризма. Вяземскому и Пушкину в этот период была и чужда идея конспирации, и непонятны порождаемые ею литературные формы. Когда же Вяземский и Пушкин (особенно последний) приблизились к вопросам конспиративной поэзии, само понятие конспирации, тайнописи для декабристов уже стало иным (изменилась тактика), и «библейский стиль» оказался для самих декабристов пройденным этапом.

Первое соприкосновение Вяземского с движением декабристов связано со вступлением в «Арзамас» Н. Тургенева, М. Орлова и Н. Муравьева.

Рассматривая этот начальный этап соприкосновения Вяземского с деятельностью тайных обществ, нельзя не отметить того, что первой декабристской организацией, с которой он столкнулся, явился Орден русских рыцарей и то мало нам известное общество, которое сложилось вокруг братьев Тургеневых. Вяземский оказывается связанным с М. Орловым, Н. И. Тургеневым, М. А. Дмитриевым-Мамоновым, А. М. Пушкиным⁵⁴, А. С. Мен-

⁵⁴ В работе «Матвей Александрович Дмитриев-Мамонов — публицист, поэт и общественный деятель» (Ученые записки ТГУ, № 78, Тарту, 1959, стр. 28) я высказал предположение, что членом Ордена русских рыцарей был не А. М. Пушкин, а А. Пушкин — член ложи Пламенеющей звезды. Изучение материалов заставляет отказаться от этого предположения. Алексей Михайлович Пушкин — лицо почти неизученное — был, видимо, человеком достаточно «левыми» взглядов. Хорошо осведомленный в делах Ордена русских рыцарей Д. Давыдов писал Вяземскому: «Пушкину Алексею мой большой поклон, так как будущему российскому Мирабо» (ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, ед. хр. 1801, л. 1. об.). Получив от Вяземского текст варшавской речи Александра I в 1818 г., А. М. Пушкин писал Вяземскому: «Наши бригадиры (термин, введенный Вяземским для обозначения московского барства, отставшего от века и живущего еще представлениями XVIII столетия — Ю. Л.) <...> от горя такой получили спазм в горле, что не могут пропустить ни ложки ботвиньи, ни куска стерляди, а трое чуть-чуть кулебякою не подавились <...> Речь превосходная и совершенно в моем вкусе, жаль только, что по справедливости мы подобной не заслуживаем. Мы только умеем живо чувствовать, когда поставить ремиз в бостон, а страждущее человечество не нарушает нашего спокойствия» (ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, ед. хр. 2610, лл. 1—1 об.). Вяземского и А. М. Пушкина связывала длительная дружба («Я привык тебя любить еще с детства», — писал А. М. Пушкин в том же письме). И после отъезда Вяземского в Варшаву между ними продолжалась переписка. Любопытно, что письма, видимо, неудобные для пересылки почтой, передавались, среди прочих лиц, и через М. Лунина (там же, л. 13).

шиковым, Д. Давыдовым. Позже в круге его знакомств мы видим и С. И. Тургенева. Однако в 1817 г. степень близости к перечисленным лицам не одинакова. А. М. Пушкин и А. С. Меншиков, видимо, вообще стояли в стороне от активной конспиративной деятельности. Д. Давыдов, по предположению М. В. Нечкиной⁵⁵, примыкал к Ордену русских рыцарей. Однако, по всей вероятности, привлеченный к участию в нем горячей личной привязанностью к М. Орлову, он не разделял до конца политических идеалов своего друга.⁵⁶ На первом месте по близости к Вяземскому в эти годы стояли М. Орлов и Н. Тургенев. Это тем более примечательно, что, казалось бы, отношения с Мамоновым могли быть более тесными. Вяземский и Мамонов, бесспорно, издавна слышали друг о друге, как соседи по именьям. Живя одновременно в Москве, они принадлежали по рождению к одному и тому же кругу; связывало их и родство Вяземского с Карамзиным, а Мамонова с Дмитриевым.

А между тем, вплоть до 1821 г. мы не располагаем свидетельствами о каких-либо попытках Вяземского сблизиться с Мамоновым. Это, видимо, не случайно. Мамонов был убежденным заговорщиком — Вяземский — не менее убежденным сторонником легально-конституционных устремлений.

Приход М. Орлова, Н. Тургенева и Н. Муравьева в «Арзамас» свидетельствовал о том, что обе тайные организации — Союз Спасения и Орден русских рыцарей — стояли на пороге перехода к новым идейно-тактическим установкам. Интерес к легальным формам пропаганды, стремление расширить круг общественного влияния были предзнаменованиями перехода к установкам Союза Благоденствия. В каждом обществе были противники отказа от строго конспиративной тактики (Пестель, Мамонов) и сторонники новых установок. К последним, бесспорно, принадлежали Н. Тургенев и Н. Муравьев. Что касается до М. Орлова, то в отношении его к тактике влияния на широкое общественное мнение именно в это время произошел перелом. Показательна фраза, брошенная Н. И. Тургеневым в письме к С. И. Тургеневу от 5 декабря 1817 г.: «Я рад, что Ор<лов> сблизается с филантропизмом, кот<орый> нельзя отделить от либеральных идей и против которого он прежде восставал».⁵⁷

В этом замечании, беглость которого связана с тем, что речь

⁵⁵ М. В. Нечкина, Движение декабристов, М., Изд. АН СССР, 1955, т. I, стр. 134.

⁵⁶ В письме Вяземскому от 28 июля 1818 г. Д. Давыдов писал: «... Я Орлова очень и очень люблю, но, правду сказать, несчастье мое (речь идет о разлуке с любимой женщиной — Ю. Л.) неподвластно его утешению; надо человека, которого бы сердце отвечало моему, а Орлов слишком занят отвлеченною своею химерою, чтобы понять меня» (ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, ед. хр. 1801, л. 8). Характерно и скептическое отношение к идеалам Орлова, и то, что Давыдов не поясняет своих слов об «отвлеченной химере», считая, что воззрения Орлова не составляют для Вяземского тайны.

⁵⁷ Декабрист Н. И. Тургенев, Письма к брату С. И. Тургеневу, стр. 243.

шла о вещах, хорошо известных обоим корреспондентам, характерно и указание на бывшее отрицание методов, воспринятых позже Союзом Благоденствия, и указание на изменение отношений к этим методам. Участие в «Арзамасе», пропаганда идеи арзамасского журнала, позже — введение ланкастерской методы обучения в Киевском военно-сиротском училище, речь в собрании Библейского общества Киева — такова цепь «филантропических» действий Орлова в 1817—1818 гг. Все это были яркие выражения поисков новой тактики.

И если революционно-конспиративная деятельность первых декабристских организаций, бесспорно, была чужда умонастроениям Вяземского тех лет (вне зависимости от того, имел ли он сведения о существовании этих обществ или нет), то новые установки во многом перекликались с его взглядами.

Политическая оппозиционность Вяземского начала оформляться вскоре после окончания войн 1812—1815 гг. Эти настроения выделяли Вяземского из круга других карамзинистов. В письме к Батюшкову он писал: «Я согласен с тобою: *la Russie est triste pays*». ⁵⁸ В 1816 г. он пишет А. И. Тургеневу из Москвы: «Надобно действовать, но где и как? Наша российская жизнь есть смерть. Какая-то усыпительная мгла царствует в воздухе, и мы дышим ничтожеством». ⁵⁹

Жажда общественной деятельности приводит Вяземского в «Арзамас». В эту пору литературные интересы уже не поглощают его полностью. При этом общественные воззрения его развиваются в том же направлении, в каком двигались мысли передовой молодежи, примыкавшей к Союзу Благоденствия. Весной 1817 г., видимо, под влиянием Н. Тургенева, Вяземский принялся за изучение политической экономии. Об этом мы узнаем из упоминания Карамзина, который писал ему 26 марта 1817 года: «Радуюсь вашим успехам в политической экономии, любезнейший князь; желаю вам постоянства и твердости». ⁶⁰

Увлечение политической экономией — характерная черта для передовой молодежи тех лет. Приватные лекции по этому предмету в конце 1816 — начале 1817 гг. слушают члены «Священной артели». ⁶¹ Эти же лекции посещал и Пестель ⁶² и другие члены Союза спасения. В 1818 году вышло первое издание «Опыта теории налогов» Н. И. Тургенева, в котором так определялось значение экономических наук: «Занимающийся полити-

⁵⁸ Архив ИРЛИ (Пушкинского Дома) АН СССР, ф. 19, № 28, л. 21 об. Россия — печальная страна. — *франц.*

⁵⁹ Остафьевский архив, т. 1, стр. 38.

⁶⁰ Письма Н. М. Карамзина к князю П. А. Вяземскому, Спб., 1897, стр. 27.

⁶¹ См. М. В. Нечкина, Священная артель. Кружок Александра Муравьева и Ивана Бурцева 1814—1817 гг., сб. Декабристы и их время, Материалы и сообщения, Изд. АН СССР, М.—Л., 1951, стр. 169—170; М. В. Нечкина, Движение декабристов, т. 1, Изд. АН СССР, М., 1955, стр. 128.

⁶² Б. Е. Сыроечковский, П. И. Пестель и К. Ф. Герман, Ученые записки МГУ, вып. 167, 1954, стр. 177.

ческою экономией <...> невольно привыкает ненавидеть всякое насилие, самовольство и в особенности методы делать людей счастливыми вопреки им самим <...>, он приучается любить правоту, свободу, уважать класс земледельцев <...>. Он и здесь увидит, что все благое основывается на свободе, а злое происходит от того, что некоторые из людей, обманываясь в своем предназначении, берут на себя дерзкую обязанность за других смотреть, думать, за других действовать и прилагать о них свое мелочное и всегда тщетное попечение». ⁶³

Эту же характерную черту времени отметил и Пушкин в незавершенном романе в письмах: «Твои умозрительные и важные рассуждения принадлежат к 1818 году. В то время строгость правил и политическая экономия были в моде». ⁶⁴

К этому же времени относятся первые попытки участия Вяземского в «практической филантропии». Характерно, что в первом опыте на этом поприще он выступает совместно с А. М. Пушкиным.

Осенью 1816 г. в Москве дворянка Пушкина, по словам Вяземского, «однофамилька» А. М. Пушкина, «жертва несчастной любви» ⁶⁵, бежала с крепостным и вышла за него замуж. Вяземский и А. М. Пушкин организовали материальную помощь находившейся в бедственном положении чете. А. М. Пушкин передал им весь доход от перевода комедии «Игрок», Вяземский начал организовывать денежные сборы в Петербурге и с этой целью обратился к Тургеневым. Вяземский рассматривал это как служение делу свободы. Когда А. И. Тургенев отнесся к делу пренебрежительно, а супруга Пушкиной назвал «влюбленным холопом», Вяземский был охвачен негодованием и апеллировал к Н. И. Тургеневу как союзнику и единомышленнику. «Покайся сейчас же своему брату в антилиберальном прегрешении, а от любви заслужи прощение устройством судьбы четы несчастной, и сожаления и, даже, вопреки восклицаний беззубых бригадирш, уважения достойной; <...> очистишь от преступного выражения. Оно у меня сидит в горле: я его пропустить не могу». ⁶⁶

Однако вопросом, наиболее сблизившим в это время Вяземского, Николая Тургенева и Орлова, явилась идея издания журнала. Вяземский пришел к ней в результате эволюции творческих принципов, перемещения интересов из сферы чисто литературной и литературно-полемической в политическую, Н. Тургенев и М. Орлов — в результате отхода от тактики заговора к тактике пропаганды.

Активная деятельность Орлова, Н. Тургенева и полностью разделявшего их арзамасскую программу Вяземского, изме-

⁶³ Цит. по второму изданию: Опыт теории налогов, сочинение Николая Тургенева, второе издание, Спб., 1819, стр. IV, V, VI.

⁶⁴ Пушкин, Полн. собр. соч., т. VIII, кн. I, стр. 55.

⁶⁵ Остафьевский архив, т. I, стр. 55.

⁶⁶ Там же, стр. 76—77.

нила общую атмосферу в этом обществе: о серьезной деятельности заговорили А. И. Тургенев и Жуковский. Попытка изменить ориентацию «Арзамаса» удалась. В этой обстановке и сложилась написанная Вяземским программа журнала.

В составленном Жуковским протоколе заседания проект Вяземского выглядит несколько иначе, чем в специальной записке Вяземского по этому поводу. Здесь на первом месте стоит раздел политики:

«... В первом явлении предстала
С книгой журналов Политика, рот зажимая цензуре». ⁶⁷

Выпады Вяземского против цензуры находятся в прямом соответствии со словами в речи М. Орлова: «... Не будет у нас словесности до тех пор, пока цензура не примирится с здравым смыслом и не перестанет вооружаться против географических лексиконов и обверточных бумаг». ⁶⁸

Протест против цензуры — это уже не насмешки над беседчиками. Уже сам по себе он означал поворот в сторону политических интересов. И вместе с тем он свидетельствовал об оппозиционной направленности предполагаемых политических статей.

В предложенной Вяземским программе журнала существует, как мы уже говорили, кажущееся расхождение с пересказом ее Жуковским, где раздел политики помещен на третьем месте. Однако по существу Жуковский понял замысел Вяземского правильно: предполагаемый автором проекта в качестве первого отдела «Нравы» в действительности тесно соприкасался с политическими вопросами. Вяземский предлагал здесь «объявить войну непримиримую предрассудкам, порокам и нелепостям» и дать «картину нашего общества». ⁶⁹ О том, что картина эта должна была быть отнюдь не радужной, свидетельствуют первые же строки статьи Вяземского. «Глупость и бесчестие, — пишет он, — имеют свои приюты укрепленные: Академия и присутственные места». ⁷⁰ Показательно, что, назвав в качестве образцов для замышляемого журнала Карамзина и Новикова, Вяземский подчеркнул, что первому должно последовать в разделе словесности, видимо, представляя себе «нравы» как продолжение новиковской традиции. Не случайно раздел этот Вяземский предполагал назвать «Живописцем» в честь покойника». Сюда должны были войти «картины общих нравственных повестей, переписка со всеми губерниями, вымышленная или истинная, все равно, но вероятная; сатирические разговоры и проч.» ⁷¹

Следует иметь в виду, что в третьем разделе («Политика») предполагалось дать «простодушное изложение» «полезнейших

⁶⁷ Арзамас и арзамасские протоколы, Издательство писателей в Ленинграде, 1933, стр. 228.

⁶⁸ Там же, стр. 209.

⁶⁹ Там же, стр. 240.

⁷⁰ Там же, стр. 239.

⁷¹ Там же, стр. 241.

мер, принятых чуждыми правительствами для достижения великой цели: *силы и благоденствия народов*⁷² и этим «сделать в Китайской стене, отделяющей нас от Европы, не пролом, открытый наглости всех мятежных стихий, но, по крайней мере отверстие, через которое мог бы проникнуть луч света, сияющий на горизонте просвещенного света, и озарить мрак зимней ночи, обложившей нашу вселенную».⁷³

Сочетание первого и третьего разделов, конечно, не могло не образовать целого, цензурность которого была более чем сомнительна. Вместе с тем, и Вяземский, и Н. Тургенев⁷⁴ в это время еще предполагали, что социально-политическое преобразование России осуществится путём правительственного акта. Цель передовых деятелей состояла не только в распространении «здравых» политических понятий, пропаганде конституционных и антикрепостнических идей, но и в организации давления на правительство, стремлении парализовать влияние реакции на ход решения государственных дел. В это время возможность согласованных действий с правительством еще не исключалась, но мыслилась как сотрудничество не во имя исполнения собственных видов правительства, а ради осуществления программы социально-политического возрождения России. Надежды же, что правительство удастся увлечь на этот путь, еще не исчезли. Вопрос об отношении к правительству, видимо, возник сразу же после того, как дело организации журнала вступило в период осуществления. Прекрасно понимая, что об издании в России политического журнала, да еще критического направления, не заручившись поддержкой сверху, частным лицам нечего и думать, Вяземский взялся за нелегкую задачу доказать правительству необходимость существования подобного издания.

Видимо, с этой целью и была написана недатированная рукопись Вяземского, хранящаяся в архиве Тургеневых в Пушкинском Доме. Содержание и почерк позволяют ее предположительно датировать временем до поездки в Варшаву. В этом случае она могла быть написана лишь в 1817 г., в связи с проектом арзамасского журнала.

В записке Вяземский стремился убедить правительство в том, что издание подобного журнала соответствует интересам самого правительства. Общественное мнение, подчеркивал он, сделалось силой, без которой управление невозможно. Это понимали наиболее прозорливые монархи (Екатерина II, Наполеон):

«Наполеон, который не очень ухаживал за общим мнением, но для коего все средства властолюбия были по нраву, не пренебрегал и средствами убеждения. Не только журналы, брошюры писались под его диктовку, но рука его, которая, казалось, была довольно тверда собственною силою и силою

⁷² Курсив здесь и дальше — оригинала. Показательна даже терминологическая близость к декабристским высказываниям этого периода.

⁷³ Там же.

⁷⁴ М. Орлов в эту пору, видимо, уже был свободен от подобных иллюзий.

шпаги, всегда обнаженной, вооружалась нередко и пером. Наполеон — сочинитель журнальных статей есть блестящее свидетельство действительности письменной власти». ⁷⁵

В основе «Записки» Вяземского лежит мысль о невозможности задержать поступательное движение народов к просвещению и свободе. Активное участие народов в решении собственной судьбы — черта века. Правительство не может больше опираться только на «торжество силы физической».

«В наше время общее участие в деле общественном очевидно: оно, может быть, доходит до крайности и ведет за собою неминуемые злоупотребления; должно обнаруживать сии злоупотребления, но нельзя отвергнуть начало или не признавать его. Отрицать истину не есть обессилить ее. Хотите ли присвоить ее в похвалу свою — станьте в средоточие круга, который она обводит. Отступая от него, вы будете только вне круга движения, но движение не остановите. Один ребенок, закрывая глаза и ничего не видя, думает, что он воцарил тьму вокруг себя». ⁷⁶

Общее движение вперед не прошло и мимо России. Правительство обманывается, считая, что в русском обществе нет оппозиции.

«Недостаток гласности у нас не есть свидетельство безмолвия. Прислушайтесь в толки столичных гостинных, в толки губернских дворянских съездов, и вы удостоверитесь, что у нас есть свои трибуны, свои оппозиционные словесные журналы». ⁷⁷

Предложение Вяземского должно было прозвучать для правительственных кругов как парадокс: он не предлагал борьбы с оппозиционными, критическими настроениями. Напротив, он считал необходимым организовать эти силы, дать им оформиться, чтобы в дальнейшем на них опереться в преобразовательной деятельности. Вяземский хотел не оппозицию привлечь на сторону правительства, а правительство перетянуть в лагерь оппозиции.

Средством организации и объединения разрозненных сил противников реакции и должен служить журнал.

«Сие общее *фрондерство*, сия разбитая на единицы оппозиция не есть у нас политическая власть потому только, что она не приведена в политическую систему, но не менее того она в России — естественное противодействие действию правительства, тем более, что она — естественный результат русского характера и в русской крови». ⁷⁸

Именно поэтому необходима организация журнала, который был бы выражением политических настроений общества. Поставленный в положение полной независимости и свободы мнений, журнал сможет готовить умы к общественным преобразованиям, которые должны явиться целью правительственной деятельности. Вяземский считал, что «в России более, нежели

⁷⁵ Архив ИРЛИ (Пушкинского Дома) АН СССР, ф. 309, № 5017, л. 1.

⁷⁶ Там же, лл. 1—1 об.

⁷⁷ Там же, л. 1 об.

⁷⁸ Там же.

где-нибудь, правительство должно иметь литературу союзницею себе, но союзницею добровольною, бескорыстною, благодарною». ⁷⁹ И далее:

«Журнал политический, административный, литературный, образовательный, по всем частям входящий в состав истинной государственной образованности, был бы у нас весьма важное и полезное явление. Составление его должно бы явиться правительственною мерою, вверенною исполнению людей с дарованием и благородством в мыслях, в чувствах, имени чистого, чести несомнительной. В сей журнал входили бы все виды правительства до обличения их в закон. Сей журнал был бы не только отголоском, но и указателем правительства. Он приучал бы умы к умеренному и полезному исследованию вопросов, возбуждающих участие каждого русского, как современника европейских событий и гражданина России. Ныне русские поставлены между извержением огнедышащих мнений иноплеменных, между волканической литературою французскою и замерзлым прудом русской литературы. Нам нужно непременно иметь теплые ключи целительные, живой воды для избежания невыгод, следующих за двумя крайностями». ⁸⁰

Трудно сказать, успел ли Вяземский тогда же, в 1817 г., дать своей «Записке» ход, или она осталась в его бумагах. Вероятнее второе.

Вполне возможно, что он пробовал использовать ее при попытках организовать варшавский журнал. Однако, в дошедшем до нас тексте нет связи со специфическими условиями Польши, а в более позднее время идея сотрудничества с правительством стала для Вяземского уже анахронизмом. 1818—1819 гг. — время особенно активной борьбы Союза Благоденствия за легальные каналы влияния на общество. Идея организации периодических изданий, служащих делу пропаганды идеалов тайного общества в границах, допускаемых условиями легальности, — одна из наиболее характерных черт тактики Союза Благоденствия в эти годы.

Организация журнала становится одним из самых устойчивых стремлений Вяземского в эти годы. Сразу же по приезде его в Варшаву в переписке с М. Орловым возникает вопрос о реализации арзамасских планов. 23 апреля 1818 г. он пишет Н. Тургеневу из Варшавы: «А что делает наш арзамасский журнал и журнальный бунтовщик Рейн? Пишет ли он к Вам? Мне сказывали, что он затопил сердитыми валами своими глиняные поля «Русской истории» Глинки. Не дошло ли до Вас чего-нибудь». ⁸¹ В борьбе за организацию журнала Вяземский, Орлов, Н. Тургенев выступают как соратники. 3 июня 1818 г. Вяземский пишет А. И. Тургеневу:

«Я получил на днях письмо от Рейна; он в душе своей празднует царскую речь и оплакивает смерть арзамасских надежд, то-есть надежд на журнал.

⁷⁹ Там же, л. 1 об.

⁸⁰ Там же, л. 2.

⁸¹ Рукописное собрание ГПБ им. Салтыкова-Щедрина, Архив П. А. Вяземского (ф. 167), ед. хр. 36 (листы не нумерованы). Выступление М. Орлова против исторических сочинений С. Глинки пока не обнаружено.

Я в этом ему товарищ. Хороший журнал теперь был бы в самую пору, и назвать бы его «Восприемником». Он за толпу дул бы и плевал, отрекался бы за нее от сатаны и всех дел его, сочелся бы с Христом (но только не Лабзинским) и принял бы из купели новорожденное просвещение и показал бы его народу». ⁸²

Зимой 1819 г. возник проект издания журнала, выдвинутый Н. И. Тургеневым. Круг предполагаемых сотрудников при этом расширялся. Журнал должен был опираться на петербургскую группу Союза Благоденствия, ⁸³ кружок, группировавшийся вокруг С. Тургенева за границей, Вяземского в Варшаве и, бесспорно, Орлова в Киеве. Из известных литераторов предполагалось привлечь Жуковского («Жуковский участвует по литературе», — писал Н. И. Тургенев брату Сергею) и Пушкина. «Я много надеюсь на корреспондентов, в особенности на к<нязя> Вяземского. Старынкевич может нам сообщить весьма интересные статьи. Поговори с ним об этом. Сведения его по юриспруденции могут пролить свет и на наше законодательство. По возможности мы будем писать против рабства». ⁸⁴ Со своей стороны, Вяземский также готовился оказать активную поддержку журналу Н. Тургенева. В письме А. И. Тургеневу от 24 марта 1819 г. он спрашивал: «Что делает журнал Николая Ивановича, голубь спасения, вестник берега свободы». ⁸⁵

Когда выяснилась призрачность надежд на возможность издания журнала в Петербурге, Вяземский предложил М. Орлову организовать подобное издание в Киеве. Орлов отверг эту идею из-за отсутствия в Киеве сотрудников. «Самое настоящее место для издания журнала — это Варшава», — писал он. ⁸⁶ При этом М. Орлов указывал на благоприятное обстоятельство — существование в Варшаве свободы слова, гарантированной конституцией Царства Польского. Предвидя неизбежные трудности («Я знаю, как трудно сие исполнить»), М. Орлов считал, что «проект журнала должен быть составлен в самом умеренном духе». ⁸⁷

Однако подлинные установки журнала мыслились совсем не «в умеренном духе», причем Орлов рассматривал Вяземского как полного единомышленника в этом вопросе: «У тебя есть голова и перо, у тебя родилось, судя по письму твоему, то священное пламя, которое давно согревало мое сердце и освещало мой рассудок. Тебе предстоит честь и слава». ⁸⁸ Ядро сотрудни-

⁸² Остафьевский архив, т. I, стр. 107.

⁸³ См. Н. И. Тургенев, Дневники и письма, т. III, стр. 367; Н. И. Пущин, Записки о Пушкине. Письма, Гослитиздат, 1956, стр. 71—72.

⁸⁴ Декабрист Н. И. Тургенев, Письма к брату С. И. Тургеневу, стр. 274.

⁸⁵ Остафьевский архив, т. I, стр. 206.

⁸⁶ Литературное наследство, т. 60, кн. I, М., Изд. АН СССР, 1956, стр. 26.

⁸⁷ Там же, стр. 27.

⁸⁸ Там же.

ков должны были составить Вяземский, Никита Муравьев, Михаил Орлов, Николай и Сергей Тургеневы. В качестве зарубежных корреспондентов Орлов предлагал включить арзамасцев: Дашкова, находящегося в Константинополе, и Блудова — в Лондоне. Нет никаких сомнений, что журнал с таким составом участников был бы рупором идей Союза Благоденствия. И то, что Вяземскому в нем отводилась не простая роль сотрудника — на него возлагалось руководство изданием, — свидетельствует, что Орлов не сомневался в политическом единомыслии его с другими членами редакции.

Попытки организовать журнал не увенчались, однако, и на сей раз успехом. Вяземский в письме к С. И. Тургеневу процитировал собственное выражение из письма Орлову: «... В обширной спальне России никакие будильники не допускаются, и я намерения своего в дело произвести не мог». ⁸⁹

Расхождение идейно-теоретических установок Вяземского и карамзинистов старшего поколения, а также Жуковского, Блудова, Дашкова к этому времени было уже весьма значительным. Жуковский, еще будучи редактором «Вестника Европы», подчеркнул не только свое отрицательное отношение к полемике, но и полное равнодушие к политическим вопросам. Он уничтожил политический отдел в журнале, изменив облик, приданный изданию его первым редактором — Карамзиным. 15 сентября 1809 г. Жуковский писал А. И. Тургеневу: «Я уже отпел панихиду политике и нимало не опечален ее кончиною. Правда, она отымает у моего журнала несколько подписчиков, — но так тому и быть». ⁹⁰

Для Вяземского журнал сделался высшим выражением литературной жизни, а поэт рисовался не возвышенным мечтателем и не праздным ленивцем, а полемистом, сатириком и, прежде всего, — политическим деятелем, черпающим вдохновение в газетных известиях о борьбе свободы и деспотизма. В 1819 г. он обронил фразу: «Видно, мне на роду написано быть конституционным поэтом». ⁹¹ Связь литературы и политики представляется ему естественной. Поэтому его не устраивает безличность современных ему журналов, отсутствие четкой политической программы: «Журналу должно иметь свою физиогномию, свой взгляд, свой дух. Все наши журналы — школьные архивы ученических опытов». ⁹²

* * *

В начале 1818 года Вяземский прибыл в Варшаву. Как мы видели, к этому времени он уже был не только фрондером

⁸⁹ Архив бр. Тургеневых, вып. 6, Пг., 1921, стр. 8.

⁹⁰ Письма В. А. Жуковского к А. И. Тургеневу, М., Изд. «Русского архива», 1895, стр. 47.

⁹¹ Остафьевский архив, т. I, стр. 251.

⁹² Там же, т. II, стр. 149.

и «либералистом», а человеком, чья деятельность практически совпадала с легальной стороной действий членов Союза Благоденствия.

Н. Кутанов (С. Н. Дурылин) в статье «Декабрист без декабря» утверждает, что в это время расхождений между правительством и Вяземским не было. «Убеждения либералиста-поэта и либералиста-императора, по-видимому, совпадали». ⁹³ С ссылкой на «Мою исповедь» С. Н. Дурылин утверждает, что «Вяземский был в праве считать умеренные заповеди своего либерализма параграфами правительственной, явной и тайной, программы». ⁹⁴ Он считал, «что его конституционализм и либерализм — самый последовательный и искренний легитимизм». ⁹⁵ Однако, необходимо иметь в виду, что «Моя исповедь» — документ, составленный в конце 20-х годов с целью самооправдания и для таких читателей, как Бенкендорф и Николай I. Вяземский в нем систематически затушевывает остроту своей политической позиции начала 20-х гг. Обращение к документам рисует картину значительно более сложную.

Круг, в котором вращался Вяземский в 1817 г. — Н. Тургенев и М. Орлов — был весьма далек от восхищения реальным правительственным курсом или личностью Александра I. Служебная атмосфера, окружавшая Вяземского в Варшаве, и наблюдения над политической жизнью Польши также не способствовали укреплению доверия к либеральным намерениям правительства. Если еще в 1817 г. Вяземский, как и Н. Тургенев, склонен был считать, что благоденствие народа зависит от хорошо составленной конституции, от того, как будет сформулирована та или иная статья закона, то теперь он столкнулся с расхождением между правами, торжественно прокламированными и закрепленными конституционным актом, и реальной практикой деспотического правления. Уже в 1818 г. Вяземский понял, что «Уставная грамота их (поляков — Ю. Л.), если напечатана на мягкой бумаге, то может быть какой-нибудь пользы». ⁹⁶ Сообщая А. И. Тургеневу об очередном самоуправстве великого князя Константина Павловича, Вяземский с горечью добавлял: «И нога моя топчет конституционную землю». ⁹⁷ О том, как описывал Вяземский друзьям конституционные порядки в Польше, свидетельствует ответное письмо к нему Д. Давыдова: «Что ты умолк, любезный друг? Не от удовольствия ли жить в свободном краю, огражденном осмьюстами тысяч русских штыков, и среди вольных прений, заглушаемых

⁹³ Н. Кутанов, Декабрист без декабря, сб. «Декабристы и их время», т. II, М., 1932, стр. 203.

⁹⁴ Там же, стр. 205.

⁹⁵ Там же, стр. 206.

⁹⁶ Остафьевский архив, т. I, стр. 148.

⁹⁷ Там же, стр. 268.

барабанами и командными словами вахтпарадов?»⁹⁸ Слово «конституция» начинает употребляться Вяземским в ироническом контексте. В ноябре 1818 г. он пишет находящемуся в Константинополе Дашкову. В письме Вяземский с ироническим намеком на положение в Варшаве говорит о «либеральной конституции выпренной Отоманской порты».⁹⁹ Эти наблюдения, начавшиеся с первого дня пребывания в Варшаве, оформились в прочное убеждение в том, что после того, как конституция дарована, предстоит борьба с правительством за ее реальное осуществление. Мысль эту предельно четко Вяземский выразил в известном письме к Орлову: «Что делают в Польше? — Люди благоразумные и благомыслящие стараются разгадать, имеет ли Польша какое-нибудь бытие историческое или только газетное, и то, что написано на бумаге, может ли быть приведено в наличное».¹⁰⁰ В кругах, с которыми Вяземский сталкивался по служебным делам, отношение к либеральным обещаниям Александра I в варшавской речи 1818 г. также было скрыто-ироническим. Великий князь Константин Павлович чувствовал себя в Польше удельным князем, не любил Аракчеева и, в рамках допустимого, фрондировал по отношению к петербургским властям. Добываясь личной преданности, он охотно принимал на службу «гонимых» и склонен был смотреть сквозь пальцы на критику правительственных действий, если она направлена была в адрес петербургских властей и не задевала его лично. Несмотря на открытую «либеральность» Вяземского, великий князь склонен был до определенного времени с ним заигрывать. В мае 1819 г. А. Я. Булгаков писал брату из Варшавы о том, как он представлялся великому князю: «Тут Вяземский был для компании. В <еликий> князь долго держал В <яземского> в кабинете и очень его обласкал, показывает войско, угощает и пр».¹⁰¹ Вяземский не обольщался ласками брата царя. Отрицательное отношение к Константину Павловичу установилось у него давно, прочно и не менялось. Еще в 1815 г. он писал Батюшкову: «Прости, любезный, милый Константин [слава богу, не Павлович]!» (последние слова густо зачеркнуты).¹⁰²

Однако близость к высшим сферам варшавского правительства позволяла Вяземскому получать политическую информацию из первых рук. К речи Александра I в сейме в 1818 г., да и ко всей парламентской процедуре, в кругах, близких к великому князю, относились с солдатски-прямолинейной насмешливостью. Константин Павлович писал Н. М. Сипягину — своему

⁹⁸ ЦГАЛИ, ф. 195, оп. I, ед. хр. 2324, л. 17.

⁹⁹ Рукописное собрание ГПБ им. Салтыкова-Щедрина, Архив Вяземского (ф. 167), № 24, л. 1 об.

¹⁰⁰ Архив бр. Тургеневых, вып. 6, стр. 377.

¹⁰¹ Русский архив, 1900, № 3, стр. 201.

¹⁰² Архив ИРЛИ, ф. 19, № 28, л. 5 об.

другу и доверенному лицу: «Посылаю вам экземпляры программы бывшей здесь 15-го (27-го) числа в замке пьесы gratis, на которой я фигурировал в толпе народа, играя роль пражского депутата по избрании меня в оные обывателями варшавского предместья Праги. Пьеса сия похожа на некоторую русскую комедию, когда чихнет кто впереди, то наши братья депутаты всей толпой отвешивают поклоны». ¹⁰³

При разговоре с Вяземским Константин Павлович также не удержался от иронического каламбура, который был записан его собеседником уже в глубокой старости. «Константин Павлович, в <еликий> к <нязь>, — продиктовал Вяземский запись в «Алфавите имен и списке лиц, припоминаемых Вяземским П. А.», — на Варшавском сейме — нунций от Праги. По закрытии сейма, говорил: *Nous sommes denoncés (nonce)*». ¹⁰⁴

Как же отнесся к варшавской речи Александра I Вяземский? Считал ли он ее, действительно, как полагал С. Н. Дурьлин, выражением своих идеалов?

Обращение к документальному материалу показывает, что Вяземский был весьма далек от наивных восторгов и уж, конечно, не отождествлял своих воззрений с расчетами венценосного оратора. Сразу же по горячим следам событий Вяземский отправил Н. И. Тургеневу французский текст речи — печатную листовку «Discours prononcé par Sa Majesté l'empereur et roi à l'ouverture de la diète du Royaume de Pologne le 15/17 mars 1818 à Varsovie» — с дарственной надписью: «Варшавский подарок Николаю Ивановичу Тургеневу от Вяземского». ¹⁰⁵ Наиболее важные места Вяземский отчеркнул на полях волнистой линией, а около

¹⁰³ Н. К. Шильдер, Император Александр Первый, его жизнь и царствование, т. IV, стр. 88. Анализ этой цитаты и других общественных откликов на речь Александра I см.: А. В. Предтеченский, Очерки общественно-политической истории России в первой четверти XIX века, М.—Л., Изд. АН СССР, 1957, стр. 376—380. Попутно возникает вопрос: о какой «русской комедии» с участием чихающего царя (слова «кто впереди» — прозрачная зашифровка) и кланяющихся придворных идет речь? Комедия с подобным содержанием нам неизвестна. Если считать, что слово «комедия» не должно истолковываться как точное жанровое определение, то ситуация поразительно напоминает известное место в «Спасской Полести» «Путешествия из Петербурга в Москву»: «... Ланитные мышцы нечувствительно стянулись ко ушам моим и, растягивая губы, произвели в чертах лица моего кривление, улыбке подобное, за конем я чхнул весьма звонко. Подобно как в мрачную атмосферу, густым туманом отягченную, проникает полуденный солнца луч, летит от жизненной его жаркости сгущенная парами влага <...> Тако при улыбке моей развеялся вид печали, на лицах всего собрания поселившийся; радость проникла сердца всех быстротечно, и не осталось косога вида неудовольствия нигде. Все начали восклицать: «Да здравствует наш великий государь, да здравствует на веки!» (А. Н. Радищев, Поли. собр. соч., т. I, М.—Л., Изд. АН СССР, 1938, стр. 250).

¹⁰⁴ ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, ед. хр. 972, л. 43. Мы отреклись — франц. Непереводимая игра слов.

¹⁰⁵ Хранится в Тургеневском архиве, в рукописном собрании ИРЛИ (Пушкинского Дома), ф. 309, № 3828.

центрального — обещания царя распространить «законно-свободные учреждения на все пространство земель, вверенных провидением моим заботам» — написал иронически: «Soyez cela et buvez de l'eau». ¹⁰⁶ 23 апреля 1818 г. он писал тому же Н. И. Тургеневу: «Посылаю Вам, любезнейший Николай Иванович, продолжение журнала варшавского сейма. Что скажете вы о наших законоположительных речах и законносвободных обещаниях? Да придет царствие твое! Не так ли? Va-t-en voir, s'ils viennent, Janeau, va-t-en voir s'ils viennent!» ¹⁰⁷.

Во французских репликах уже звучит сомнение в реальности обещанного. Развернутая оценка речи дана в письме А. И. Тургеневу от 3 июня 1818 г. Вяземский допускает, что за сеймовой речью может последовать и исполнение обещаний — дарование России конституции. «Речь государя, у нас читанная, кажется, должна быть закускою перед приготовляемым пиром». Однако Вяземский вполне допускает и другую возможность — сознательный обман общественности: «Пустословия тут искать нельзя: он говорил от души или с умыслом дурачил свет.» Но и в последнем случае речь может принести пользу — на нее можно будет опереться, когда придется оказывать на правительство давление. «На всякий случай я был тут арзамасский уполномоченный слушатель и толмач его у вас. Можно будет и припомнить ему, если он забудет». ¹⁰⁸ Необходимо заметить, что в этом контексте «Арзамас» понимается не как конкретное, уже распавшееся, литературное общество с четкой организационной структурой, а как некое духовное братство разбросанных в разных городах свободолюбцев. При этом ясно, что не все реальные арзамасцы мыслятся членами этого политического «Арзамаса». Всего за десять дней до цитированного выше письма Вяземский упоминал в переписке «либеральные идеи, которые у нас переводят законносвободными, а здесь можно покуда назвать арзамасскими». ¹⁰⁹

Вместе с тем, варшавская речь оскорбила патриотическое чувство Вяземского, как и большинства декабристов. Он писал: «Нельзя однако же русскому не пожалеть, что, между тем как поляки посылают представителей, судят и отвергают проекты законов, мы не имеем права говорить о ненавистном рабстве крестьян, не смеем показывать всю его мерзость и незаконность». ¹¹⁰ А через несколько дней он снова вернулся в письме к этому вопросу: «Зачем говорить полякам о русских надеждах! Дети ли мы, с которыми о деле говорить нельзя? Тогда нечего и думать о нас. Бойтся ли он слишком рано проговориться?

¹⁰⁶ Верьте этому и попивайте водичку. — *франц.*

¹⁰⁷ Поди-ка погляди, не идут ли, Ванюша, поди-ка погляди! — *франц.*

¹⁰⁸ Остафьевский архив, т. I, стр. 105.

¹⁰⁹ Там же, стр. 102.

¹¹⁰ Там же, стр. 103.

Но разве слова его не дошли до России? Тем хуже, что Россия не слыхала их, а только подслушала». ¹¹¹

Таким образом, выступление царя в сейме вызвало у Вяземского сложное чувство, в котором надежда сочеталась с недоверием и досадой и которое менее всего походило на восторг и безоговорочное принятие. Любопытно, что Вяземский почувствовал необходимость проверить свое впечатление мнением Орлова. «Любопытно знать мнение Рейна о новых чудесах царства Польского. Что касается до меня, то я, право, не имею еще никакого положительного об этом мнения». ¹¹²

Период 1818—1821 гг. (до изгнания Вяземского из Варшавы) изложен С. Н. Дурьлиным сжато и суммарно. А между тем — это, бесспорно, один из основных этапов эволюции Вяземского. И дело не сводится к тому, чтобы выбрать из его многочисленных высказываний те или иные — пусть даже очень яркие — свидетельства его «либерализма». Необходимо раскрыть закономерности эволюции его мировоззрения, выявить направление этой эволюции и сопоставить ее с внутренними процессами движения декабристов за те же годы.

Изучение этого периода тесно соприкасается с другой темой: Вяземский и польское освободительное движение, однако, рамки настоящей работы не дают возможности рассмотрения этого существенного вопроса, который должен стать темой отдельного исследования.

Вскоре после варшавской речи Александра I Вяземский был привлечен к разработке проекта будущей конституции России — Государственной уставной грамоты. С. Н. Дурьлин рассматривает работу Вяземского над конституцией как время наибольшего сближения с правительством:

«В тогдашней деятельности Александра I Вяземский не мог не видеть шагов, которые последовательно вели к российской конституции». Касаясь разговора Вяземского с царем (об этом см. ниже), он заключает: «Возможно ли было чиновнику получить большие доказательства верности своего понимания воли правительства, чем те, что Вяземский получил от Александра I!» ¹¹³

Такое освещение настроений Вяземского вряд ли убедительно. Как мы увидим из дальнейшего изложения, он уже в конце 1818 г. сомневался в реальности конституционных планов правительства и лично царя. И если еще в июле 1818 года он полагал, что «пустословия» в речи царя «искать нельзя», то в начале ноября он писал:

««Язык мой враг мой». У него ничего того ни на уме, ни на сердце нет, ¹¹⁴ а все это так говорится, для блезиру. А дураки-то и разинули рты! Впрочем, государство — выученная роль. Что мне за дело до души актера! Была

¹¹¹ Там же, стр. 105.

¹¹² Там же, стр. 103.

¹¹³ Н. Кутанов, цит. соч., стр. 204.

¹¹⁴ «Ум» и «сердце» (в другом месте «душа») здесь имеют характер политических терминов. «Сердце» значит, что Александр стремится ввести кон-

бы игра у него хороша, а законы партера были бы так положительны, чтобы он на сцене не мог никогда забыть: вот и все! *А я все актеру, какой бы он добрый человек ни казался, пальца в рот не положу.* Поверь, в этом ремесле, от престола до лубочного поля, всегда есть примесь дьявольского: одного чистого человеческого не станет на непрерывные проказы. О всяком государе можно, то-есть, всякий государь или актер может сказать с Магометом:

Исчезнет власть моя, коль узнан человек.
Потемкин». ¹¹⁵,

А в середине ноября Вяземский уже прямо утверждает, что речь царя — обман. Александр I «бонапартничал, то есть мазал их (поляков — Ю. Л.) по губам в глазах Европы». ¹¹⁶

К моменту окончания работ над Грамотой (1820 г.) взгляды Вяземского пережидает еще более значительную эволюцию. Прав А. В. Предтеченский, пришедший к выводу, что «Вяземский не придавал своей работе никакого значения». ¹¹⁷

Пожалуй, большую важность для исследуемой темы имеет вопрос: осведомил ли Вяземский кого-либо из декабристских деятелей о секретных проектах правительства? Г. В. Вернадский предположил, что содержание Государственной уставной грамоты стало известно Н. Муравьеву через Н. И. Тургенева. ¹¹⁸ Однако аргументация его страдала произвольными допущениями и хронологическими неувязками. А. В. Предтеченский сформулировал это допущение значительно более осторожно. С ссылкой на «*La Russie et les Russes*» он пишет: «Очень вероятно, что о грамоте знал и Н. И. Тургенев». ¹¹⁹

Между тем, документы позволяют установить в этом вопросе некоторые интересные подробности. В начале 1820 г. через Варшаву проезжал Сергей Тургенев. О свободомыслии его Вяземский был уже наслышан. «Не нашим либералам жбан», — писал ему А. И. Тургенев. ¹²⁰ Вяземский и С. Тургенев сразу же сошлись как единомышленники, причем первый посвятил второго во многие весьма секретные вопросы, разрабатываемые в канцелярии Новосильцева. 11/23 января С. Тургенев записал в дневнике:

«Здесь я познакомился с князем Вяземским и г. Новосильцевым. Они приняли меня дружески и радушно. Проект В<яземского> о Польше кажется лучшим, какой возможен в настоящих обстоятельствах. Дело идет об

ституцию по любви к свободе и законности, а «ум» — по политическому расчету, вопреки личным симпатиям. Ср. письмо А. И. Тургеневу 3 июня 1818 г.: «Как бы то ни было, государь был велик в эту минуту: душой или умом, но был велик» (Остафьевский архив, т. I, стр. 105).

¹¹⁵ Остафьевский архив, т. I, стр. 142. Курсив мой — Ю. Л.

¹¹⁶ Там же, стр. 148.

¹¹⁷ А. В. Предтеченский, Очерки общественно-политической истории России в первой четверти XIX века, М.—Л., Изд. АН СССР, 1957, стр. 385.

¹¹⁸ См. Г. В. Вернадский, Скрытый источник конституции Н. А. Муравьева, Известия Таврического университета, кн. I, Симферополь, 1919.

¹¹⁹ А. В. Предтеченский, цит. соч., стр. 385.

¹²⁰ Остафьевский архив, т. I, стр. 151.

установлении во всех польских провинциях и в собственно России наместничеств и представительного правления (*lieutenance et de représentations*), как здесь <...> У нас будет великая империя с провинциальными собраниями представителей (*avec les états provinciaux*)».¹²¹

Через три дня он записал в дневнике (уже по-русски) размышления, видимо, являющиеся отзвуком бесед с Вяземским:

«Я смотрел замок и в нем залу сенаторов и представителей. Зачем бы не начать таких же собраний в России? Жители всяких наместничеств собирались бы особо, хлопотали бы о своих делах и посылали бы в Петербург одного из своих представителей, — выбранного купно сенаторами и нижнею камерною. Собрание сих вторичных представителей составило бы настоящий Государственный Совет, которому вначале позволено было бы только рассуждать. Не лучшее ли это было бы средство предупредить то раздробление Российской империи, для единства коей многие почитают деспотизм необходимым <...> Когда же Россия имела лучшую эпоху заняться преобразованием оной (внутренней политики — Ю. Л.)? Надобны опыты — испытайте, делайте опыты в управлении в Варшаве, в армии — в корпусе во Франции, в финансах в самой России, где могущие убавиться от того дикости власти будут заменены французскою конституциею».¹²²

А на следующий день С. Тургенев познакомился с самим текстом секретного документа. 15/27 января он записал в дневнике:

«Вчера читал мне к<нязь> Вяземский некоторые места из проекта Российской конституции. Главные основания ее те же, что и в Польской. Представители в наместничествах избираются народом, а из них потом выбирают члены главного сейма, которые дополняются назначенными государем членами. Третью часть представителей на малых сеймах может Пр<авительст>во исключить <...> Отвергаемость министров, свобода мнений (т. е. их объявления) гарантируется. Из сего следует, что три главнейшие подпоры гражданской свободы воплощены в проекте конституции».¹²³

Таким образом, С. Тургенев уезжал из Варшавы, увозя с собой конспект подготавливаемой конституции. Значение этого факта не следует преувеличивать — шел 1820 год, время, когда в декабристских кругах намечался перелом в сторону широкого признания республиканских идеалов. Принципы, сформулированные в документе, оформляемом в канцелярии Новосильцева, звучали уже как анахронизм. Возбудить сколь-либо прочной веры в реальность конституционных планов правительства эти известия тоже не могли. Веры в это не было у самого Вяземского.

Однако, вопрос о том, кто же из декабристов был ознакомлен с привезенным из Варшавы конспектом конституции, — вопрос не праздный. Можно считать бесспорным, что дневники С. И. Тургенева были в руках Н. И. Тургенева. Варшавские впечатления, конечно, были предметом бесед и обсуждений. Мож-

¹²¹ Архив ИРЛИ (Пушкинского Дома) АН СССР, Архив бр. Тургеневых, № 25, л. 60 об. Оригинал — по-французски.

¹²² Там же, лл. 65—65 об. и 66 об.

¹²³ Там же, лл. 67—67 об.

но предположить, что осведомлен об этом был и Н. Муравьев. Однако в нашем распоряжении есть еще одно, бесспорно, представляющее интерес, свидетельство. В 1820 г. С. И. Тургенев проезжал через Киев, направляясь в Константинополь. Здесь он встретился с М. Орловым. В письме последнего к Вяземскому от 15 июля 1820 г. есть любопытное место, не прокомментированное публикаторами: «У меня был здесь Тургенев и жил дня с четыре. Он едет в Царь-Град и теперь уже там, вероятно. Я кой-что нового узнал неожиданного, приятного сердцу гражданина. Ты меня понимаешь. Хвала тебе, избранному на приложение. Да будет плод пера твоего благословен во веки. Но когда благодать низойдет на нас?»¹²⁴ Ясно, что речь идет о проекте конституции.

Подготовка текста Государственной уставной грамоты растянулась на 1818—1820 годы. Взгляды Вяземского за это время успели значительно измениться.

Существенной особенностью позиции Вяземского в 1818 году является начало расхождения его не только с реакционными, но и с либеральными тенденциями правительственного курса. Уже летом 1818 г. официальный взрыв либеральных фраз, последовавший за речью Александра I на сейме, не вызвал у Вяземского никакого восторга.¹²⁵ Он писал: «Государева речь обдала *законноположительным* (извините меня: я человек придворный. При Македонском покривил бы я шею; при нашем кривлю языком) паром православный народ, и все заговорило языком *законносвободным* (не взыщите и здесь) <...> Я хотел бы послушать теперь «Северную Почту». У меня стоит в записной книжке прошлогодней: «Свободные понятия бывают у многих последним усилием и последним промыслом рабства и лести (Смотри «Северную почту»)», теперь, я думаю, «Желтый карла» ей в подметки не годится, так и душит свободой».¹²⁶

Таким образом, именно в момент наивысшего расцвета правительственного либерального славословия Вяземский подошел к той самой мысли, которую год назад сформулировал М. Орлов: «Я признаюсь, что «Северная Почта» в состоянии меня от-

¹²⁴ Литературное наследство, т. 60, кн. 1, стр. 29.

¹²⁵ И декабристы на следствии, и Вяземский в оправдательных записках из тактических соображений подчеркивали, якобы, органическую связь своих освободительных устремлений и правительственных обещаний. Из клеветнических соображений то же делал в своих записках и Н. И. Греч (см. Записки о моей жизни, Л., 1930, стр. 687). Вряд ли стоит проявлять к этим показаниям безоговорочное доверие, как это делает С. Н. Дурылин. Они нуждаются в сопоставлении и критической проверке.

¹²⁶ Остафьевский архив, т. I, стр. 105—106.

«Желтый Карла» — Le Nain Jaune, ou Journal des arts, des sciences et de littérature (1814—1815), после запрещения выходил в Бельгии под названием Nain Jaune réfugié — либеральный журнал эпохи реставрации. Им интересовался и Н. И. Тургенев.

вратить и от самого свободомыслия, ежели бы что-нибудь могло склонить честного человека от полезных занятий». ¹²⁷

Для Орлова это была формула выражения революционного сознания, отгораживающегося от казенного либерализма. Позиция Вяземского была более сложной. Он, действительно, сближался с мирозрением дворянских революционеров. Это породило на рубеже 1818—1819 гг. всё более отрицательное отношение к правительственному либерализму и возрастающую потребность действий, направленных на освобождение народа. К 1819 г. Вяземский «еще более уверился, что гостинные прения не что иное, как движение языка». ¹²⁸

Вместе с тем та боязнь народа, которая составляла характерный признак дворянской революционности, еще более резко проявлялась в дворянском либерализме 20-х гг. XIX в. Однако боязнь народа — это только одна сторона в декабристском отношении к массе. По самой природе дворянской революционности отношение к народу включало противоречие между боязнью народной активности и все возрастающим на протяжении истории декабристского движения тяготением к народу. На разных этапах развития декабристской идеологии соотношение этих двух элементов менялось, причем второй неизменно усиливался за счет первого. Боязнь народа могла воплощаться в романтическом противопоставлении гения толпе или в гедонистических и аристократических идеях, возникших в конце XVIII в. как своеобразное барское вольтерьянство, или в каких-либо иных идеологических формах — сущность от этого не менялась. Стремление же опереться на народ приводило к росту влияния демократических идей, чаще всего — просветительских идей XVIII в.

Одновременное и противоречивое, взаимно противоборствующее сочетание этих тенденций и составляло качественное своеобразие дворянской революционности. Пока присутствие демократических идей, чуждых классовым интересам дворянства, не ощутимо в теоретической программе будущих декабристов — дворянской революционности еще не существует; когда же демократические идеи побеждают и совершается полный разрыв с классово-дворянскими элементами сознания — дворянской революционности уже нет, перед нами переход к революционному демократизму.

Вопрос отношения к народу и понимания природы народа является одним из наиболее тонких индикаторов для разграничения дворянского либерализма и дворянской революционности на ранней стадии их развития. Необходимо при этом учитывать, что до известного времени оба явления еще связаны весьма тесно. Поэтому при разграничении их следует рассматривать те или иные отличающие их признаки не только в формах, свой-

¹²⁷ Арзамасские протоколы, стр. 208.

¹²⁸ Остафьевский архив, т. I, стр. 314.

ственных этому периоду, но и с учетом их грядущей исторической судьбы.¹²⁹

То, что проблема народа, прежде мало волновавшая Вяземского, выдвигается в 1818 г. в его сознании на первый план, свидетельствует об определенной эволюции взглядов. Вместе с тем, высказывания 1818 года говорят о весьма противоречивом отношении к вопросу природы и значения народа. Вяземский испытывает глубокое разочарование в надеждах на возможность прогрессивной правительственной деятельности. Но он опасается и действий народа и поэтому вновь и вновь вынужден обращаться к правительству, которому, в сущности, уже не верит. Весьма интересно проследить, как изменяется постановка вопроса. Вначале в рассуждениях фигурируют два компонента: народ и правительство, причем вся инициатива передается последнему. Затем из понятия «народ» вычленяется «общественность», «общественное мнение», которые противопоставляются правительству. Затем начинает расти интерес к самому народу, делаются первые попытки выделить в его облике те стороны, которые позволили бы говорить о народности «либеральных» идей.

Летом 1818 г. Вяземский пишет по поводу запрещения печатных дебатов о крепостном праве:

«... Признаюсь, не удивляюсь мерам, принятым полициею. Детям не должно позволять играть ножами: научи их резать, что резать надобно, и тогда с богом. Пока правительство не разрешит: «To be or not to be» — до того времени не должно касаться иных предметов. Эти à parte всег скучнее в театре и всего опаснее в политике. Для того-то правительство и должно идти всегда навстречу к общему мнению, а не дожидаться, чтобы оно разбежалось и сшибло его с ног.»¹³⁰

В приведенной цитате «общее мнение» еще соединяется в сознании автора с той силой, энергия которой внушает опасения — с народом. В начале 1819 г. Вяземский побывал в Москве и Петербурге. Ход политических событий все больше раскрывал недвусмысленную реакционность правительственного курса. В Москве его неприятно поразила неподвижность общества барской, «бригадирской» столицы, казалось, замершей в привычках и мнениях екатерининской эпохи. «Что я здесь слышу за толки, что за вести! Как ругают мой «Петербург»! Как ругают «Теорию налогов»! Про меня говорят, что я писал эти стихи по высочайшему повелению и продал свою дворянскую душу за чин и за рескрипт.»¹³¹ После нескольких лет разлуки Вяземский почув-

¹²⁹ Необходимо подчеркнуть, что для изучаемой эпохи вопрос отношения к народу гораздо более показателен в этом смысле, чем бунтарство во имя свободы личности. Последнее, порой даже выражаясь в очень резких формулировках, вплоть до призывов к насильственным действиям, все же укладывается в рамки дворянского либерализма, если не сочетает требований свободы личности с интересом к положению народа или не рассматривает самую личность как часть народа, а противопоставляет эти два понятия.

¹³⁰ Остафьевский архив, кн. I, стр. 105.

¹³¹ Там же, стр. 180.

ствовал себя в Москве Чацким. Он почти с ужасом записывает политические мнения московских сановников, их толки о книге Н. И. Тургенева. «Апраксин говорит, что он о налогах не имеет права, писать, потому, что он не отделенный сын. И я стал бы жить с этими людьми!»¹³²

Зато в Петербурге Вяземский попал в иную атмосферу. Видимо, в это время он соприкоснулся более тесно с определенными кругами Союза Благоденствия. Есть основание полагать, что именно в этот проезд он познакомился с Ф. Глинкой. В одном из первых писем А. И. Тургеневу после возвращения из Петербурга в Варшаву он просит передать «поклон шайке независимых».¹³³ Особенно тесно сошелся Вяземский в это время с Пушкиным, бурно сближавшимся с декабристскими воззрениями. Показательно, что именно в это время происходит временный разрыв между Пушкиным и Карамзиным. Видимо, в этот же проезд и Вяземский был настроен к Карамзину значительно более критически.

Есть основания предполагать, что темой совместных бесед Карамзина, Пушкина и Вяземского, предшествовавших созданию знаменитых пушкинских эпиграмм против Карамзина, была деятельность Радищева.¹³⁴

Возвращение Вяземского в феврале 1819 г. в Варшаву совпало со значительным изменением его общественно-политических воззрений.

Существенные изменения наступают в самом основном вопросе — отношения к народу. Правда, с одной стороны, народ по-прежнему предстает в облике толпы, не понимающей подвига великого человека. В этом контексте представления демократического крыла просветителей XVIII в. о народе как высшем моральном и политическом авторитете¹³⁵ отвергаются с романтических позиций:

«Народ, всех дел людских и цель, и судия,
То деспот с палицей, то с куклою дитя!»¹³⁶

Стихи эти взяты из аполога «Медведь», который Вяземский послал А. И. Тургеневу в письме от 24-го июля 1819 г. А 15-го августа он процитировал Шамфора: «Сколько глупцов нужно на публику» и повторил с характерным пояснением: «Народ (то есть глупцы) всех наших дел и цель, и судия».¹³⁷ Но все-таки по-

¹³² Там же, стр. 183.

¹³³ Там же, стр. 198.

¹³⁴ Рассмотрению этой проблемы мы посвятили специальную работу: «К вопросу об устных источниках сведений Пушкина о Радищеве» (печатается).

¹³⁵ «Соборная народа власть есть власть первоначальная, а потому власть высшая», — писал А. Н. Радищев (Полн. собр. соч., т. III, М.—Л., Изд. АН СССР, 1952, стр. 10).

¹³⁶ П. А. Вяземский, Избранные стихотворения, М.—Л., Academia, 1935, стр. 412.

¹³⁷ Остафьевский архив, т. I, стр. 29.

зияция Вяземского не осталась неизменной. В том же самом письме он говорит о народе с иными политическими интонациями. Там, где народ противопоставляется не личности, а власти, царям, Вяземский переходит к терминологии и понятиям, идущим от просветителей. Говоря о том, что европейские монархи обманули народы, поднятые ими на борьбу с Наполеоном, он пишет:

«Старые уловки! Огонь зажигали, чтобы сжечь дом соседа и обещали ему, чтобы более воспламенить, не тушить, а дать разгуляться по всей улице. Дом соседа сгорел, месть удовлетворена, огня уже не надобно: ну задувать его! Нет, господа порфирородные гасилы, погодите! Помните свое слово и не ругайтесь огню, и не очень спорьте с ним; огонь вам этот глаза слепит и жжет; вам хотелось бы спать, а он трещит; вам хотелось бы одним сидеть при огне, а народ засадить впотьмах, а теперь и народу становится светло. Что же делать! Зато народ вытащил вас на плечах. Так и быть, уступите ему немного: он теперь требует только необходимого; раздражьте вы его, и станет он требовать лишнего и кончит тем, что силою возьмет».¹³⁹

Не следует удивляться тому, что Вяземский сам страшится народной инициативы и пугает ею правительство. От этой черты мировоззрения нельзя было освободиться в рамках дворянского либерализма, а — до конца — и дворянской революционности. Отметим новое в этой позиции. Дело не только в том, что в столкновении народов и царей симпатии Вяземского на стороне народов. Важнее другое: основным конфликтом эпохи объявляется не столкновение свобододлюбивой личности с деспотизмом, а борьба властей и народов. В этом нельзя не видеть усиления влияния демократических идей и шага от дворянского либерализма к дворянской революционности.

Потребность личной независимости, как формы проявления свободы человека, у Вяземского не слабеет. Однако теперь она все больше сочетается с вниманием к положению народа. Крепостное право с каждым днем все более привлекает внимание Вяземского и к концу 1819 г. становится для него основной проблемой современности. Не только в первые годы творчества, но и еще в 1816—1817 гг. деревня в поэзии Вяземского неизменно выступала как край обилия и благодати, счастливое прибежище от суеты города и деспотизма вельмож. В этом смысле чрезвычайно характерно стихотворение «Деревня» (1817).

Стихотворение окрашено в тона яркого свободолюбия. Личная независимость — высшее благо. Рабство понимается, как зависимость моего «я» от деспотической воли других людей.¹⁴⁰

¹³⁹ Там же.

¹⁴⁰ Это чисто карамзинское толкование понятия рабства не только полностью игнорировало существование крепостного права, но и политическую свободу, по сути дела, заменяло личной независимостью. Поэтому политический либерализм 1810—20-х гг., гранича слева с декабризмом, справа же не мог отделить себя от барского фрондерства. Чрезвычайно показательно письмо Вяземского, писанное в апреле 1819 г.: «Для меня секира самовластия ничего: она действует на площади народной, и для того у нас нет жизни народной, общественной; самые государственные люди живут жизнью при-

«О независимость! Небес первейший дар!
 Храни в груди моей твой мужественный жар.
 О пламенник души: к изящному вожатый!
 Безропотно снесу даров судьбы утраты,
 Но, разлучась с тобой, остыну к жизни я..
 Рабу ли дорожить наследством бытия?
 Пороков жизни раб, корысти ль раб послушный,
 Раб светских прихотей, иль страсти малодушной,
 Равно унизил муж свой промысл на земле».¹⁴¹

Резко сатирически изображаемому обществу противопоставляется идеал свободной жизни в деревне. Деревенская жизнь трактуется в духе горацианской поэзии покоя, личной независимости и собственного достоинства. Политическое угнетение — это унижение («... царь земли, как червь, смиренно нижез дол»), свобода — независимость. Подобную трактовку понятий «свобода» и «рабство» мы встречаем и в лицейском варианте пушкинского послания «К Лицинию» (1815 г.).

Первоначально у Пушкина мудрец Дамет бежит от людского общества в пустыню, где надеется найти личную независимость; в позднейшем варианте — это свободолюбец, эмигрирующий из страны деспотизма.

«Дамет! куда, скажи, в одежде столь убогой
 Среди Рима пышного бредешь своей дорогой?»
 «Куда? Не знаю сам. Пустыни я ищу,
 Среди разврата жить уж боле не хочу;
 Япетовых друзей пороки, злобу вижу,
 Навек оставлю Рим: я *людства* ненавижу»¹⁴²
 (1815).

«Куда ты, наш мудрец, друг истины, Дамет!»
 — «Куда: не знаю сам; давно молчу и вижу;
 Навек оставлю Рим: я *рабство* ненавижу»¹⁴³
 (В тетради Н. В. Всеволожского, 1819 г.).

«Где все на откупе: законы, правота,
 И жены, и мужа, и честь, и красота»...
 (1815).

«Где все продажное: законы, правота,
 И консул, и трибун, и честь, и красота»
 (1819).

В 1815 г. убежищем от «народного волнения» мыслится деревня, рисуемая идиллически:

дворной; но бесят меня эти булавки самовластия, преследующие нас в самых убежищах, где думаем мы укрыться от железной руки правительства, бесит меня эта мелочная попечительность его, которая с глаз меня не спускает ни в кабинете моем, ни за столом приятельским. Я понимаю, что можно привыкнуть к мечу, висящему над головою вечно, но вечно сидеть на иглах невозможно, или чорт знает, что надобно иметь за ж... хуже и бесчувственнее всякой души. Иногда у меня кровь кипит от этих булавок, как в самоваре».

¹⁴¹ П. А. Вяземский, Избранные стихотворения, М.—Л., Academia, 1935, стр. 124.

¹⁴² Пушкин, Полн. собр. соч., т. 1, стр. 112.

¹⁴³ Там же, т. II, кн. 1, стр. 12. Курсив в обоих случаях и далее — мой — Ю. Л.

«В деревню пренесем отеческих пенатов;
В тенистой рощице, на берегу морском,
Найти нетрудно нам красивый, светлый дом». ¹⁴⁴

Характерно, что в 1819 г. Пушкин почувствовал потребность ослабить идиллический колорит и заменил «тенистые рощицы» на «древние роши».

Сравнение редакций позволяет установить не только бросающееся в глаза нарастание революционных настроений — меняется само качество протеста. В редакции 1815 г. речь идет только о личной независимости — к 1819 г. личность нуждается в политических правах, а затем возникает вопрос о социальных правах народа. Деревня перестала рисоваться свободным убежищем — она предстала как царство трагических общественных противоречий. Разница в *качестве* понимания свободы (свобода для личности — свобода для народа) и определила отличие изображения деревни в послании «К Лицинию» и в «Деревне».

Как мы видели, идиллическое изображение сельской жизни не всегда было связано с реакционной помещичьей точкой зрения; в данном случае оно отражало определенный этап развития прогрессивно-дворянской мысли начала XIX в. ¹⁴⁵ Герой стихотворения Вяземского «Деревня», как и пушкинского «К Лицинию», уходит из «развратного» города, исполненный жажды свободы и ненависти к низкопоклонству. Его идеалом делается индивидуалистически толкуемый «Руссо, враг общества и человека друг». ¹⁴⁶ Речь идет, конечно, не о консервативно-помещичьем истолковании Руссо как проповедника сельских идиллий. Руссо, для Вяземского, — писатель-борец:

«В руке твоей перо — сраженья острый меч». ¹⁴⁷

Однако сочинения Руссо воспринимаются сквозь призму романтических представлений. Деревня изображается как царство свободы:

«Здесь нет цепей, здесь нет господства суеты». ¹⁴⁸

Деревня — «область свободы».

Такой же рисуется она в «Утре на Волге» (1816—1817). Автор говорит здесь о крестьянине с сочувствием, но склонен подчеркивать в его существовании покой, чистую совесть, выгоды трудовой жизни:

¹⁴⁴ Пушкин, Полн. собр. соч., т. I, стр. 112.

¹⁴⁵ Идеализация сельской жизни возможна была в те годы и с другой, недворянской позиции. См. в моей статье «Мерзляков как поэт», в кн. А. Ф. Мерзляков, Избр. стихотворения, Л., Советский писатель, 1956, стр. 45.

¹⁴⁶ П. А. Вяземский, Избранные стихотворения, М.—Л., Academia, 1935, стр. 127.

¹⁴⁷ Там же.

¹⁴⁸ Там же, стр. 123.

«Природы сын трудолюбивый,
Сын непорочной тишины,
Вверяет пахарь недрам нивы
Богатства будущей весны». ¹⁴⁸

Ему противопоставляется

«Беглец природы, раб пристрастья,
Постыдный данник суеты». ¹⁴⁹

В 1818 году Вяземский, как мы видели, проделал большую политическую эволюцию. Его свободолюбие оформилось, политические воззрения получили определенность. По своим воззрениям он — конституционалист. Критика деспотизма делается не только острее, но и политически конкретнее. Все это отразилось в стихотворении «Петербург». Вместе с общим изменением взглядов в новом освещении предстал и крестьянин:

«Несчастный раб земли, отторгнутый от братьев». ¹⁵⁰

Слово «раб» заполнилось новым, социальным содержанием. Однако крепостное право еще не стоит в центре внимания Вяземского — в обширном, насыщенном политическим материалом стихотворении в 138 стихов он посвятил ему лишь две строки.

Показательно, что в 1819 г., переделывая стихотворение, автор изменил и расширил именно эту часть. В письме А. И. Тургеневу читаем: «Теперь сижу над своим «Петербургом». Вот что я говорю о свободе земледельца, вместо двух сухих стихов прежних:

С чела оратая сотрется пот неволи,
Природы старший сын, ближайший братьев друг,
Свободно проведет в полях наследный плуг,
И светлых нив простор, приют свободы мирной,
Не будет для него темницею обширной». ¹⁵¹

Теперь изображение сельской жизни совпадает по концепции с «Деревней» Пушкина. Вяземский сам выразил сущность нового изображения деревни: «Нельзя ничего вообразить ужаснее. Поля почитаются святилищем свободы: теснимый в обществе идет к ним расходиться; земледелец наш именно тут и находит неволю. Противоположность разительная!» ¹⁵²

Новые воззрения Вяземского привели к изменению литературных симпатий. В поле внимания писателя появляется новое имя — Радищев. В 1819 г. в Петербурге Вяземский беседует о Радищеве с Пушкиным и Карамзиным. Еще в конце 1818 г. он заинтересовался творчеством Радищева и начал собирать мате-

¹⁴⁸ Там же, стр. 120.

¹⁴⁹ Там же, стр. 121.

¹⁵⁰ Там же, стр. 141.

¹⁵¹ Остафьевский архив, т. I, стр. 277—278.

¹⁵² Там же, стр. 278.

риалы, надеясь посвятить автору «Путешествия» специальный биографический очерк. В письме Воейкову от 2/14 ноября 1818 г. из Варшавы он писал:

«В переписке ли ты с Радищевым? Мне помнится, что ты ему хороший приятель. У меня рука чешется кое-что написать о его отце. Нельзя ли выпросить материалов и списка знаменитого «Путешествия» и оды? Сочинения его у Бекетова напечатанные — со мною, но нет ли чего-нибудь неизданного, а более всего известия о жизни и пребывании его в Сибири? Этот кусок очень мне по вкусу, слюнки текут, не худо бы и тебе запрягать его в свою поэму. <...> У нас обыкновенно человек невидим за писателем. В Радищеве напротив: писатель приходится по плечу, а человек его головою выше. О таких людях приятно писать, потому, что мыслить можно»¹⁵³.

В 1820 г. Вяземский назвал Радищева в своем «Послании к М. Т. Каченовскому»:

«От Кяхты до Афин, от Лужников до Рима
Вражда к достоинству была непримирима,
Она в позор желез от почестей двора
Свергает Минниха, сподвижника Петра,
И, обольщая ум Екатерины пылкой,
Радищева она казнит почетной ссылкой».

И если упоминание Афин и Рима — литературная условность, то Лужники и Кяхта имели вполне конкретный смысл. Первое напоминало о Каченовском как враге просвещения, второе — о судьбе ссыльного Радищева (Радищев в Илимске написал «Письмо о китайском торге», посвященное экономическому значению Кяхты).

Имя Радищева, видимо, вспоминалось в варшавском кружке Вяземского. По крайней мере, один из членов этого кружка, Фовицкий, в разборе стихотворения «Негодование» писал Вяземскому: «Волос дыбом становится! Смотрите, не забывайте Радищева!»¹⁵⁴ Не следует забывать, конечно, что борьба с крепостным правом понимается Вяземским не в духе Радищева. Ему гораздо ближе легальная сторона деятельности членов Союза Благоденствия по пропаганде антикрепостнических идей и организации общественного протеста против крепостничества. Это проявилось в его участии в деле освобождения крепостного поэта Сибирякова.

Узнав о деле Сибирякова, Вяземский с большой горячностью принял в нем участие. Он вошел в сношение с Ф. Глинкой и Н. Тургеневым — организаторами выкупа. Совершенно в духе своих соратников по этому делу, он хотел не только выкупить крепостного интеллигента, но и сделать его историей достоянием общественности, предать Маслова — помещика Сибирякова, запросившего непомерно высокий выкуп, — «костру общего мнения».¹⁵⁵ За кампанией вокруг дела Сибирякова, в которую были

¹⁵³ ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, ед. хр. 1234, лл. 4—4 об.

¹⁵⁴ Там же, ед. хр. 2951, л. 40.

¹⁵⁵ Остафьевский архив, т. I, стр. 289.

вовлечены Ф. Глинка, Н. и А. Тургеневы, Вяземский, Пушкин, чувствуется рука Союза Благоденствия.¹⁵⁶ Ф. Глинка и Вяземский написали по этому случаю стихи, Пушкин порывался сделать то же, но жаловался, что Вяземский «отнял у него такой богатый сюжет». Стихотворение Вяземского вызвало одобрение Н. Тургенева.

Среди действий Вяземского по практической борьбе с крепостничеством не последнее место занимает попытка организации общества для гласного обсуждения путей ликвидации крепостного права. Значение Вяземского как инициатора подачи прошения царю и фактическая сторона истории этой попытки была рассмотрена Н. К. Кульманом.¹⁵⁷ Однако общее истолкование этого эпизода в указанной статье явно ложное, вытекающее из общей либеральной позиции автора. Для него весь конфликт — столкновение «юной политической мысли и пылкого общественного чувства» маленькой группы идеалистов, мечтавших уничтожить рабство, с «мировоззрением, воспитанным вековым укладом русской жизни».¹⁵⁸

Между тем, ясно, что эпизод 1820 г. связан гораздо более органично с развитием политической борьбы в России тех лет. Здесь Вяземский снова соединил свое имя с той широкой и разносторонней программой пропаганды в обществе и давления на правительство, которая осуществлялась Союзом Благоденствия.

Фактическая сторона дела рисуется так: мысль об организации общества, которое могло бы взять на себя инициативу обсуждения крестьянской реформы, пришла Вяземскому, видимо, еще осенью 1818 г. Тогда же возникла идея комитета, с участием «особ либеральных и библейских»¹⁵⁹. Показательно, что завершить освобождение Вяземский предполагал через 10 лет, то есть, приблизительно, в те же сроки, что и Н. Тургенев, рассчитывавший в 1816 г. закончить раскрепощение через 15 лет.

Письмо Вяземского к Карамзину с изложением его первоначальной идеи до нас не дошло, и содержание его нам известно лишь по ответу Карамзина. В эту пору Вяземский, по всей видимости, рассчитывал на поддержку Карамзина. Последний заявил, что «готов следовать хорошему примеру, если овцы будут целы и волки сыты».¹⁶⁰

Однако Вяземскому нужно было не пассивное сочувствие, а имя, которое придало бы идее вес в глазах правительства и общества. Подвигнуть на это Карамзина не удалось. Еще по

¹⁵⁶ См. В. Базанов, Вольное общество любителей российской словесности, Петрозаводск, 1949, стр. 112—113.

¹⁵⁷ См. Н. К. Кульман, Из истории общественного движения в России в царствование императора Александра I, Спб., 1908.

¹⁵⁸ Там же, стр. 22—23.

¹⁵⁹ Письма Н. М. Карамзина к князю П. А. Вяземскому, Спб., 1897, стр. 65.

¹⁶⁰ Там же.

поводу Сибирякова у А. И. Тургенева и Вяземского произошли знаменательные разногласия. — Вяземский хотел придать делу общий смысл и превратить его в обсуждение вопроса крепостничества вообще. А. И. Тургенев возражал, считая, что инициатива в подобном действии должна принадлежать правительству. Однако, Вяземский с ним не согласился, считая, что правительство может быть исполнителем освобождения, однако, инициатором его должна стать передовая общественность. «Отвечаю на твой запрос: конечно, *нам открывать такого рода прения*. Действовать должно нравственной, а не физической силе; а с которой стороны у нас сила нравственная?»¹⁶¹

В новую стадию дело вступило после пребывания проездом в Варшаве С. И. Тургенева. Встретив поддержку со стороны младшего Тургенева, Вяземский начал действовать. Первым его шагом было намерение привлечь к участию Н. Тургенева и М. Орлова. М. Орлову Вяземский писал: «Я долго думал о средствах, нам предстоящих, врезать след жизни нашей на этой земле упорной и нам сопротивляющейся, и нашел однако: заняться теоретическим образом задачей уничтожения рабства. Составить общество, в коем запрос сей разберется со всех сторон и в пользу всех мнений (разумеется, истина будет на нашей стороне), после того <...> пустить его в ход».¹⁶²

Письмо к Н. И. Тургеневу говорит о полном единодушии Н. Тургенев и Вяземский предстают перед нами как единомышленники. Они «повстречались» «на дороге, которая ведет к великой мечте — освобождению крестьян». «Прекрасно будет для нас, если мы призваны быть путеводителями к обетованному брегу великого народа!»¹⁶³

Таким образом, перед нами — характерная картина. Идея Вяземского не встретила поддержки со стороны его старых друзей — карамзинистов. Разумеется, ни Карамзин, ни А. И. Тургенев, ни В. А. Жуковский, отпустивший на волю в 1818 г. своих крестьян, не были настолько чужды духу времени, чтобы в 1818—20 гг. возражать против освобождения. Возникновение тайного движения мощно революционизировало общество. Отраженный свет этого падал и на них в те годы. Однако первая же попытка привлечь их к *активной* общественной деятельности обнаружила глубокую общественную пассивность карамзинистов. В лучшем случае можно было рассчитывать на их поддержку при удаче дела. Зато как только Вяземский нащупал связь с деятелями тайного общества, у идеи мгновенно появились не только энтузиастические сторонники, но и практические защит-

¹⁶¹ Остафьевский архив, т. I, стр. 310. Курсив здесь и дальше — П. А. Вяземского.

¹⁶² Литературное наследство, т. 60, кн. I, стр. 25.

¹⁶³ Архив братьев Тургеневых, вып. 6, Переписка Александра Ивановича Тургенева с Петром Андреевичем Вяземским, т. I, 1814—1833, Пгг., 1921, стр. 4.

ники. Дело получило ход. Попытку Вяземского — Н. Тургенева в 1820 г. нельзя рассматривать изолированно от всей цепи мероприятий Союза Благоденствия по пропаганде идеи освобождения и широкому давлению на правительство с целью вырвать крестьянскую волю.

Пока Н. Тургенев в Петербурге работал над текстом обращения к царю, Вяземский в Варшаве написал программу действий комитета. Программа была составлена в форме письма к А. И. Тургеневу и поэтому позднее опубликована во втором томе Остафьевского архива. Однако значение документа шире — он использовался как пропагандистский материал. С пропуском всего, касающегося лично до А. И. Тургенева, оно переписывалось для распространения.¹⁶⁴

Политическая позиция Вяземского в этом документе очень ясна. Он исходит из убеждения в том, что крепостное право должно быть уничтожено: «Рабство — на теле государства Российского нарост; не закидывая взоров в даль, положим за истину, что нарост этот подлежит срезанию».¹⁶⁵ Можно полагать, что безземельное освобождение не удовлетворяло Вяземского. Говоря об условиях освобождения в Польше, он писал Н. И. Тургеневу: «Здесь меры послужат нам скорее остерегательными маяками, чем путеводительными знаками».¹⁶⁶

Самым сложным был вопрос о том, кто выступит инициатором освобождения. Вяземский боится народной революции: «Хотите ли ждать, чтобы бородачи топором разрубили этот узел? И на нашем веку, может быть, праздник этот сбудется. Рабство — одна революционная стихия, которую имеем в России. Уничтожив его, уничтожим всякие предбудущие замыслы».¹⁶⁷ Вместе с тем, нет доверия и правительству. Слабые надежды на прогрессивные намерения власти давно уже исчезли. Теперь речь идет о том, чтобы дворянская общественность вынудила правительство действовать: «Правительство не дает ни ответа, ни привета». И далее: «Правительство наше играет всегда в молчанку».¹⁶⁸

Среди прочих тактических приемов Союза Благоденствия имели место и попытки воздействовать на видных военных и государственных деятелей. Фрондирующие вельможи окружались участниками тайных обществ, которые вступали с ними в близкие дружеские отношения и, оставаясь в тени, исподволь руководили их действиями на политической арене. Видные государственные деятели (такие, как, например, Милорадович в Петербурге, Репнин в Полтаве) оказывались на положении ведомых, скрытые

¹⁶⁴ См. подобную копию в Рукописном собрании ИРЛИ, Архив бр. Тургеньевых, № 2422.

¹⁶⁵ Остафьевский архив, т. II, стр. 16.

¹⁶⁶ Архив бр. Тургеньевых, вып. 6, стр. 4.

¹⁶⁷ Остафьевский архив, т. II, стр. 16.

¹⁶⁸ Там же, стр. 15—16.

же пружины их общественных действий оставались за кулисами. Тем более любопытно, что в обществе, организованном в 1820 г. для давления на правительство с целью освобождения крестьян, Вяземский не оказался в числе «вельмож», чьими руками хотели осуществить, вполне в духе Союза Благоденствия, давление на царя, а, вместе с членом Союза Благоденствия Н. Тургеневым, выполнял роль скрытого за кулисами инициатора.

Сущность подобного тактического приема для Вяземского не была секретом. Он писал Н. Тургеневу: «В России, при теперешнем положении, одно средство пустить в ход эту мысль. завербовать несколько высокопревосходительств и разноцветных чупятовых; нам, молокососам, можно все поставить вверх дном скорее, чем где-нибудь, но языком умеренности и рассудительности ничего путного не сделаем». ¹⁶⁹

В приведенной цитате показательно четкое разграничение тактических средств: там, где речь идет о действиях в обществе — необходимы «молокососы» вроде Вяземского и Тургенева, тогда же, когда речь идет о давлении на правительство — необходимы «чупятовы».

Характерно и то, как настойчиво отгораживал Вяземский себя от аристократии (хотя и по рождению, и по связям, и по состоянию ему, конечно, «естественнее» было бы находиться в компании придворных вельмож, чем «мятежного драгомана», — по характеристике Пушкина, — Н. И. Тургенева). Он писал: «В собирательном смысле я, кажется, знаю наших вельмож; в расчете личном хвастаюсь тем, что почти никого не знаю». ¹⁷⁰

В научной литературе встречается утверждение, что подбор вельмож в обществе 1820 г. был случайным. С этим согласиться нельзя: кандидатуры, видимо, отбирались довольно тщательно.

А. С. Меншиков был лицом, в равной степени известным и Н. Тургеневу, и Вяземскому. Он был членом Ордена Русских Рыцарей. После окончания наполеоновских войн в Дрездене он входил в кружок М. Н. Новикова и С. Тургенева. На это указывает место из письма Н. Тургенева Сергею Ивановичу: «Приехавший сюда к <нязь> Меншиков сказывал нам, что видел тебя в Дрездене. Он был там принят в □». ¹⁷¹ Есть и другие свидетельства участия Меншикова в дрезденской ложе. ¹⁷² Между тем, мастером этой ложи был М. Н. Новиков. К этому времени, видимо, восходят истоки сближения Меншикова с Орденом Русских Рыцарей. Показательно, что заграничные связи С. Тургенева также переплетаются с этой группой.

Вяземский, видимо, познакомился с Меншиковым в 1818 г., когда последний приезжал флигель-адъютантом в свите царя

¹⁶⁹ Архив бр. Тургеневых, вып. 6, стр. 4.

¹⁷⁰ Там же.

¹⁷¹ Декабрист Н. И. Тургенев, Письма к брату С. И. Тургеневу, стр. 273.

¹⁷² Русская старина, 1907, кн. VI, стр. 665.

в Варшаву. Вяземский выделил его из числа царедворцев, считая всех прочих спутников царя отмеченными печатью ничтожества.

Не был случайным лицом в обществе и М. С. Воронцов: С. И. Тургенев сблизился с ним во время своего пребывания в Мобеже. Через М. С. Воронцова С. Тургенев осуществлял свою работу по заведению в заграничном корпусе ланкастерских школ, по уничтожению телесных наказаний. Дневник С. Тургенева показывает, что он рассматривал, явно не без сочувствия Воронцова, заграничный корпус как опытное поле для преобразований, которые потом распространятся на всю русскую армию.¹⁷³

Заручившись такой поддержкой во вновь организуемом обществе, Вяземский и Н. Тургенев могли, казалось, рассчитывать на успех.¹⁷⁴

Однако, реальный ход событий не оправдал их надежд. Документы, имеющиеся в распоряжении исследователя, не позволяют представить все детали борьбы вокруг коллективного требования группы видных вельмож открыть прения по вопросу о ликвидации крепостной зависимости. Н. К. Кульман доказывал, что В. Н. Каразин не имел к этому проекту никакого отношения, замышляя в то же время какой-то другой общественный комитет. Однако с полным основанием В. Г. Базанов оспорил это утверждение. Действительно, материалы, хранящиеся в ЦГИАЛ, неопровержимо доказывают, что на первых порах Каразину удалось втереться в доверие к Вяземскому, Воронцову и Меншикову. Видимо, первоначальное знакомство Вяземского и Воронцова состоялось при посредстве Каразина.¹⁷⁵ На это

¹⁷³ «Надобны опыты — испытайте, делайте опыты в управлении — в Варшаве, в армии — в корпусе во Франции» (Рукоп. собр. ИРЛИ, Архив бр. Тургеневых, № 25, л. 66.)

¹⁷⁴ Н. И. Тургенев писал 11 мая 1820 г.: «На сих днях и я был у гр<афа> Воронцова, и он мне чрезвычайно понравился и потому уже, что понимает и чувствует вещи так, как должно. Жаль, что он не долго здесь пробудет. Он мог бы быть начинщиком улучшения участи крестьян. И теперь главная надежда на него. К тому же с ним одним можно говорить здесь об этом, так чтобы обе стороны понимали друг друга. Что касается до других, то им надобно еще толковать и доказывать, что рабство несправедливо и что крестьяне не могут вечно оставаться крепостными» (Декабринст Н. И. Тургенев, Письма к брату С. И. Тургеневу, стр. 302). Этим, отчасти, объясняется то, что позже, в момент своего столкновения с Воронцовым, Пушкин встретил упорное непонимание и неодобрение со стороны друзей — Тургеневых и Вяземского.

После неудачи коллективного прошения Воронцов и Меншиков выступили с новой «либеральной» инициативой: они организовали между Петербургом и Москвой сообщение дилижансом. Цель была, конечно, не коммерческая. Дилижанс должен был «сближать сословия» и приучать к практическому усвоению «европейских» идей. Н. Тургенев поехал дилижансом в 1821 г. на съезд Союза Благоденствия.

¹⁷⁵ Каразин был заинтересован в том, чтобы предстать перед Вяземским «нужным» и «осведомленным» человеком. В сущности же его посредничество было излишне: Вяземский вполне мог познакомиться с Ворон-

указывает копия с записки Вяземского, сохранившаяся в бумагах Каразина (вернее, в копиях с них, снятых при аресте последнего): «За большую честь себе поставлю быть знакомому г<рафу> М<ихаилу> С<еменовичу>; насчет отличных качеств уже давно предуведомлен. Желал бы, чтобы его сиятельство позволил мне его предуведомить и если можете, то наиубедительнейше прошу Вас взять меня с собою, испрося наперед позволение от графа». ¹⁷⁶ Вяземский вполне доверялся Каразину и посвящал его в свои сокровенные проекты. Так, в архиве Каразина хранилось письмо Вяземского Александру I, приложенное при предназначавшемся для вручения царю труде «Теория закона». Возможно, передача состоялась во время свидания Вяземского с царем тогда же, весной 1820-го года, в Елагинском дворце. Однако, текст этого труда нам неизвестен. Вряд ли можно предположить, чтобы Вяземский так называл Государственную уставную грамоту. ¹⁷⁷

Однако скоро Каразин начал возбуждать подозрения. Вероятно, прав В. Г. Базанов, предположивший, что предупреждение могло исходить от Ф. Глинки. По крайней мере, уже к концу мая от Каразина явно стараются избавиться. 25 мая 1820 г. порвал с Каразиным Воронцов, мотивировав свои действия несогласием с каразинским пониманием целей общества:

«Вы хотите: 1) Учредить общество и управляющий комитет оною, я же полагаю, что ни общества, ни комитета тут не нужно.

2) Вы желаете заняться более положением правил в управлении крестьян и в управлении их повинностей, а об освобождении от рабства и не говорите как разве самым тайным и отдаленным образом. Я же полагаю, что не нужно и не стоит того заниматься другим, как изысканием способов к достижению сего предмета, что тайным образом делать нельзя и ненужно». ¹⁷⁸

4 июня письменно порвал с Каразиным и Меншиков. ¹⁷⁹

Однако эти попытки избавиться от правительственного соглядатая внутри только что возникшего общества были уже запоздалыми — 1 июня Н. Тургенев зафиксировал в дневнике отказ Васильчикова от участия в подписке. Новая подписка также не дала ощутимых результатов.

цовым через Тургеневых, именно в эту пору очень сблизившихся с бывшим начальником их младшего брата (см. Декабрист Н. И. Тургенев. Письма к брату С. И. Тургеневу, стр. 302—308).

¹⁷⁶ ЦГИАЛ, Ф. 1409, оп. 1, ед. хр. 3249, лл. 6 об—7.

¹⁷⁷ Текст записки таков (дошла в копии): «Государству закон, что кораблю компас, которого не прикасается кормчий, но по нем надежно и спокойно направляет плавание свое к общему благополучию, которого ни кровавые подвиги полководцев, ни любостыжательные вымыслы министров, ни суетные прения парламентов доставить не могут; а может даровать народам своим единая монарха праведная воля. Сей спасательной воле вашего величества повергает следующую при сем «Теорию закона», на которой основано государственное управление с глубочайшим благовоением» (ЦГИАЛ, Ф. 1409, оп. 1 ед. хр. 3250, л. 19).

¹⁷⁸ ЦГИАЛ, Ф. 1409, оп. 1, ед. хр. 3246, лл. 16—16 об.

¹⁷⁹ ЦГИАЛ, Ф. 1409, оп. 1, ед. хр. 3246, лл. 2—3.

Вяземский получил наглядный урок иллюзорности надежд на тактику давления на правительство. Это были те же иллюзии, изживание которых происходило в начале 20-х гг у большинства членов Союза Благоденствия. «Злоупотребления режутся на меди, а добрые замыслы пишутся на песке»,¹⁸⁰ — горько резюмировал он в письме к С. И. Тургеневу итоги своих петербургских попыток.

Лето и осень 1820 г. — время быстрой радикализации воззрений Вяземского. Если он и прежде считал, что интересы правительств и народов *различны*, то теперь он убеждается в их *противоположности*. Если еще недавно, следуя теориям Бенжамена Констана и наблюдая балансирование французского короля между ультрароялистами и левыми группировками, Вяземский был склонен считать власть монархов нейтральной силой, на которую порой можно и опереться в борьбе с реакцией, то теперь для него именно монархи возглавляют реакционный лагерь. Характеризуя отношения правительства и передовой общественности, которые еще несколько месяцев назад рисовались как соотношение ведомого, исподволь направляемого и тайных пружин его движения, Вяземский пишет в сентябре 1820 г.:

«Нет общего языка. Мы их считаем дураками, они нас головорезами, и все тронулось с места, все взволновано. Например, я уверен, что не исповедание государя в политическом отношении одержит господство в Европе <...> Вот в чем дело: принимать ли обстоятельства (речь идет о революционном подъеме 1820 г. — Ю. Л.) за стихию, против которой бороться нельзя, или за случайное поветрие? Я в них вижу стихию и готов сказать: «Умейте плавать, умеете летать, умеете обжигаться, или вы погибнете». Они говорят: «Это случай» и кидаются затыкать, тушить и запруживать. И все будут в дураках, помяни мое слово».¹⁸¹

Разумеется, не только, и, вероятно, не столько эпизод с неудачным обращением к царю был причиной изменения взглядов Вяземского. Весна-лето-осень 1820 г. — время общей радикализации политических настроений в передовой части русского общества. Это проявилось не только в переходе Союза Благоденствия к республиканским установкам,¹⁸² но и в изменении настроений кругов, составлявших периферию Союза Благоденствия. Подъем тираноборческих настроений пережили в это время Чаадаев и Дельвиг, резко изменилась политическая ориентация Пушкина.¹⁸³

¹⁸⁰ Остафьевский архив, т. II, стр. 40.

¹⁸¹ Остафьевский архив, т. II, стр. 59.

¹⁸² Подробный анализ см.: М. В. Нечкина. Движение декабристов, М., Изд. АН СССР, 1955, т. I, глава VII. Здесь же дан обзор исторических причин, обусловивших общественные настроения 1820 г. Во избежание повторов, отсылаем читателя к указанному исследованию.

¹⁸³ Нам представляется сомнительной традиционная датировка «Сказок» (Noël) 1818 г. Внимательное изучение общественных настроений 1818 г. исключает возможность столь резкого осуждения варшавской речи царя. Вместе с тем, международный курс Александра I в 1818 г. можно было считать нереалистичным, но называть царя пособником реакционной Австрии

События 1820 г., революция в Неаполе, Испании, Португалии не только повлияли на решение Вяземским общих политических вопросов, но и заставили его пересмотреть свое отношение к тактике борьбы с реакцией.

Устойчивая черта тактической позиции Вяземского состояла в боязни и реакции, и народа одновременно. Это заставляло его не доверять правительству, и, в то же самое время, он не мог допустить исторического прогресса, развивающегося мимо правителей, через их головы и вопреки их намерениям, т. е. революционным путем.

К исходу 1819 г. он убедился, что передовой общественности необходимо избрать или союз с народом, или союз с властью, и в горьком недоумении остановился перед этой дилеммой. В начале 1820 г. он писал С. И. Тургеневу: «Я не меньше опасуюсь министерских ножниц, которые часто режут вкривь и вкось, чем топора черни, который всегда бьет слишком сильно».¹⁸⁴

До определенного времени еще можно было надеяться на некий прогрессивный, но не революционный путь развития. «Революционисты должны падать, либералисты устоять»,¹⁸⁵ — сформулировал он эту мысль в середине 1819 г.

Однако, отношение к революции в сознании прогрессивного либерала конца 1810-х гг. не ограничивалось прямолинейным отрицанием. В гораздо большей степени, чем декабристы, боясь народной инициативы, он вместе с тем признавал ее полезные стороны, постоянно возвращался к ней в своих мыслях, и, чем более тускнела вера в правительство, тем более упорными делались поиски таких форм революционного взрыва, которые не напоминали бы крестьянский топор «пугачевщины».

Уже в 1818 г. Вяземский выразил то отношение к французской революции, которое было характерно для Бенжамена Констан и других французских «либералов» тех лет: революция не оправдывается — особенно в своей якобинской стадии — но плоды революции благи. Уничтожение феодализма и демократические свободы вошли после нее в сознание и историю французов как непреложные истины. «Либералисты» XIX в., не принимая революции, призваны пожать ее плоды. «Да здравствует XIX-ый век, несмотря на все, что о нем говорят! И именно сан-

было еще невозможно. Более того, в ту пору русский император был на международных конгрессах единственным монархом, старавшимся сохранить в качестве дипломатического принципа не лишнюю туманного либерализма доктрину 1815 г.

Капитуляция перед Меттернихом произошла в Троппау-Лайбахе. Она же была временем окончательного падения авторитета Александра I и возрождения идеи его убийства в кругах тайных обществ. После конгресса 1820 г. Александра I действительно можно было назвать клеветом Австрии и Пруссии («пруссский и австрийский я сшил себе мундир»).

¹⁸⁴ Архив бр. Тургеневых, вып. 6, стр. 3. Подлинник по-французски.

¹⁸⁵ Остафьевский архив, т. I, стр. 274.

кюлотам мы обязаны нашими широкими панталонами. Проклинать французскую революцию в настоящее время — это проклинать в Египте разливы Нила. Бесспорно, те, кто находился на берегу, по меньшей мере, порядком промочили ноги, но что за богатая жатва для тех, кто явился впоследствии». ¹⁸⁶

В этом колебании между признанием и боязнью — специфика позиции Вяземского. Однако интерес к революции (в историческом и политическом смысле) все время растет. И в 1819 г. — в то самое время, когда, как мы видели, обнаруживается интерес к Радищеву — в письме к А. И. Тургеневу Вяземский признается: «Я по горло во французской революции». ¹⁸⁷

Политические новости весны и лета 1820 г. давали богатый материал для размышлений на этот счет. Европейские события 1820 г. выдвинули новую проблему — военную революцию. Вяземский внимательно следит за новостями из Испании, Италии, Португалии, выписывает, через путешествовавшего Жуковского, из Берлина «лучшую карту Италии», ¹⁸⁸ своей рукой переписывает поступающие в Варшаву новости из Неаполя, видимо, для рассылки друзьям. ¹⁸⁹ Однако как только Вяземский примерял европейский опыт к русским условиям, его охватывали сомнения.

В письме Н. И. Тургеневу от 27-го марта 1820 г. Вяземский писал: «Я за Гишпанию рад, но, с другой стороны, боюсь, чтобы соблазнительный пример Гишпанской армии не ввел бы в грех кого-нибудь из наших. У нас, что ни затей, без содействия самой власти все будет Пугачевщина». ¹⁹⁰

¹⁸⁶ Там же, стр. 166.

¹⁸⁷ Там же, стр. 378.

¹⁸⁸ Архив ИРЛИ (Пушкинского Дома) АН СССР, 27985/СС. 1 б. 44, л. 4.

¹⁸⁹ В Рукописном отделе ГПБ хранится написанное его рукой извлечение из французских газет под заглавием «Венские известия о делах неапольских от 29-го июля н. стилиа» (Архив Вяземского, № 12.)

¹⁹⁰ Цит. по копии, хранящейся в Рукописном отделе ГПБ, Архив Вяземского, ед. хр. 36, листы не нумерованы. Говоря о «ком-нибудь из наших», Вяземский, видимо, намекает на М. Орлова. Политические настроения Орлова и его готовность к решительным действиям Вяземскому, конечно, были известны из многочисленных личных бесед. Несколько месяцев спустя, 23 июня 1820 г., Орлов в письме, говоря о своем назначении командиром дивизии, обмолвился: «Какая бы разница, ежели б я получил дивизию в Нижнем Новгороде или Ярославле» (Литературное наследство, т. 60, кн. 1, стр. 30). Если учесть настроения Орлова 1820 г. и то, что в Кишинев он прибыл с уже готовым планом превращения дивизии в революционную часть, смысл жалобы достаточно прозрачен: иметь в своем распоряжении преданную, подготовленную дивизию на расстоянии нескольких переходов от Москвы или в Нижнем, откуда Минин и Пожарский начали освободительный поход (вспомним, что Пестель хотел сделать Нижний Новгород столицей), значило гораздо больше для создания плана немедленной революции, чем иметь дивизию на Днестре. И все же Орлов и в последнем случае предложил в 1821 г. немедленную революцию. Ясно, что при возникновении военного восстания в Ярославле или Нижнем Новгороде наличие в руках восставших укрепленного лагеря под Москвой — Дубровиц Мамонова — могло бы сильно способствовать успеху дела.

В этом смысле настоящий переворот в сознании Вяземского произвели события в Семеновском полку.

Вяземский оказался сразу же втянутым в обсуждение происходящего. Дело в том, что, видимо, не без участия петербургских членов Союза Благоденствия, были приняты меры к тому, чтобы власти получили информацию, изложенную в благоприятном для солдат-семеновцев свете. Трудно сказать, делалось ли это по единому продуманному плану, но система энергичных и целенаправленных действий налицо. Вряд ли случайностью явилось то, что с донесением к Александру I был направлен Чаадаев. Вместе с тем, по свежим следам событий А. И. Тургенев пишет для Вяземского обширное письмо с изложением событий в самом благоприятном для солдат свете. Вся ответственность за беспорядки возложена на Шварца. При этом, хотя письмо имеет гриф: «Тебе одному», А. И. Тургенев прямо указывает Вяземскому на употребление, которое нужно из него сделать. «Скажи об этом Новосильцову и еще немногим <...> Я уверен, что государь быстрее и вернее своих генералов рассудит, но надобно, чтобы истина была ему во всем блеске открыта, надобно, чтобы первые происшествия объяснены были строго и верно».¹⁹¹ Можно предположить, что отправление этого письма было согласовано с Н. Тургеневым. Вяземский правильно понял, чего от него ждут: он составил из письма Тургенева выписку, которую представил Новосильцеву, а через него великому князю Константину. Он продолжил в Варшаве то, что Чаадаев делал в Троппау. Правда, надежда расположить царя и присных в пользу семеновцев оказалась тщетной, но тем сильнее было разоблачение правительства в глазах передовой общественности.

Необходимо заметить, что с этим эпизодом связана неточность в статье С. Н. Дурылина. В бумагах Новосильцева была обнаружена адресованная Константину Павловичу записка:

«J'ai le bonheur de transmettre ci-joint à votre altesse impériale l'extrait de la lettre de m-r Tourguénéff au prince Wiasemsky, concernant l'événement qu' a eu lieu à St.-Pétersbourg dans une caserne des gardes. Je garantis le conformité de cet extrait avec l'article»¹⁹²

Перепечатывая эту заметку из «Русского архива», С. Н. Дурылин снабдил ее комментарием: «Новосильцев был последователен, когда читал всю переписку Вяземского, подозревавшего, что ее где-то читают, но не думавшего, что ее читают так близко от него».¹⁹³

Возможно, переписку Вяземского и читали (никаких прямых доказательств этому мы не имеем), однако, в данном слу-

¹⁹¹ Остафьевский архив, т. II, стр. 91.

¹⁹² Русский архив, 1909, № 6, стр. 259. «Я имею счастье передать при сем вашему императорскому высочеству извлечение из письма г. Тургенева князю Вяземскому относительно событий, имевших место в С-Петербурге в казарме гвардии. Я отвечаю за точность этого извлечения.» — франц.

¹⁹³ Н. Кутанов, цит. соч., стр. 209.

чае речь идет о письме, которое довел до сведения правительственных сфер сам адресат. Это точно устанавливается из письма А. И. Тургеневу от 31 октября 1820 г.:

«В разговорах Николая Николаевича Новосильцова с великим князем о петербургском происшествии и о толках, которые оно породит, Николай Николаевич упомянул о письме твоём, как о писанном в духе умеренности. Великий князь захотел его видеть, и сейчас сделал я своеручную выписку из повествовательной части твоего письма, Новосильцовым скрепленную для представления его высочеству».¹⁹⁴

Однако, события в Семеновском полку взволновали Вяземского не только необходимостью практических (оказавшихся гчетными) действий для спасения семеновцев. Гораздо значительнее был теоретический вопрос, вставший перед ним в эти дни. Главным, что отпугивало его от революции, даже от военной по образцу испанской, была боязнь «пугачевщины», неверие в способность солдат выступить организованно. С другой стороны, он ясно осознавал, что сила правительства состоит в штыках солдат. Правительство не имеет никакого морального авторитета.

«Наполеон, ополченный богатырской решимостью в достижении цели своей, не краснеющим лбом встречал все преграды, противопоставленные ему истиною, и шпагою несокрушимого запечатлевал свои политические парадоксы. Но мы, которые утра свои проводим в манежах и на парадных площадях, которые хотим слыть либералами при женских туалетах и деспотами перед миллионами штыков, которые не имеем ни одной мысли, а много лишних солдат, что, кроме стыда настоящего и бледного, но многими пятнами обозначенного листа в истории ожидает нас в награду за двуличное поведение и за всегда зыблющееся направление мыслей и правил?»¹⁹⁵

Размышления над событиями в Семеновском полку в значительной мере приблизили Вяземского к идее военной революции, почти разрушив тонкую преграду, отделявшую его от декабристских настроений осени 1820 года. Новые воззрения его выразились в чрезвычайно любопытном документе, написанном в форме письма, но явно предназначенном для общественного распространения. В этом смысле показательна помета в конце «продолжение впредь», прямо ведущая к традиции газетно-журнальной, а не эпистолярной прозы. Существовало ли такое «продолжение» в самом деле, нам не известно. В виду важности этого документа приводим его текст.¹⁹⁶

¹⁹⁴ Остафьевский архив, т. II, стр. 96.

¹⁹⁵ Там же, стр. 166.

¹⁹⁶ Текст представляет чистовую рукопись, автограф П. А. Вяземского. Не датирован, но по смыслу и по некоторым текстуральным совпадениям с письмами октября—ноября 1820 г. датируется этим временем. Хранится в Рукописном отделе ГПБ, Архив Вяземского, ед. хр. 13. Мое внимание на этот документ обратил С. С. Ланда, которому пользуюсь случаем выразить живейшую благодарность. Мы рассматриваем этот интереснейший документ в связи с проблемами, затронутыми в настоящей работе. Всесторонне комментированное издание его подготовлено к печати М. И. Гиллельсоном.

«Благоговею перед этою поучительною рукою Провидения, которая поражает высокомерие в самую ея крепость. Не крестьяне, брошенные на пролив алчности помещиков, не мы, бедная шляхта, оплеванная, пресыщенная уничтожительным презрением, уничтоженная, явно обращенная в подножие блестящего колоса воинственного, напоминает уму надменному, что есть предел терпению, граница нравственным безобразностям! Нет! Этот голос пробудительный грянул из уст тех самых, для коих все было принесено в жертву. Не знаю, как Вы смотрите на это вблизи, но в отдаленности мне кажется это одним из важнейших событий нашего времени. Эта русская строка современной истории по мне плодovitее страниц Гишпанской в Неапольской. Это стих пророка, беременный грядущим. Зародыш в минуту образования своего ничем не сказывается: но придет час разрешений. Дева самовластия проломлена. Держите ее под замками, прячьте от взоров людей, от самого наития воздуха, если хотите: ничто не поможет. Посвященные слышали глас архангела: благословен плод чрева твоего, яко спаса родила еси душ наших! Но Вы теперь ответчики перед богом, наблюдайте прилежно за беременностью этою. От Ваших попечений зависит теперь, каким быть родам: счастливым или злосчастным, насильственным или естественным. Это такой удар судьбы, что чем более прислушиваешься, тем звучнее, тем шире он раздастся. Мы, если и воображали когда русский мятеж, то вооруженного топором, воспламеняемого пьянством и грабежом, разбивающего кабаки, но вдруг видеть мятеж хладнокровный, на душе своей положивший намерение достигнуть цели твердою и спокойствием и в ком же, не в людях, которые, так сказать, поступают в глазах Европы и потомства и взявши умеренность себе за правило более по расчетам рассудка, но в людях, ничего не обдумавших, никакого влияния не желавших, никакой строки ни в газетах, ни в истории не требующих, а решивших просто единственно свергнуть иго [которое] * потому, что оно сделалось уже нестерпимым. Опомиться не могу. Вот прекрасная диверсия тропаским действиям. Эта выскочка не хуже высадки во время Венского конгресса.¹⁹⁷ Та высадка выкинула мертвого недоноска: наша выскочка принесет младенца, еще во чреве окропленного живую водою и коему расти не по годам, а по часам. Не могу при том без ужаса и уныния подумать об одиночестве государя в такую важную минуту. Кто отзовется на его голос? Раздраженное самолюбие, бедственный советник, или ничтожные холопы, еще бедственнее и того. Вот плоды ложного расчета самолюбия, которое побуждает отдалять все, что немного превышает казенную меру. Да чего бояться? Ты довольно умен, довольно возвышен душою, чтобы мериться с умом и великодушием. За что такое смирение, исчадие гордости? К чему эта недоверчивость к себе, которая вовлекает в недоверчивость к другим? У тебя довольно своего света: не пугайся, свет чужой не затмит его, напротив, придаст новый блеск твоему, сольется с твоим и разольет пространнейшее сияние, которое на тебе же одном стразится. Не забывайте, что Вы баловни неба! История даже и за то Вам сказывает спасибо, что при жизни Вашей в областях, Вам подвластных, родились великие люди, в коих Вы ни душою, ни телом не виноваты. Никогда еще царей**, ни царствования не хвалили за неурожай людей отличных, напротив, обвиняли, ибо, с другой стороны, знают, что как небо ни туго на возвышенные достоинства, а все со свечкою можно прискатыть их несколько. Что Вам хорошего в припадок решительный скажут Волконские и Ожаровские, которых вы за колесницею свою ташите по белому свету, как будто с тем, чтобы похвастаться в глазах людей бесплодием земли Вашей? Конечно, не самолюбие говорит в нас: мы не алчем их мест почетных: мне блеска Вашего не надобно, природа худо или хорошо, но зажгла мне во лбу звезду, огонешек малешенек, который и без Вашего заимобразного сияния не потухнет и с гроба

¹⁹⁷ Речь идет о бегстве Наполеона с острова Эльбы — начале периода «ста дней».

* зачеркнуто

** в тексте описка: «цари».

моего будет еще, быть может, отсвечиваться на памяти моей и весело играть в глаза потомков, познавших меня не по календарю придворному.

Не презрите, усыновите чувство наше: научите языку его детей Вашего сердца, Вашей любви. Мы за себя не стоим: Вам с нами скушно, не ловко: верю, но не знайтесь с нами, а по крайней <мере> слушайте нас, хотя в слуховое окно. За речи свои стоим, ибо голос совести не обманчив и мы носим убеждение, что говорит в нас нечто свыше нас, не человеческая опытность, которая при самом решении задачи часто обсчитывается, но истина врожденная, но природное чувство блага, природная изгага от всего низкого, нелепого, безобразного.

(Продолжение впрдь).»

По стечению событий Вяземский получил почти одновременно известие из Петербурга о восстании семеновцев и письмо из Константинополя от С. И. Тургенева, который, еще ничего не зная, развивал перед своим корреспондентом идею военной революции как естественного вывода из всего хода европейских событий.

С. И. Тургенев писал: «Самые правительства в том согласны: «La siècle, où nous vivons, exige que l'ordre Social ait des lois tutélaires pour base et pour garantie»¹⁹⁸ Но правительства думают, что им должно помедлить дарованием этих законов. Таким образом они горячат бабу Европу и не удовлетворяют ее. А между тем разбойники-якобинцы пользуются этим замедлением, осуждают правительства, а где могут, — берут сами, чего не хотят дать. Конечно жаль, что солдаты дают законы, но я не понимаю, как этому удивляться можно. Сами правительства давным-давно их к тому приучили. Некоторые из них на солдат только и упирались, отняв у народа всю силу, которую бы он мог противиться солдатам. Обстоятельства последней войны еще увеличили материальную силу солдат силою нравственною, силою мнения. Они сражались за отечество, за независимость, за свободу. Вдруг вздумали этих гигантов превратить в прычких солдат! И кто же? — Политические пигмеи. Чем? — Подписью мирных трактатов. А противоборствуя-то, силу не подумали устроить. Там, где она есть, солдаты не опасны. Не ими погибнет Англия, и в России они не взбунтуются».¹⁹⁹

Зная взгляды С. И. Тургенева, нельзя сомневаться, что осуждение революционеров и уверенность в безопасности России от военных волнений предназначались для постороннего читателя. Известия из Петербурга были прекрасным комментарием к последним словам приведенной цитаты. Отношение к насильственным действиям у Вяземского к концу 1820 г. явно переменилось. Он снова возвращается в письмах к образу революции — разливающегося Нила. Но теперь это получает иной смысл. Прежде это означало признание благодетельных последствий революции, которая была уже совершившимся фактом, исторической

¹⁹⁸ Век, в который мы живем, требует, чтобы общественный порядок имел в качестве основы и гарантии покровительственные законы. — *Франц.*

¹⁹⁹ Остафьевский архив, т. II, стр. 98.

данностью. Речь шла лишь о том — вырывать ли из истории эту страницу или нет. В таком виде сочувствие революции вполне доступно было и либералу, почитателю Бенжамена Констана и французских «левых».

Теперь речь шла о другом — о пользе предстоящей русской революции: «Право, времена такие, что нужно силою пустить истины некоторого рода в ход. Тугие, но в сокровенности щедрые, берега Египта плодотворятся бурным разливом Нила. Терпение не есть повсеместная и каждовременная добродетель. Терпи рану, и антонов огонь тебя съест, выйди из терпения, дай больное место на отсечение, и все кончено».²⁰⁰

Не менее сложным было отношение Вяземского к одному из узловых вопросов декабристской тактики — проблеме царубийства.

В революции — что является характерным для прогрессивного дворянского сознания 1810—1820-х гг. — Вяземского отпугивала не столько кровь, сколько массовость. Идею тиранубийства, индивидуального героического акта Вяземский принял значительно раньше, чем самое ограниченное принятие солдатской революции. Здесь эволюция совершилась быстрее.

Еще в начале 1819 г. он воспринял известие об убийстве Коцебу резко отрицательно: «Эти головорезы, — писал он, — окровавят дело свободы, как французские тигры окровавили дело свободы».²⁰¹ Но уже в конце августа того же года он восхищается киевской речью Орлова и в том же письме говорит о потребности гражданского подвига: «Нынче на поле битвы не далеко в опасность уйдешь от рядов своих сверстников». И далее: «Мы — поколение Катонов, как ни говори, а отцы наши были сибариты».²⁰² А в начале сентября в письме появляются многозначительные намеки: «Кровь кипит в 42 градуса. Я здесь учусь ненавидеть самовластие». И дальше: «Я не рожден для великих действий, но одно совершить надобно <...> Я не живу, а страдаю. Кровь у меня в жилах не течет, а клокочет».²⁰³ Конечно, это — мимолетная мечта о героическом подвиге, и от нее бесконечно далеко до идеи царубийства как продуманного действия, политически и тактически подготовленного и санкционированного революционным подпольем. Подобные размышления еще не свидетельствуют о том, что Вяземский перешагнул грань, отделяющую широкую группу свободолюбцев от когорты конспирантов. Мысли, подобные тем, которые волновали Вяземского, посещали в ту пору многих прогрессивно настроенных общественных деятелей — их разделяли в 1820 г. Дельвиг и Чаадаев. В том же 1820 г. идея царубийства вошла в сознание Пушкина.

²⁰⁰ Остафьевский архив, т. II, стр. 144.

²⁰¹ Там же, т. I, стр. 205.

²⁰² Там же, стр. 301.

²⁰³ Там же, стр. 306.

Изменение в политической позиции Вяземского привело к последствиям, отражающим важную черту общественной жизни 1819—1820 гг., — началось все возрастающее отчуждение его от круга карамзинистов — старых друзей по «Арзамасу».

Несмотря на глубокую личную привязанность к Карамзину, отчуждение между ним и Вяземским в эти годы нарастало. В марте 1820 г. Е. А. Карамзина с горечью писала брату:

«Г. Тургенев, Александр, отбыл в Москву со своим братом Сергеем. Последнему не слишком понравилось общество моего мужа, поскольку, отправляясь в Константинополь и на время неопределенное, он не дал себе даже труда зайти попрощаться. Кто знает, мой дорогой князь Петр, кто знает, может быть, настанет день, когда, будучи с нами в одном городе, вы тоже не почувствуете в этом потребности. Ибо ваша братия *либералы* вместе с тем менее всего *терпимы*. Надо иметь одинаковые с ними взгляды — без этого нельзя не только друг друга любить, но даже и видеться. Я шучу, помещая Вас в это число: характер моего мужа мне порука, что мы останемся братьями, несмотря на политические мнения». ²⁰⁴ Споры с Пушкиным, ²⁰⁵ Вяземским, Н. и С. Тургеневыми, М. Орловым ²⁰⁶ определенным образом повлияли на Карамзина, позиция которого в эти годы не оставалась неизменной.

Однако, гораздо более знаменательно расхождение Вяземского с Жуковским и либеральным А. И. Тургеневым. Уже в 1818 г. Вяземский убедился, что в Жуковском «нет ни капли конституционной крови». ²⁰⁷ Эпистолярная полемика Вяземского с Жуковским за 1818—1819 гг., о которой есть упоминание в письмах к Тургеневу («я бился на кулачки с Жуковским»), к сожалению, до нас не дошла. О спорах между ними в 1820—1821 гг. речь будет ниже.

Однако если столкновения между Вяземским и Жуковским происходили, главным образом, на литературной почве, то споры с А. И. Тургеневым имели политический характер и, в этом смысле, особенно показательны. Они свидетельствуют, что в 1818—1820 гг. процесс размежевания в передовой части общества шел еще не в форме отделения либералов от революционеров, а в виде разделения внутри прогрессивно настроенной общности. При этом левая часть дворянских либералов приближалась к декабризму, правая часть переходила в умеренный и консервативный лагерь. Вместе с тем процесс размежевания находился еще в самой начальной стадии. Благодаря этому, одно и то же лицо — в данном случае А. И. Тур-

²⁰⁴ Письма Н. М. Карамзина к князю П. А. Вяземскому, Спб., 1897, стр. 98. Оригинал по-французски. Курсив оригинала.

²⁰⁵ См. Пушкин, Полное собр. соч., т. XII, Изд. АН СССР, 1949, стр. 306—307. Б. В. Томашевский, Эпиграммы Пушкина на Карамзина, сб. Пушкин, Исследования и материалы, т. I, Изд. АН СССР, М.—Л. 1956, стр. 208—215.

²⁰⁶ Карамзин писал Вяземскому 15 марта 1817 г.: «Орлов бывал у нас и спорил со мною, как прежде бывало» (Письма Н. М. Карамзина к князю П. А. Вяземскому, Спб., 1897, стр. 26).

²⁰⁷ Остафьевский архив, т. I, стр. 132.

гениев — могло еще по разным вопросам и часто под влиянием личных симпатий примыкать то к той, то к другой группировке. Особенно показательна разница в отношении к полярным явлениям эпохи — выступлениям декабристов и действиям реакции. Пока речь шла о борьбе с откровенной реакцией — дворянские либералы всех оттенков и члены тайных обществ в 1820 г. еще могут выступать единым фронтом. Так, 14 сентября 1820 г. на квартире у А. И. Тургенева Чаадаев, Блудов и Жуковский с возмущением читают составленную Магницким «Инструкцию директору и ректору университета». Однако в отношении реальной программы действий взгляды неизменно расходятся.

Так, например, киевская речь М. Орлова вызвала у Вяземского восторг: «Ну, батюшка, оратор! <...> Вот пустили козла в огород! Да здравствует Арзамас! Я в восхищении от этой речи». ²⁰⁸ Между тем, А. И. Тургенев встретил речь Орлова в высшей мере прохладно и не выразил никакого сочувствия идее превращения библейских обществ в политико-просветительную организацию. Революционный пафос М. Орлова — для него беспочвенные мечтания: «Нет, пусть служит Орлов некоторое время внутри России, пусть узнает ее лучше нас — и тогда, если сохранит жар к добру, пусть приедет сюда согреть оледенелые члены членов Государственного Совета». ²⁰⁹ Иных форм общественного служения А. И. Тургенев представить себе не мог.

Вяземский переделывал свой «Петербург» совершенно в том же духе, что и «Деревня» Пушкина, а А. И. Тургенев находил в последней — «преувеличения на счет псковского хамства (т. е. крепостничества — Ю. Л.)». ²¹⁰

К концу 1820 г. расхождение с бывшими друзьями и сближение с установками тайных обществ зашло так далеко, что в сознании Вяземского выплыла идея конспирации, тайного сговора друзей свободы. 24 декабря 1820 г. он писал: «Есть, конечно, в России общество мыслящее, но это общество глухонемых. С ними можно говорить только на лице и знаками: ничего не раздается, вся умственная работа производится потаенно. Доживем ли до того, чтобы прорвалась она?». ²¹¹

Внутреннее развитие Вяземского подготовило его сближение с борющимися общественными силами, а биографические обстоятельства 1820—1821 гг. представили удобный случай.

Причины высылки Вяземского из Варшавы считаются в научной литературе твердо установленными и не возбуждающими сомнений. Обычно указывают на антиправительственные высказывания в личной переписке и симпатии к Вяземскому в поль-

²⁰⁸ Остафьевский архив, т. I, стр. 299, ср. также стр. 346—347.

²⁰⁹ Там же, стр. 307.

²¹⁰ Там же, стр. 296.

²¹¹ Там же, т. II, стр. 128.

ском обществе. Основанием здесь служат признание самого Вяземского в «исповеди» 1829 г. и предположения С. Н. Дурылина о том, что письма Вяземского читались. Однако, оба эти источника не бесспорны. «Моя исповедь» — отнюдь не объективное повествование о жизни — это оправдательная записка, предназначенная для Николая I, и извлекать из нее цитаты, не осмысляя общей тактической направленности документа, — метод весьма опасный. 1829 г. был для Вяземского временем особенного обострения отношений с правительством. В реакционных кругах и в безымянных доносах на него прямо указывали как на избежавшего кары единомышленника декабристов. В сознании правительства все еще бродило подозрение, что Н. Полевой — подставная фигура, за которой стоит Вяземский. Это тоже не улучшало его положения. Все это заставило Вяземского пойти на прямое объяснение с правительством. При этом он прибег к тактике, которой пользовался и Пушкин. Понимая, что отрицать свое «вольнодумство» бесполезно, Вяземский написал записку в тоне подчеркнутого чистосердечия. Однако изложение событий вряд ли было откровенным. Придерживаясь той же тактики, что и многие декабристы на следствии, Вяземский старается доказать, что его политические взгляды не выходили за рамки разрешенного в 1818 г. либерализма и никогда не менялись. Просто Александр I «отрекся от прежних своих мыслей <...> Я остался, таким образом, приверженцем мнения, уже не торжествующего, а опального, из рядов правительства очутился я, и не тронувшись с места, в ряду противников его: дело в том, что правительство перешло на другую сторону».²¹² Высказывание это, не только воспринятое С. Н. Дурылиным с полным доверием, но и положенное им в основу своей концепции политических воззрений Вяземского, как мы видели, опровергается фактами.

Понимание особенностей тактики Вяземского заставляет нас поставить под сомнение туманное упоминание «польских симпатий» в качестве причины гонений на Вяземского. Следует иметь в виду, что в 1829 г., то есть до польского восстания 1830 г., тезис этот не звучал для официальных ушей столь одиозно. Между тем, ни письмо Новосильцева Вяземскому, содержащее запрет возвратиться в Варшаву (письмо сохранилось в бумагах Вяземского), ни какие-либо иные из дошедших до нас документов тех лет не содержат следов подобной аргументации высылки Вяземского. Более того, ясно, что высылка крупного должностного лица из Варшавы не могла быть произведена без договоренности с Константином Павловичем. Если он и не был инициатором этой меры, то санкция его была совершенно необходима. Между тем, хотя дикие выходки Константина Павловича воз-

²¹² Полное собрание сочинений князя П. А. Вяземского, т. II, Спб., 1878, стр. 18.

буждали ненависть к нему в польском обществе, сам он не был чужд стремления построить политику на сочетании грубого давления и заигрываний. «Польские симпатии» в начале 1820-х гг. еще не были для русских правительственных кругов в Варшаве преступлением такого масштаба, которое оправдало бы столь резкую и демонстративную меру (удалить Вяземского из Варшавы можно было бы и значительно менее гласным способом). Невольно напрашивается сопоставление этой меры с высылкой Пушкина и Катенина, с отставкой М. Орлова и Граббе.

Что касается второй из называемых обычно причин — перлюстрации писем, то и здесь необходимы некоторые ограничения. Перлюстрация писем Вяземского вполне вероятна, однако, все же нельзя забывать, что прямых доказательств ее нет — как мы видели, аргументация этого положения С. Н. Дурылиным основана на недоразумении. Необходимо иметь в виду и то, что данные перлюстрации чаще всего пускались в ход тогда, когда намерение учинить расправу уже созрело — так было, например, с высылкой Пушкина из Одессы. Между тем, еще незадолго до рокового письма Новосильцева, запретившего возвращение Вяземского в Варшаву, отношение к последнему правительственных кругов казалось вполне благосклонным.

Так, в 1819 г. Александр I, будучи в Варшаве, назначил Вяземскому час прибытия к себе, говорил ему о Польше, «снизошел до объяснений, почему в государственном управлении иное делается так, а не иначе». ²¹³

Для того, чтобы представить действительные причины высылки Вяземского из Варшавы, необходимо остановиться на некоторых событиях, развернувшихся в польской столице в 1820—1822 гг.

Вяземский в «Моей исповеди» указал на свои связи с польской общественностью и совершенно обошел знакомства с находившимися в Варшаве декабристами и тяготевшими к декабризму передовыми русскими офицерами. А они, конечно, были. Не все в этом вопросе поддается освещению. Мы можем предположить существование дружеских отношений в этот период между Вяземским и Петром Христиановичем Граббе. О встречах Вяземского и декабриста Павла Граббе в Москве свидетельствует французская записка Граббе, сохранившаяся в бумагах Вяземского. Приводим перевод: «Вернувшись довольно поздно и найдя Вашу, князь, записку, спешу Вас уведомить, что завтра я рассчитываю, как я думаю, располагать своим временем с утра до полудня». ²¹⁴ П. Х. Граббе — варшавский знакомец Вяземского и родной брат Павла Христиановича Граббе — члена Союза Благоденствия. Между тем, Граббе именно в эту пору не принадлежит к числу рядовых, теряющихся в общей

²¹³ Русская старина, 1893, февраль, стр. 434.

²¹⁴ ЦГАЛИ, Ф. 195, оп. 1, ед. хр. 1776, л. 1.

массе участников тайных обществ. Он входит в коренной союз Союза Благоденствия. В 1820—1821 гг. он особенно политически активен и является одним из выдающихся деятелей того умеренного крыла Союза Благоденствия, которое числило в своих рядах Фонвизиных и Якушкина. В 1821 г. он выступает в качестве одного из вдохновителей московского съезда.

Видимо, через Петра Граббе Вяземский познакомился и с его братом — декабристом. В письмах 1823 г. к Тургеневу он осведомляется о его жизни и передает приветы. Из этих упоминаний явствует, что декабрист Граббе получал от Вяземского книги.

В варшавском доме Петра Граббе Вяземский познакомился с кружком свободолобивых офицеров, главным образом, из лейб-гвардии Литовского полка.

На рубеже 1810-х и 1820-х гг в лейб-гвардии Литовском полку происходили весьма интересные для историка преддекабристских настроений события. Среди передовой части офицерства господствовали те самые настроения, которые характерны для общественного окружения Союза Благоденствия: ненависть к фрунту, интерес к серьезным научным занятиям, культ гражданских добродетелей, увлечение политическими и общественными науками.

В мемуарах А. А. Одинцова читаем: «Общество офицеров л.-гв. Литовского полка отличалось тесным товариществом, либеральными мнениями александровских времен и полным сознанием своего достоинства как корпорации. Из офицеров полка было много хорошо образованных, прилежно читавших политические и военные сочинения». ²¹⁵ Несмотря на муштру и шагистику, которых было «достаточно», чтобы совершенно умственно «отупеть», «находилось, по счастью, некоторое число офицеров, успевавших проглотить всего Жомини, кроме другого чтения». ²¹⁶

Попав в такую среду, Одинцов и сам предался изучению политических наук. От товарищей он «получил «Essais sur les mœurs» de Voltaire, и это сочинение сделалось моею настольною книгою. Вольтер, Монтескьё, Франклин, Вейсе определили в моей молодости мое мирозерцание. Сожитель мой Обручев был пламенный последователь Руссо, и можно представить, какие споры и прения возникали между нами». ²¹⁷

Дружеская близость между свободомыслящей частью офицеров получила организационное оформление в лагерный период 1819 г. Возникла «артель», не прекратившая своего существования и после возвращения в Варшаву. Из чисто хозяйственной организации «артель» скоро превратилась в дружеское просветительное общество с ярко выраженной политической окраской. Весь этот процесс детально освещен в мемуарах

²¹⁵ Русская старина, 1889, ноябрь, стр. 314.

²¹⁶ Там же.

²¹⁷ Там же, стр. 315.

Н. В. Веригина. «Не помню, кто подал мысль не прерывать лагерных бесед и в самой Варшаве. Было положено, чтобы у некоторых офицеров по вечерам собирались мы <...> Скоро составилась класс английского языка». ²¹⁸

Все это живо напоминает обстановку в гвардейских полках в Петербурге после окончания заграничных походов. По воспоминаниям М. А. Фонвизина, «в то время многие офицеры гвардии и генерального штаба с страстью учились и читали преимущественно сочинения и журналы политические». ²¹⁹ Такой же круг интересов передового гвардейского офицерства очерчивает Пушкин в кишиневском наброске комедии:

«... В своем кругу они
О дельном говорят, читают Жомини». ²²⁰

Уже сам факт появления у офицеров интересов, отличных от фрунтормании, вызвал подозрительное отношение командования. А. А. Одинцов вспоминал: «Константин Павлович не любил, чтоб офицеры занимались науками, тем более политическими, и потому Литовский полк был у него на дурном счету и за ним шпионили более, нежели за польскими полками». ²²¹

Настороженность начальства увеличилась в связи с тем, что «занятия» и беседы в «артели» имели отчетливо выраженный политический характер. По словам Одинцова, «все вообще были пылкие сторонники парламентаризма». ²²² Записки Веригина рисуют не менее яркую картину: «Разговоры о греках, римлянах, о немецкой философии, о революциях Англии, Франции, о правах человека на личность, о собственности — порождали возражения, споры, соглашения». ²²³ Тематика бесед весьма характерна. Разговоры о греках и римлянах в контексте бесед о современном деспотизме — это не школьные рассуждения о добродетелях. Для околodeкабристской молодежи подобная тематика звучала как исполненная политической актуальности. Чрезвычайно показательно описание в «Записках» Якушкина того, как произошло принятие в тайное общество П. Х. Граббе — брата

²¹⁸ Русская старина, 1892, № 11, стр. 302.

²¹⁹ М. А. Фонвизин, Обзорение проявлений политической жизни в России, в кн.: Общественные движения в России в первую половину XIX в., т. 1, Декабристы: М. А. Фонвизин, кн. Б. П. Оболенский и бар. В. И. Штейнгель, составили В. И. Семеvский, В. Богучарский и П. Е. Шеголев, Спб., 1905, стр. 185.

²²⁰ Пушкин, Полн. собр. соч., т. VII, Изд. АН СССР, 1937, стр. 246. Подробный анализ связи офицерских артелей в гвардейских полках после наполеоновских войн и ранних декабристских организаций см. в статье М. В. Нечкиной «Священная артель. Кружок Александра Муравьева и Ивана Бурцова 1814—1817 гг.» (сб. «Декабристы и их время», М.—Л., Изд. АН СССР, 1951) и в книге того же автора: Движение декабристов, т. 1, М., Изд. АН СССР, 1955.

²²¹ Русская старина, 1889, ноябрь, стр. 318.

²²² Там же.

²²³ Русская старина, 1892, октябрь, стр. 65—66.

того, в чьем доме в Варшаве происходили упоминаемые Веригиным споры.

«Пока мы ходили, разговаривая, по комнате, человек Граббе принес его долман и ментик. Я спросил его, куда он собирается в таком облачении. Он отвечал, что ему необходимо явиться к гр. Аракчееву. Между тем мы продолжали ходить, и разговор попал на древних историков. В это время мы страстно любили древних: Плутарх, Тит Ливий, Цицерон, Тацит и другие были у каждого из нас настольными книгами. Граббе тоже любил древних. На столе у меня лежала книга, из которой я прочел Граббе несколько писем Брута к Цицерону, в которых первый, решившийся действовать против Октавия, упрекает последнего в малодушии. При чтении Граббе, видимо, воспламенился и сказал своему человеку, что он не поедет со двора, и мы с ним обедали вместе, потом он уже никогда не бывал у Аракчеева, несмотря на то, что до него доходили слухи через приближенных Аракчеева, что граф на него сердится и повторял не раз: «Граббе этот, видно, возгордился, что ко мне не едет». Вскоре после этого Фонвизин принял Граббе в члены Тайного общества». ²²¹

Разговоры о «правах человека на личность, о собственности», которые велись в «артели» — это, конечно, прения о решении крестьянского вопроса в России.

Душой офицерской артели лейб-гвардии Литовского полка были ротные командиры капитан Николай Николаевич Пущин и штабс-капитан Петр Андреевич Габбе — «самые уважаемые и влиятельные в обществе офицеры», по характеристике Веригина. ²²⁵

П. А. Габбе, поэт и пламенный свободолюбец, принадлежал к ближайшему окружению Вяземского в Варшаве. Настроения Габбе достаточно хорошо рисуются из его писем к Вяземскому. К муштре и фрунтмании, а также и лично к великому князю Габбе настроен весьма критически (несмотря на то, что Константин Павлович знал его с детства, покровительствовал ему, называя Габбе — «мой Петруша»). Так, в письме от 14 мая 1820 г. Габбе сообщает Вяземскому: «Объявляю вам здешнюю новость: третьего дня в <еликий> к <нязь> обвенчался, а вчера уже ездил в кабриолете со своей супругою. Что скажут правверные, узнавши, что молодой на другой день свадьбы своей в 5 часов утра делал . . . ученье? . . . Мы, со своей стороны, молчим, ибо говорить в службе запрещается». ²²⁶ Летом 1821 г., в разгар разговоров о греческом восстании, Габбе писал: «С нетерпением ожидаем мы решения о войне с турками. Конечно, нам бояться нечего: нас пошлют разве для обучения эскерци-

²²⁴ И. Д. Якушкин, Записки, статьи, письма, М., Изд. АН СССР, 1951, стр. 20.

²²⁵ Русская старина, 1892, № 11, стр. 296.

²²⁶ ЦГАЛИ, Ф. 195, оп. 1, ед. хр. 1705, л. 1.

ции г.г. потомков Фемистокла и Эпаминонда или же для пригонки их амуниции (выражение также наше!), ибо известно, что греки не наблюдают никакой формы». ²²⁷

Вокруг Вяземского образовался кружок любителей литературы и свободолюбцев. ²²⁸ В какой-то мере он сообщался с офицерской артелью — по крайней мере Габбе и Граббе соединяли эти кружки. К кружку Вяземского примыкал и ряд других лиц — например, И. М. Фовицкий — приятель А. Е. Измайлова, А. Х. Востокова и М. В. Милонова, печатавшийся в различных журналах начала века. В эту пору он служил в Варшаве наставником при Александрове — воспитаннике Константина Павловича. Позже Вяземский вспоминал: «С ним мы очень сблизились, ему поверял я тотчас сметанные на живую нитку произведения свои и часто пользовался умными и дельными замечаниями его». ²²⁹

Правда, видимо, степень близости тех или иных членов кружка к Вяземскому была неодинаковой. Так, Фовицкий, более осторожный и уклончивый, не возбуждал доверия в решительно настроенном Габбе, который предупреждал и Вяземского: «Этот человек, кажется, вас любит, он и мне понравился, но он слишком близок к огнедышущему жерлу, чтобы можно было смело на нем основываться, не боясь пламени». ²³⁰

Круг варшавских «сочувственников» Вяземского не поддается точному учету. Вероятно, сюда входил и ряд лиц, пока нам неизвестных. Так, например, в письме от 28 августа 1823 г. к А. И. Тургеневу Вяземский поручает его покровительству некоего Карелина. Последнему дается следующая характеристика: «Он познакомился со мною в Варшаве, а теперь он мой варшавский соизгнанник. Чудак большой руки, с умом твердым, просвещенным, познаниями большими». ²³¹ Лицо это, примечательное хотя бы тем, что попало под одну с Вяземским волну репрессий, нам неизвестно. В. И. Саитов в комментарии без колебаний отождествил его с Григорием Силычем Карелиным — известным географом, естествоиспытателем, неутомимым исследователем азиатских областей России. Однако, никакие из имеющихся биографических материалов о Г. С. Карелине не упоминают ни его службы в Варшаве, ни изгнания оттуда. Более того, из писем Тургенева Вяземскому следует, что варшавский знакомец последнего находился осенью 1823 г. в Петербурге и посещал А. И. Тургенева. Между тем, Г. С. Карелин в это время находился в ссылке в Оренбурге. Вместе с тем, возможно, что перед нами все же не простое тождество фамилий. На какую-то

²²⁷ Там же, л. 3 об.

²²⁸ «Со времени отъезда вашего померкла здесь для меня звезда поэзии», — писал Вяземскому Габбе 14 августа 1821 г. (там же).

²²⁹ П. А. Вяземский, Полн. собр. соч., т. II, стр. XIII.

²³⁰ ЦГАЛИ, Ф. 195, оп. 1, 1705, л. 3.

²³¹ Остафьевский архив, т. II, стр. 343.

связь намекает странное совпадение: в то самое время, когда Карелин — приятель Вяземского был изгнан из Варшавы, Г. С. Карелин был без какой-либо мотивировки по личному распоряжению Аракчеева, в подчинении у которого он находился, схвачен и в одном мундирном сюртуке, только лишь с носовым платком в кармане отправлен из Петербурга в ссылку в Оренбург. Было ли это случайным совпадением в той широкой волне репрессий 1821—1822 гг. (ссылок, отставок, запретов въезда в столицы), размеры которых в научной литературе явно недооцениваются, или имело определенную связь между собой, — вопрос, не лишенный интереса.

В кругу своих варшавских друзей Вяземский играл, бесспорно, первенствующую роль. Следы литературных вкусов Вяземского легко обнаружить в высказываниях его друзей.

Так, 24 июля 1821 г. Фовицкий писал Вяземскому:

«9 том Истории Н<иколая> М<ихайловича Карамзина> я уже прочитал до половины. Боже мой! Что за зверь был Грозный! Вот вам — поэтам предмет! Зачем пугать призраками слабые души! Возьмитесь-ка восплакать на<д> бедствиями России в царствование Грозного. Устрашите жестоких тиранов злодействами их подобных, пролейте слезы жалости и утешения для добрых, которых сердца воскипели негодованием на злодеяние, пролейте свет истины во мрак политических систем деспотизм и проч. и проч. Ах, если бы я был поэт! — А никто не мог бы так хорошо исполнить это предприятие, как Вы!»²³²

В приведенном высказывании все характерно: и осуждение романтизма Жуковского («зачем пугать призраками слабые души»), и требование политически-актуальной тематики в поэзии, и интерес к русской истории, и, наконец, призыв будить в сердцах «негодование» (отметим, что одноименное стихотворение Вяземского было Фовицкому уже известно).²³³

Габбе был настроен еще более решительно, и, если Фовицкий, видимо, в какой-то степени подделывался под общий тон бесед в окружении Вяземского, то свободолюбие первого было искренним и пламенным. Свое литературное сredo он выразил в письме к Вяземскому: «Нарушаю все правила синтаксиса, ибо правила считаю деспотизмом, и стихи свои оставляю будущему потомству в рукописях. Увы! теперь (т. е. после изгнания Вяземского. — Ю. Л.) некому здесь показать своих произведений: пожалуй, станут еще судить по артикулу Петра Великого, и Музу мою выпишут без выслуг в рядовые».²³⁴ Доверяя бумаге эти шуточные строки, Габбе не знал, как скоро сбудутся его зловещие предчувствия.

²³² ЦГАЛИ, Ф. 195, оп. 1, ед. хр. 2951, л. 5.

²³³ Правда, неустойчивый в своих литературных, как и политических, воззрениях, Фовицкий, в дальнейшем, благожелательно приняв выход первой книги «Полярной звезды», все же осудил «мужицкий язык» произведений Бестужева. «Мне все мерещится А. С. Шишков», — писал он. (ЦГАЛИ, Ф. 195, оп. 1, ед. хр. 2951, л. 31).

²³⁴ ЦГИАЛ, Ф. 195, оп. 1, ед. хр. 1705, л. 4.

1820 год — время сплочения литературно-политического кружка Вяземского в Варшаве, вместе с тем, было временем предельного накала его политической оппозиционности. После конгресса в Троппау-Лайбахе надежды на любую форму сотрудничества с правительством (пусть даже в виде давления на него с целью силой страха вырвать реформу общественного бытия России) были похоронены. Письма Вяземского осени 1820 г. — времени Троппау-Лайбахского конгресса — буквально кипят от «мятежных» мыслей. Если в феврале 1820 г. он с опасением предсказывал Пушкину: «Опять заведутся конгрессы, эти кузнецы оков народных»,²³⁵ то к осени он убедился, что худшие его ожидания оправдались. Для Вяземского безоговорочно ясно, что «этот конгресс не что иное, как заговор самодержавия против представительного правительства».²³⁶ Решительно разойдясь с А. И. Тургеневым, Вяземский отказывается разделить его горечь по поводу частных неурядиц русской жизни. В ответ на lamentации Тургенева, вызванные внеочередным рекрутским набором, Вяземский с суровой решительностью утверждает, что думать надо о другом — о бедственности положения страны.

«Россию ест гнилая горячка. Что мне охать отдельно над новым пятном, оказавшимся на лице! Я оплакиваю неминуемую смерть большого . . . Бедствие — решимся на это ужасное признание — сидит и насылает на нее все пагубы, все заразы: вот это зрелище извлекает из глаз моих кровавые слезы, а не губерньское правление в минуту набора».²³⁷

Отрицание всего самодержавного порядка было выражено здесь с такой определенностью, что даже в 1899 г. издатели не решились опубликовать это место полностью. Несколько позже Вяземский признавался: «В заточении вологодском плен и пожар Москвы не так часто обхвачивал мой ум, как этот Лайбах < . . . > Все надежды, вся доверенность, все терпение рушатся, если только на миг приостановишь мысль на нем».²³⁸

В этой напряженной обстановке, когда, по убеждению Вяземского, было «не время осторожничать»,²³⁹ и родилось стихотворение «Негодование» — вершина политической лирики Вяземского.

Для того, чтобы понять сущность замысла этого стихотворения, необходимо уяснить себе, что значила для Вяземского и его современников сама идея поисков вдохновенья в негодовании:

«Мой Аполлон — негодованье!»

Прежде всего, необходимо учесть, что современники, конечно, прекрасно улавливали связь этого стиха с «славным полустишием» (слова А. И. Тургенева) Ювенала: «Facit indignatio ver-

²³⁵ Пушкин, Полн. собр. соч., т. XIII, Изд. АН СССР, 1937, стр. 13.

²³⁶ Остафьевский архив, т. II, стр. 92.

²³⁷ Там же, стр. 93.

²³⁸ Там же, стр. 139.

²³⁹ Там же, стр. 105.

sim». ²⁴⁰ Так стихотворение связывалось с той высокой «ювеналовской» сатирой, которая именно в ту пору начинает играть все большую роль в декабристской политической лирике. В том же 1820 г. Кюхельбекер писал:

«В руке суровой Ювенала
Злодеям грозный бич свистит
И краску гонит с их ланит,
И власть тиранов задрожала». ²⁴¹

«Ювеналовская» сатира, прежде всего, воспринималась как художественное направление, противопоставленное школе Жуковского. Высоко ценимый Вяземским поэт-сатирик М. В. Милонин писал Жуковскому, осуждая и арзамасский культ безобидной шутки, и специфическое истолкование Жуковским творчества Шиллера, как удаляющего от земных дел в мир чистых идеалов:

«... Итак, останемся мы каждый при своем,
С галиматьею ты, а я с парнасским жалом,
Зовись ты Шиллером — зовусь я Ювеналом».

Тема стихотворения была подсказана Вяземскому — как это ни парадоксально — Жуковским. «Помнишь ли, что раз в Павловском надоумил ты меня написать «Негодование». Семя твое зародилось в моем чреве», ²⁴² — писал Вяземский Жуковскому. Однако, разрабатывая тему в «ювеналовской» традиции, Вяземский открыто и сознательно противопоставлял свою манеру политического поэта идеальной романтике Жуковского. Политика, свободолюбие, злободневность поэзии, поиски правды, агитационность, союз с народами, с одной стороны, и удаление от острых вопросов в мир чисто литературных интересов, союз с царями, проповедь деспотизма и туманный романтизм, с другой, — таковы в сознании Вяземского 1820—1821 гг. два возможных литературных пути.

Именно в этом плане раскрывается антитеза (ср. с пушкинской одой «Вольность») легкой поэзии и музыки негодования в начале стихотворения. С одной стороны, «вымыслы», «мечтанья», «фиал волшебств», «очарованья цвет» — былые кумиры, отвергнутые ныне поэтом. С другой — идеалы правды и борьбы. Во имя их отвергнут и мир поэтических образов Жуковского:

«И призраки принес в дань истине угрюмой», —

²⁴⁰ «Негодование рождает стих» — латинск., второе полустишие 79 стиха I сатиры Ювенала.

²⁴¹ В. К. Кюхельбекер. Лирика и поэмы, Л., Советский писатель, 1939, стр. 45.

²⁴² Письма Вяземского Жуковскому были опубликованы в «Русском архиве» за 1900 г., но с большими изъятиями. Частично цитировались по рукописям А. Н. Веселовским в его монографии о Жуковском. В виду отсутствия полных и научно удовлетворительных публикаций, цитируем по рукописям, хранящимся в Архиве ИРЛИ (Пушкинского Дома) АН СССР 27 985/СС. 1 б. 44, л. 4.

и эпикурейские идеалы молодого Батюшкова:

«И я сорвал с чела, наморщенного думой,
Бездушных радостей венок».

Теперь поэта привлекают иные пути:

«Я правде посвятил свой пламенный восторг . . .»
«Мой Аполлон — негодованье!»

Лучшим комментарием к этим строкам является письмо Вяземского к Жуковскому от 15/27 марта 1821 г. — одно из его последних варшавских писем. Здесь почти в тех же выражениях, что и в «Негодовании», характеризуется необходимость поворота к новым поэтическим путям:

«Полно тебе нежиться на облаках, спустись на землю, и пусть, по крайней мере, ужасы, на ней свирепствующие, разбудят энергию Души твоей. *Посвяти пламень свой правде и брось служение идолов* (ср.: «Но, лстивых лжебогов разоблачив кумиры, / Я правде посвятил свой пламенный восторг»). *Благородное негодование — вот современное вдохновение* (ср.: «Мой Аполлон — негодованье!»)²⁴³

Для позиции Вяземского этих лет характерно стремление, не сомневаясь в личном бескорыстии Жуковского и Карамзина, подчеркнуть связь их творческой позиции с корыстными интересами реакции. Так, если прежде Вяземский мог предаваться со всей страстью борьбе с литературными староверами, то теперь он не просто осуждает замыкание в сфере чисто литературных интересов, но и указывает на политический смысл подобной позиции. Когда друзья-карамзинисты выражали Вяземскому радость по поводу того, что цензура пропустила в «Послании к Каченовскому» оскорбительные для адресата стихотворения намеки, Вяземский писал (21 января 1821 г.):

«Какой же либерализм цензуры, которому дивятся ваши ротозей? Все оттенки политические, кои были в «Послании», вымазаны Тимковским. Осталась одна личность. Не бойся, правительство радо будет, когда мы между собою грызться начнем за лавры: забудем тогда на него лаять за хлеб насущный. Ему *выгодно держать нас при ребячестве письма*».²⁴⁴

По мере того, как деятели европейской реакции начинают рисоваться Вяземскому не только в облике глупцов, противостоящих «умным людям», но и как политики, не понимающие реальной обстановки, «духа времени», живущие призраками вчерашнего дня, Вяземский все чаще объединяет их с мечтателями-романтиками, потерявшими связь с импульсами жизни.

²⁴³ Там же, л. 3. Курсив мой. — Ю. Л.

²⁴⁴ Остафьевский архив, т. II, стр. 144. Курс. мой — Ю. Л. Характерно, что Карамзин упрекал Вяземского за привнесение политического оттенка, настаивал на чисто литературном характере полемики: «A propos de liberales: зачем в пиесе литературной говорите Вы о представительной системе и взаимном обучении? C'est une faute contre le goût». (Письма Н. М. Карамзина к кн. П. А. Вяземскому, стр. 75).

Одними и теми же терминами Вяземский определяет дипломатические доктрины Священного Союза и поэтическую позицию Жуковского. О первых: «Ой, уж мне этот оссианизм дипломатический! Всюду меня преследует!». ²⁴⁵ Каподистриа «немного оссианит» (показательно, что, как и о Жуковском, речь идет о либеральном, но не порвавшем с правительством деятеле). ²⁴⁶ О ноте революционного правительства Неаполя Австрии: «Тут не по-нашему — дипломатический оссианизм и библейское словоизвитие, — а чистосердечное изложение запроса, по каким правам впутываются в домашние дела народа, который сам никому не указ». ²⁴⁷ «... Дипломатические Оссианы, нелепые ковачи раздутых и порожних фраз, а хуже всего — ковачи цепей народных, одурелые, запоздалые». ²⁴⁸ О Жуковском: «Что придворный Оссиан?» ²⁴⁹

Для царей, съехавшихся на конгресс, Вяземский находит определение «политические лунатики». Однако именно это прозвище укрепилось за Жуковским как автором стихотворных отчетов о луне. Так, Н. И. Гнедич писал Жуковскому в 1820 г.: «Получил все четыре экземпляра луны твоей, любезнейший мой лунатик...» ²⁵⁰

Почему же Вяземский сближает Жуковского, ни в бескорыстии, ни во внутреннем сочувствии которого идеалам свободы и просвещения он не сомневался и которого он, конечно, не считает сознательным союзником самодержавия, с царями-деспотами? Дело в том, что теперь Вяземский принципиально не желает отграничивать от лагеря реакции всех, кто не борется с ней. Любая пассивная форма примирения с властью осуждается. Выдвигается требование полного отмежевания от действий правительства: «В наши дни союз с царями разорван: они сами потоптали его», и далее: «Провидение зажгло в тебе огонь дарования в честь народу, а не на потеху двора. Как ни будь поверхностно и малозначительно обхождение супруга с девками, но брачный союз все от того терпит и рано или поздно распутство дома отзовется. Брачный союз наш с народом: домашняя битва наша в отечестве. Царская ласка — курва соблазнительная, которая вводит в грех и от обязанности законной отвлекает. Го-

²⁴⁵ Остафьевский архив, т. I, стр. 247.

²⁴⁶ Там же, стр. 309.

²⁴⁷ Там же, т. II, стр. 114.

²⁴⁸ Там же. В этой же образно-идейной системе — утвердившееся в письмах Вяземского в 1820—21 гг. определение Александра I как «сентиментального путешественника», или — ближе к Карамзину — «русского путешественника», участники конгрессов — «царственные Стерны» (там же, стр. 137). Острота определения заключается в сочетании мысли об оторванности от жизни с намеком на разъезды «кочующего деспота». О Ржевусской Вяземский говорит: «Она как-то погрязла в ультрацизме и каком-то венском романтизме» (там же, стр. 176).

²⁴⁹ Там же, стр. 244.

²⁵⁰ Рукописное собр. ГПБ, Архив Жуковского, оп. 2, № 73, л. 44.

ворю тебе искренно и от души, ибо беспрестанно думаю о тебе и дрожу за тебя. Повторяю еще, что этот страх не в ущерб уважения моего к тебе, ибо уверен в непреклонности твоей совести, но мне больно видеть воображение твое, зараженное каким-то дворцовым романтизмом». ²⁵¹ Такая постановка вопроса не только пересматривала соотношение передового лагеря и правительства, но и изменяла само содержание понятия «свободолюбец». Теперь круг подходящих под это определение лиц сужался, приближаясь к понятию «член антиправительственной группировки».

Вместе с тем, в понятии декабристов и околodeкабристских литераторов «бич Ювеналов» означал не насмешки над отдельными уродливостями обычаев и нравственных представлений, а поднятую до степени поэтического обобщения сатиру на весь политический и этический порядок. Такая сатира подразумевала гораздо большую целостность критического мировоззрения и больший пафос отрицания, чем обычные сатиры поэтов начала XIX в. Об этом писал Вяземский Воейкову, осуждая его за «мелочность» обличения: «... Надобно было проскакать на летучем коне и Ювеналовским бичом махнуть вправо и влево в пороки, но ты нападаешь на *одежду, моды, лица, учтивость и ласковость*». ²⁵²

Для правильного понимания замысла «Негодования» необходимо учесть и особую семантику названия. Негодование обычно понимается как определение эмоции, состояния. Словарь Д. Н. Ушакова определяет его как «возмущение, крайнее недовольство». Однако в политической лирике начала XIX в. за этим словом закрепилось и другое, значительно более активное семантическое содержание — месть. Так, например, стихотворение Востокова «Гимн негодованию» в первоначальной редакции называлось «Гимн возмездию», а в одной из публикаций появилось под названием «Гимн Немезиде». ²⁵³ Стихотворение Востоков снабдил специальным примечанием: «У греков обоготворяема была Немезис, т. е. Негодование, возбуждаемое в нас всяким несправедливым, гордым, обидным для человечества поступком». ²⁵⁴ Необходимо иметь в виду, что «человечество» для Востокова, как и для просветительской публицистики XVIII в., — политический термин, включающий и понятие о правах человека.

Вяземский был внимательным читателем современной ему

²⁵¹ Архив ИРЛИ (Пушкинского Дома) АН СССР, 27 985/СС. 16. 44, л. 3.

²⁵² ЦГАЛИ, Ф. 195, оп. 1, ед. хр. 1234, л. 9, Курсив Вяземского.

²⁵³ См.: Санктпетербургский вестник, 1813, ч. II, стр. 258; Сын Отечества, 1814, ч. XI, стр. 19; Стихотворения Александра Востокова, Издание исправленное и умноженное, Спб., 1821, стр. 181; Востоков, Стихотворения, Советский писатель, 1935, стр. 207.

²⁵⁴ Цит. по комментариям В. Н. Орлова в кн.: Востоков, Стихотворения, Советский писатель, 1935, стр. 405.

поэзии, очень уважал гражданскую лирику Востокова, и разъяснение это ему не могло быть неизвестно. Кстати, такая семантика слова, вообще, была в употреблении: у Пушкина рядом со значением «негодование» — «чувство возмущения» встречается и «негодование» — «месть».

В «Андрее Шенье»:

«... падешь, тиран! негодование
Воспрянет, наконец»²⁵⁵

В стихотворении Вяземского заглавие включает оба смысла: оно характеризует и субъект лирики — гневный пафос возмущенного автора, и призыв к активному действию, отмщению тиранам:

Он загорится, день, день торжества и казни,
День радостных надежд, день горестной боязни!
Раздастся песнь побед, вам, истины жрецы,
Вам, другн чести и свободы!
Вам плач надгробный! Вам, отступники природы!
Вам, притеснители! Вам, низкие льстецы!»²⁵⁶

Характерно, что в том же письме к Жуковскому, в котором Вяземский пересказал основную идею «Негодования», мы находим и призыв к отмщению. Сразу же после слов о том, что «благородное негодование — вот современное вдохновение», читаем: «При виде народов, которых тащут на убиение в жертву каких-то отвлеченных понятий о чистом самодержавии, какая лира не отгрынет сама: месть! месть!»²⁵⁷

Бесспорно, что и в период работы над «негодяйкой» (полу-шутливое, полу-конспиративное название «Негодования» в письмах Вяземского) вопрос о тактике борьбы с правительством и о допустимости в этой борьбе насильственных мер все еще оставался для Вяземского открытым. Поэт колебался, испытывал сомнения и так и не мог перешагнуть грань, отделявшую его от революционеров и конспираторов. В этом смысле показательны не те строки, которые содержат осуждение и революционного терроризма, и «дипломатического оссианизма» реакционных правительств «Священного Союза»:

«Но где же чистое горит твое светило, (свободы — Ю. Л.)
Здесь плавает оно в кровавых облаках,
Там бедственным его туманом обложило
И светится едва в мерцающих лучах».²⁵⁸

²⁵⁵ Пушкин, Полн. собр. соч., т. II, кн. I, Изд. АН СССР 1947, стр. 401—402.

²⁵⁶ П. А. Вяземский, Избранные стихотворения, М.—Л., Academia, 1935, стр. 157.

²⁵⁷ Архив ИРЛИ (Пушкинского Дома) АН СССР, 27985/СС. I б. 44, л. 3.

²⁵⁸ П. А. Вяземский, Избранные стихотворения, стр. 156.

Гораздо симптоматичнее отношение к специфически-декабристским формам политической борьбы. Любопытно в этом смысле сопоставление «Негодования» с «Кинжалом» Пушкина — стихотворением, также посвященным «Немезиде» — мщению.

Если Пушкин пламенно призывает к убийству тиранов, то Вяземский (хотя, как мы видели, отношение его к этому вопросу с 1818 г. претерпело существенные изменения) роняет фразу, которую, видимо, следует истолковывать как осуждение действий Занда и Лувеля:

«Там нож преступный изуверства
Алтарь твой девственный багрит». ²⁵⁹

Но дело не только в этом. Необходимо отметить другую особенность. Идея борьбы с тиранами неразрывно связана для Пушкина с постановкой тактических вопросов, между тем, как Вяземский вопросов тактики, т. е. практических путей движения к идеалу свободы, не ставит вообще. Последнее обстоятельство для 1820—1821 гг. может служить одним из критериев разделения прогрессивной дворянско-либеральной мысли тех лет и идеологии декабристов. Пока среди прогрессивных кругов господствовала вера в тактику медленной пропагандистской работы, борьба за отчетливые, ближние, но частные цели — вопросы тактики — были ясны для всего прогрессивного лагеря в целом: оружие сатиры, патриотические призывы к общественному мнению, осуждение конкретных действий реакции, давление на правительство. Задачи борьбы за осуществление более общих целей мыслились еще как настолько отдаленные, что отсутствие единства по этому вопросу (практически оно выразилось в работах по созданию второй части Зеленой книги ²⁶⁰) еще не могло стать причиной политического размежевания. На рубеже 1820—1821 гг. положение изменилось: недостаточность старых средств борьбы ощущалась всеми, чувство нетерпимости существующего положения и ненависть к реакции возросли во всем передовом обществе в целом. Не следует думать, что начинающееся размежевание дворянских революционеров и либералов сопровождалось примирением последних с реакцией. Наоборот, именно в эту пору дворянская передовая общественность покачнулась влево. Перед лицом деятельности Магницкого и Рунича даже А. И. Тургенев, единственный из братьев, наследовавший набожность отца, осуждает религиозную маску реакции. Он пишет Вяземскому: «C'est une petite bande de dévots, qui te rendra impie». ²⁶¹ И даже Карамзин испытывает в эти годы любопытное колебание в политической позиции.

²⁵⁹ Там же.

²⁶⁰ См.: С. Чернов, Из работ над «Зеленой книгой», «Декабристы и их время», т. II, М., 1932.

²⁶¹ Остафьевский архив, т. II, стр. 67. «Если что меня и делает нечестивцем, так это шайка ханжей» — франц.

Однако у дворянских революционеров радикализация политической программы сопровождалась повышением интереса к вопросам *революционной тактики*. С каждым новым шагом вперед тактические установки приобретают все большую отчетливость. Именно в отношении к вопросам тактики особенно четко проявлялась постепенная демократизация позиции декабристов.

Между тем, для дворянского либерализма и для тех групп, которые, испугавшись, отходили от декабризма в 1821 г., характерно сочетание ненависти к реакции с неприятием революционных путей. Это выразилось в стремлении вообще уклониться от обсуждения тактических вопросов. Идеалы — конституция и ликвидация крепостничества — еще общие. Камнем преткновения, таким образом, делается отношение к вопросам тактики — не только к решению, но и к самому факту постановки подобных вопросов. Именно это обуславливает водораздел между поэзией Вяземского, с одной стороны, и Пушкина и декабристов, — с другой. Вместе с тем, с точки зрения правительства и те, и другие стихи были в равной мере криминальными. Известно, какие опасения вызвало «Негодование» у А. И. Тургенева, который, вопреки требованиям Вяземского, упорно отказывался распространять стихотворение.

«Негодование», видимо, обсуждалось в варшавском кружке Вяземского. Любопытным памятником этого обсуждения является автограф Фовицкого, хранящийся в Остафьевском архиве и озаглавленный рукой Вяземского «Замечания Фовицкого в Варшаве на мое стихотворение «Негодование». Произведение вызвало восторг Фовицкого, хотя и испугавшегося смелости его выражений. Прочитав, он записал: «Вот уж подлинно: *ужасно хорошо!* Какая *свобода!* Какое *негодование!*».²⁶² И далее: «*Хранители казны народной . . . Это Голубцов? Нельзя ли назвать их как поблагороднее? Да и нельзя ли допросить не собирая? Уж и то они все живут на конгрессах. Будто уж и с отчаянной вдовы и с голодного (а не голодной) сироты собирают подати? Не сказали бы, что это возмутительно? Дальше — справедливее: но волос дыбом становится! Смотрите, не забывайте Радищева!*».²⁶³

По поводу строк:

«Я вижу подданных царя,
Но где ж отечества граждане?»

Фовицкий замечал:

«Не знаю, какой смелый цензор позволит вам спрашивать, где *граждане (citoyens)?*»²⁶⁴

²⁶² ЦГАЛИ, ф. 195, оп 1., ед. хр. 2951, л. 39. Курс. здесь и дальше — Фовицкого.

²⁶³ Там же, лл. 39 об. — 40.

²⁶⁴ Там же, л. 40.

«Еще позвольте вам сказать, не поспорит ли с вами Капнист? Правда, он пел рабство и истребление слова рабство: но там есть кое-что и свободного <...>

Свободу пел на языке неволи,
В оковах был и твой поэт!

Какие стихи! Только, право, возмутительные. Как будто Вы в Алжире! Какая прекрасная пьеса! Только и страшно! Уж верно мы не увидим ее печатной». ²⁶⁵

Фовицкий не случайно вспомнил Радищева. Как ни далека была общественно-политическая концепция Вяземского от идей крестьянской революции, стихотворение отзывается чтением оды «Вольность», биографию автора которой, как мы видели, Вяземский собирался в это время писать. Мы уже приводили данные о стремлении Вяземского в 1818—1819 гг. как можно более полно познакомиться с творчеством Радищева. Конечно, и знаменитая ода, именно в это время привлекая внимание Пушкина, не осталась ему неизвестной.

Стилистика и система образов оды Радищева, соединенная с ритмической структурой элегии, определили своеобразие стихотворения Вяземского, лирического и публицистического одновременно.

Можно было бы привести ряд параллелей между образами обоих стихотворений.

У Радищева:

«Под игом власти, сей, рожденный,
Нося оковы позлащенны,
Нам вольность первый прорицал». ²⁶⁶

У Вяземского:

«Свобода! Пылким вдохновеньем,
Я первый русским песнопеньем
Тебя приветствовать дерзал ...
... В оковах был и твой поэт!» ²⁶⁷

Однако, конечно, не только к Радищеву восходили публицистическая фразеология и образы стихотворения Вяземского — источником их, фактически, являлась вся просветительская литература XVIII в. — русская и зарубежная. Легко можно установить параллели, свидетельствующие о подобном влиянии. Так, привлекая внимание Фовицкого своей противоцензурностью строки:

«Я вижу подданных царя,
Но где ж отечества граждане?» —

²⁶⁵ Там же, лл. 40 об — 41.

²⁶⁶ А. Н. Радищев, Полн. собр. соч., М.—Л., Изд. АН СССР, 1938, т. I, стр. 15.

²⁶⁷ П. А. Вяземский, Избранные стихотворения, Academia, 1935, стр. 155—156.

представляют собой пересказ одного из положений Фонвизина в его «Рассуждении о непременных государственных законах»: «Где же произвол одного есть закон верховный, <...> тамо есть государство, но нет отечества, есть подданные, но нет граждан». ²⁶⁸

Однако стилистика социально-философской публицистики просветителей, толковавших об общих законах человеческого общежития, оказалась в стихотворении Вяземского растворенной во взволнованно-эмоциональной стихии байронической элегии. Последнее достигалось обилием субъективно-оценочных эпитетов, риторических вопросов и восклицаний, создававших образ негодующего поэта, и эмоциональным беспорядком разностопной ямбической лирики, благодаря чему возникла иллюзия взволнованного речевого потока в духе монологов Чацкого. Вместе с тем, стиль «Негодования» включал в себя поток злободневного политического материала, напоминающего уже не философский трактат, а газетную публицистику. Произведение типа радищевской оды говорило о природе человека и общества, о рождении и гибели деспотизма, но избегало затрагивать эксцессы текущей политики. Вяземский же намекает в своем стихотворении и на покушение Лувеля, и на «мистики придворное кривлянье»:

«Зрел промышляющих спасительным глаголом
Ханжей, торгующих учением святым», —

и на совсем свежие новости — разгром Магницким и Руничем Казанского университета:

«Здесь стадо робкое ничтожных
Витии поучений ложных
Пугают именем твоим:
И твой сообщник — просвещенье
С тобой, в их наглом ослепленьи,
Одной секирою разим».

В стихотворении мы находим и оценку либеральных обещаний царя в 1818 г. в свете решений конгресса в Троппау-Лайбахе: ²⁶⁹

²⁶⁸ Д. И. Фонвизин, Собрание сочинений в двух томах, М.—Л., Гослитиздат, 1959, т. II, стр. 255. Знакомство Вяземского, проявлявшего устойчивый интерес к творчеству Фонвизина, с этим документом не вызывает сомнений. Вяземский получил от Н. Муравьева его переработку «Рассуждения» Фонвизина. См. К. В. Пигарев, «Рассуждение о непременных государственных законах» Д. И. Фонвизина в переработке Никиты Муравьева (Литературное наследство, т. 60, кн. 1, М., Изд. АН СССР, 1956, стр. 340—342).

²⁶⁹ Необходимо в связи с этим заметить, что широко используемый метод датировки произведений по упоминаемым в них событиям таит в себе известную опасность: поэт может возвращаться к событиям большей или меньшей давности в связи с логикой своего развития. Так, Пушкин откликнулся стихотворением «Кинжал» на убийство Коцебу в марте 1821 г., т. е. через два года после покушения Занда и год спустя после его казни. Упоминание в Noële варшавской речи может использоваться для датировки

«Там хищного господства страсти
Последнюю уловкой власти
Союз твой гласно признают;
Но под щитом твоим священным
Во тьме народам обольщенным
Неволи хитрой цепь куют». ²⁷⁰

Это придавало стихотворению не только значение социально-философского суда над современным жизненным укладом, но и интерес политически-злободневный, животрепещущий, газетный. Обосновывая своеобразие своего метода, Вяземский писал: «Поэту должно искать иногда вдохновения в газетах, прежде поэты терялись в метафизике, теперь чудесное, сей великий помощник поэзии, — на земле. Парнас — в Лайбахе». ²⁷¹

«Негодование» наиболее полно выразило умонастроения Вяземского в 1820—1821 гг. Вяземский считал, что «теперь не время осторожничать», и не скрывал своих взглядов. Сведения об этом, бесспорно, доходили и до правительственных кругов в Варшаве и Петербурге. Однако власти, и так уже встревоженные семеновской историей, ²⁷² взглянули на поведение Вяземского и его общественные связи иначе после того, как офицерская «артель» Литовского полка и лично близкий к Вяземскому Габбе вступили в открытую борьбу с Константином Павловичем.

Борьба с офицерами аракчеевской школы, фрунтманами и невеждами — коллизия, в высшей степени характерная для эпохи Союза Благоденствия. При этом застрельщиками столкновения выступают передовые офицеры, сторонники просвещения, конституционалисты, активные участники антинаполеоновских освободительных войн (Габбе, например, был в армейском партизанском отряде), объединенные в дружеское общество — «артель». Показательно, что одним из самых острых вопросов сделался спор между противниками и сторонниками телесного наказания солдат. В 1820 г. группа свободолобивых офицеров лейб-гвардии Литовского полка начала борьбу за изгнание двух офицеров-аракчеевцев, прославившихся жестоким обращением с солдатами. ²⁷³

В мемуарах А. А. Одинцова события изложены следующим образом. А. А. Одинцов вспоминает, что он был участником «прапорщической шайки, устроенной с целью нанесения разных

лишь при учете того, что лицемерие ее раскрылось современникам в свете решений конгресса в Лайбахе. В этом смысле события 1818 г. вновь выплыли в сознании современников, но уже в новом освещении.

²⁷⁰ П. А. Вяземский, Избранные стихотворения, Academia, 1935, стр. 156.

²⁷¹ Остафьевский архив, т. II, стр. 171.

²⁷² Анализ правительственной тактики в период «семеновской истории» и после нее см. в кн. С. Н. Чернова «У истоков русского освободительного движения», Саратов, 1960.

²⁷³ В сознании властей события в Варшаве явно ассоциировались с настроениями в петербургских гвардейских полках (напр. Измайловском).

неприятностей полковнику Варпаховскому, чтобы принудить его выйти из полка. Варпаховский был нетерпим офицерами за его дурной нрав и жестокое обращение с солдатами, а в особенности за его историю с любимым и уважаемым в полку капитаном Николаем Николаевичем Пушиным, который сказал во фронте, что «ежели его баталионный командир Варпаховский станет бить солдат его роты, то он сделает с ним то же самое».²⁷⁴

Однако инициатором инцидента была не «шайка прапорщиков». Мемуары другого участника событий — Н. В. Веригина — свидетельствуют, что подлинными организаторами были входившие в «артель» ротные командиры. Видимо, ими была инспирирована и «шайка прапорщиков». Суть событий заключалась в следующем:

«Капитаны полка потребовали удаления двух старших офицеров — Марачинского и Колотова, как марающих мундир».²⁷⁵ Требование имело не случайный характер: «Оба эти офицера были переведены из армейских полков в л.-гв. Литовский полк и, как говорится, сели на голову тем офицерам, которые ни по воспитанию, ни по рождению не могли быть их товарищами».²⁷⁶ Первоначально «артели», куда входили ротные командиры («капитаны»), удалось организовать всю офицерскую общественность полка. Протест был поддержан и «полковниками».

Константин Павлович, собрав подавших жалобу офицеров, попытался уговорить их покончить дело миром. Однако, один из артельных вождей — Н. Пущин — вступил в резкий спор с великим князем. Когда Константин Павлович назвал жалобу «сплетней», Пущин крикнул: «Вы оскорбляете, ваше высочество, тот мундир, который носите сами. Закон дает вам право наказывать нас, но не ругать».²⁷⁷

Пущин был арестован и предан военному суду. Тотчас же Габбе и близкие к нему офицеры развернули активную деятельность по спасению товарища. По инициативе Габбе собрано было среднее и младшее офицерство полка, которое решило начать коллективные действия протеста против ареста Пущина.

«В собрании капитанов и тех офицеров, которые входили в их круг, было решено, чтобы через полкового командира довести до сведения его высочества, что все бывшие капитаны у его высочества — участники в выражениях и ответах Пущина и что все просят одинаково судить их с Пушиным. <...> Петр Андреевич Габбе, друг Пущина, был главным направителем такого желания своих по чину товарищей».²⁷⁸

Вместе с тем, сразу же была организована конспиративная переписка с Пушиным для того, чтобы обеспечить координированность действий.

²⁷⁴ Русская старина, 1889, ноябрь, стр. 316.

²⁷⁵ Там же, 1892, ноябрь, стр. 309.

²⁷⁶ Там же.

²⁷⁷ Там же, стр. 311.

²⁷⁸ Там же.

«На другой день поутру, — пишет Н. В. Веригин, — я написал наскоро длинное послание к Пушкину и под этим посланием подписал не свою фамилию, а Космополит. В этом послании я обвинял цесаревича во всех его выражениях и говорил, что он сам вынудил Николая Николаевича Пушкина к возражениям и ответам, которые все офицеры полка разделяют с ним. Я предлагал Пушкину оправдаться на суде так, чтоб не он был виноватым, а его высочество. Написав все мои мысли к оправданию Пушкина, я отправился к Габбе, прочитал ему мною написанное и отдал ему мною написанное для отсылки к подсудимому». ²⁷⁹

В критические дни «артель» проявила большую активность. В одной из записок к Пушкину тот же Веригин писал: «Мы действуем, но как — писать нельзя». ²⁸⁰ Действия офицерской общности увенчались полным успехом: Константин Павлович совсем не был заинтересован в том, чтобы в Петербург дошли вести о неблагонадежности его корпуса. Он предпочел разыграть сцену великодушия. Приговор военного суда был им демонстративно порван, «виновные» прощены. Это была явная победа «артели». Однако, как только борьба приняла столь острые формы, в среде офицеров произошел раскол. Не затронутое передовыми идеями высшее офицерство, видевшее во всем инциденте лишь защиту чести мундира, отошло в сторону. С этого времени «взгляд полковников не одинаков был со взглядом капитанов». ²⁸¹

Вскоре произошел новый конфликт. Теперь причиной явилась попытка ограничить применение в полку телесных наказаний. Перепуганные «полковники» перешли при этом на сторону великого князя, выступив против основной массы офицерства полка. Как сообщает Веригин, «в 5-й роте Петра Андреевича Габбе один солдат передней шеренги сделал по команде «на караул» какой-то темп не<в>раз с другими». Полковник «Варпаховский подскочил к нему и приказал вклепить виноватому несколько ударов тесаком. Габбе, стоя во фронте, заметил на французском языке баталионному своему начальнику, что он наказывает лучшего солдата во всей роте». ²⁸² Варпаховский, прежде заискивавший перед Габбе и Пушкиным и державшийся в полку их поддержкой, стремясь выслужиться перед великим князем, пригрозил Габбе арестом. «Пушин не вытерпел забывчивости глупца против всеми любимого и уважаемого Габбе, вышел перед своей ротой и закричал своим громким голосом, грозя рукой: — Я тебя . . . я тебя . . . горохового шута, проучу, я тебе покажу . . . картежнику, что ты!» ²⁸³

Константин Павлович попытался уговорить Пушкина замять новое столкновение, однако, удачи не добился. Между Пушкиным и великим князем произошла чрезвычайно бурная сцена.

²⁷⁹ Там же.

²⁸⁰ Там же, стр. 313.

²⁸¹ Там же, 1893, февраль, стр. 405.

²⁸² Русская старина, 1893, февраль, стр. 406.

²⁸³ Там же, стр. 406.

В результате Пущин был снова арестован. Возглавленные Габбе офицеры полка пришли в чрезвычайное возбуждение. Начались сходки и бурные диспуты. «Самое шумное и более заметное собрание почти всех офицеров, от капитана до прапорщика, было у поручика Энгельгарда (члена «артели»). Здесь предлагалось в полном составе офицеров просить полкового командира, что всякую участь, какая бы ни предстояла Пущину, готовы разделить с ним его сослуживцы». ²⁸⁴

Желая запугать офицеров, великий князь на учении учинил «разнос», загонял солдат и уехал, обозвав офицеров «бунтовщиками». После этого возбуждение в полку достигло предела. Все средние и младшие офицеры решили подать в отставку. «Общее негодование так было велико против слова «бунтовщики», что ни полковой командир, ни бригадный не могли своим посредничеством прекратить шумного разговора офицеров между собой, а состоявшему в свите его высочества генерал-майору Жандру Габбе резко заметил, чтобы он не мешкался не в свое дело». ²⁸⁵

Исход дела был горестным для «артели». Вслед за Пущиным арестовали Габбе и Веригина. Бумаги их были опечатаны, а сами они, после длительного пребывания под судом, разжалованы в солдаты.

Какое же имел отношение к этим происшествиям Вяземский? Анализ материалов убеждает в том, что имелась определенная связь между описанными событиями и неожиданным изгнанием Вяземского.

Настроения Вяземского, конечно, не были секретом для Константина Павловича и Новосильцева. Бесспорно, была замечена и его близость к Габбе, поскольку, как вспоминал А. А. Одинцов, Литовский полк был у великого князя «на дурном счету и за ним шпионничали более, нежели за польскими полками». ²⁸⁶

Константин Павлович был убежден, что события в Литовском полку связаны с каким-то заговором. Об этом свидетельствуют его слова во время ареста Пущина: «О! Это не даром, эти дерзости я догадываюсь откуда идут. Дмитрий Дмитриевич <Курута>, запечатать квартиру капитана Пущина, приставить караул к запечатанной его квартире, где найдутся такие бумажки, которые покажут все замыслы г-на Пущина». ²⁸⁷ События в Литовском полку начали разыгрываться осенью 1820 г., то есть совпали со временем, когда правительство было особенно прозорительно по отношению к гвардейским полкам. Источники не дают возможности точно датировать, но, видимо, первый арест Пущина произошел до запрещения Вяземскому возвращаться в Варшаву. Осенью 1821 г. распространился слух об аресте Габбе. 1 октября 1821 г. Фовицкий писал уже изгнан-

²⁸⁴ Там же, стр. 413.

²⁸⁵ Там же, стр. 415.

²⁸⁶ Там же, 1889, ноябрь, стр. 318.

²⁸⁷ Там же, 1893, февраль, стр. 411.

ному Вяземскому: «Ваш Габбе сделал какую-то величайшую глупость, нагрубил кому-то из начальников, и его чуть не отправили (а, может быть, и отправили) в крепость. Только, право, это не за приязнь с вами, ибо я пишу к вам из Бельведера». ²⁸⁸

В этом письме характерно и «ваш Габбе», и заверение в том, что причиной ареста являлась не близость к Вяземскому. Видимо, последнее обстоятельство рассматривалось в Варшаве уже как подозрительное. Слух, сообщенный Вяземскому Фовицким, по всей вероятности, не подтвердился. Переписка Вяземского и Габбе позволяет предположить, что арест последнего произошел позже — в 1822 г. Насколько прочна была уверенность великого князя в наличии конспиративных связей между Вяземским и «артелью», свидетельствует слух, распространившийся сразу после ареста Габбе среди приближенных Константина Павловича. О нем сообщал Вяземскому позже и с оказией Фовицкий: «... Пронёсся слух, будто между письмами Габбе нашли одно ваше, которым вы рекомендуете ему познакомиться со мною, говоря, что я из числа *ваших*, ²⁸⁹ что со мною он может говорить *откровенно*, что все, что я ему скажу, он должен принимать *за истину*». ²⁹⁰

Габбе недаром предупреждал Вяземского о ненадежности Фовицкого. Последний, перепугавшись, сразу же написал Вяземскому письмо, рассчитанное на перлюстрацию. ²⁹¹ Позже он пытался превратить дело в шутку, но в напряженной для Варшавы и Вяземского обстановке 1822 г. за высылкой могли последовать и другие репрессивные меры. Письмо имело явно провокационный характер.

Расчет Фовицкого частично оправдался — письмо было перехвачено, к Вяземскому не попало и, видимо, сыграло определенную роль в реабилитации его автора. До нас его содержание дошло лишь в позднейшем, явно смягченном пересказе самого Фовицкого: «Писавши к Вам, как теперь помню, шутил над этим и спрашивал у Вас: «Что такое значут *ваши*, сколько *вас* и *кто*, и как я там затесался?» ²⁹²

Арест Габбе, Пушина и Веригина (первые двое — «капитаны») снял голову с офицерской «артели», но не прекратил борьбы за спасение пострадавших. Видимо, в эту пору и выступила

²⁸⁸ ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, ед. хр. 2951, л. 11 об. Бельведер — дворец в Варшаве, резиденция Константина Павловича.

²⁸⁹ Курс. зд. и далее — оригинала.

²⁹⁰ Там же, л. 31 об.

²⁹¹ Письмо было послано по почте, хотя обычно для передачи столь щекотливых сведений Фовицкий пользовался оказией. Бросается в глаза разница тона в письмах Фовицкого, посылаемых по почте и с оказией. В первых неизменно находим неумеренные восхваления Константина Павловича, во вторых — отношение к властям ироническое. Это очень хорошо воссоздает осторожный и уклончивый характер Фовицкого.

²⁹² Не получая длительное время от Вяземского писем, Фовицкий считал, что его письмо дошло и послужило причиной разрыва (см. ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, ед. хр. 2951, л. 31 об.).

активно «шайка прапорщиков». О характере их деятельности судить трудно в виду почти полного отсутствия данных. Однако о самом факте ее свидетельствует беглое упоминание в мемуарах А. А. Одинцова. Есть и другое любопытное свидетельство.

Габбе был поэтом, и стихи его ценились в дружеском кружке. Для знавших его он был «умным, но поэтическим Габбе». ²⁹³ Арест его воспринимался сквозь призму литературно-романтических представлений. Узнав об этом событии, Вяземский прислал Габбе литературную новинку — «Шильонского узника» в переводе Жуковского, а сам Габбе написал, с явным намеком на свое собственное положение, элегию «Бейрон в темнице». Эпизод ареста Байрона в Павии использован для того, чтобы нарисовать образ свободолюбивого поэта, гонимого деспотизмом. Байрон —

«Свободы, красоты и мужества поэт».

Высказываемое устами Байрона понимание задач поэзии вполне соответствует декабристскому истолкованию этого вопроса:

«Я счастлив был, когда поэзией высокой
Слезу участия мог из очей извлечь;
Исхитить из души глас совести глубокой
Иль из руки тиранской меч».

Габбе недвусмысленно выражает свое сочувствие конституционному порядку:

«Где человек, как мир, под сению закона,
Свершает поприще свое!»

В виду большого интереса, которое представляет это, никогда не привлекавшее внимания исследователей стихотворение, приводим его текст полностью. Примечания под строкой принадлежат Габбе. Текст воспроизводится по литографированному экземпляру, сохранившемуся в бумагах Вяземского. ²⁹⁴

Бейрон в темнице *

Элегия

Последний солнца луч погас за Аппенином;
На стогнах Павии умолк народный шум.
Шотландии берегов туда за смелым сыном
Несется окрыленный ум.

²⁹³ Русская старина, 1892, ноябрь, стр. 295.

Весьма любопытна последовательность действий. Борьбу за поддержание чести гвардейского мундира начинают «капитаны», поддержанные «полковниками». Вопрос приобретает политический оттенок и приводит к столкновению с великим князем. «Полковники» переходят на сторону власти, зато в борьбу втягиваются «прапорщики». И, наконец, после ареста «капитанов», к «прапорщикам» переходит инициатива.

²⁹⁴ Рукописный отдел ГИБ, Ф. 167 (Вяземского), №89.

* Сия элегия написана по случаю заточения л. Бейрона в Павии за то, что, когда пришел к нему некоторый военный, с конем вышла у них ссора, го слуга Бейрона, вступаясь за своего лорда, убил его противника.

Ты ль это, коему дивится современник,
Чьей лире внемлет свет, как голосу веков,
Ты ль, в мрачности глухой, дни, как Шиллонский пленник,
Ведешь средь тягостных оков?!

Ты ль это, доблестный питомец Альбиона,
Свободы, красоты и мужества поэт,
Ты ль зришься в горести, отторгнутый от лона
Веселий, как другой Манфред?

Но что! Твой ясный лик как будто оживился,
Каким-то счастьем взор снова возгорел;
Светильник твой потух, но пред тобой открылся
Небесный свод — и ты запел:

«Британия! Страна Шекспира и Невтона,
Страна, где я вкусил и жизнь, и бытие,
Где человек, как мир, под сению закона
Свершает поприще свое!

Приветствую тебя из сей темницы дальней,
В глубокой мрачности вздыхаю о тебе,
Твой образ лет елей моей душе печальной
В сей тяжкой, горестной судьбе.

О, юность! Ты в мечтах меня оворожила,
О, жизнь! Я, кубок твой держав, того не зрел,
Что пена лишь края той чаши серебрила,**
И, жизнью упоенный, пел!

Но песни бытия могли ль мне быть заменой?
Воображение звало меня на юг:
Там небо чистое, там бор всегда зеленый
И пышный, ароматный луг.

Туда помчал меня корабль с стремительностью мысли,
Туда, где некогда жил в неге гордый мавр,
Где скалы над водой ужасные нависли
И вечно зеленеет лавр.

И ты, отечество полубогов, героев,
О, Греция, была ль забыта мной когда?
Я пел твой стыд — и тьмы одушевленных строев
Тебя спасают от стыда.

В окрестностях Афин, на бреге Саламины,
Любил я соловья внимать в тиши ночной;
И горы, и ручьи, и на полях руины
Гласили о веках со мной.

Я видел все, что зреть и славно, и достойно,
И, жажду знания желая утолить,
Бросался в Гелеспонт и сей пролив спокойно
Дерзал и без любви преплыть.

И ты, о славный град тиранския свободы,
Супруга Адрии, на Океане Рим,
Венеция! Тебя, неся на жертву годы,
Я посвящал мечтам моим.

** Выражения подчеркнутые принадлежат самому Байрону, упоминаемые же: Шиллонский пленник, Манфред, Кали и Корсар — суть известные сочинения лорда.

Я счастлив был, когда поэзией высокой
Слезу участия мог из очей извлечь,
Исхитить из души глас совести глубокой
Иль из руки тиранской меч.

Но древо знания, увы! не жизни древо!
Кто более страдал, лишь тот один мудрец;
Утешить не могла меня прелестна дева,
Ни слава ... сей минутный льстец.

В супружестве, в любви поэт непостоянный,
Отец бездетный здесь, отчизны вдалеке,
Кто мог бы к пристани меня вести желанной,
Какой повериться руке?

Сомненье Каина, таинственность Мафреда
Весь наполняют дух, все сердце тяготят;
Завидна участь мне твоя, певец Готфреда:
Тебя герои защитят.

Ринальдо и Танкред: их меч благочестивый,
Их провидению открытые сердца
Промчат через толпу, поэт боголюбивый,
Тебя вселенной до конца.

Но более я вам завидую, поэты,
Вам, коих чувства, души небесный жар,
Земною лирою ввек не были воспеты,
И вы, не покидая лар,

В сердечной простоте вкушаете блаженство!
Для вас зари восход есть мира торжество;
Для вас прекрасный день есть жизни совершенство,
Природы роскошь, пиршество.

Вы любите цветам и зелени дивиться,
Внимать журчанию ручья и до росы,
Прельщенны соловьем, на берегу забыться,
Не видя, как бегут часы.

Мне, мне другой удел! Колеблемый судьбою,
Как брошенный корабль грозою между скал,
От страха и надежд я гордою душою
Спасть несчастьем желал.

Желал — и вот оно! Хаос неистижимый,
Все чувства души в одно совокупа,
Теснит меня, и бог ужасный, но незримый
Гласит: я предварял тебя.

Все кончилось! Едва вступил в житейско поле
И из конца в конец то поле пройдено,
Увы! *Есть смертные, кому в жестокой доле
Достигнуть лета не дано!*»

Так пел Бейрон. Лице британца возгорелось,
И на глазах его блеснули две слезы;
Казалось, зарево вечернее зарделось,
Гоня следы дневной грозы.

Темница ветхая вняла певцу Корсара,
И чувство горести тюремщик ощутил;
И узник за стеной божественного дара
Впервые сладости вкусил.

Италия! Земля природы и искусства,
Почто, подобая Армиде красотой,
Зовешь в сады сии: там услаждаешь чувства
И гроб готовишь золотой?

А вы, о гении, лишённые приюта,
Вы, Байрон, Дант и Тасс, герои без войны,
Для вас не создана в теперешнем минута,
Но веки в будущем даны.

Варшава.

Связь темы стихотворения с судьбой его автора подчеркивал сам Габбе в письме к Вяземскому:

«Во время заточения моего воспел я самого Байрона, который, как и мы бедные, также в темнице, если верить газетам. Наше состояние с ним было бы одинаковое, но одно обстоятельство делает его в глазах моих пресчастливым человеком: русский аудитор не будет задавать ему запросных пунктов, а польские уроженцы не будут его судьями».²⁹⁵

Доведение подобного стихотворения до сведения общественности было бесспорным вмешательством в борьбу Габбе и Пущина с Константином Павловичем. В связи с этим большой интерес представляет неизвестно кем осуществленное литографированное (явно без цензуры!) издание стихотворения Габбе в Варшаве в 1822 г. Это уникальное явление в истории подпольной поэзии 1820-х гг. до сих пор не привлекало внимания исследователей. Между тем, сам факт использования литографского станка представляет значительный интерес для изучения агитационных приемов нелегальной литературы 20-х гг.²⁹⁶

Варшавские пропагандисты поэзии Габбе находились в каких-то сношениях с Вяземским. По крайней мере, единственный дошедший до нас уникальный экземпляр этого издания сохранился именно в бумагах Вяземского. Со своей стороны, и Вяземский предпринимал шаги в защиту Габбе — он организовал опубликование элегии в «Сыне отечества». Взятый сам по себе, текст стихотворения не содержал ничего запретного и, вероятно, не вызвал цензурных осложнений. Совершенно иной смысл приобретал он в связи с судьбой автора.

Между арестованным Габбе и высланным из Варшавы Вяземским продолжала поддерживаться связь. Вяземский находился в курсе всех варшавских происшествий. Еще будучи на свободе, Габбе сообщал Вяземскому в письме от 8 мая 1822 г. о втором аресте Пущина:

«Может быть, вскоре увидите Вы по приказам наш полк раскассированным: кого разошлют по крепостям, кого выпишут в армию, кого произведут

²⁹⁵ ЦГАЛИ, Ф. 195, оп. 1, ед. хр. 1705, лл. 9 об. — 10.

²⁹⁶ На эту сторону вопроса, применительно к декабристам, было обращено внимание Ю. Г. Оксманом в статье «Из истории агитационно-пропагандистской литературы двадцатых годов XIX века», сб. «Очерки из истории движения декабристов», М., Госполитиздат, 1954.

в солдаты. Во всяком случае, мы [готовы]²⁹⁷ решились — остаться честными людьми, восьмилетнее терпение насилий всякого рода не уменьшает правоты наших требований».²⁹⁸

Но уже в следующем — не датированном — письме Габбе вынужден был сообщить и о собственном аресте:

«Знаете ли, в каком состоянии застали меня письма ваши? Сидящего безвыходно на квартире и видящего ежеминутно приставленного к дверям часового, который входит каждый раз, когда кличу своего человека, так точно, как за тиранами в трагедиях и мелодрамах. Словом, я арестован и нахожусь под судом, который уже кончился и приговорил меня к лишению живота. Вы думаете, уже не в числе ли я неаполитанских угольщиков? .. Нет, любезнейший князь! Я оставался все время, как и в бытность Вашу, в числе честных людей в Варшаве, и на этом-то основании преследуют меня вместе с Пуциным и еще одним офицером, бывшим студентом Казанского университета».²⁹⁹

Слова Габбе, конечно, не следует понимать в смысле противопоставления карбонариев — «честным людям». Смысл их иной: быть честным человеком в Варшаве столь же опасно, как и заговорщиком в другом месте. Далее Габбе излагает ход событий:

«Причиною сего нового преследования вот что. Во время суда над Пуциным было нам ученье, которым были недовольны,³⁰⁰ и, в пылу гнева, назвали полк *бунтовщиками*. Офицеры (разумеется, кроме старших) пошли просить о увольнении их от той службы, где могут они слыть бунтовщиками, и — после многих дипломатических переговоров — кончилось все примирением, которое показалось для всех искренним, ибо сопровождается было слезами и поцелуями. Между тем, съездили в Вильну, где был в то время государь, а по приезде своем и по осмотрении бумагам Пуцины *нашли*³⁰¹ у него письма мои и другого офицера, кои все относились к прежнему над ним суду и в коих мы по-приятельски даем ему советы, как оправдаться. Сверх того отыскали записку мою, по-итальянски писанную, в которой, между невинными шутками, даны более смешные, нежели бранные эпитеты двум начальникам моим <...> Но полно об этом траурном предмете: я заговорил, как Мария Стюарт перед своею смертию. Должно прибавить только, что истинная моя вина есть une espèce de popularité que j'ai acquis par dix ans de service dans ce même regiment: c'est là ce qui doit me perdre.³⁰² Я не раз был обманут, но могу сказать с Валленштейном:

Nicht deine Klugheit siegte über meine,
Dein schlechtes Herz hat über mein gerades
Den schädlichen Triumph davongetragen.»³⁰³

²⁹⁷ Зачеркнуто.

²⁹⁸ ЦГАЛИ, Ф. 195, оп. I, ед. хр. 1705, л. 5 об.

²⁹⁹ Там же, л. 7. Упомянутый «офицер» — Н. В. Веригин.

³⁰⁰ Габбе здесь и дальше избегает упоминаний великого князя.

³⁰¹ Курсив оригинала.

³⁰² «Некоторый род популярности, которой я добился за десять лет службы в этом же самом полку: вот что меня погубило.» — *франц.*

³⁰³ «Не ум твой верх взял над моим: победу

Твоя душа лукавая над честной

Моей душой постыдно одержала» —

пер. Каролины Павловой. Цитата из 9 явления II действия трагедии Шиллера «Смерть Валленштейна».

Вы советовали мне заняться Шиллером: эта мысль польстила моему самолюбию и воображению, но я чувствую себя ниже моего предмета <...> надобно прежде развязать разыгрываемую здесь немецкую трагедию: говорю немецкую, ибо она продолжается уже около году». ³⁰⁴

Приведенное письмо позволяет внести в разбираемый вопрос ряд уточнений. Письмо не датировано, но, бесспорно, писано в конце мая — начале июня 1822 г. Указание на то, что дело тянется около года, позволяет определить, что начало истории преследований Габбе и запрещение Вяземскому вернуться в Варшаву относятся к одному времени — весне 1821 г.

Не менее важно и сообщение о том, что после примирения офицеров Литовского полка с великим князем дело неожиданно получило новое направление в результате свидания последнего с царем в Вильно.

Свидание, о котором идет здесь речь, произошло во время пятнадцатимесячного похода гвардии в Западный край — мероприятия, которым царь рассчитывал заглушить «либеральный дух» гвардейских полков. В Вильно гвардия оказалась весной 1822 г. Настроенный после семеновской истории по отношению к гвардии весьма недоверчиво, царь, видимо, потребовал дальнейшего расследования и строгого наказания виновных, опасаясь влияния такого примера на другие полки. Подобные опасения не были беспочвенны — варшавская история, конечно, не осталась тайной для гвардейских офицеров. В этом смысле показательно чрезвычайное сходство с нею известной «норовской» истории, произошедшей в Вильно весной 1822 г.: в ответ на грубость, допущенную великим князем Николаем Павловичем по отношению к декабристу В. С. Норову, все офицеры полка решили уйти в отставку. Урегулировать это дело стоило Н. Ф. Паскевичу многих хлопот. ³⁰⁵

Несомненный интерес представляет письмо Габбе и тем, что проливает свет на содержание литературных бесед в кружке Вяземского в Варшаве. Упомянутый Габбе совет заняться Шиллером имел для Вяземского глубокий смысл. Шиллер, как и Байрон, воспринимался Вяземским в качестве поэта-борца, поборника человеческих прав. В юности Вяземский, видимо, не был затронут влиянием Шиллера. В 1816 г. он еще представлял себе творчество немецкого поэта сквозь призму литературных вкусов Жуковского. По крайней мере, в стихотворении «Деревня» Шиллер трактуется как поэт «сердечного воображения»:

«О Шиллер, как тебя прекрасно отражало
Поэзии твоей блестящее зеркало»,

³⁰⁴ ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, ед. хр. 1705, лл. 7 об. — 8 об.

³⁰⁵ См. Н. Поливанов, В. С. Норов, Русский архив, 1900, № 2; М. В. Нечкина, Грибоедов и декабристы, М., Гослитиздат, 1947, стр. 258—259.

а из всех произведений Шиллера названо лишь «Resignation».³⁰⁶

Перелом в понимании творчества Шиллера наступил — что очень характерно — в 1819 г. При этом представляет интерес, что внимание Вяземского привлекло не бунтарство Карла Моора, а освободительный пафос «Вильгельма Телля». 24 июля 1819 г. он писал Тургеневу из Варшавы: «Здесь на-днях давали «Вильгельма Телля». Обрезано, исковеркано, дурно играно, а слезы так из глаз и брызжут, слезы восторга, слезы священные, из коих одна стоит реки слез, пролитых за какую-нибудь «Федру» или «Ифигению».³⁰⁷ Так же истолковывал Шиллера и Габбе, писавший несколько позже Вяземскому: «Все ваши мысли совершенно отвечают моим понятиям литературным».³⁰⁸ Позже, уже в заочении, Габбе перевел «Песнь радости». Текст перевода до нас не дошел, но в руках Вяземского он был.³⁰⁹

Вяземский не ограничился содействием опубликованию «Бейрона в темнице» в «Сыне отечества» — он предпринял и другие шаги по популяризации творчества Габбе, явно с целью повлиять на судьбу последнего. Эта элегия позже привлекла внимание Кюхельбекера, который, однако, ошибочно определил ее автора (Дневник, 1929, стр. 140).

Еще до ареста Габбе написал «Биографическое похвальное слово г-же Сталь-Гольштейн». Выбор темы, видимо, был неслучаен. Творчество Сталь как автора «Взгляда на главнейшие события французской революции» было в центре политических дебатов 1818—1819 гг. и живо интересовало декабристов. Н. Тургенев предлагал И. Пущину написать рецензию на эту книгу для его проектируемого журнала: «Увидел он у меня на столе недавно появившуюся книгу Stael «*Considérations sur la Révolution française*» и советовал мне попробовать написать что-нибудь об ней и из нее».³¹⁰ Большое впечатление книга Сталь произвела и на Вяземского. Как писал к нему Карамзин: «Вы же переводите конституцию душеспасительную и читаете г-жу Сталь о конституции душеспасительной».³¹¹ Замысел Габбе определился в атмосфере обсуждений книги в кружке Вяземского. В начале 1822 г. (цензурное разрешение 5 января) брошюра была отпечатана в Петербурге. Вяземский в не дошедшем до нас письме разобрал труд своего друга. Насколько можно судить по ответному письму Габбе, оценка французской революции рецензенту показалась слишком положительной. В самом

³⁰⁶ П. А. Вяземский, Избранные стихотворения, М.—Л., Academia, 1935, стр. 128—129.

³⁰⁷ Остафьевский архив, т. I, стр. 274.

³⁰⁸ ЦГАЛИ, Ф. 195, оп. 1, ед. хр. 1705, л. 14.

³⁰⁹ Там же, л. 11.

³¹⁰ И. И. Пущин, Записки о Пушкине. Письма, Гослитиздат, 1956, стр. 72.

³¹¹ Письма Н. М. Карамзина к князю П. А. Вяземскому, Спб., 1897, стр. 55.

деле, Габбе не скрывал своего сочувственного отношения к идеалам 1789 г. В письме к Вяземскому он уточнил свое понимание событий во Франции, подчеркнув, что стоит на стороне «просвещенных друзей революции». ³¹² Якобинцы, разумеется, в их число не попадали. В печатном тексте Габбе также осуждал революционеров, но, вместе с тем, резко подчеркнул благотельные последствия революции и связал с ними то литературное направление, которому сочувствовал, — романтизм. «Франция из слабой монархии сделалась сильною республикой: все изменилось в отчизне предубеждений! Правление, общество, самый язык получили другой вид, другое направление; могла ли словесность не разделить общего изменения дел и народа?» ³¹³

Стремясь привлечь внимание общественности к судьбе Габбе, Вяземский не ограничился разбором брошюры в дружеском письме и решил посвятить ей рецензию.

* * *

*

1821—1822 гг. — рубеж не только на жизненном пути Вяземского. Это также рубеж в его идейной позиции, как и в истории декабристского движения.

Как мы видели, ранний этап декабристского движения, этап Ордена Русских Рыцарей и Союза Спасения — организаций, еще не умевших отделить тактику революции от тактики заговора, — прошел мимо Вяземского. Это тем более заметно, что лично Вяземский был близок ко многим руководителям тайных организаций (особенно Ордена Русских Рыцарей) и, при малейшем сочувствии к избранному ими пути, легко мог войти в их круг. Неучастие в деятельности тайных обществ означало несочувствие их тактической линии.

Совершенно по-иному складывались отношения в период деятельности Союза Благоденствия. В это время тактика тайного общества предусматривала союз с широкими слоями передовой общественности. Перевороту в общественно-политической жизни России должны предшествовать годы пропагандистской работы. Эта деятельность мыслилась как осуществляющаяся совокупными усилиями членов тайного общества и широкого круга привлекаемых ими сторонников прогресса. Практические действия, предпринимаемые членами тайных обществ, были при этом таковы, что участвовать в них мог гораздо более широкий круг лиц, чем те, кто непосредственно разделял всю совокупность идей революционных деятелей. На данном этапе развития декабризма оказывалось вполне возможным действовать в соответствии с целями общества и не принадлежать к нему. Более того, целый ряд авторитетных свидетельств указывает, что в

³¹² ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, ед. хр. 1705, л. 9.

³¹³ Биографическое похвальное слово г-же Сталь-Гольштейн, Соч. Петра Г<a>бе, Спб., 1822, стр. 11.

определенных случаях члены Союза Благоденствия сознательно не вовлекали в тайное общество лиц, в сочувствии которых были и без того уверены. Как ни парадоксально звучит это положение, оно находит подтверждение в источниках. И. Д. Якушкин, вспоминая позже о Н. В. Левашеве и его дяде Тютчеве, писал: «Ни Левашев, ни Тютчев не были членами Тайного общества, но действовали совершенно в его смысле <...> В это время таких людей, как Левашевы и Тютчев, действующих в смысле Тайного общества и сами того не подозревая, было много в России».³¹⁴ В. Ф. Раевский недвусмысленно писал об этом в своих записках: «Многих достойных не принимали только потому, что уверены были в сочувствии их к делу».³¹⁵ Штейнгель, во многом верный старым установкам, доказывал Рылееву, что не следует принимать издателя Селивановского, ибо «он и без привлечения его в общество содействует достижению его цели изданием книг, распространяющих свободные понятия».³¹⁶ Как же, в общих чертах, строилась «кадровая политика» Союза Благоденствия?

В подготовительный период Союз Благоденствия рассчитывал захватить ключевые позиции в государстве (в первую очередь — в армии) и завершить подготовку общественного мнения. Для осуществления первой задачи надо было расширять круг членов общества за счет людей, занимающих государственные должности. Большое внимание уделялось тому, чтобы окружить известных государственных деятелей членами тайных обществ. При приеме новых членов особое предпочтение отдавалось офицерам, которых в дальнейшем следовало продвинуть на основные командные должности. Поскольку этим людям предстояло действовать на последнем этапе работы общества, осуществлять переворот, они должны были быть революционерами, быть в курсе окончательных целей, то-есть принадлежать к обществу.

Иным было положение тех, кто должен был воздействовать на общественное мнение. Это должны были быть люди, ненавидящие самодержавие и крепостное право. Однако быть осведомленными в тактике переворота, знать о существовании антиправительственной организации (хотя большинство из них знало, а остальные догадывались) и тем более участвовать в конспиративной деятельности им было совершенно не обязательно. К подобным людям принадлежали, в первую очередь, писатели, поэты, литературные деятели. Обращает на себя внимание тот факт, что, хотя именно в период деятельности Союза Благоден-

³¹⁴ И. Д. Якушкин, Записки, статьи, письма, М., Изд. АН СССР, 1951, стр. 47—48.

³¹⁵ Литературное наследство, т. 60, кн. I, М., Изд. АН СССР, 1956, стр. 84.

³¹⁶ Общественные движения в России в первую половину XIX в., т. I, Декабристы М. А. Фонвизин, кн. Е. П. Оболенский и бар. В. И. Штейнгель, Составили В. И. Семевский, В. Богучарский и П. Е. Щеголев, Спб., 1905, стр. 305.

ствия симпатии к освободительным идеям распространялись в литературе очень широко, количество принятых в тайное общество поэтов было весьма незначительным. Ни Пушкин, ни Вяземский, ни Грибоедов, ни Гнедич, ни О. Сомов, ни Кюхельбекер, ни Рылеев, ни Бестужев, сочувствие которых идеалам свободы в эту пору уже было общеизвестно, членами Союза Благоденствия не были.

Есть своя логика в том, что Раич и даже Жуковский были приглашаемы в Союз Благоденствия, а известные своим свободолобием литераторы такого приглашения не получили. Раич призван был воздействовать на студентов университета, Жуковский — на придворные круги. Это были *должности*, на которых важно было иметь своего человека, а если место занято человеком иных воззрений — постараться его привлечь к обществу, распропагандировать. Названные же выше писатели должностей не занимали, пропагандировать их было незачем — они и так «действовали в смысле Тайного общества». Действовал в этом смысле в рассмотренный период и Вяземский. Стихами, эпистолярной и устной пропагандой, распространением из Варшавы запрещенной литературы (этим он занимался очень широко), стремлением организовать журнал, участием в разнообразных формах давления на правительство, попыткой создания антикрепостнического общества, своим личным авторитетом поэта-свободолюбца Вяземский активно боролся за свободолобивые идеалы, то есть осуществлял именно то, чего ждал Союз Благоденствия от литераторов. Более того, в ходе этой деятельности, как мы видели, Вяземский переживал все более тесное сближение с установками Союза Благоденствия, постепенно проникаясь идеей общественной организации антиправительственных сил. В этом смысле то, что Вяземский разделял судьбу жертв первой волны правительственных репрессий, — не случайно. В 1821—22 гг. последовали ссылка Катенина, репрессии по доносу Грибовского против ряда деятелей Союза Благоденствия. По другому его же доносу был разгромлен оживившийся было Орден Русских Рыцарей: Орлов и Меншиков уволены в отставку, Мамонов арестован и поселен под надзором в Москве. В ряду этих фактов находится и запрещение Вяземскому вернуться в Варшаву.

Как же сложилась общественная позиция Вяземского в новый период его деятельности?

Время после Московского съезда 1821 г. было для декабристского движения критическим и переломным. Сроки выступления приближились. По словам В. Ф. Раевского, к 1823 г. «решено было усилить Общество и действовать решительно. Цель Общества — произвести военную революцию».³¹⁷ Одновременно про-

³¹⁷ Литературное наследство, т. 60, кн. 1., М., Изд. АН СССР, 1956, стр. 90.

исходил чрезвычайно существенный для Вяземского процесс отсева определенной части прежде активных членов тайного общества. А это, в свою очередь, было связано с более общим явлением: размежеванием декабристов и дворянских либералов. Процесс этот становится заметным на поверхности литературной жизни, начиная с 1823 г.

С момента перехода общества к таким задачам и таким тактическим средствам, которые даже частично не могли быть доведены до ушей непосвященных, изменилось и место поэта среди конспираторов. Для того, чтобы выразить идеи революционного движения, сделалось необходимым принадлежать к нему лично и организационно. Поэт не просто пропагандист свободолюбия — он сознательно и до конца разделяет убеждения и тактику революционных организаций. Поэзия тайного общества делается или строго конспиративной,³¹⁸ или вырабатывает систему тайнописи, намеков, понятных тому кругу, к которому поэт адресуется.

Размежевание революционного и прогрессивно-либерального лагерей, явно наметившееся в литературе 1823—1825 гг.,³¹⁹ тем более задевало Вяземского, что с представителями обоих направлений его связывали узы длительной дружбы. Да и мировоззрение Вяземского определенными своими сторонами было связано и с тем, и с другим лагерем. Мы увидим, как это определило сложность отношений Вяземского с организационными центрами двух лагерей — альманахами «Северные цветы» и «Полярная звезда».

То, что в рассматриваемые годы разрыв между Вяземским и быстро развивающимся движением декабристов всё возрастал, — непреложный факт. Однако, было бы ошибочным, исходя из этого, делать вывод о некоем «поправении» Вяземского в эти годы. Бесспорно, для определенной части либерально или даже революционно настроенных деятелей 1810-х гг. разрыв с революционным лагерем был, вместе с тем, отходом от прогрессивных идеалов вообще.³²⁰ Однако возможен был и другой путь. Либеральный лагерь в начале 1820 гг. в определенной своей части еще не исчерпал до конца своих прогрессивных возможностей. Деятели этого лагеря, все более резко расходясь с декабристами, вместе с тем, могли еще двигаться не по пути сближения с правительственной реакцией, а в ином направле-

³¹⁸ В условиях полицейско-цензурного режима 1820-х гг. и «Негодование» превращалось в конспиративную лирику, однако, ясно, что, в этом смысле, между ним и агитационно-сатирическими песнями Рылеева, равно как и его «Гражданином» — качественная разница.

³¹⁹ См. в комментарии Ю. Г. Оксман к письму Рылеева Ф. Булгарину, Литературное наследство, т. 59, М., Изд. АН СССР, 1954, стр. 147—150.

³²⁰ И. Д. Якушкин вспоминал: «Александр Муравьев вышел в отставку и женился. Жена его, бывши невестой, пела с ним Марсельезу, но потом в несколько месяцев сумела мужа своего, отчаянного либерала, обратить в отчаянного мистика, вследствие чего он отказался от Тайного общества»

нии. Заполняя само понятие свободолюбия другим содержанием, чем декабристы, Вяземский, тем не менее, шел в эти годы по пути углубления критики реакции, обострения отношений с правительством. Вера в близость общественных перемен, стремление их ускорить не покидали Вяземского и в эти годы.

Так, осенью 1822 г. в Остафьеве Вяземский приступает к созданию серии переводов из произведений радикальных философов и писателей конца XVIII в.³²¹ Обращение к переводам не случайно — Вяземский явно рассчитывал на печать. Возможно, перед нами — заготовки материалов для журнала — органа «Общества переводчиков», создать которое Вяземский в эту пору собирался. Запретить переводы из всемирно известных авторов цензуре было несравненно труднее, чем накладывать «veto» на сочинения русских авторов. Можно было надеяться, что продвижение текстов в печать — вещь осуществимая. А, между тем, сами отрывки были подобраны так, что в контексте событий начала 1820-х гг. приобрели остро актуальное звучание. Останемся на одном примере.

В упомянутой нами папке содержится перевод из Тацита.³²² Возможно, Вяземский и не знал о доносе Грибовского, хотя, находясь в 1821 г. в Москве, общаясь с М. Орловым, Охотниковым, Граббе, Н. Тургеневым, Ф. Глинкой — все это были его ближайшие приятели и люди, ему безусловно доверявшие, — он вполне мог быть в какой-то мере осведомлен и об этом. Однако сам факт активизации политического сыска после семеновской истории был настолько очевиден, так прямо касался личной судьбы самого Вяземского, что невозможно предположить, чтобы перевод отрывка о шпионаже (в то время, когда Грибоедов создавал образ Загорецкого) был им предпринят вне связи с размышлениями над современностью. Отрывок, озаглавленный «Тиранство и оговоры в Риме», воспринимался переводчиком как вполне актуальный. Вот его текст:

«Возник тогда род людей, которые под именем подложных мстителей законов были предателями законов, живущие обвинением и промышляющие клеветою, они всегда готовы были предать невинность злобе и богатство ко-

(И. Д. Якушкин, Записки, статьи, письма, М., Изд. АН СССР, 1951, стр. 20); ср. «Восстание декабристов», т. III, М.—Л., Госиздат, 1927, стр. 8; Ю. И. Герасимова, А. Н. Муравьев и его записки, в кн. Декабристы, новые материалы, М., 1955, стр. 149.

³²¹ Папка этих работ — среди них переводы из Рейналя, Тома, философ-энциклопедистов — хранится в ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, ед. хр. 932.

³²² Об отношении русской передовой общественности 20-х гг. к Тациту см.: И. Д. Амосин, Пушкин и Тацит, в сб. «Пушкин, современник пушкинской комиссии, т. 6, М.—Л., Изд. АН СССР, 1941; В. В. Гиппиус, Александр I в пушкинских «Замечаниях» на *Анналы Тацита* (там же); Д. П. Якубович, Античность в творчестве Пушкина (там же); В. И. Семевский, Политические и общественные идеи декабристов, Спб., 1909, стр. 220—228; М. М. Покровский, Пушкин и римские историки, Сб. статей, посвященных В. О. Ключевскому, М., 1909.; С. С. Волк, Исторические взгляды декабристов, М.—Л., Изд. АН СССР, 1958, стр. 155—207.

рыстолюбно: тогда все было государственным преступлением. Преступник был тот, который требовал ненарушимости терзаемых прав человечества; восхвалял доблесть, сетовал о несчастьи, взрашал искусства, возвышающие душу, взывающие к священному имени закона — были равно преступники.

Поступки, речи, молчание самое были обвиняемы. Что говорю? И мысль была допрашиваема, ее истязали, чтобы сделать ее виновною. Таким образом, искусство доносов все заражало, и доносители были обременяемы богатствами государства: степень достоинств их соразмерялась со степенью их стыда. Где искать прибежища в государстве, в коем режут невинность именем законов, защищать ее обязанных? Часть даже и не давала себе труда прибегать к тщетному обряду законов. Власть произвольно, по желанию своему, заточала, казнила ссылкой или смертью. Таково было сие правосудие тираническое, которое присволяет воле человека силу приговора законов». ³²³

Мысль Тацита была вполне согласна с ходом размышлений самого Вяземского: шпионство, политический сыск — орудие в руках деспотизма и его порождение. Противопоставление «воли человека» «силе приговора законов» вполне укладывалось в конституционалистскую программу переводчика.

Несмотря на усиление реакции, настроение Вяземского не было пессимистическим — он верил в близость торжества свободлюбивых идеалов.

В 1822 г. Пушкин из Кишинева, призывая Вяземского предпринять «постоянный труд» «в тишине самовластия», предсказывал: «Люди, которые умеют читать и писать, скоро будут нужны в России». ³²⁴ Смысл слов о времени, когда «будут нужны люди», раскрывается словами М. Орлова из письма А. Раевскому: «Пусть иные возвышаются путем интриг: в конце концов они падут при всеобщем крушении, и потом они уже не поднимутся, потому что *тогда будут нужны честные люди*». ³²⁵

Те же мысли и почти в тех же словах Вяземский выразил в письме Тургеневу от 28 августа 1823 г. Вяземский, как и Орлов, противопоставляет себя людям, которые трутятся «у подножия чего-то» (то есть трона — Ю. Л.). «Когда *придет пора людей в России*, тогда дело другое». ³²⁶ Конечно, представление о том, какими путями придет эта «пора людей», у М. Орлова и Вяземского было глубоко отличным. Однако сам Орлов осенью 1821 г. считал, что между их идеалами происходит сближение. Он писал Вяземскому: «По всем дошедшим до меня слухам, твой ум совершенно созрел, и ты готов к обрабатыванию важнейших политических предметов». ³²⁷

³²³ ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, ед. хр. 932, л. 1 об.

³²⁴ Пушкин, Полн. собр. соч., т. XIII, Изд. АН СССР, 1937, стр. 44. Письмо Пушкина в значительной степени повторяет советы М. Орлова Вяземскому в письме от 9 сентября 1821 г. и, вероятно, является отзвуком бесед о Вяземском между Пушкиным и Орловым. Курс. зд. и далее мой. — Ю. Л.

³²⁵ М. О. Гершензон, История молодой России, М.—Пг., Госиздат, 1923, стр. 17.

³²⁶ Остафьевский архив, т. II, стр. 342.

³²⁷ Литературное наследство, т. 60, кн. I, М., Изд. АН СССР, 1956, стр. 33.

Боевая настроенность Вяземского не падала и в дальнейшем. 30-го мая 1824 г. он писал Дашкову:

«Моя логика не худа, даром, что Михаил Дмитриев утверждает за Александром Воейковым, что я без логики. Чем хуже, тем лучше! Чем темнее, тем скорее будет светло! Чем беседнее, тем скорее будет арзамасно! Это неоспоримо, как и то, что дважды два четыре! Но мы доживем ли до того или только дети наши, а если мы, то считать ли в этом *мы* и Василия Львовича?»³²⁸

В письме к Воейкову от 25 февраля 1824 г. он призывает литераторов к общественной активизации:

«Конечно, времена не благоприятствуют большой живости, но последуем первому (т. е. А. Е. Измайлову — *Ю. Л.*), который и в навозе копышется. Надо напугать Красовского с братиею деятельностью и рваться пред ними, а что их, дураков, тешить и добровольно засыпать под их баюканье. Вода хлещет и подмывает с ревом и яростию плотину, преграждающую ее естественное течение, а не целует ее покорными и безгласными струями. *Плотину поставили — зато и держись, плотина!*»³²⁹

В первую половину 1820-х гг. Вяземский развивает большую общественную активность. Однако, легко заметить, что формы, в которые облекается его деятельность — все те же самые, которые были выдвинуты общественной жизнью 1818—1820 гг.

Главные усилия Вяземского направлены на то, чтобы средствами печати воздействовать на общественное мнение, воспитывая его в духе свободолюбия. Литературные споры интересуют Вяземского и сами по себе,³³⁰ и как средство провести сквозь цензуру политическую дискуссию. Вяземский сознательно преувеличивал роль своих, в общем ничтожных, противников по литературной полемике для того, чтобы, через их голову, бороться вообще с реакцией, подлинных представителей которой он не мог назвать по цензурным соображениям. 1 сентября 1822 г. Пушкин писал Вяземскому: «Каченовский — представитель какого-то мнения! Voilà des mots qui hurlent de se trouver ensemble».³³¹ Явно в связи с этим замечанием Вяземский писал 29 ноября 1822 г. Тургеневу:

«В нашем быту должно все ставить на ходули: и раздувать негодование на Каченовского, как будто на человека вредного, и приносить как будто неприязнь свою и досаду человеку пораженному. Если не составить себе таким образом театра и не раздать по лицам приличных ролей, то придется в самом деле играть про себя роль каменного коменданта и, как он, только кивать головою, да при случае хлопать ушами».³³²

³²⁸ Рукописное собр. ГПБ, Архив Вяземского (№ 167), ед. хр. 24, л. 7 об.

³²⁹ ЦГАЛИ, Ф. 195, оп. 1, ед. хр. 1234, л. 32 об. Курс. мой — *Ю. Л.*

³³⁰ Эта сторона вопроса, связанная с рассмотрением позиции Вяземского 1820-х гг. в литературной борьбе, подробно освещена в указанных выше работах Л. Я. Гинзбург, Н. И. Мордовченко, М. И. Гиллельсона.

³³¹ Пушкин, Полн. собр. соч., т. XIII, Изд. АН СССР, 1937, стр. 44. Вот слова, которые рычат, встречаясь — *франц.*

³³² Остафьевский архив, т. II, стр. 283—284.

Вяземский отрицал конспиративные средства борьбы и явно преувеличивал значение легальных форм, но именно поэтому он столько внимания и энергии уделял выработке средств доведения до читателя зашифрованных мыслей. В истории создания «эзопова языка» в русской литературе Вяземскому принадлежит почетное место одного из зачинателей.

В этом смысле весьма показательна история создания «Известия о жизни и стихотворениях Ивана Ивановича Дмитриева». Получив от Ф. Глинки предложение «Вольного общества любителей российской словесности» написать биографию Дмитриева для предприняемого обществом издания собрания сочинений поэта,³³³ Вяземский охотно взялся за работу, предполагая затронуть в статье острую тему — взаимоотношения государственной власти и литературы. Он рассчитывал, «придравшись» к деятельности Дмитриева-министра, коснуться и цензурно-запретных вопросов внутренней политики. В ответ на критику друзей-карамзинистов, добивавшихся, под предлогом стремления к композиционной стройности, удаления политических «отступлений», Вяземский писал (письмо Жуковскому от 9 января 1823 г.):

«Перейдем теперь к другому обвинению твоему на счет моей биографии, о «пристройках», о том, что слишком «часто удаляюсь от главного предмета», «заговариваюсь». Перекрестись и стыдись! Да что же и могло взманить меня и всякого благоразумного человека на постройку, если не возможность пристроек. Неужели рука моя повернется, чтобы чинно перебирать рифмы Дмитриева <...> Я «заговариваюсь»! Дай-то боже! Тут только и слушать меня. Тут дело не в деле, а в приделках. Неужели можешь ты еще в стихах искать одних рифм, а в словах одной музыки? Не понимаю, да и не верю; или в тебе еще спит одно чувство, укачанное на руках павловских фрейлин». ³³⁴

Под давлением друзей и понимания невозможности провести «пристройки» через цензуру, Вяземский охладел к замыслу и вынужден был построить статью чисто литературно. В письме к Ф. Глинке (сохранился лишь черновой набросок) он спрашивал: «Как построено быть должно «Известие о жизни гражданской и авторской Ивана Ивановича Дмитриева»? Не лучше ли заняться исключительно описанием последней, ибо в полном и искреннем описании первой, при нынешнем ограничении свободы письменной, предвижу затруднения». ³³⁵

Будучи в Москве, Вяземский активно действует не только как поэт и критик, но и как литературный организатор: он стремится

³³³ Письмо хранится в ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, ед. хр. 635.

³³⁴ Архив ИРЛИ (Пушкинского Дома) АН СССР, 27 985/СС. 16. 44, лл. 12 об. А. И. Тургеневу Вяземский писал: «... Я начал возиться с «Дмитриевым». Кое-что уже написано. Будут *смотр*ы новые. Но ученое общество — признает ли мои ереси? Я все хлещу и всех. Хочется послать мне это несколькими анекдотами: намекнуть об опале его при Павле и промолчать про последние победы его действительные, но бездейственные».

³³⁵ ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, ед. хр. 1052, л. 1.

объединить московских литераторов. В связи с этим интересны его попытки создать «Общество переводчиков». Идея подобной организации давно уже привлекала декабристов, ибо могла позволить провести в русскую литературу обсуждение таких вопросов, затрагивать которые в оригинальных сочинениях нечего было и думать.

Попытки организации подобного общества были предприняты еще А. С. Кайсаровым.³³⁶ По показаниям Бестужева-Рюмина, «Русская правда» Пестеля включала требование: «Все знаменитые писатели, в каком бы то роде ни были, должны быть переведены на русском языке».³³⁷

В период наибольшего увлечения общественно-легальными формами борьбы: ланкастерскими школами, литературными обществами и т. д. (что, разумеется, не исключало, для него, интереса к революционно-конспиративной стороне работы) — М. Орлов составил план общества переводчиков. Н. И. Тургенев в письме к С. И. Тургеневу от 8 мая 1820 г. писал: «Орлов прислал мне проект общества переводчиков для перевода книг полезных иностранных на русский язык. В этом проекте, как и во всем, что пишет Орлов, много умного».³³⁸ Сведения об этом проекте, видимо, тогда же дошли до Вяземского. В конце 1822 г. Вяземский вспомнил об этом и писал А. И. Тургеневу: «Есть ли еще у Николая Ивановича некий проект общества переводчиков? Нельзя ли его как-нибудь мне прислать? У меня также бродят в голове мысли и об этом».³³⁹ Вяземский собирался составить избранную хрестоматию французской прозы, привлечь Жуковского, Дашкова, Блудова для составления аналогичных книг, переведенных с немецкого, английского, итальянского. Общество должно было иметь печатный орган — «периодическое издание критическое об иностранных книгах, выходящих в свет».³⁴⁰

О том, как понимал Вяземский задачу подбора переводных текстов, лучше всего говорят его заготовки переводов из французской прозы XVIII в., о которых речь шла выше. Однако нет сомнений, что Вяземский не собирался ограничиться переводами из философов прошлого столетия — в еще большей степени его привлекала возможность популяризации сочинений современных французских публицистов.

Любопытным примером такого рода попытки является пред-

³³⁶ См.: Ю. М. Лотман, Андрей Сергеевич Кайсаров и литературно-общественная борьба его времени, Ученые записки ТГУ, вып. 63, Тарту, 1958, стр. 158—162; Чтения в имп. обществе истории и древностей российских, М., 1858, июнь-сентябрь, кн. III.

³³⁷ Восстание декабристов, т. IX, Госполитиздат, 1950, стр. 59.

³³⁸ Декабрист Н. И. Тургенев. Письма к брату С. И. Тургеневу, М.—Л., Изд. АН СССР, 1936, стр. 301.

³³⁹ Остафьевский архив, т. II, стр. 281.

³⁴⁰ Архив ИРЛИ (Пушкинского Дома) АН СССР, 27985/СС. 1 б. 44, л. 13 об.

принятый Вяземским еще в конце 1820 г. перевод из книги Гизо «О правительстве Франции от начала реставрации до современного министерства». ³⁴¹

Второе издание книги, которым пользовался Вяземский, вышло в Париже в 1820 г. Интерес к переводу возник у Вяземского, видимо, под влиянием семеновской истории. Во вступлении переводчик указал, что «суждения» Гизо «могут быть применимы и вне Франции». ³⁴² Вяземский выбрал из книги Гизо то место, где автор говорит о закономерности свободолюбивых устремлений молодежи:

«Важное бедствие лежит на показывающемся поколении. Оно наследует от предыдущих времен одни потребности и врожденные побуждения. Оно призвано не только продолжить общество, но преобразовать его». Новое поколение — поколение преобразователей: «Законы, мнения, чувства, положения самые — все было темно и сомнительно вокруг колыбели его. Оно не может жить достоянием, от отцов перешедшим». ³⁴³

Все эти цитаты могли быть перетолкованы как связанные с актуальными вопросами русской жизни. Даже даты, определяющие новый этап 1815 годом, не нарушали этого впечатления: «Разберите проступки, коим подверглась молодежь в течение пяти лет и за кои строжайше была она обвиняема, вы уверитесь, что они все проистекают от волнения нравственной потребности, которая с самого детства лишена пищи, порывается насытиться и усмирилась бы удовлетворением». ³⁴⁴

Избранный Вяземским для перевода отрывок из книги Гизо был посвящен студенческим беспорядкам в училище правоведения. Правая печать обвиняла некоторых лекторов во вредном влиянии на умы молодежи. Это сделало перевод особенно актуальным для русского читателя после возникновения «профессорских дел» и гонений на университеты. Вяземский начал торопить друзей с попытками опубликования перевода. «А что же моего «Гизо»? Оно было бы кстати после происшествий пансионских». ³⁴⁵ И через несколько дней: «Вперед, ребята обскурантизма! Ура! <...> А я все говорю. Зачем не печатаете «Гизо»? Надобно mettre à profit les à proros». ³⁴⁶

В переводе Вяземского были места, которые в обстановке гонений на Куницына, Германа и других профессоров иначе, как намеком, прозвучать не могли:

«Найдутся люди, я знаю, которые предпочли бы, чтобы пристрашались они более к скоморохам, чем к профессорам <...> Свет колеблется ныне,

³⁴¹ Du Gouvernement de la France depuis la Restauration et du ministère actuel, par Guizot, seconde édition, à Paris, 1820.

³⁴² ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, ед. хр. 1040, л. 1.

³⁴³ Там же, л. 1 об.

³⁴⁴ Там же.

³⁴⁵ Остафьевский архив, т. II, стр. 170.

³⁴⁶ Там же, стр. 176. Использовать своевременность — франц.

и мы сами колеблемся между двумя путями: один проложен вперед, к Грядущему, исполненному надежд, другой подается назад и сбивает нас в прошедшее. Без сомнения, не с тем, чтобы итти по последнему и избрать систему стоячую или обратную, молодежь любит учения, занятия и оказывается трудолюбивою и прилежною». «Внушайте молодым людям уважение к прошедшему, но не требуйте от них, чтобы они прошедшим ограничились <...> Не должно запрещать ей (молодежи — Ю. Л.) ничего полезного, основательного», «во всех случаях имеет она право на Истину, на искание Истины». ³⁴⁷

Mettre à profit les à propos — таким должен был быть смысл всего проектируемого Вяземским «Общества переводчиков». Таков должен был быть, бесспорно, и лозунг его журнала. Идея получить в свои руки журнал неотступно преследует Вяземского в эти годы. Он пытается «свести» для издания журнала Кюхельбекера и Раича и даже возобновляет связи с Воейковым. Последнему он писал 25 февраля 1824 г., очень ярко очертив свое представление о роли журнала:

«... Более всего ожидаю проку от журнала Раича, если позволят ему издавать его. Ваша петербургская проза тоща до крайности. Да и как вы все ленивы! Скажи правду, будто Греч и ты — журналисты, вы компинаторы текущих безделок. Вы не даете насущного хлеба, а кормите сухарями. Кажется, Рива<ро>ль говорит о Мирабо, что главное в нем достоинство было qu'il écrivait et parlait sur des objets palpitants de l'intérêt du moment». ³⁴⁸ Вот правило, коему должен следовать журналист. А у вас никогда не дожدهшься этого трепетания. Один Измайлов иногда захватывает природу на день, да и то, когда ее пронсит с верха и низа». ³⁴⁹

Таким образом, нельзя сказать, что Вяземский в 1821—1824 гг. отклонился от тех свободолобивых умонастроений, которые свойственны были ему в 1820 г., ушел от общественной борьбы.

Не порвал Вяземский и личных связей с декабристами. Наоборот, именно в это время он постоянно встречается с многими деятелями тайных обществ. В эту пору в Москве Вяземский видится с И. И. Пушиным, М. А. Фонвизиным, П. Х. Граббе, М. Ф. Орловым, К. А. Охотниковым, С. Е. Раичем и рядом других деятелей тайных обществ. Однако, если исключить М. Орлова, политическая активность которого была подавлена недавним разгромом кишиневского центра, и близкого к нему по настроением Охотникова, большинство названных выше деятелей принадлежали к сторонникам тактики времен Союза Благоденствия.

Вяземский не сошел с позиций, занимаемых им в 1820—21 гг. Но в изменившейся обстановке сама верность этим установкам, прежде характеризовавшим декабристскую периферию, означала эволюцию в сторону отдаления от дворянской революцион-

³⁴⁷ ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, ед. хр. 1040, лл. 1 об. — 2.

³⁴⁸ Что он писал и говорил о предметах, животрепещущих злобой дня — франц.

³⁴⁹ ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, ед. хр. 1234, л. 32.

ности. «Так накануне 14 декабря 1825 года между Вяземским и деятелями декабристского движения оказался рубеж». ³⁵⁰

Для характеристики общественной позиции Вяземского в эти годы показательно столкновение его с М. А. Дмитриевым-Мамоновым. Это было разногласие между убежденным сторонником легальных форм воздействия на общественное мнение и политиком, приверженность которого к конспирации так и не дала ему возможности освободиться от тактики узкого заговора. Инцидент выпукло рисует отличие двух путей, которыми прогрессивная дворянская мысль преддекабристского периода подходила к революционности. И, вместе с тем, оба эти пути, в сложной диалектике исторического движения, в момент, когда дворянская революционность, продолжая процесс внутренней демократизации, уже сложилась, повели определенную часть декабристских и околодекабристских деятелей в обратном направлении, от революционности — к либерализму.

С М. А. Дмитриевым-Мамоновым Вяземский познакомился в 1812 г., когда он, как писал позже в автобиографии, «вошел в московское ополчение, составленное великодушным усердием графа Дмитриева-Мамонова». ³⁵¹

Первое из сохранившихся писем Мамонова к Вяземскому — просьбы о посредничестве в переговорах с кн. Четвертинским, которому предлагалось место командира полка (Мамонов был шефом), — свидетельствует о том, что личное знакомство еще не состоялось. ³⁵²

После оставления Москвы мамоновский полк был отведен в Ярославль. Здесь знакомство стало более тесным, как свидетельствует сохранившееся письмо Мамонова Вяземскому. ³⁵³ Знакомство возобновилось после возвращения Мамонова из-за границы. Это видно из его письма Вяземскому, предположительно датированного 1817 г.

«С невыразимым сожалением узнал я, дорогой князь, что Вы хотели зайти ко мне в час, когда меня не было дома. Мое сожаление тем более живо, что, отправляясь сегодня в деревню, я покидаю Москву, не имея удовольствия Вас видеть. Я себя льщу однако тем, что по прибытии в Ваше поместье, расположенное вблизи от Дубровиц, вы поставите меня в известность и позволите мне возобновить знакомство, льстящее мне в бесконечном множестве отношений». ³⁵⁴

Как видим, в это время Мамонов и сам был непрочь возобновить старое знакомство. Однако шли годы, Вяземский был в Варшаве, а Мамонов начал в Дубровицах, в обстановке глубокой конспирации, строительство укрепленного военного лагеря.

³⁵⁰ Н. И. Мордовченко, Русская критика первой четверти XIX века, М.—Л., Изд. АН СССР, 1959, стр. 311.

³⁵¹ ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, ед. хр. 622, л. 20.

³⁵² Там же, ед. хр. 1845, лл. 7—7 об.

³⁵³ Там же, ед. хр. 5082, лл. 153—153 об., ед. хр. 1845, лл. 1—1 об.

³⁵⁴ Там же, ед. хр. 1845, л. 5. Оригинал по-французски.

Лагерь этот в случае, если бы Орлову действительно удалось, как он надеялся, получить дивизию в Нижнем Новгороде или Ярославле, смог бы сыграть совсем не химерическую роль в подготавливаемой военной революции. Мамонов ревниво оберегал конспиративную тайну приготовлений — доступ в Дубровицы был закрыт даже для близких знакомых.³⁵⁵ Попытки вернувшегося в Москву из Варшавы Вяземского возобновить встречи с Мамоновым натолкнулись на решительный отпор со стороны последнего. Вяземский почувствовал — и это показательно — что пропуск в Дубровицы можно получить в Кишиневе. Орлов, повторив версию о расстроенном здоровье Мамонова, не скрыл, что это обстоятельство не воспрепятствовало принимать в Дубровицах его:

«Ты мне пишешь, мой друг, чтоб я тебя сблизил с Мамоновым. Я бы весьма желал сего, но как приступить к неприступному? Расстроенное здоровье не позволяет ему выезжать. К себе никого не принимает и положил это правилом. Кроме меня, никто его не видал уже несколько лет. Впрочем, постараюсь исполнить твое желание и для тебя, и для него. Вы, познакомясь ближе, будете любить друг друга, ибо и он почтенный человек во многих отношениях. Я давно от него пишем не имел, а теперь пишу через тебя. Ты сам письмо не отвози, а пошли через человека и ожидай его разрешения».³⁵⁶

Показательно, что хорошо осведомленный М. Орлов не считал Мамонова в 1821 г. сумасшедшим. В противном случае уверенность в том, что Вяземский и Мамонов будут «любить друг друга», звучала бы более чем странно.

Рекомендация Орлова не помогла. Перед рождеством 1821 г., находясь в Остафьеве, Вяземский переслал письмо Орлова и свое собственное Мамонову. 25 декабря 1821 г. он получил ответ:

«Милостивый государь князь Петр Андреевич!

Исполненное лестных для меня выражений письмо вашего сиятельства от 23 исходящего месяца и приложенное при оном письмо от М. Ф. Орлова я имел честь получить.

Крайне расстроенное состояние здоровья моего лишает меня удовольствия пользоваться посещениями в настоящем моем уединении.

Но я прошу ваше сиятельство удостоить верить, что с возвращением утраченных болезнью телесных сил моих поспешу я лично изъяснить Вам, милостивый государь, мою совершенную благодарность за благосклонное Ваше в судьбе моей участие и за хвалы, которые угодно Вам воздавать любви моей к отечеству — чувствованию, свойственному всем добрым гражданам и даже всем добрым людям».³⁵⁷

³⁵⁵ Слух о том, что Орлов вломился к Мамонову силою, был, возможно, распушен из тех же конспиративных побуждений — посещение Мамонова Орловым слишком бросалось в глаза, и известие о том, что закрытые для всех двери дубровицкого дома открылись перед Орловым, могло вызвать нежелательные подозрения.

³⁵⁶ Литературное наследство, т. 60, кн. 1, М., Изд. АН СССР, 1956, стр. 36.

³⁵⁷ ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, ед. хр. 1845, лл. 3—3 об.

В этом письме, содержащем характерно-мамоновское противопоставление «граждан» — политически активного меньшинства — просто «добрым людям», рядовым членам человеческого общества, ничто не подтверждает исследовательской гипотезы о сумасшествии Мамонова, якобы, имевшем место еще в 1817 году.

Новый этап взаимоотношений Вяземского и Мамонова связан с появлением последнего в 1823 г. в Москве, куда он был перевезен по распоряжению правительства, находясь в двусмысленном положении полуарестованного.

Приятельские отношения между Вяземским и Мамоновым возобновились. Вяземский отзывался о Мамонове с большим уважением, пока в марте 1824 года не разыгрался показательный инцидент, проливший свет на глубокое различие их общественного мирозерцания.

В связи с борьбой вокруг выкупа на волю крепостного скрипача Семенова Вяземский развернул, совершенно в духе Союза Благоденствия, активную общественную работу: он принял участие в сборе средств и приступил к организации концерта, на котором должен был выступить сам Семенов. При этом Вяземский исходил из убеждения, что следует «выкупать, отпускать, освобождать, со своей стороны». ³⁵⁸ Здесь он совершенно сошелся с задачами организованного в Москве Пушиным «Практического союза», и трудно отделаться от мысли о том, что действия их были согласованы. ³⁵⁹

Мамонов не только не поддержал инициативы Вяземского («зачем выкупить Семенова, когда миллионы в его положении», — заявил он ³⁶⁰), но в специальном письме в резкой форме обосновал принципиальный отказ от участия в подобных мероприятиях.

«Каждый удар смычка на этом концерте, — писал он Вяземскому 18 марта 1824 г., — будет провозглашать свободу русских крепостных, свободу, полностью противоположную политическим принципам, которые я считаю моим долгом исповедовать в настоящее время в качестве гражданина, бывшего государственного деятеля и наследственного владельца более чем миллиона крепостных — принципам, которые я рассматриваю как наиболее верную гарантию грядущего благоденствия моей родины». ³⁶¹

Письмо это, на первый взгляд, звучит неожиданно. Хорошо известно, что Мамонов был противником крепостного права и включил «упразднение рабства в России» ³⁶² в план будущих государственных реформ революционного правительства.

³⁵⁸ Остафьевский архив, т. III, стр. 21.

³⁵⁹ Вообще, благодаря сдержанности показаний И. И. Пушина, жизнь московской организации после распада Союза Благоденствия осталась следствию неизвестна. Почти не освещена она и в исследовательской литературе.

³⁶⁰ Остафьевский архив, т. III, стр. 21.

³⁶¹ ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, ед. хр. 1845, л. 4 об. Оригинал по-французски.

³⁶² Из писем и показаний декабристов. Критика современного состояния России и планы будущего устройства. Под редакцией А. К. Бороздина, Спб., 1906, стр. 146.

В чем же причина резкого заявления Мамонова? Крепостное право, по его мнению, должно было быть отменено, однако он, действительно, был против того, чтобы отмена эта была произведена в политической ситуации 1824 г., т. е. неограниченным самодержавным правительством Александра I. Это, по его мнению, неслыханно укрепило бы правительство, ослабило бы дворянство — единственную, как считал Мамонов, силу, способную противостоять власти царя. Крестьяне должны получить волю после свержения самодержавия из рук революционного правительства. Любопытно сравнить слова Пушкина: «... остерегайтесь уничтожать рабство, особенно в государстве деспотическом» (т. XII, стр. 195 и 481). Если Орлов рассчитывал на помощь солдат, причем солдат, сознательно выбравших дело свободы, предварительно подвергавшихся агитационному воздействию и лично преданных своим офицерам, то Мамонов надеялся на то, что в грядущей революционной борьбе дворянство обопрется на народ в силу простой патриархальной приверженности крестьян к своим вековым владельцам. Превращенные в солдат (как это сделал Мамонов в 1812 году), крестьяне выступают из личной преданности господину. Освобождение крестьян оборвет эти связи, обессилит дворянство и укрепит деспотизм царизма. Это объясняет, почему Мамонов мог рассматривать крепостное право, «как наиболее верную *гарантию* грядущего *благоденствия* моей родины» (курс. мой — Ю. Л.). А то, что само это благоденствие подразумевало уничтожение самодержавия в первую очередь, а затем и освобождение крестьян, явствует из изучения всех высказываний Мамонова в их совокупности.

Таким образом, в рассмотренном эпизоде столкнулись стремление осуществлять борьбу с правительством, реакцией, крепостным правом только легальными средствами — и попытка осуществлять эту борьбу средствами узкого заговора, требующего и от народа, и от рядовых заговорщиков лишь слепого повиновения. В исторической перспективе первая точка зрения могла привести к либерализму, вторая — к аристократическому фрондерству.

Несмотря на резкое расхождение в 1824 г. Мамонова и Вяземского, в позиции их, в сущности, было много общего: оба деятеля застыли в приверженности к какой-либо одной тактической форме преддекабристского и раннедекабристского движения. А это в 1824 г. уже означало отход от политического авангарда общества, хотя в свое время каждая из этих точек зрения выразила определенную — раннюю — стадию становления дворянской революционности.

Еще и сейчас, в 1823—1825 гг., размежевание между революционным и либеральным лагерем не зашло так далеко, чтобы позиция Вяземского показалась враждебной даже тем молодым силам, которые выдвинулись в 1823—1825 гг. на руководящие роли в Северном тайном обществе.

Рассмотрение материала убеждает в том, что тяготение здесь было обоюдным: Вяземский тянулся к молодым радикальным общественно-литературным деятелям, а они, в свою очередь, активно привлекали Вяземского к сотрудничеству.

В этом смысле любопытны взаимоотношения Вяземского с Кюхельбекером, с одной стороны, и Рылевым и Бестужевым — с другой.

В трудное для Кюхельбекера время после возвращения его с Кавказа Вяземский активно поддержал гонимого литератора. Необходимо учесть, что речь шла не только о личном участии, но и о сочувствии идеям Кюхельбекера, которые в эту пору явно определились как декабристские. 29 августа 1823 г. Вяземский писал Жуковскому:

«Кюхельбекер жалуется на твое невнимание к нему и жалуется справедливо. Он несчастлив, и, следовательно, ты неправ. Брошенный от всех, искал он в тебе заступника. Заглядывал ли ты в его трагедию и есть ли надежда напечатать ее, хотя без имени его? Он жил у меня два дня в деревне и читал ее и много других стихотворений. В трагедии, право, много хорошего, а в особенности лирическая часть. В хорах, занимающих в ней важное место, встречаются даже и красоты возвышенные».

Далее Вяземский подчеркивал, что «творение это недюжинное и заслуживает одобрения». И далее:

«В других мелочах его также много хорошего. Вообще, талант его, кажется, развернулся. Он собирается издавать журнал <...> Надобно будет помочь ему, и, если начнет издавать, то возьмемся поднять его журнал. План его журнала хорош и европейский, материалов у него довольно, он имеет познания».³⁶³

Вяземский «сводил» Кюхельбекера «для журнала с Раичем»,³⁶⁴ дал свои стихотворения в «Мнемозину». Но уже в 1824 г. обнаружилось расхождение, а после решительной критики Кюхельбекером карамзинизма и элегической традиции в русской литературе Вяземский резко с ним разошелся.³⁶⁵

Сложнее были взаимоотношения Вяземского с Рылевым и Бестужевым.

В распре между издателями «Северных цветов» и «Полярной звезды» Вяземский, как и Пушкин, предпочел не примыкать безоговорочно ни к одной стороне. Личные связи с кругом Дельвига—Плетнева были у Вяземского весьма прочны, но и в творческой позиции «Полярной звезды» он находил много для себя привлекательного.³⁶⁶

³⁶³ Архив ИРЛИ (Пушкинского Дома) АН СССР, 27 985/СС. 1 б. 44, л. 16.

³⁶⁴ Остафьевский архив, т. II, стр. 355.

³⁶⁵ См. Остафьевский архив, т. III, стр. 62. Подробный анализ этого эпизода — в кн. Н. И. Мордовченко: Русская критика первой четверти XIX в., М.—Л., Изд. АН СССР, 1959, стр. 305—306.

³⁶⁶ Взаимоотношениям Вяземского и издателей «Полярной звезды» посвящена вступительная статья Н. А. Степанова к публикации К. П. Богаевской писем А. Бестужева Вяземскому. (Литературное наследство, т. 60, кн. I,

Вместе с тем, Рылеев и Бестужев активно вовлекали Вяземского в сотрудничество, не только дорожа им как литературным «вкладчиком» «Полярной звезды», но, как это показали дальнейшие события, рассчитывая вовлечь его в работу тайных обществ.

Политическое направление издателей «Полярной звезды» после личного знакомства с Бестужевым в феврале 1823 г., хотя бы в приблизительных контурах, для Вяземского не составляло тайны. Об этом свидетельствует тот факт, что для опубликования в альманахе Рылеева-Бестужева он избрал именно «Петербург» — одно из своих наиболее острых политических стихотворений, вызвавшее весьма холодную оценку в окружении Жуковского.

При датировке этого стихотворения³⁶⁷ не всегда учитывается то, что перед опубликованием его в 1823 г. Вяземский подверг стихотворение значительной правке. Сам поэт на это указывал с достаточной определенностью. В письме Жуковскому от 29 августа 1823 г. читаем:

«Между тем, исправил и пополнил я свой Петербург, нелюбимый тобою и, право, напрасно! <...> Готовлю его для Бестужева. Ты что дашь ему? Прошу сперва представить мне на рассмотрение. Ты такое дитя, что, пожалуй, пустишь кубари в церкви». ³⁶⁸ Позже он сообщал: «Посылаю тебе, мой Аристарх, «Петербург» для доставления Бестужеву полярному. Я многое в нем исправил и прибавил <...> На-днях пришлю еще материалов для Бестужева. Так и скажи ему». ³⁶⁹

Полностью окончательная редакция стихотворения нам неизвестна. Цензура не пропустила конец, и то многое, что поэт, по его собственным словам, прибавил — не сохранилось. Из переделок следует отметить следующую: в редакции 1818 г. осужде-

М., Изд. АН СССР, 1956, стр. 191—199). Это избавляет нас от необходимости детального рассмотрения вопроса.

³⁶⁷ См. П. А. Вяземский, Стихотворения, Л., Советский писатель, 1958, стр. 114.

³⁶⁸ Архив ИРЛИ (Пушкинского Дома) АН СССР, 27 985/СС. 1 б. 44, л. 16 об. Вяземский был недоволен тем, что в предшествовавший номер «Полярной звезды» Жуковский дал мелкие стихотворения, лишённые общественной значимости. 9 февраля 1823 г. он писал: «Непреренно нужно взять тебя под опеку и без согласия опекунов не позволять тебе пользоваться своим родовым именем. Можно ли было напечатать в «Звезде» столько пустяков, как ты напечатал? Как миллионщику носить в кармане медные деньги? <...> В полном собрании твоих сочинений они могли бы иметь свое место: но тут выходить напоказ в ряду с мальчишками, недорослями и состарившимися прохвостами с безделками, не имеющими никакого в глаза не дающегося достоинства, ни в отношении мыслей, ни в отношении выражений, есть дело непростительное, для друзей твоих прискорбное <...> Скажу откровенно: жаль, что ты ничего путного не пишешь, но еще жальче, что ты беспутное печатаешь». И дальше: «Зачни писать прозою на время» (там же, лл. 14 об—15).

Эти упреки почти текстуально совпадают с критикой позиции Жуковского декабристами. Весьма характерны осуждение безделок и совет заняться прозой.

³⁶⁹ Там же, л. 20.

ние французской революции звучало, вместе с тем, как прославление действий русского правительства:

«... когда
В Европе зарево злодейств зажгла вражда,
Под сенью тишины у нас рука устройства
Растила мирт наук и гордый лавр геройства». ³⁷⁰

В редакции 1823 г. Вяземский убрал упоминания «тишины и устройства»:

«... когда
В Европе зарево крамол зажгла вражда
И древний мир вспылал, склонясь печальной выей, —
Дух творческий парил над юною Россией». ³⁷¹

Возможно, здесь Вяземский учитывал ту специфически отрицательную семантику, которую приобретали в публицистике конца XVIII — нач. XIX вв. термины «тишина» и «устройство». Для Радищева они были синонимами деспотического гнета. Радищев писал: «Блаженство гражданское в различных видах представиться может. Блаженно государство, говорят, если в нем царствуют тишина и устройство». Однако далее он подвергает критике такое представление: «Устройство на счет свободы столь же противно блаженству нашему, как и самые узы <...> Итак, да не ослепимся внешним спокойствием государства и его устройством и для сих причин не почтем оное блаженным». ³⁷²

Вяземский внимательно читал Радищева в 1819 г., а, вероятно, и в последующие годы, и изменение формулировок могло явиться отголоском этих чтений. Однако политическая концепция Вяземского оставалась не только далекой от радищевской идеи народной революции, но и глубоко расходилась с идейно-тактическими установками Северного общества. Вяземский так и остался на позициях легального сотрудника Союза Благоденствия.

Это наглядно проявилось, лишь только А. Бестужев попытался привлечь его к непосредственно-конспиративной деятельности. Трудно согласиться с С. Н. Дурылиным, который, доверяясь явно тенденциозным данным свода показаний, составленного А. Боровковым, и либеральной исследовательской легенде, считал А. Бестужева случайным человеком среди декабристов, а весь эпизод вербовки расценил как недоразумение. «Зазывал Вяземского в тайное общество тот его член, который, по собственному признанию, принятому следствием, искал только приличной формы, чтобы оттуда уйти». ³⁷³

³⁷⁰ П. А. Вяземский, Избранные стихотворения, М.—Л., Academia, 1935, стр. 139.

³⁷¹ П. А. Вяземский, Стихотворения, Л., Советский писатель, 1858, стр. 112.

³⁷² А. Н. Радищев, Полн. собр. соч., т. I, М.—Л., Изд. АН СССР, 1938, стр. 315—316.

³⁷³ Н. Кутанов, цит. соч., стр. 231.

Рылеевская «отрасль» Северного Общества, понимая общественный авторитет Вяземского, совершила вполне обдуманый шаг, пытаясь привлечь его в ряды заговорщиков. Вряд ли это действие не было согласовано с И. И. Пушиным, хотя Вяземский об этом и умалчивает.

Неудача попытки Бестужева еще раз продемонстрировала ту грань, которая отделила перед 14 декабря 1825 г. либерального свободолюбца от дворянского революционера.



События на Сенатской площади, казнь и ссылка декабристов решительно изменили расстановку общественных сил. Развитие идей дворянской революционности было временно прервано, активность революционного лагеря на определенный период парализована. Вместе с тем, на этом историческом этапе по-новому определились и отношения лагеря декабристов и дворянских либералов. Если одна группа деятелей, примыкавших к либеральному лагерю, пошла на капитуляцию перед правительственными силами, то определенная часть их эволюционировала в обратном направлении. Грани, отделяющие не только Вяземского, но и Дельвига, Баратынского от декабристского лагеря, размываются. Те самые «Северные цветы», которые до роковых событий 1825 г. были органом, противопоставленным «Полярной звезде», начинают восприниматься как хранители декабристской традиции. Лагерь антиправительственных деятелей разных оттенков консолидируется, — разумеется, в такой мере, в какой суровость реакционного курса правительства, вообще, оставляла место для политической жизни общества.

Новое размежевание начнется лишь в начале 1830-х гг., когда, в результате начала оформления демократического лагеря, в литературе и общественной жизни создастся новая обстановка.

Чуткий к живому пульсу общественных настроений, Вяземский ярче, чем кто бы то ни было из современников, отразил эти подспудные процессы. 1826 год — время расправы с декабристами — для него становится периодом резкого обострения антиправительственных настроений. В 1826—1829 гг. Вяземский сознательно берет на себя в опустевшем лагере прогрессивных литераторов миссию хранителя традиций сопротивления реакции и произволу.

Одним из наиболее волнующих памятников русской публицистики 1826 г. являются записные книжки Вяземского. Это были не записи для себя, а именно публицистические сочинения, предназначенные для распространения в обществе. Достигалось это проверенным и уже традиционным для русской бесцензурной литературы конца XVIII — начала XIX вв. эпистолярным путем. Об этом свидетельствует наличие в тургеневском архиве

копий всех основных высказываний Вяземского в «Записной книжке» по поводу восстания 14 декабря и трагических событий 1826 г. Копия выполнена рукой В. Ф. Вяземской.³⁷⁴

Поскольку мы знаем, как старательно уничтожались в 1826 г. в частных архивах все компрометирующие документы, отсутствие подобных копий в бумагах Пушкина, Жуковского и других современников не может считаться неоспоримым доказательством того, что хранящаяся в Тургеневском архиве копия была единственной. Но даже и в этом случае невозможно предположить, чтобы документ этот, побывав в руках А. И. Тургенева, не стал известен всему пушкинскому кружку, особенно плотно сомкнувшемуся после 14 декабря 1825 г.

Чрезвычайно ответственные высказывания Вяземского о восстании декабристов и суде над ними были изуродованы цензурой при опубликовании их в полном собрании сочинений Вяземского. Вышедшее в советские годы издание «Старой записной книжки» опиралось на печатный текст полного собрания сочинений и ничего, в этом смысле, не добавило.³⁷⁵

С. Н. Дурьлин, обнаружив в библиотеке Томского университета представленный в цензуру экземпляр IX тома полного собрания сочинений Вяземского, восстановил вырезанные по требованию цензора чрезвычайно важные высказывания Вяземского.

Однако, С. Н. Дурьлин не знал, что IX том полного собрания сочинений в той его части, которая касалась событий 14 декабря 1825 г., подвергся двойной цензуре. Еще до того как он попал в руки цензора, текст был изуродован реакционными редакторами. Восстановить пропущенные ими места можно, лишь обратившись к рукописи.

Сравнение позволяет выявить вырезанные еще до представления в цензуру и не учтенные С. Н. Дурьлиным весьма ответственные высказывания. В записи 27 июня 1826 г. Вяземский подверг резкой критике указ о Шервуде.³⁷⁶ В рукописи после слов: «Не сужу лично Шервуда, ибо не знаю его», — следует: «Но каждый благоразумный подлец поступил бы, как он, рассчитав, что, во всяком случае, он, по крайней мере, меняет неверное на верное».³⁷⁷ Такая характеристика правительственного агента, затесавшегося с провокационной целью в ряды революционной организации, видимо, и в 1880-е гг. была нежелательной.

Далее следовали еще более знаменательные строки. Вяземский был противником насильственных мер, и в первых откли-

³⁷⁴ Архив ИРЛИ (Пушкинского Дома) АН СССР, Архив бр. Тургеневых, № 849.

³⁷⁵ П. Вяземский, Старая записная книжка, Ред. и примечания Л. Гинзбург, Л. 1929.

³⁷⁶ Н. Кутанов, цит. соч., стр. 248—249.

³⁷⁷ ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, ед. хр. 1109, л. 5 об.

ках на восстание у него сквозит раздражение против руководителей тайного общества, действия которых он стремится отделить от незыблемых идеалов свободолюбия.

Однако по мере того, как события раскрывали подлинное лицо правительства Николая I, настроения Вяземского менялись.

Казнь пяти руководителей декабризма не только потрясла Вяземского («Для меня Россия теперь опоганена, окровавлена: мне в ней душно, нестерпимо»), но и заставила его пересмотреть свои воззрения. В качестве инициатора кровопролития выступило правительство. Поняв это, Вяземский вплотную подошел к оправданию революционного насилия. Это и составило центральный стержень рассуждений, внесенных в «Старую записную книжку» и не попавших не только в Полное собрание сочинений, но и в публикацию С. Н. Дурылина.

«Кровь требует крови. Кровь, пролитая именем Закона или побуждением страсти, равно вопиет о мести, ибо человек не может иметь права на жизнь ближнего». ³⁷⁸

Вывод этот был настолько значителен и так глубоко менял всю систему воззрений Вяземского, что у него возникла потребность обратиться к самым истокам своего политического мирозерцания. Так на страницах «Старой записной книжки» развернулся глубоко принципиальный спор с Карамзиным по вопросу о допустимости насильственных форм борьбы с деспотизмом.

Вспомнив слова Карамзина, сказанные в 1819 г. в устной беседе с Вяземским и Пушкиным: «Честному человеку не должно подвергать себя виселице», ³⁷⁹ Вяземский противопоставляет им стихотворение Карамзина «Тацит», написанное в период павловского царствования и, действительно, намекающее на допустимость насилия в политике.

Основываясь на заключительных стихах Карамзина:

«Жалеть о нем (Риме — Ю. Л.) не должно:

Он стоит лютых бед несчастья своего,

Терпя, чего терпеть без подлости не можно!» —

Вяземский заключает, что в определенные минуты отказ от насильственной борьбы равен подлости. Это чрезвычайно существенное место опубликовано С. Н. Дурылиным по представленной редакторами полного собрания сочинений в цензуру книге. При этом утрачены были все непосредственные применения текста к России. Приводим, давая курсивом пропущенные в публикации С. Н. Дурылина слова:

³⁷⁸ Там же, л. 9.

³⁷⁹ Анализ этого высказывания произведен мной в работе «К вопросу об устных источниках сведений Пушкина о Радищеве» (печатается).

³⁸⁰ Курс. Вяземского.

«Какой смысл этого стиха? На нем основываясь, заключаешь, что есть же мера долготерпению *народному*. Был ли Карамзин преступен, обнародовав свою мысль, и не совершенно ли она противоречит апофегмате, приведенной выше? Вот что делает разность мнений! Несчастный Пущин в словах письма своего (*донесение следственной комиссии 47 стран<ица>*): «Нас по справедливости назвали бы подлецами, если б мы пропустили нынешний единственный случай», — дает знать прямодушно, что, по его мнению, мера долготерпения в *России* преисполнена и что *без подлости* нельзя не воспользоваться пробившим часом». ³⁸¹

Далее следует чрезвычайно важный текст, который С. Н. Дурлыну полностью остался неизвестным:

«Теперь вопрос. Достигла ли Россия до степени уже несносного долготерпения и крики мятежа были ли частным выражением безумцев, или преступников, совершенно по образу мыслей своих отделившихся от общего мнения, или отголоском, *renversé* общего ропота, стенания и жалоб? Этот вопрос по совести и по убеждению разума могла разрешить бы одна Россия, а не правительство и казенный причет его, которые в таком деле должны быть слишком пристрастны. Правительство и наемная сволочь его по существу своему должны походить на Сганареля, который думал, что семейство его сыто, когда он отобедает. Поставьте судиями врагов настоящего положения, не тех, которые держатся и кормятся злоупотреблениями его, которых все существование есть, так сказать, уродливый нарост, образованный и упитанный гнилью, от коей именно и хотели очистить тело государства (законными или незаконными мерами — с сей точки зрения все равно, по крайней мере условно, *conditionnellement*); нет, призовите присяжных из всех состояний общества, из всех концов Государства и спросите у них: не преступны ли те, которые посягали на перемену Вашего положения? Не враги ли они Ваши? Спросите у них по совести: не Ваше ли общее стенание, не ваш ли всеобщий ропот вооружил руки мстителей, хотя и не уполномоченных Вами на деле, но действовавших тайно в вашем смысле, тайно от вас самих, но по вашему невыраженному внушению? Ответ их один мог бы приговорить или спасти призванных к суду. Но решение ваше посмеятельное. Правительство спрашивает у своих сообщников: не преступны ли те, которые хотели меня ограничить, а вас обратить в ничтожество, на которое вас определила природа и из коего вывела моя слепая прихоть и моя польза, худо мною самим постигнутая? Ибо вот вся сущность суда; вольно же вам после говорить: *«Таким образом, дело, которое мы всегда считали делом всей России, окончено»*. (М<анифест> 13-го июня). В этом слове замечательное двоемыслие. И, конечно, дело это было делом всей России, ибо вся Россия страданиями, ропотом участвовала, делом или помышлением, волею или неволею, в заговоре, который был ничто иное, как вспышка общего неудовольствия. Так огонь тлеет безмолвно, за недостатком горючих веществ; здесь искры упали на порох, и они разразились. Но огонь был всё тот же! Но вы не то хотите сказать, и ваша фраза есть ошибка и против логики языка, и против логики совести. Дело, задевающее за живое Россию, должно быть и поручено рассмотрению и суду России; но в Совете и в Сенате нет России, нет ее и в Ланжероне и Комаровском! А если и есть и она, то это Россия-самозванец, и трудно убедить в истине, что сохранение этой России стоит крови несколько (так!) русских и бедствий многих. Ниспровержение этой мнимой России и было целью голов нетерпеливых, молодых и пламенных; исправительное преобразование ее есть и ныне, без сомнения, цель молитв всех верных сынов России, добрых и рассудительных граждан; но правительство забывает, что народы, рано или поздно, утомленные недействительностью своих желаний, зреющих в ожидании, прибегают в отчаянии к посредству *молитв вооруженных*». ³⁸²

³⁸¹ ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, ед. хр. 1109, л. 10.

³⁸² Там же, лл. 10 об--11. Курсив Вяземского.

И несколько ниже:

«О подлые тигры! И вас-то называют всею Россиею, и в Ваших крова-
жанных когтях хранится урна с ее жребием».³⁸³

На лл. 12 об. и 18 находим еще два не вошедших в научный оборот высказывания:

«Помысливших о перемене в нашем политическом быту роковую волною прибывало к бедственной необходимости цареубийства и с такою же силою отбивало; а доказательство тому — цареубийство не было совершено. Всё оставалось на словах и на бумаге, потому что в заговоре не было ни одного царубийцы. Я не вижу их и на Сенатской площади 14 декабря, точно так же, как не вижу героя в каждом воине на поле сражения. Может быть, он еще струсит и убежит от огня. Вы не даёте георгиевских крестов за одно намерение и в надежде будущих подвигов: зачем же казните преждевременно. Убийственную болтовню (bavardage atroce, как назвал я, прочитавши все сказанное о них в докладе комиссии) ставите вы на одних весах с убийством, уже совершенным». И далее:

«Назначение В<еликого> К<нязя> Председателем След<ственного> Ком<итета> было бы большою политическою несообразностью, если существовало бы у нас политическое соображение, политическое приличие. Дело это не могло подлежать ведомству его суда, ибо он был по званию своему, по родству — пристрастное лицо. Движение 14 декабря было устремлено столько же против него, сколько и против брата. В<еликий> К<нязь> — всё же человек: мог ли он отречься от всякой личности в деле, столь для него личным и надписанном прямо на лице его и на их лицах? Императору можно было в этом случае применить стихи Василия Львовича о Сергее Львовиче:

«Душами сходствуем: он точно я другой».

Одно могло бы оправдать это назначение: намерение утушить это дело и кончить всепрощением, за исключением некоторых лиц. Тогда бы ответственность милосердия падала на брата, как на сокровенного исполнителя царских мыслей. Какая нужда В<еликому> К<нязю> добровольно идти в заготовщики палача, когда и без него найдется их довольно. Политический рассудок предписывал оставаться в стороне, умывая руки свои, чистые от участия.

Деятельное участие его в последнем деле Раевского еще более неловко: говорю уже в смысле политическом, ибо смыслу нравственному или просто человеческому [пропуск в рукописи] как не найдется приближенного человека, который решился бы сказать истину этим молокососным кровопийцам? (смотри указ о двух братьях Раевских, Таушеве)».

Таким образом, Вяземский летом 1826 г. считал, что у власти находятся «молокососные кровопийцы» и «подлые тигры», «мнимая Россия», «Россия-самозванец», ниспровержение которой — цель настоящей России. И, если он еще отделял «головы нетерпеливые, молодые и пламенные» от «добрых и рассудительных граждан», то твердо держался мнения, что когда путь мирного давления на правительство будет исчерпан, останется лишь прибегнуть «к посредству молитв вооруженных». С. Н. Дурылин был глубоко прав, считая, что в этот период Вяземский вплотную подошел к принятию декабристской программы.

В своей работе С. Н. Дурылин привел ряд высказываний Вяземского в письмах 1826—1827 гг. в защиту декабристов. К это-

³⁸³ Там же, л. 12.

му необходимо добавить лишь одно. Как ни готово было прорваться в душе Вяземского возмущение по поводу расправы с декабристами, многочисленные высказывания его в письмах тех лет имели цель более конкретную, чем выражение накопившего в душе чувства. — Вяземский сознательно стремился сплотить уцелевших друзей и создать общественное мнение, на которое можно было бы опереться в борьбе за судьбы преследуемых декабристов. В этом, бесспорно, состояла цель многочисленных и чрезвычайно смелых для того времени писем и не менее многочисленных и еще более смелых разговоров.

М. Орлов писал Вяземскому 20 июня 1826 г.: «Любезный друг, знаю всю твою дружбу и умею ее ценить. И брат в Петербурге, и жена в Москве доказывают на тебя, как ты благородно чувствуешь, как ты берешь участие в друзьях твоих, как ты стоишь грудью за них и как ты не отходишь в несчастьи от тех, которых в счастье любил».³⁸⁴ А Карамзин в письмах умолял: «Только ради бога и дружбы не вступайтесь в разговорах за несчастных преступников <...> Еще повторяю от глубины души: не радуйте изветников, ни самую безвиннейшую нескромностию! У вас жена и дети, ближние, друзья, ум, талант, состояние, хорошее имя: есть что беречь. Ответа не требую. Уведомьте только о здоровье детей милых и своем».³⁸⁵

Но Вяземский не собирался беречь себя. Ему, действительно, удалось на какой-то период встать в центре оппозиции правительству, вовлечь в свою работу и людей, сравнительно далеко от него стоящих. Так, Павел Муханов, брат декабриста, писал Вяземскому в 1826 г.: «В «Отечественных записках» вы, вероятно, с омерзением прочтете подлую статью подлого Демидова — он теперь вздумал разбирать книгу Тургенева и к этому примешал и других. Книга, которая уже несколько лет издана, и время ли теперь нападать на человека, который находится под карою закона! А на других несправедливый донос писать. Это и унижительно, и подло».³⁸⁶

1826—1827 гг., несмотря на общую подавленность и испуг, атмосферу террора, не были временем всеобщего безмолвия. Силы декабристской периферии сумели создать лагерь, наследовавший декабристскую традицию. В центре его встали Пушкин и Вяземский.

Особенно ответственной была борьба за проведение сочувственных декабристам высказываний, — а также их анонимно печатаемых произведений, — в печать. Даже самый незначительный успех в этом деле был уже победой. Приведем, в качестве примера, одно из выступлений Пушкина, действовавшего, в данном случае, в союзе с А. И. Тургеневым.

³⁸⁴ Литературное наследство, т. 60, кн. 1, М., Изд. АН СССР, 1956, стр. 38.

³⁸⁵ Письма Н. М. Карамзина к кн. П. А. Вяземскому, Спб, 1897, стр. 171.

³⁸⁶ ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, ед. хр. 2366, лл. 6 об — 7.

Трудный для Пушкина 1826 год хорошо изучен в литературе, посвященной творчеству поэта.³⁸⁷ Внимание исследователей издавна привлекали как прямые, так и косвенные отклики Пушкина на трагические события этого времени. Размышления о судьбе декабристов — человеческой и исторической — составляют своеобразный подтекст всей деятельности Пушкина в 1826 г. и бросают ответ на высказывания и действия его, на первый взгляд, не связанные с политической жизнью. Это заставляет нас особенно внимательно относиться к самым, казалось бы, незначительным обстоятельствам творческой биографии Пушкина этой поры.

В январе 1827 г. вышел в свет и в двадцатых числах поступил в продажу альманах Б. Федорова «Памятник Отечества Муз на 1827 год», в котором был опубликован цикл стихотворений Пушкина. В предисловии издатель, видимо, по требованию поэта, оговаривал юношеский характер этих произведений:

«Уважающим скромность, украшающую блистательный гений, приятно будет узнать, что Александр Сергеевич Пушкин, позволив издателю поместить в сем Альманахе некоторые из первых произведений своей музы, не доверяя достоинству их, желал, чтоб издатель означил время сочинения их. Но в сих произведениях юного Поэта виден зрелый дар гения — и тем они драгоценнее для Памятника Отечества Муз».³⁸⁸

В научной литературе утвердилось мнение, что приведенная ссылка на Пушкина является фальсификацией и стихотворения попали в альманах Б. Федорова помимо воли автора. Б. В. Томашевский, в 1936 г. комментируя эпиграмму «Русскому Геснеру», писал: «Стихотворение направлено против Бориса Федорова <...> В 1827 г. он навлек на себя неудовольствие Пушкина тем, что напечатал в своем альманахе «Памятник Отечества Муз» лицейские стихи Пушкина без его ведома и согласия».³⁸⁹ Правда, несколько ранее тот же исследователь высказался более ограничительно: «В 1826 г. <...> Ф. <едоров> предпринял издание литературного альманаха «Памятник Отечества Муз». Для этого альманаха он получил каким-то образом от П. <ушкина> разрешение напечатать несколько его ранних стихотворений, с условием поставить даты. Сверх предоставленных ему стихов Ф. <едоров> напечатал еще отрывки из стихотворения «Фавн и Пастушка», чем вызвал негодование П. <ушкина>. По его поручению Сомов в «Северных Цветах на 1829 год» напечатал, что от этого стихотворения П. <ушкин> «ныне сам отказывается».³⁹⁰

Пушкин, действительно, в 1829—1830 г. энергично отвергал свою причастность не только к напечатанию, но и к созданию этого стихотворения. Явно расходясь с фактами, он стремился доказать, что стихотворение ему приписано. Он писал: «... г-н Фед. <оров> напечатал под моим именем однажды какую-то <?> идилическую нелепость, сочиненную, вероятно, камердинером г-на П. <ан> аева». И в другом месте: «В альм. <анахе>, изданном г-ном Федоровым, между найденными бог знает где стихами моими, напечатана Идиллия, писанная слогом переписчика стихов г-на П. <анае> ва».³⁹¹

Причины этого, конечно, следует искать не в мнимом художественном несовершенстве стихотворения «Фавн и Пастушка», ничем не уступающего, в этом смысле, другим произведениям лицейской поры. Дело было в ином: летом 1828 г. началось весьма опасное для Пушкина дело о «Гавриилладе».

³⁸⁷ См: Д. Д. Благой, Пушкин в 1826 году, в кн: А. С. Пушкин, 1799—1949, Материалы юбилейных торжеств, М.—Л., Изд. АН СССР, 1951.

³⁸⁸ <Б. Федоров>, От издателя, Памятник отечественных муз, изданный на 1827 год Борисом Федоровым, СПб, 1827, стр. 3.

³⁸⁹ А. Пушкин, Сочинения, ред., биографический очерк и примечания Б. Томашевского, Л., ГИХЛ, 1936, стр. 881.

³⁹⁰ Путеводитель по Пушкину, А. С. Пушкин. Полное собр. соч. в VI томах, приложение к журналу «Красная Нива» на 1931 год, М.—Л., ГИХЛ, 1931, стр. 358.

³⁹¹ Пушкин, Полное собр. соч., Изд. АН СССР, 1949, т. 11, стр. 82 и 157.

Не только атеизм поэмы, но и ее «безнравственность», с точки зрения правительственных инстанций, делали ее «опасным» сочинением. Вспомним судьбу Полежаева и его поэмы «Сашка» — факты, бесспорно, известные Пушкину.³⁹² В этом смысле понятно, почему Пушкин старался отречься от фривольной юношеской идиллии. Следовательно, высказывания Пушкина о путях проникновения его стихов в альманах Б. Федорова относятся к более позднему времени и определены тактикой самозащиты в 1828—30 гг. Как свидетельство в пользу того, что Пушкин в 1826 г. протестовал против публикации Б. Федорова, их использовать нельзя.

Как же попали стихотворения Пушкина к Б. Федорову? Составитель «Памятника Отечественных Муз» был канцелярским служащим при Александре Тургеневе. От последнего он получил для своего альманаха ряд ценных литературных материалов, в частности, отрывки из писем Карамзина к А. И. Тургеневу, письмо к К. Н. Батюшкову и письма А. А. Петрова к Карамзину, подлинники которых и по сей день хранятся в Тургеневском архиве.

Об этой щедрой поддержке альманаха Б. Федорова с обидой писал Пушкину Дельвиг: «Не осрамите моих седин перед Федоровым. За канцелярские услуги А. И. Тургенев наградил его статьями Карамзина и Батюшкова! Каково это! Уродливый боец выступит в состязание с заслуженным атлетом и победит его».³⁹⁴

Стихи Пушкина Б. Федоров, видимо, получил через А. Тургенева — это дало Пушкину впоследствии возможность отречься от участия в их публикации, — но в 1826—1827 гг. никаких следов трений между Пушкиным и Б. Федоровым на этой почве обнаружить не удастся. Более того, Пушкин, хотя и относится к Б. Федорову с презрительной снисходительностью, но знакомится и встречается с ним.³⁹⁵ В дневнике приятеля Б. Федорова и цензора его альманаха К. С. Сербиновича упоминается намерение Б. М. Федорова устроить обед в честь Пушкина, а 18 июня 1827 г. «<вечером у Карамзинных> за чаем Пушкин. Б. М. <Федоров> благодарит за стихи».³⁹⁶ Наконец мы располагаем некоторыми свидетельствами, которые можно рассматривать как прямые авторские высказывания по этому вопросу: в № 5 «Московского Вестника» за 1827 г. за подписью И. К. помещен разбор альманаха Б. Федорова. Как сообщал М. П. Погодин В. Ф. Одоевскому, разбор этот был в рукописи просмотрен Пушкиным, который в ультимативном тоне потребовал его переделки. «Разбор ваш «Памятника Муз» сокращен по настоящему требованию Пушкина», — писал Погодин.³⁹⁷ Из обзора, по требованию Пушкина, были удалены резкие оценки творчества Державина и Карамзина. Ясно, что если бы поэт в то время желал обвинить Б. Федорова в самовольном использовании его стихотворений, он имел для этого прекрасную возможность. Пушкин этого не сделал. В письме Бенкендорфу от 29 ноября 1826 г. Пушкин писал, что «роздал несколько мелких» «сочинений в разные журналы и альманахи по просьбе издателей».³⁹⁸ Наконец, само требование Пушкина выставить даты при стихотворениях (видимо, не выдуманное Б. Федоровым, ибо при произведениях в альманахе действительно проставлены годы, сообщить которые, как это естественно предположить, мог, ско-

³⁹² Напомним, что по личному распоряжению Николая I из «Графа Нулина» были выброшены стихи: «Порою с барином шалит» и «Коснуться хочет одеяла», а из «Сцены из Фауста» — упоминание о «модной болезни». (См. Полн. собр. соч., т. 13, стр. 336).

³⁹⁴ Пушкин, Полн. собр. соч., Изд. АН СССР, 1937, т. 13, стр. 295.

³⁹⁵ См. В. В. Майков, Из дневника Б. М. Федорова, Русский библиофил, 1911, № 5, стр. 33—34.

³⁹⁶ В. Нечаева, Пушкин в дневнике К. С. Сербиновича, Литературное наследство, М., Изд. АН СССР, 1952, т. 58, стр. 256.

³⁹⁷ Русская старина, 1904, № 3, стр. 705. Автором статьи был Н. Киреевский, но к составлению ее, как это видно из письма Погодина, был причастен и В. Ф. Одоевский.

³⁹⁸ Пушкин, Полн. собр. соч., т. 13, стр. 308 (Курс. мой, — Ю. Л.).

рее всего, автор) свидетельствует о какой-то степени сотрудничества поэта с составителем альманаха.

Итак, Пушкин, видимо, принимал участие в публикации своих стихотворений в «Памятниках Отечества Муз». Установление этого факта выдвигает второй вопрос: с какой целью Пушкин предпринял этот шаг, преследовал ли он какие-либо собственные цели, кроме помощи рядовому «альманашнику», покровителю А. И. Тургеневу (следует отметить, что у Пушкина в эту пору уже сложилось определенное и весьма неблагоприятное мнение о Борисе Федорове, см. письмо П. А. Плетневу от 4—6 декабря 1825 г.)? Подобные соображения, конечно, также надо учитывать: это объясняет и то, почему Пушкин дал для публикации явно устаревшие свои произведения, и то, что он подчеркнул их архаичность, выставив даты. Последнее — поскольку речь шла о старых стихах — могло служить также извинением того, что тексты не были представлены Бенкендорфу.

Однако, необходимо учитывать и другое: цензурное разрешение альманаха помечено датой: 21 декабря 1826 г. Фактически же альманах собирался раньше. Дельвиг знал о нем уже в середине сентября 1826 г.: на эту тему он писал в том же (цитированном выше) письме Пушкину, в котором поручал ему «с переменной судьбы». ³⁹⁹ Таким образом, участие в альманахе Б. Федорова было одним из первых выступлений Пушкина в печати после возвращения из ссылки и беседы его с царем. Все это повышает общественную значимость интересующей нас публикации и заставляет пристальнее к ней присматриваться.

На стр. 35—37 поэтического отдела альманаха (отделы прозы и поэзии не имели общей пагинации) были напечатаны два стихотворения: «Романс» («Под вечер осени ненастной...») и «Желание» («Медлительно влекутся дни мои...»). Стихотворения эти не имели даты, но снабжены были примечанием редактора: «Помещенные здесь стихи Александра Сергеевича Пушкина были из первых опытов его очаровательной музы». ⁴⁰⁰ Далее шли: «Отрывки из стихотворения «Фавн и Пастушка» с пометой «1818»; «Заздравный кубок» с пометой «1816» и «к Живописцу» с пометой «1815». ⁴⁰¹

Особняком стоит последнее пушкинское стихотворение в альманахе: оно единственное не принадлежит ни к ранним, ни к незначительным произведениям и лишено — что само по себе примечательно — какой бы то ни было хронологической пометы: это «Сон (Отрывок из Новгородской повести «Вадим»)» ⁴⁰²

Можно ли предположить, чтобы такой человек, как А. И. Тургенев, безответственно, без ведома автора, распоряжался столь политически многозначительным текстом в напряженное время конца 1826 г.?

То, что для самого Пушкина публикация отрывка из поэмы, писавшейся в Кишиневе под бесспорным влиянием В. Ф. Раевского и насквозь пронизанной политическими настроениями тех лет, не была равнозначна напечатанию безделок лицейской поры, не вызывает никакого сомнения. Такой шаг поэт не мог предпринять ради того, чтобы отвязаться от назойливого «альманашника» или его покровителей. Но и читатель, еще хорошо помнивший декабристскую поэзию, не мог не насторожиться, читая заглавие: «Новгородская повесть «Вадим»».

³⁹⁹ Пушкин, Полн. собр. соч., т. 13, стр. 295.

⁴⁰⁰ Памятник Отечества Муз, изданный на 1827 год Борисом Федоровым, СПб, 1827, раздел «Стихотворения», стр. 37.

⁴⁰¹ Там же, стр. 172—180, 183—187, 231—232.

⁴⁰² О поэме «Вадим» см.: Б. В. Томашевский, Незавершенные кишиневские замыслы Пушкина, сб. «Пушкин, исследования и материалы», Труды III Всесоюзной пушкинской конференции, Изд. АН СССР, М.—Л., 1953. На стр. 176 этой работы, между прочим, читаем: «Из поэмы Пушкин напечатал лишь небольшой кусок. Другой кусок был опубликован при жизни поэта Б. Федоровым, получившим его, вероятно, от А. И. Тургенева («Памятник Отечества Муз на 1827 год»)».

Еще более знаменательно содержание отрывка, избранного Пушкиным для публикации. Весь текст пронизан трагизмом. Герой возвращается в родные края и не находит там своих, уже погибших, друзей:

... Другие грезы и мечты
Волнуют сердце Славянина:
Пред ним Славянская дружина,
Он узнает ее щиты;
Он снова простирает руки
К товарищам минувших лет,
Забытым в долги дни разлуки,
Которых уж и в мире нет.⁴⁰³

Острота ситуации, напоминающей трагическое возвращение Пушкина из ссылки в Москву, могла быть определяющей при выборе поэтом этого отрывка. Необходимо отметить и другое: неудача восстания 14 декабря 1825 г. отразилась на трактовке темы Новгорода в поэзии декабристской тюрьмы и каторги. Как это особенно хорошо видно на поэзии А. И. Одоевского, Новгород теперь берется не в момент расцвета, как свидетельство республиканских традиций в русской истории, а в момент поражения. Новгородская тема делается темой утраченной свободы (Ср. стихотворения А. И. Одоевского «Старица-пророчица» «Зосима», «Новгородская святопись», «Неведомая странница» и др.). Тот же образ опустевшего, разрушенного Новгорода как символа разгромленной свободы находил читатель и в отрывке Пушкина:

«Он видит Новгород великий,
Знакомый терем с давних пор;
Но тын оброс крапивой дикой,
Обвиты окна повиликой, —
В траве заглох широкий двор.
Он быстро храмин опустелых
Проходит молчаливый ряд:
Все мертво ... нет гостей веселых,
Застольны чаши не гремят».⁴⁰⁴

Произведение, задуманное в обстановке кишиневских встреч, переосмыслилось в зловещей атмосфере 1826 г. Показательно, что перепечатывая всего через несколько месяцев, осенью 1827 г., в «Московском вестнике» (1827, № 17) этот текст, Пушкин вынужден был и убрать многозначительное заглавие, заменив его нейтральным: «Отрывок из неоконченной поэмы», и подчеркнуть незлободневность текста пометой «писано в 1822 году», и — что самое основное — *убрать 25 строк, описывающих разрушение Новгорода*. Вместе с прибавлением нейтрально звучащих стихов, связанных с сюжетной экспозицией кишиневской поэмы, это лишило отрывок той политической многозначительности, которую он имел в первой публикации.

Факт этот делается особенно примечательным, если учесть, что обнаруженный уже после выхода в свет четвертого тома академического полного собрания сочинений полный рукописный текст первой песни поэмы включает в себя стихи, выпущенные в «Московском вестнике» и последующем издании «Стихотворений Александра Пушкина» (СПб, 1829, ч. 1).

Изложенные соображения, как кажется, позволяют сделать вывод, что отрывок из поэмы «Вадим» в том виде, в каком он был опубликован Пушкиным в альманахе Б. Федорова, должен быть учтен при изучении откликов Пушкина на разгром декабрьского восстания. Печатный характер этого отклика еще более повышает его интерес и общественную значимость.

Предпринимал в этой области попытки и Вяземский. Не случайно именно к нему обратились декабристы, пытаясь организо-

⁴⁰³ Памятник Отечественных Муз <...>, стр. 254—255.

⁴⁰⁴ Там же, стр. 255.

вать выпуск альманаха «Зарницы». Содержание альманаха должны были составлять стихи, созданные на каторге.

Особенно привлекала внимание правительства деятельность Вяземского как вдохновителя «Московского телеграфа». Именно эта сторона его деятельности обычно связывалась анонимными доносчиками со стремлением продолжить декабристскую традицию.

Правительство могло расправиться с Вяземским административными средствами, например, выслав его в деревню с запрещением въезда в столицы. Данных для такой меры было достаточно. Однако у правительства Николая I были иные виды. Правительство, разгромив революционное движение, заткнув рот общественному мнению, терроризируя литературу, вместе с тем, совсем не было заинтересовано в дальнейших шумных репрессиях. Необходимо было создать впечатление, что против самодержавия в России выступила лишь небольшая кучка, оторванная от общества и народа. Преследуя на деле малейшие проявления свободомыслия, Николай I стремился создать видимость консолидации литераторов вокруг правительства. Рядом с средствами запугиванья были пущены в ход средства развращения. С этой целью была разыграна фальшивая комедия «прощения» Пушкина, ради этого осуществлялась целая продуманная система угроз, подкупов и обещаний.

В этом смысле особенный интерес представляет санкционированное царем письмо Бенкендорфа Вяземскому, прямо требующее от него определить свое отношение к декабризму.

Документ этот имеет первостепенный интерес, поскольку в нем с необычайной полнотой выразилась тактика правительства Николая I по отношению к литературе в первые последекабрьские годы. Из опубликованного М. И. Гиллельсоном текста письма⁴⁰⁵ недвусмысленно следует, что в глазах правительства в 1827 г. Вяземский был прямым наследником декабристской традиции. Вместе с тем, показательно, что именно Вяземскому — как и Пушкину — правительство решило в первую очередь показать клыки своей политики в вопросах литературы. В этом смысле, письмо Бенкендорфа к Вяземскому — своеобразная веха в истории русской литературы начала XIX века. Цензурные гонения, запрещения произведений и преследования писателей не были изобретением Николая I — они сопутствовали истории русской литературы и на более ранних этапах ее развития. Однако, стремясь очертить вокруг литературы узкий круг дозволенного, ограничивая то, о чем *нельзя* говорить, предшествующие правительства все же не решались прямо предписывать писателю, что и как ему *следует* изображать в своих произведениях. Писатель, не нарушающий распоряжений правительства,

⁴⁰⁵ М. И. Гиллельсон, Письмо А. Х. Бенкендорфа к П. А. Вяземскому о «Московском телеграфе», Пушкин, исследования и материалы, т. III, М.—Л., Изд. АН СССР, 1960.

находился вне сферы его воздействия. Бенкендорф в письме к Вяземскому прямо декларирует другой принцип: для того, чтобы пользоваться репутацией политически благонадежного человека, литератору недостаточно не бороться с правительством — от него требуют *служить* властям: «... Для того, чтобы иметь вполне чистую совесть, недостаточно не иметь дурных намерений: неблагоразумие — тоже преступление». ⁴⁰⁶ Никогда еще до этих пор в России лицо, ведающее политическим сыском, не пыталось прямо водить рукой писателя. Вяземскому безоговорочно указывалось, кого можно и кого нельзя хвалить в критических статьях. Так, по мнению Бенкендорфа, творчество Вальтера Скотта и Карамзина заслуживает одобрения, а Байрона и Руссо следует порицать. Особенно следует воздерживаться от резких суждений, «духа озлобления и очернительства (*dénigrement*)». ⁴⁰⁷

Примечательно и другое: правительство Александра I также пользовалось услугами доносчиков, но никогда не решалось возводить тайный извет в сан гражданской добродетели, открыто мотивировать шаги правительства донесениями тайных агентов. Награждение Шервуда вызвало в «Записных книжках» Вяземского целую бурю негодования. Между тем, Бенкендорф в своем письме к Вяземскому не скрывает своей солидарности с тайным доносчиком. Он прямо ссылается: «Было замечено, и мы имеем сигналы» (*on a ager marqué et signalé*). Это, конечно, не случайная обмолвка, а результат сознательного стремления легализовать донос и возвести его в норму литературных и общественных отношений. Позже А. Пушкин писал: «... Какая глубокая безнравственность в привычках нашего правительства! Полиция распечатывает письма мужа к жене и приносит их читать царю (человеку благовоспитанному и честному), и царь не стыдится в том признаться». ⁴⁰⁸

Фарисейское сочетание открытых угроз, неуклюжей лести и недвусмысленного приглашения в правительственные агенты не возымело ожидаемого действия. Молчаливый ответ Вяземского был отрицательным.

В борьбе за сохранение декабристской традиции в литературе Вяземский и Пушкин выступали в 1825—1830 гг. в тесном союзе. Однако, в их позиции было и различие: Пушкин, как и Грибоедов, стремился не только сохранить верность памяти друзей, но и *понять слабые стороны дворянской революционности*. Декабризм был внутренне противоречивым и эволюционирующим явлением. Поэтому стремление *пойти дальше* революционеров начала 1820-х гг. и было подлинным сохранением их

⁴⁰⁶ Там же, стр. 419. Мы даем несколько иной перевод, чем в публикации М. И. Гиллельсона. Ссылки поэтому даются непосредственно на французский текст.

⁴⁰⁷ Там же, стр. 419.

⁴⁰⁸ Пушкин, Полн. собр. соч., т. XII, Изд. АН СССР, 1949, стр. 329

традиции. Стремление же Вяземского *только хранить* заветы юности уже обозначало движение назад. Позиция Вяземского в хронологических пределах 1825—1830 гг. внешне выглядела как более бескомпромиссная и в ряде вопросов как более «левая» (например, в отношении к польскому восстанию 1830 г.), чем пушкинская.

И, вместе с тем, именно эта боязнь новых путей заставляла Вяземского фактически выделять в декабризме его самую слабую, совпадающую с либерализмом, сторону.

Позиция Вяземского была лично благородна, но исторически бесперспективна. Его сломила *не* реакция, он устоял перед искушениями и твердо перенес угрозы, — но он не смог перенести демократизации литературы и общественной жизни. Выход на общественную арену представителей народа отбросил его сначала в ряды умеренных консерваторов, а затем толкнул в объятия правительства.

О ЛИВОНСКОЙ ТЕМЕ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 1820—1830-х ГОДОВ

С. Г. Исаков

История и современная жизнь Прибалтики неоднократно привлекали внимание русских писателей. Но прибалтийская (или ливонская, как обычно говорили в первой половине XIX в.) тема лишь в один период истории русской литературы была самостоятельной, важной, сыграла известную роль в литературном развитии — в период расцвета романтизма в 1820-е — первую половину 1830-х гг. Между тем, ливонская тема в русской литературе, причины её сравнительно широкого распространения в 1820—30-е гг., её характер до сих пор не были предметом специального рассмотрения в нашей исследовательской литературе. Более того, до сих пор далеко не выявлен и не введён в научный оборот весь комплекс произведений ливонской тематики. Обычно при упоминании ливонской темы в русской литературе имеются в виду лишь произведения декабристов А. А. Бестужева, Н. А. Бестужева и В. К. Кюхельбекера о Прибалтике. Эти произведения, действительно, легли в основу развития ливонской темы в русской литературе в 1820—30-е гг., но за ними последовал ещё целый ряд повестей, драм, стихов, иногда эпигонских, слабых в художественном отношении и неинтересных по содержанию, а иногда и любопытных, в своё время сыгравших заметную роль и положительно оценённых критикой. Причём произведения о Прибалтике, созданные после 1825 года, дают интересный материал для разрешения ещё малоисследованного вопроса о влиянии декабристов на последующее развитие русской литературы.

В нашей статье мы рассмотрим лишь такие аспекты вопроса о ливонской теме в русской литературе 1820—30-х гг., которые ещё не привлекали внимания исследователей.

* * *

Хотя в русской литературе начала XIX в. успешно работал ряд писателей родом из Прибалтики (А. Х. Востоков, И. М. Борн и др.) или биографически тесно связанных с Остзей-

ским краем (Г. А. Глинка, А. С. Кайсаров, А. Ф. Воейков, В. А. Жуковский и др.), тем не менее в их творчестве мы не найдём почти никакого отражения жизни Прибалтики. Правда, отдельные произведения, посвящённые остзейским провинциям, мы можем найти уже в конце XVIII в. (напр., «К Феоне» М. Н. Муравьева), но они не представляют интереса, а главное ещё не составляют особой, самостоятельной темы.

Положение меняется в конце 1810-х — начале 1820-х гг. Именно в этот период в русской печати пробуждается интерес к истории и современной жизни Прибалтики. На страницах русских журналов появляется ряд статей об этой окраине России, частью переводных, частью оригинальных. Причём, особенно примечательно, что лучшие из этих статей вышли из-под пера писателей, в будущем связанных с декабристами или, по крайней мере, отразивших в своих произведениях идейные устремления декабристской литературы. Так, в передовом журнале того времени, «Сыне отечества», в 1818 г. печатается статья «О нынешнем нравственном и физическом состоянии Лифляндских и Эстляндских крестьян» (ч. 48, № XXXVIII), перевод которой принадлежал А. А. Бестужеву; в этом же журнале в 1819 г. появляется статья «О древних эстонцах. Из записок молодого путешественника» (ч. 53, №№ XV и XVII), по своему содержанию, идейной направленности явно предвосхищающая произведения декабристов об Эстонии, в частности, повесть В. К. Кюхельбекера «Адо». Весьма вероятно, что автором этой статьи и был кто-либо из будущих участников тайных обществ — во всяком случае, хорошо осведомлённый в литературной жизни той поры исследователь Н. Колюпанов считал её принадлежащей В. К. Кюхельбекеру¹. В этот же период Ф. Н. Глинка посвящает Прибалтике отрывок в своих «Письмах к другу».

Вслед за этим в начале 1820-х гг. начинается подлинный расцвет ливонской темы, которая на некоторое время становится одной из ведущих в русской прозе. И опять же развитие этой темы в русской художественной литературе вначале оказалось почти исключительно связанным с декабристами. В 1821 г. появляется нашумевшая «Поездка в Ревель» А. А. Бестужева, в 1822 г. на заседании «Общества любителей российской словесности» Н. А. Бестужев читает свою «эстонскую» повесть

¹ Н. Колюпанов, Биография Александра Ивановича Кошелёва, т. I, кн. 11, М., 1889, стр. 263. Впрочем, ещё до Н. Колюпанова это произведение было приписано В. К. Кюхельбекеру составителем «Полного списка печатных сочинений декабристов» в «Собрании стихотворений декабристов» (Лейпциг, 1862), но последний исходил из того, что статья «О древних эстонцах» подписана криптонимом В. К., между тем, во всех просмотренных нами экземплярах «Сына отечества» она значится за подписью Б. К. Не лишено оснований предположение, что Б. К. просто опечатка. Авторство Кюхельбекера не вызвало сомнений у ряда исследователей — см., например, Н. Котляревский, Литературная деятельность декабристов. I. Вильгельм Карлович Кюхельбекер, Русское богатство, 1901, № 3, стр. 133.

«Гуго фон-Брахт». В 1823 г. печатается «Замок Венден» А. А. Бестужева, а в 1824 г. — его же «Замок Нейгаузен» и повесть В. К. Кюхельбекера «Адо». За ними последовал «Ревельский турнир» (1825) и, наконец, «Ливония» (1828) А. А. Бестужева.² К этим основополагающим произведениям на ливонскую тему в русской литературе можно добавить в тот же период (до 1825 г.) «Листок из дневника гвардейского офицера» А. А. Бестужева, «Отрывки из путешествия» В. К. Кюхельбекера и весьма небольшое число произведений писателей, не принадлежащих к декабристскому лагерю, вроде маленькой заметки «О достопамятностях одного города <Ревеля>» Усольца («Отечественные записки», 1821, ч. 8), «проходной» пьесы плодovitого драматурга той поры Р. М. Зотова «Александр и София, или Русские в Ливонии» (СПб, 1823), переводов В. Соколовым отдельных отрывков из «Bruchstücke aus einer historisch-malerischen Reise durch die schönen Gegenden Livlands» (альманах «Livona», 1812 и 1815 гг.) в «Новостях литературы» и некоторых других, ещё менее значительных сочинений.

Тот факт, что ливонская тема сформировалась в русской литературе, в первую очередь, в творчестве писателей-декабристов, не мог, естественно, не сказаться на её разработке. Ливонская тема оказалась довольно тесно связанной с основными идеями декабристской литературы вообще и испытала влияние декабристской идеологии в частности. Связь произведений А. А. Бестужева и В. К. Кюхельбекера о Прибалтике с декабристской идеологией, отражение в них общих положений декабристской литературы уже были предметом исследования в работах В. Г. Базанова («Очерки декабристской литературы», М., Гослитиздат, 1953), Н. Л. Степанова («Романтические повести А. Марлинского» — Литературная учёба, 1937, № 9; «Бестужев-Марлинский» — «История русской литературы», т. VI, М.—Л., изд. АН СССР, 1953), В. Т. Адамса («Эстонская повесть» В. К. Кюхельбекера — Известия АН СССР. Отделение литературы и языка, 1956, т. XV, вып. 3), Н. Н. Маслина (вступительная статья к книге: А. А. Бестужев-Марлинский «Сочинения в двух томах», т. I, М., Гослитиздат, 1958) и других, что избавляет нас от необходимости подробно анализировать этот вопрос.

² О принадлежности А. А. Бестужеву этой опубликованной анонимно в «Невском альманахе на 1829 год» статьи см. наше сообщение: Неизвестная статья А. А. Бестужева-Марлинского, Учёные записки ТГУ, т. 78, Тарту, 1959. Авторство А. А. Бестужева не было секретом для современников, и некоторые рецензенты «Невского альманаха» пытались даже указать читателю на личность автора. Так, И. В. Киреевский в «Обзрении русской словесности за 1829 год», явно намекая на знаменитые бестужевские критические обзоры в «Полярной звезде», пишет: «В «Невском альманахе» заметим прозаическую статью «Ливония», соч. неизвестного, если бы наше обозрение было писано тем же пером, которое начертало «Ливонию», то мы печатали бы его без боязни неуспеха» (Денница, М., 1830, стр. LXXVII.)

Напомним лишь основные выводы, к которым пришли исследователи. Декабристы в своих произведениях разоблачают феодальную систему в Прибалтике, установленную немецкими рыцарями-захватчиками. Они последовательно выступают против жестокого подавления феодальным порядком прав и чувств личности, против тяжкого порабощения немецкими рыцарями коренных жителей края — эстонцев и латышей. Декабристы — авторы ливонских повестей всей душой сочувствуют порабощённым народам Прибалтики, стремятся защитить их средствами художественного слова. Вероломным, аморальным и невежественным рыцарям в этих произведениях нередко противопоставляются представители более деятельного и развитого купеческого сословия («Ревельский турнир» А. А. Бестужева) или даже представители порабощённого эстонского народа («Адо» В. К. Кюхельбекера). Декабристы утвердили представление о древних эстонцах, как о непросвещённом, но мужественном, свободолюбивом народе, полном героизма и своей неповторимой оригинальности, проявляющейся в обрядах и обычаях. Все эти представления декабристских литераторов о прошлом Прибалтики, о народах, населяющих эту область, противостоят исторической концепции реакционных немецких историков, доказывавших, что завоевание Латвии и Эстонии рыцарями способствовало приобщению жителей этих стран к европейской культуре, что это завоевание якобы было величайшим положительным фактом в истории латышей и эстонцев.

Однако нужно учитывать, что прогрессивные идеи декабристских произведений о Прибалтике, как правило, выражены через причудливый романтический сюжет рыцарской повести, через образы необычных людей с сильными, нередко гиперболизированными страстями, с помощью запутанного метафорического стиля. Это приводило к тому, что уже читатели конца 1820—30-х гг. видели в повестях А. А. Бестужева, в первую очередь, замысловатую интригу, увлекательные и неожиданные переходы в развитии сюжета, экзотических героев — рыцарей, а не переломные идеи. Всё это делает понятным несколько неожиданный, на первый взгляд, отзыв Н. Г. Чернышевского о творчестве Марлинского: в «Очерках гоголевского периода», отмечая талант писателя, он в то же время указывает, что в произведениях Марлинского даже «самый внимательный розыск не откроет ни малейших следов принципов, которые, без сомнения, были дороги их автору, как человеку»³ (т. е. декабристских идей). Это ограниченное восприятие идейного содержания произведений декабристов, которое объясняется, само собой разумеется, не только их писательской манерой или особенностью их художественного метода, но и изменением общественной обстановки после 14 де-

³ Н. Г. Чернышевский, Полное собрание сочинений, т. III, М., Гослитиздат, 1947, стр. 201.

кабря 1825 г., обязательно нужно иметь в виду при анализе декабристской традиции в разработке ливонской темы в конце 1820—30-ых гг.

Итак, ливонская тема в русской литературе окончательно оформляется как заметная и самостоятельная в первой половине 20-х гг. XIX в. под пером писателей-декабристов. Сам факт расцвета ливонской темы именно в этот период и именно под пером декабристов отнюдь не является случайностью и может быть объяснён рядом причин общественно-политического и литературного характера.

Расцвету ливонской темы предшествовал, как мы отметили выше, подъём интереса к жизни Прибалтики в русской публицистике, в журналах конца 1810-х гг. Причиной этого, без сомнения, были вызвавшие огромный интерес в русском обществе правительственные реформы в Прибалтике 1816—19 гг., по-новому регулировавшие отношения между помещиками и крестьянами. Безземельное «освобождение» крестьян в Эстляндии и Лифляндии вызвало широкий резонанс в русском обществе потому, что в это время вопрос о крепостном праве был центральным во всей общественной жизни России. Страна вступила в стадию иногда тайной, иногда полулегальной организационной подготовки уничтожения рабства. Ликвидация крепостного права входила в программу уже первых декабристских организаций, причём перед декабристами сразу же встал вопрос о путях его уничтожения. Остзейские реформы, естественно, могли помочь декабристам разрешить этот самый сложный вопрос, и не случайно они привлекают сразу же внимание виднейших деятелей освободительного движения, — это можно проследить по дневникам, переписке и проектам Н. И. Тургенева, по рукописям П. И. Пестеля (знакомство его с положением в Прибалтике нашло отражение и в «Русской Правде») и т. д. Интерес декабристов к тем изменениям, которые происходили в общественно-экономическом строе Прибалтики, не был кратковременным и не ограничивался лишь вопросами современности. Характерно, что Н. И. Тургенев в начале 20-х гг. изучает историю крестьянства в остзейских губерниях, делает выписки из трудов известного прибалтийского просветителя Меркеля и его критиков⁴ и т. д. Известно, что даже в Читинском остроге, в знаменитом «острожном» университете, читались лекции об экономическом состоянии прибалтийского крестьянства.⁵ Наконец, важно заметить, что взгляды декабристов на реформы в Прибалтике не оставались неизменными, а находились в развитии: если вначале многие декабристы склонны были несколько идеализировать реформы, то позже, под впечатлением реальных

⁴ См. Е. И. Тарасов, Декабрист Н. И. Тургенев в александровскую эпоху, Учёные известия Самарского университета, вып. IV, 1923, стр. 317.

⁵ А. Е. Розен, Записки декабриста, Спб., 1907, стр. 448.

наблюдений над жизнью, они сумели дать верную оценку этому грабительскому «освобождению». ⁶ Всё это делает понятным интерес к жизни Прибалтики в русской журналистике конца 1810-х гг. и, до известной степени, объясняет расцвет ливонской темы в русской литературе именно под пером декабристов. ⁷

Вместе с тем, существовали и причины литературного характера, вызывавшие у русских писателей интерес к ливонской теме в 1820-е гг. При выяснении этих причин, безусловно, надо учитывать вставшую перед литературой проблему народности.

Как известно, проблема народности в русской литературе начала XIX в. включала в себя не только вопрос о национальной, самобытной литературе, отражающей дух русского народа, но и вопрос об отражении в произведениях национальных особенностей других народов. На смену универсальному абстрактному идеалу античности эпохи классицизма приходит теперь представление о различных типах национальных культур, каждый из которых по-своему интересен, оригинален и важен. Причём вначале выявляется два основных типа культуры: южный — античный и северный — оссиановский. ⁸ Как заметил ещё И. И. Замотин, ⁹ представление об оссианизме, как особом типе культуры, в русской литературе с самого начала смешивалось с представлениями о скандинавской поэзии и мифологии. Постепенно у русских писателей вырабатывается взгляд на оссианизм как на средство выражения некоей единой культуры всех северных народов. Оссианический колорит оказывается вполне приемлемым и при обрисовке явлений русской природы и истории, как это видно уже на примере «Водопада» и «На победу в Италии» Державина. М. Н. Муравьёв в духе оссианизма рисует в своей повести «Оскольд» героические и мифологические образы как британской, скандинавской, так и русской и финской древности. Особенно уместным казался оссианический колорит именно при изображении финской природы и старины — это можно проиллюстрировать на многих произведениях; укажем хотя бы на «Финляндию» Баратынского. Финская тематика в русской литературе периода предромантизма и романтизма занимает видное место, и это объясняется как раз тем, что Финляндия рассматривалась как своеобразный «отечественный» оссианический край, а культура обширного финского племени — как выражение некоей северной культуры, существующей в «чистом»

⁶ См.: Записки, статьи, письма декабриста И. Д. Якушкина, М., изд. АН СССР, 1951, стр. 21.

⁷ Первым обратил на это внимание М. К. Азадовский в комментариях к стихам Языкова. См.: Н. М. Языков, Полное собрание стихотворений, М.—Л., Academia, 1934, стр. 731—732.

⁸ См. об этом: Г. А. Гук ов с к и й, Пушкин и русские романтики, Саратов, 1946, стр. 194—215.

⁹ См.: И. И. З а м о т и н, Романтизм 20-х годов XIX стол. в русской литературе, т. 1, 2-е издание, Спб. —М., без года стр. 36.

виде и в России.¹⁰ Эстонцы — представители финской группы народов, следовательно, тоже носители той «северной» культуры, того «отечественного» оссианизма, который привлекал особое внимание любителей литературы тех дней. Отсюда хоть и слабо выраженный, но всё же заметный и обративший на себя внимание исследователя оссианического колорит в «эстонской» (как первоначально назвал её автор) повести Н. А. Бестужева «Гуго фон Брахт».¹¹ Отсюда и разбор эстонской мифологии и этнографических особенностей древних эстонцев в обобщающих теоретических статьях о северной культуре, очень многочисленных в ту пору, — довольно много внимания уделено эстонцам, например, в опубликованном в 1827 году в «Московском телеграфе» (чч. XIV и XV) «Историческом обозрении северных народов Европы» Фр. Иос. Моне. В этом сводном исследовании мифологии всех северных народов последовательно разбираются мифологические воззрения финнов, германцев, кельтов, славян.

Впрочем, ко времени появления упоминаемой статьи представление русских авторов о народности, о национальных особенностях уже значительно шагнуло вперёд. Собственно, к середине 20-х годов представление о неких обобщающих циклах культур, вроде «восточной», «северной», «античной», распадается. На смену ему приходит интерес к отдельным нациям в их обособленной специфике, к отдельным национальным культурам — причём каждый народ, пусть даже родственной другому, более сильному и развитому, рассматривается как нечто самобытное, достойное отображения в литературе именно как национально-специфическое целое. Только на такой почве становится возможным появление украинской, или казахской, или грузинской темы в русской литературе вместо прежних «восточной» или «единой» русской. Этот переход легко проследить на примере любой темы. «Зинобий Богдан Хмельницкий, или Освобождённая Малороссия» (1817) Ф. Н. Глинки лишён ещё, в духе XVIII в., какой-либо национальной окраски: все герои его — люди, которые могут принадлежать любой эпохе и любой нации. Богдан Хмельницкий в одноименной думе К. Ф. Рылеева, так же, как Войнаровский и Наливайко в его поэмах, хотя и не лишены черт какой-то национальной определённости, но ещё не украинцы: это — герои того же типа, что и Олег Вещий, Боян, Димитрий

¹⁰ О финской теме в русской литературе см.: П. А. Плетнёв, Финляндия в русской поэзии, Альманах в память двухсотлетнего юбилея имп. Александровского университета, Гельсингфорс, 1842. Не лишённое интереса наблюдение над финской темой содержит статья: П. Н. Сакулин, Литературные течения в Александровскую эпоху, История русской литературы XIX в. под ред. Д. Н. Овсяннико-Куликовского, т. I, М., 1911, стр. 75.

¹¹ См.: Ю. С. Сорокин, Исторический жанр в прозе 30-х годов XIX века, Доклады и сообщения филолог. фак-та МГУ, вып. 2, М., 1947 стр. 37—38. Впрочем, автор вряд ли верно объясняет оссианический колорит исключительно готикой.

Донской, Яков Долгорукий да и сам образ автора — выразители извечного героического, свободолюбивого русского духа.¹² Другое дело — украинские повести О. Сомова конца 20 — начала 30-х гг.: в них мы уже видим, пусть несовершенное, отображение украинских национально-специфических черт характера, быта, нравов, обстановки. Различные произведения Глинки (имеем в виду его ранние работы — к середине 1820-х гг. ему уже свойственно представление о глубоком национальном своеобразии украинцев, что нашло отражение в стихотворении «Хата, песни, вечерница» и в цикле стихов 1825—27 гг., посвящённом истории украинского казачества), Рылеева, Сомова не в методе — это произведения в общем-то романтические — различие здесь, в первую очередь, в самом понимании проблемы народности, национальной специфики.

Интерес к ливонской тематике, в известной мере, и был вызван этой проблемой. Причём, отображение жизни, обычаев, национальных особенностей латышей почти отсутствует; авторы ливонских повестей, в основном, интересуются лишь эстонцами. Это, возможно, объясняется вышеохарактеризованным представлением: «финское племя — отечественный оссианизм», между тем как латыши принадлежат не к финской, а к иной этнографической группе. Впрочем, интерес к прибалтийским народам, к их национальным особенностям — типичная черта лишь небольшого числа авторов. А. А. Бестужеву-Марлинскому (за исключением некоторых, к тому же не очень характерных исторических описаний в «Поездке в Ревель») и большинству писателей, разрабатывавших ливонскую тему после 1825 года, эта черта совершенно не присуща. Интерес к национальным особенностям эстонцев характерен лишь для В. К. Кюхельбекера (кстати, это находится в соответствии с его более передовыми, чем у Марлинского, теоретическими представлениями о народности) да в очень небольшой степени для Н. А. Бестужева. При этом описание эстонцев в «Адо» стоит как бы на грани двух типов изображения национальных особенностей — изображения определённых общих черт, типичных вообще для северных народов в древности, и изображения специфически национальных (в первую очередь, этнографических) особенностей эстонцев. От первого идёт изображение древних эстонцев как свирепого, воинственного, но свободолюбивого, мужественного и героического в борьбе за независимость народа. Вероятно, эти черты в какой-то степени были свойственны и реальным эстонцам в былые времена. Но главное заключается в том, что, по декабристским представлениям, именно эти черты вообще характерны для всех северных народов древности, чьи исконные особенности ещё не искажены позднейшим рабством и угнетением: таковы и древние шот-

¹² С аналогичным явлением встречаемся и в творчестве Н. И. Гнедича. Ср.: А. М. Кукулевич, Русская идиллия Н. И. Гнедича «Рыбаки», Учёные Записки ЛГУ, № 46, Серия филологических наук, вып. 3, Л., 1939, стр. 305.

ландцы, и древние норманны, и древние славяне. От второго типа изображения идёт описание специфически эстонских обычаев, обрядов, мифологии, почерпнутых большей частью из реальных исторических источников. Противоречие двух типов изображения наглядно сказалось в приведённых в повести эстонских песнях. Этим песням придан слегка эстонский колорит, но они, как единодушно утверждают фольклористы, очень далеки от подлинных народных песен, ибо и через них Кюхельбекер стремится создать у читателя представление о несгибаемых сынах вольности вообще, мужественных в борьбе с врагами. Того же типа и народность «Гуго фон Брахта» Н. А. Бестужева, только она выражена несравненно слабее, чем в «Адо» Кюхельбекера.

Но особо важную роль в обращении русских писателей к ливонской теме сыграл характерный для эпохи романтизма интерес к рыцарскому средневековью. В последнее время исследователи склонны игнорировать этот, безусловно, присутствовавший в русской романтической литературе момент или же, по крайней мере, относиться к нему с предубеждением, как к явлению реакционному. Между тем реальные факты литературы показывают, что интерес к рыцарскому средневековью был характерен и для представителей прогрессивного крыла русского романтизма, и этот интерес нельзя полностью свести лишь к критике феодальной системы, к обличению рыцарей. В какой-то мере даже декабристам А. А. Бестужеву, Ф. Н. Глинке¹³, П. А. Катенину¹⁴ было свойственно известное восхищение рыцарской порой, когда действовали сильные личности, исполненные ярких и бурных страстей, когда сама обстановка была, так сказать, романтиче-

¹³ Вот, напр., как описывает Ф. Н. Глинка в забытом исследователями отрывке «Древние замки (письмо VI, к другу)» (Северные цветы на 1825 год, стр. 166—168) средние века: «Белый парус редко мелькал на пустынной синеве полноводных рек. Внутренние озёра дремали в одиночестве и, подобно народам того времени, не имели никакого между собою сообщения. Длинные караваны робко и медленно тянулись по горным или степным дорогам в отдалённые города, на шумные ярманки, отличавшиеся пестротой товаров и торгующих. Древние монастыри с своими величественными зданиями были в особенном уважении у людей, коих суровая необразованность смягчалась непритворным благочестием. Замки, как вооружённые исполины, гордо возвышались на остриях скал. С высоты их башен, из теремов уединённых, сквозь расписные решетчатые окна, уныло глядели красавицы: не появятся ли знакомые рыцари на долине, не зайдёт ли трубадур прохожий с своею сладкозвучной цитрою? Ты угадываешь, что я говорю о средних веках. Народ по преданиям называет их добрым старым временем. И в самом деле тогда было много хорошего. В природе и в людях было более свежести: души были полнее, тела крепче». Интересно, что далее Глинка делает ряд критических замечаний по адресу средних веков: «Но гражданственность тогда не была ещё вовсе развёрнута. Законы зависели от произвола лиц, и судьба слабых была в руках сильнейших. Не было третьего состояния. Тогда были только господа и рабы». Это наглядный пример противоречивого отношения декабристов к рыцарскому средневековью.

¹⁴ См. его стихотворение «Мир поэта», П. А. Катенин, Стихотворения, Л., Сов. писатель, 1954, стр. 141—144.

ской, полной известного своеобразия и экзотики. В такого рода взгляде многих декабристов на рыцарское средневековье заключалось, конечно, противоречие. Современный исследователь исторических взглядов декабристов С. С. Волк справедливо замечает, что многим участникам тайных обществ была свойственна сложная оценка феодальной поры, которая «своеобразно соединяла новейшие романтические представления о феодализме с суровым приговором, вынесенным ему Просвещением XVIII в.»¹⁵ Эту противоречивость не следует игнорировать в литературоведческих работах, ибо декабристское движение в своей основе было глубоко противоречивым, как внутренне противоречивым был и декабристский романтизм.

Если даже декабристам-литераторам, до известной степени, был свойственен интерес к рыцарскому средневековью, то о рядовых представителях русского романтизма и говорить не приходится. В теоретических статьях о романтизме, начиная от автора одной из первых в русской печати статей о новом литературном течении И. Снядецкого¹⁶ и кончая первым замечательным критиком романтизма с новых позиций Н. И. Надеждиным, доказывалось, что именно средние века, эпоха рыцарства — колыбель романтизма и чуть ли не его основа. Правда, точка зрения на романтизм, как на поэзию рыцарского средневековья, находила и много противников, в общем сумевших дать более глубокую и верную характеристику новому литературному течению. Но характерно, что ещё в 1843 г. В. Г. Белинский в итоговой работе, посвящённой развитию русской литературы XVIII — начала XIX вв. — цикле статей о Пушкине, утверждал: романтизм «считается какою-то исключительной принадлежностью средних веков <...> И это произошло не от ошибки, не от заблуждения: средние века — действительно романтические по превосходству». И далее — «Романтизм средних веков не умирал и не исчезал: напротив, он царит ещё над современным нам обществом <...> Романтизм нашего времени есть сын романтизма средних веков».¹⁷

Белинский во второй статье из цикла «Сочинения Александра

¹⁵ С. С. Волк, Исторические взгляды декабристов, М.—Л., изд. АН СССР, 1958, стр. 207.

¹⁶ См. И. Снядецкий, О творениях классических и романтических, Вестник Европы, 1819, № 7, стр. 194.

Впрочем, в частной переписке такого рода утверждения высказывались и до статьи И. Снядецкого: так, например, С. С. Уваров писал 17 августа 1813 г. В. А. Жуковскому — «Две эпохи можно назвать пиитическими: классическую, т. е. эпоху греков, и романтическую, т. е. эпоху средних веков, des Mittel-Alters» (Русский архив, 1871, № 2, стлб. 0162). Истоки же такого рода представлений в истории русской литературной мысли надо искать ещё ранее — в конце XVIII в.: ср. размышление М. М. Хераскова о «романических временах» в «Бахариане». См. об этом И. И. Замотин, вышеук. соч., т. I, стр. 25—28.

¹⁷ В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т. VII, М.—Л., изд. АН СССР, 1955, стр. 154 и 157—158.

Пушкина» указал на неизбежность и плодотворность увлечения романтизмом средневековья в русской литературе. «Пора безотчетного романтизма в духе средних веков есть необходимый момент не только в развитии человека, но и в развитии каждого народа и целого человечества, — писал В. Г. Белинский. — Средние века были этим великим моментом развития народов Западной Европы <...> Мы, русские, позже других вышедшие на поприще нравственно-духовного развития, не имели своих средних веков». ¹⁸ Но «был и в истории русской литературы и русского общества момент, когда для них романтизм средних веков был необходимым элементом жизни, живым семенем, которым должна была оплодотвориться почва русской жизни». ¹⁹ Для Белинского это период творческой деятельности В. А. Жуковского, т. е. 1810 — начало 20-х гг. Чем же ценен, по мнению великого критика, средневековый романтизм для русской литературы начала XIX в.? Он ввёл в литературу мир человеческой души, точнее, одну из важнейших её сторон — «безотчётное стремление и бессознательные порывы» к высшему идеалу. Другими словами, как скажет сам Белинский, средневековый романтизм «одухотворил» нашу литературу. «Движение это развило до последней крайности значение человеческой личности» ²⁰, игнорировавшееся эстетикой классицизма.

Важно отметить, что В. Г. Белинский превосходно осознавал различие западноевропейского романтизма конца XVIII — начала XIX вв. и русского. Он считал романтизм Шлегеля, Тика, Новалиса, Ламартина анахронизмом, «искусственно воскрешенным на минуту в Европе», «неестественной попыткой» воссоздать мир средневековья. Для Белинского была ясна реакционная суть этого романтизма. Действительно, обращение к средним векам у представителей «иенской» и «гейдельбергской» школы в Германии имело отчётливо реакционный смысл. Средние века рассматривались в творчестве этих романтиков как идеальный мир, противопоставленный «дурной» современности с её антифеодальной борьбой и революциями. Воскрешение и идеализация рыцарского средневековья на Западе были попыткой сохранить феодальные устои в новых условиях.

В России дело обстояло иначе. Россия, как это неоднократно подчёркивает Белинский, не знала рыцарского средневековья. ²¹ Она не знала в той мере, в какой это было характерно для романтиков Запада, и разочарования в идеях антифеодальной борьбы. Именно поэтому воссоздание в русских литературных

¹⁸ Там же, стр. 221.

¹⁹ Там же, стр. 183.

²⁰ Там же, стр. 155.

²¹ П. А. Катенин на этом основании вообще отрицал возможность развития романтизма в России, ибо, по его мнению, романтизм — лишь отражение рыцарского средневековья, его быта, «нравов, обычаев, поверий и преданий» (см. Литературная газета, 1830, № 19, стр. 151).

произведениях начала XIX в. мира средневековой романтики не имело в целом реакционного оттенка. Наоборот, средневековый романтизм приобретал в России отчётливо прогрессивный смысл, становился выражением борьбы за права личности, проявлением интереса к миру человеческой индивидуальности, противопоставленного феодальному угнетению личности. Впрочем, здесь нельзя не учитывать того обстоятельства, что само понимание романтизма средневековья у Белинского отличалось от представлений западно-европейских романтиков. Для Белинского средневековый романтизм в русской литературе XIX в. — это не воссоздание эпохи феодализма, рыцарства, а в первую очередь, изображение внутреннего мира индивидуума, его душевных порывов, интерес и уважение к личности отдельного человека, что было глубоко прогрессивным и в эпоху деятельности великого критика. Для самих же представителей романтического направления в русской литературе в понятие средневекового романтизма входило и непосредственно изображение мира рыцарства; в этом сказывалось влияние западноевропейской литературы той поры. Но само изображение рыцарства эпохи феодализма характеризовалось у романтиков периода движения декабристов теми чертами, которые подчёркивал в средневековом романтизме Белинский, т. е. утверждением прав личности, интересом к внутреннему миру героев и т. д..

Причём ещё задолго до Белинского и перед теоретиками и перед практиками русского романтизма встал вопрос — как сочетать общеромантический интерес к рыцарскому средневековью с задачей создания самобытной русской литературы. О. Сомов в своих статьях «О романтической поэзии», которые современные исследователи справедливо расценивают как одну из лучших попыток теоретического обобщения представлений о романтизме в русской литературе, разрешал этот вопрос следующим образом: у русских не было века рыцарского, но его заменил век богатырей.²² Этот вывод О. Сомова, в известной мере, был подготовлен опытом русской предромантической литературы, в которой мы встречаемся с многочисленными попытками отобразить в художественной форме поэмы или повести сказочную эпоху русских богатырей. Но в собственно романтической лите-

²² «Век рыцарства у нас заменялся веком богатырей, которого бытность подтверждается сказаниями истории и преданиями изустными, сохранившимися в сказках. Цель богатырей была та же, как и рыцарей: защищать невинность и карать злых притеснителей, хотя неизвестно, чтоб богатыри русские составляли особый орден, были подчинены особым законам и носили гербы. Но это не главное: оно состоит в цели и в исполнении» (Соревнователь просвещения и благотворения, 1823, ч. 24, стр. 137—138). Ср. более раннее высказывание С. С. Уварова, который предлагал В. А. Жуковскому написать «русскую поэму русским размером», а сюжетом её «избрать эпоху древней нашей истории, которую можно назвать эпохой нашего рыцарства, в особенности эпоху, предшествовавшую введению христианской религии» (Чтение в Беседе любителей русского слова, 1815, т. 17, стр. 64). См. также — К. Н. Б а т ю ш к о в, Сочинения, т. II, Спб., 1885, стр. 410.

ратуре такого рода произведения немногочисленны и, как правило, художественно неудачны: круг представлений о русском богатырском веке, выросший на грубоватой реальной основе длинного фольклора, не подходил для выражения субъективистского мира романтизма. Очень скоро это было осознано представителями романтизма — не случайно ещё раньше даже сравнительно удачные опыты Катенина по воссозданию богатырской эпохи на Руси не встретили сочувствия в критике.

Выход был обнаружен в другом направлении: отсутствовавший в русской старине мир рыцарского средневековья был найден в Ливонии, составной части Российской империи. Феодалная пора Ливонии оказалась тем долгожданным отечественным рыцарским средневековьем, о котором мечтали романтики. Первым открыл этот новый мир А. А. Бестужев в своей «Поездке в Ревель» и ливонских повестях. Правда, самого Бестужева, как показывает его статья «Ливония», несколько смущало то обстоятельство, что ливонская старина это ещё далеко не русская древность, что здесь «цветы чужеземные». Бестужев (вслед за ним и другие многочисленные авторы ливонских повестей и романов) частично находил выход в том, что изображал взаимоотношения русских с Ливонией, вводил русских героев в ткань рыцарской повести. Но, впрочем, любители литературы той поры не склонны были рассматривать ливонскую, кавказскую или, скажем, «киргиз-кайсацкую» (т. е. казахскую) тему как чужеземную — все это считалось своим, отечественным — ведь не случайно О. Сомов в статье «О романтической поэзии», ратуя за создание национальной, самобытной литературы, рекомендовал писателям описывать нравы и обычаи различных народов России, воссоздавать природу различных областей Российского государства.

То, что Ливония рассматривалась авторами романтических повестей именно как отечественное рыцарское средневековье, лучше всего подтверждается самим содержанием их произведений, как правило, взятым из истории рыцарства. Но можно привести и прямые высказывания авторов ливонских произведений по этому поводу. А. П. Бочков во вступлении к повести «Монастырь св. Бригитты (Отрывок из путешествия по Эстляндии)» писал: «Если нам так полюбилося все готическое; если мы с таким жадным любопытством рассматриваем памятники феодальных времён и, прислушиваясь к преданиям, для нас вовсе чуждым, забываем свою русскую старину: то неужели надобно для этого выезжать из пределов нашего отечества? Всё это мы найдём от себя невдалеке: поезжайте в Ливонию, в Эстонию — там почитатель шотландского барда вздрогнет от удовольствия, видя какой роскошный пир предстоит его взору и воображению».²³

²³ Календарь муз, 1827, стр. 124. Это высказывание А. П. Бочкова объясняет популярность «путешествий в Ревель» в литературе 1820—1840-х гг.

Ф. В. Булгарин в середине 1830-х гг., уже несколько иронически относясь к увлечению писателей средневековьем, отмечал в связи с описанием Ливонии: «Теперь мода на всё готическое, или, правильнее, мода на средние века. Костюмы дамские, мебели, романы, драмы — всё должно отзываться временами рыцарства». ²⁴

Таковы основные причины интереса к ливонской теме в русской литературе первой половины 1820-х гг. вообще и декабристов, в частности. ²⁵ Ещё раз повторяем, в России ливонская тема стала уделом почти исключительно романтиков гражданского направления, в первую очередь, декабристов. Декабристов более чем кого-либо волновали преобразования в общественном строе Прибалтики. Интерес к проблеме народности, как уже давно отмечено исследователями, тоже оказался характерным лишь для прогрессивного крыла романтиков, в котором виднейшую роль играли декабристы. Наконец, в России даже разработка средневековых рыцарских тем, в противоположность, например, Германии, оказалась вначале в руках представителей гражданского романтизма, ибо в художественном творчестве литераторов другого, консервативного крыла романтиков преобладала поэзия интимных чувств, сугубо личных переживаний (школа Жуковского).

Произведения декабристов о Прибалтике отнюдь не находились на периферии литературного процесса, а наоборот, были центральными явлениями в количественно ещё небогатой русской прозе 1820—1825 гг. Вполне естественно, что они наложили неизгладимый отпечаток на развитие ливонской темы в последующие годы. Выявляется и своеобразный тип эпигона декаб-

Кстати, Ревель вообще считался писателями той поры местом поэтического вдохновения. А. С. Пушкин писал 31 июля 1827 г. А. А. Дельвигу в Ревель: «Что твоя проза и что твоя поэзия? Рыцарской Ревель разбудил ли твою заспанную Музу?» (Пушкин, Полное собрание сочинений, т. XIII, изд. АН СССР, 1937, стр. 334). Ср. письмо А. А. Бестужева П. А. Вяземскому от 30 октября 1825 г. — «Мне не верится, чтоб ревельские красоты не одушевили Ваше перо» (Литературное наследство, т. 60, книга 1, М.—Л., изд. АН СССР, 1956, стр. 230).

²⁴ Путевые заметки на поездке из Дерпта в Белоруссию и обратно весною 1835. Ф. В. Булгарин, Сочинения, т. III, Спб., 1836, стр. 145.

²⁵ Мы остановились лишь на важнейших причинах обращения русских писателей той поры к ливонской теме. Но нужно учитывать, что известную роль здесь сыграли и побочные факторы. Так, не подлежит сомнению, что биографические связи декабристов с Прибалтикой способствовали росту их интереса к современной жизни и прошлому остзейских губерний. Как известно, братья Бестужевы неоднократно бывали в Эстонии, здесь же родился и получил начальное воспитание В. К. Кюхельбекер. Повести А. П. Бочкова и «путешествия» Ф. В. Булгарина были навеяны не только поездками этих авторов по Ливонии, но и тем, что первый продолжительное время проживал в Таллине, а второй — в Тарту. Но в обращении к ливонской теме биографический фактор не играл решающей роли — это подтверждается хотя бы тем, что в творчестве писателей начала XIX в., биографически очень тесно связанных с Прибалтикой, мы почти не встречаемся с попытками разработки ливонской темы.

ристов в разработке этой темы. Даже писатели, идейно стоящие очень далеко от декабристов, испытывают могучее влияние их произведений. Но как это нередко бывает с эпигонами, действующими в иных условиях, из произведений более талантливых и глубоких предшественников усваивается лишь внешнее, то что лежит на поверхности, но опускается важное, внутреннее, то, что составляет основу их произведений.

Все те, кто писали на ливонскую тему, начиная с 1825 г., собственно, и не скрывали своих связей с произведениями А. А. Бестужева, самого крупного и плодovitого из декабристских литераторов, писавших о Прибалтике. Анонимный автор «Писем из Ревеля», опубликованных в 1826 г. в «Благонамеренном» (ч. XXXIII), описывая дом братства Черноголовых в Таллине, ссылается на «Поездку в Ревель» Бестужева. Автор «Монастыря св. Бригитты» А. П. Бочков замечает, что основание его повести «есть сушая истина, и об нём (предании, которое легло в основание произведения — С. И.) было уже негде вскользь упомянуто.»²⁶ Действительно, упоминание об эпизоде, легшем в основу повести А. Бочкова, мы встречаем в той же «Поездке в Ревель». В 1828 г. П. Свиньин печатает «И моя поездка в Ревель 1827 года» (Отечественные записки, ч. 33). Уже само название произведения у читателей ассоциировалось с именем Марлинского, и благонамеренный автор, памятуя, как опасны с точки зрения властей такие ассоциации, специально в подстрочном примечании отгораживается от произведения декабриста: «В 1821 году издано было описание Ревеля, под названием: «Поездка в Ревель». Но как сочинитель оной был там в зимнее время и внимание свое преимущественно обращал не на изыскание или обозрение древностей и достопамятностей города: то главное достоинство его книжки и заключается в цветистом слоге и игре воображения».²⁷ Впрочем, хотя П. Свиньин на словах и решительно отгораживается от «Поездки в Ревель» Бестужева, всё же его достижения он использует в своём «путешествии», как мы покажем ниже. А когда в «Северных цветах на 1831 год» появилась под псевдонимом Тита Космокротова повесть В. П. Титова «Монастырь св. Бригитты», то переводчик этой повести на немецкий язык Фридрих Тийтц был уверен, что за этим псевдонимом скрывается А. А. Бестужев, — так велико сходство произведения Титова с ливонскими повестями декабриста. В книге «Historische und romantische Erzählungen, Begebenheiten und Skizzen» (Berlin, 1838) Ф. Тийтц без оговорок приписывает «Монастырь св. Бригитты» А. А. Бестужеву. В 1833 г. некто А. Н. опубликовал в «Северной пчеле» статью «Эстляндские купальни»; не слишком доверяя собственному красноречию, он ссылается опять же на «Поездку в Ревель» Бе-

²⁶ Календарь муз, 1827, стр. 130.

²⁷ Отечественные записки, 1828, ч. 33, стр. 3.

стужева, повествуя о прекрасном местоположении и благородном тоне общества Ревеля, советует всем прочитать эту книгу. Количество подобных примеров можно было бы увеличить. Но для нас особенно важна сравнительно легко устанавливаемая внутренняя связь этих произведений с декабристской литературой.

Здесь нас, в первую очередь, должны заинтересовать произведения да и сама незаурядная личность забытого писателя Алексея Поликарповича Бочкова (1803—1872). Биографию его в самых общих чертах мы можем восстановить по краткой заметке его друга А. А. Ивановского в воспоминаниях последнего об А. С. Пушкине²⁸, по очень небольшим по размеру воспоминаниям А. Чумикова, встречавшегося с А. П. Бочковым в Ревеле в конце 20-х — начале 30-х гг.²⁹, а также по неопубликованным письмам Бочкова 1850—70-х гг., хранящимся в Рукописном отделе Института русской литературы в Ленинграде.³⁰

А. П. Бочков родился в богатой купеческой семье, воспитание получил в одном из лучших петербургских иностранных пансионов. Он был женат на дочери известного богача, сахарного заводчика П. И. Пономарёва, но рано овдовел. Бочков ещё в молодости начал интересоваться литературой и к середине 20-х гг. вращался уже в литературных кругах, близких к А. Е. Измайлову. Сближением с кругом А. Е. Измайлова он, вероятно, был обязан родственным связям с семьей Пономарёва. Но литературные его симпатии и антипатии не во всём совпадают с представлениями круга Измайлова. Бочков в восторге от произведений Рылеева и Пушкина, хранит у себя их неопубликованные

²⁸ А. А. Ивановский, Александр Сергеевич Пушкин. 21 и 23 апреля 1828 года, Русская старина, 1874, февраль, стр. 395—396.

²⁹ Русская старина, 1874, март, стр. 566; 1889, февраль, стр. 377—380. В «Русской старине» (1889, ноябрь, стр. 372—374) была опубликована также заметка кн. Н. С. Голицына, но она относится исключительно к монашеским годам жизни Бочкова. Об интересной личности Бочкова в своё время напомнил и Н. К. Пиксанов — см. его брошюру «Грибоедов и А. А. Бестужев», Спб., 1907, подстрочное примечание на стр. 9. Н. К. Пиксанов ошибочно приписал Бочкову книгу «Письма к разным лицам игумена Антония, бывшего настоятеля Мало-Ярославецкого Николаевского монастыря» (М., 1869). Приведённая во вступительной статье к этой книге довольно подробная биография её автора, о. Антония, не совпадает с известной нам биографией А. П. Бочкова: так, о. Антоний на 21-ом году своей жизни в 1816 г. ушёл в монастырь, а умер в 1865 г., между тем как Бочков ушёл в монахи в возрасте 30 лет в середине 30-х гг., а умер в 1872 г. Н. К. Пиксанова, вероятно ввело в заблуждение то обстоятельство, что Бочков в монашестве тоже носил имя о. Антония и, видимо, в какое-то время, также как и автор книги «Письма к разным лицам», был связан с Оптиной пустыней. Впрочем, ещё до Н. К. Пиксанова аналогичную ошибку мы встречаем у С. А. Венгерова в его «Источниках словаря русских писателей».

³⁰ Рукописный отдел Института русской литературы АН СССР (в дальнейшем сокращённо: РО ИРЛИ), 3589, XIX б, 25. Отдельные отрывки из писем находим также в стихотворениях о. Антония Бочкова — РО ИРЛИ, 3577. XIX б, 15.

стихи³¹. В 1824 году он возмущается цензурой, которая не пропускает в печать «Войнаровского» Рылеева.³² Бочков много пишет, хотя и мало печатается — всё же А. А. Ивановский упоминает о нескольких его произведениях в стихах и прозе, опубликованных в «Календаре муз» и «Благонамеренном». Он же характеризует Бочкова этого периода как во всех отношениях примечательного молодого человека: «Лучшая образованность и все возможные таланты: музыка, живопись, глубокий и многосторонний взгляд, увлекательный дар слова, редкая способность легко владеть возвышенным пером и в прозе и в стихах; добрая, строго-честная и высокая душа, лучший друг и родной <...>, радушное гостеприимство, независимое состояние — всё, всё так щедро было соединено в нём природою и фортуною.»³³ А. Чумиков дополняет эту характеристику кратким замечанием, что он знал Бочкова и либералом.

И, действительно, когда мы читаем 5 опубликованных писем Бочкова к Ивановскому³⁴, нас поражает даже не великолепное знакомство автора писем с тогдашней русской литературой, его тонкие и умные наблюдения над её явлениями, но, в первую очередь, горячее сочувствие делу декабристов, дух свободолюбия и ненависти к реакции, если не к самодержавию. 30 октября 1826 г. он пишет Ивановскому:

«Письма Бестужева, мой любезнейший друг, я читал почти со слезами. Мысль, что он погиб всегда для нас и что эта потеря не скоро вознаградится, убивала меня. Его заслуги важны для нашей словесности. До него наши молодые поэты были в каком-то разделении; возникающий от любви к отечественному взгляд хотя изредка и начинал уже пробиваться, но они

³¹ В неопубликованной рукописи автобиографического характера «Знакомый незнаком или слова, сказанные кстаи и некстаи. Истинный анекдот» (РО ИРЛИ, ф. 357, оп. 2, № 37) превосходно отражены литературные симпатии и антипатии Бочкова 1824 г. Он крайне отрицательно отзывался о современных романах, скроенных по образцу творений Радклиф, Жанлис, Коттен и др., зато он с удовольствием читает «Путешествие» Анахарсиса младшего. У него хранятся списки «Вольности» и «Пробуждения» Пушкина, он цитирует пушкинское послание «К Чаадаеву». В письме (под названием «Видение») к некоему Павлу Ефимовичу он обращается к последнему со следующей просьбой: «Пришли, сделай божескую милость, «Войнаровского» и стихи Пушкина. У меня просят их, приставая как с ножом к горлу; за услугу такову пришлю тебе «Русалку», сочинение Пушкина, и в непродолжительном времени отрывки из его поэм: «Онегина» и «Цыгане». Прошу однако ж стихов его никому не показывать или показывать, но с большою осмотрительностью, и не говорить, от кого ты их получил» (РО ИРЛИ, ф. 357, оп. 2, № 37, л. 10 об.).

³² «Войнаровский», действительно, превосходное сочинение; оно сделало бы честь нашей словесности: но, к несчастью, наша цензура, которая своею строгостью несколько походит на инквизицию, лишила многих удовольствия читать это прекрасное произведение Рылеева <...> Стихи превосходны: холодная наша Сибирь описана так живо, так прекрасно, что кажется видишь её перед глазами» (там же, лл. 3, 3 об.).

³³ Русская старина, 1874, февраль, стр. 395.

³⁴ 4 письма: Русская старина, 1889, июль; одно — Литературное наследство, т. 58, М., изд. АН СССР, 1952. Письма относятся к 1826—27 гг.

действовали без всяких видов и только тешились сами собою. Бестужев первый привёл их к одному алтарю, показал им благороднейшую цель: славу России, — и средство: пламенную любовь к родине и знание старины. Но «Полярная звезда» скоро закатилась. Бестужевы, Рылеев, Корнилович, Кюхельбекер — сколько надежд погибло! <...>

Бедные наши писатели! Как немилосердно клюет вас цензура. Святая наша инквизиция! Не могу удержаться, чтоб не сказать тебе похвальное слово в семинарском вкусе, украшенное беспрерывною метафорою, сиречь аллегориею.

«Когда перун из когтей двуглавого орла грянул и раздробил древо вольности, тогда и кумиру Паллады, поставленному под сению оного, нанесён страшный удар. Со шлема богини отломлен огневласый, лучезарный гребень, разливавший около главы её благотворное сияние. Осталась одна сова <...> нетерпящая свету, зловещая птица, видя себя на свободе и во мраке, распустила свои мохнатые крылья и гукнула так ужасно, что сама Минерва содрогнулась. Эгид выпал из её рук, и она осталась без защиты. Ещё удар и... горе нам!!!»³⁵ Мы привели эту большую цитату, ибо она хорошо характеризует и литературные и политические взгляды автора.

Письма Бочкова являются прекрасным примером того, насколько глубоко вошли в сознание людей той эпохи литературные взгляды декабристов, выраженные в статьях А. А. Бестужева, В. К. Кюхельбекера и К. Ф. Рылеева. Бочков вслед за декабристами упрекает Карамзина, Жуковского и даже Пушкина в подражательности, в следовании иноземным образцам, величайшей заслугой писателей-декабристов он считает утверждение ими самобытной оригинальной русской литературы. Бочков выражает опасение, как бы после гибели декабристов литература не вернулась на путь подражательности. В соответствии со взглядами декабристов на гениальную комедию Грибоедова он не соглашается с известными высказываниями Пушкина о «Горе от ума»³⁶, хотя в то же время целиком солидарен с Пушкиным и опять же с декабристами в высокой оценке Крылова, которого пыгается принизить Вяземский, превыше всего ставящий Дмит-

³⁵ Русская старина, 1889, июль, стр. 113.

³⁶ Бочкову до конца жизни было свойственно восторженное отношение к грибоедовской комедии, которую он искренне считал лучшим произведением всей русской литературы. В письме к одному своему знакомому от 8 апреля 1864 г. он отмечает большие заслуги Грибоедова в развитии русского стиха: «Первый Грибоедов указал родник рифм из составленных слов: без него гусли и примусь ли были неизвестны. Мсье Репетиллов: что Вы? — новы и прочие окончания <...> К сожалению, великий талант Грибоедова не оценён доселе, и великое его знание русского языка осталось почти незамеченным» (РО ИРЛИ, 3589, XIX б, 25, л. 1 об). В одном из писем 60-ых гг. Бочков даже склонен поставить Грибоедова выше Пушкина: «Один Грибоедов останется с маленькою своею комедиею величайшим русским гением, не парящим, но грозно держащим своё алмазно зеркало и перед Москвою и перед нашим обществом: это всемертвлящая <?>, но великая истина, облеченная в живейшее слово поэзии, которое как электрическая искра проникло все и оживило все в нашей литературе» (РО ИРЛИ, 3577, XIX б, 15, л. 79 об.). Высокая оценка Бочковым великого творения Грибоедова несколько напоминает замечания В. К. Кюхельбекера о значении творчества Грибоедова и об использовании Пушкиным художественных достижений (точнее, языка) «Горе от ума» — см. В. К. Кюхельбекер, Дневник, [Л.], «Прибой», 1929, стр. 92—93.

риева. Бочков вполне в духе декабристских представлений создаёт образ поэта-романтического гения и этому образу противопоставляет Дмитриева, поэта-бюрократа, пишущего урывками между службой, с оглядкой на начальство.

Но вот наступила удушливая пора николаевской реакции, когда каждое свободное слово считалось преступлением, когда человеку с умом и талантом, если он хотел служить, а не прислуживаться, были закрыты все пути к общественной деятельности. В этот период возникает такое причудливое и в общем грустное явление, как увлечение католицизмом Чаадаева. Не находит применения своим знаниям и способностям М. Ф. Орлов. Дальнейший путь Бочкова во многом напоминает путь этих людей. Служба его не устраивает, и он, как пишет А. Чумиков, «дабы не быть привлечённым к городской службе в столице, присаялся к ревельскому купечеству, русская часть которого, как известно, в то время не участвовала в городском управлении». ³⁷ Сначала Бочков, видимо, погрузился, как и многие его современники, в изучение философии, но «прочитав всё, что можно прочитать на французском языке, он охладил ко многим системам и умствованиям». ³⁸ Наступил период хандры и разочарования во всём. А. Чумиков, настроенный не слишком благожелательно к Бочкову, замечает, что тот в Ревеле начала 30-х гг. казался «скучающим», «не знающим куда девать свою особу». И, как многие люди той поры, не находившие разрешения мучивших их вопросов жизни и бытия, Бочков впадает в религиозность. Он решает уйти от мирской жизни в монастырь. Но его представления о религии отнюдь не совпадали с официальным православием. Не случайно «ему, вследствие его слишком идеальных понятий о монашеской жизни, никак не удавалось открыть для постоянного пребывания такой монастырь, который бы вполне удовлетворял его желаниям, и <...> по этой причине он перебивал в нескольких монастырях». ³⁹

Бочкову было немногим более тридцати лет, когда он в 1837 г. принял схиму. Но его деятельной и настойчиво искавшей какой-то высшей правды натуре трудно было в монастыре. Он переходит из одного монастыря в другой, отправляется путешествовать в Святую землю, составляет описание этого путешествия, пишет духовные стихи и в то же время свои записки, которые пропали уже в 70-е гг. А. Чумиков замечает о них: «Записки» о. Антония (имя Бочкова в монашестве — С. И.) местами чрезвычайно резки, потому что содержат порицание некоторых монашеских авторитетов и монастырских порядков». ⁴⁰ Да и среди его духовных стихов 60—70-х гг. не мало сатир, остроумно и едко

³⁷ Русская старина, 1889, февраль, стр. 378.

³⁸ А. А. Ивановский, ук. соч., Русская старина, 1874, февраль, стр. 395.

³⁹ А. Чумиков, ук. соч., Русская старина, 1889, февраль, стр. 378.

⁴⁰ Там же, стр. 380.

высмеивающих монастырские нравы (см., напр., «Ответ Г. А. И. Б-му, будто бы видевшему меня в Петербурге» и «Кавалер-архимандрит», РО ИРЛИ, 3577, XIX б, 15, лл. 34—35 об.). Интересно, что искренне религиозный Бочков даже тяготился своим сатирическим даром: «Страшно становится за себя и за ответственность перед судьей, а удержаться не могу: сатира так и каплет с пера, и я премножество отгонял и уничтожал своих стихов в этом желчном роде. Разумеется, оправдаться могу лишь в том, что жизнь представляет несравненно более картин унижения, нежели возвышения. «Петербургские трущобы» и романы Достоевского чрезвычайно полезны не только праздным умам, но и самому правительству, как верная картина модного Петербурга, который, как и утроба наша, исполнен нечистотами». ⁴¹

Вообще же поздний А. П. Бочков — фигура сложная и противоречивая. Он пишет стихи на сугубо религиозные темы, печатает духовные статьи в «Домашней беседе» Аскачского, даже критикует отмену предварительной цензуры в России. И в то же время многие его суждения, в особенности литературные, отнюдь не носят реакционного характера и кажутся чем-то из ряда вон выходящим в устах монаха. Так, описывая «комедию наших дней» — комедию эпохи пара, телеграфа, прессы, суеты и беготни, Бочков в одном из писем добавляет: «Поэтому и появляются наши Фон-Визины, Грибоедовы, Гоголи. Вот пророки времён наших; и напрасно Гоголь устыдился своей ядовитой правды!» ⁴² Это явный выпад против «Выбранных мест из переписки с друзьями» Гоголя. В другом письме 60-х гг. он замечает: «Очень рад, что вы прочли Некрасова. Это поэт современный: много правды, много тёплого, неподдельного чувства в его прекрасных живых стихах: он глубже проникнут народным русским горем, нежели бывшие великие поэты, не знавшие народного быта и не слыхавшие этого великого стона, которым ещё и донныне полна Россия. Освобождённый от невольничества и продажи крестьянин никогда не освободится от незаконного суда; горе и стон не умолкнут до страшного пришествия Христа». ⁴³ Вот Бочков говорит о расколе, и неожиданно ход его мыслей меняется: «А наше барство ничего не знает и знать не хочет. Их тянет в Париж магнитом, и туда уносятся все потовые и трудовые рубли простого народа». ⁴⁴ Вслед за этим идёт суждение о трудной задаче, выпавшей на долю российского правительства, которое мыслится им как нечто нейтральное по отношению к классам и сословиям, как нечто должное защищать интересы государства в целом.

Даже умер Бочков совсем не так, как подобает укравшемуся

⁴¹ РО ИРЛИ, 3589, XIX б, 25, л. 128.

⁴² Там же, л. 29.

⁴³ Там же, 3577, XIX б, 15, л. 24 об.

⁴⁴ Там же, 3589, XIX б, 25, л. 131 об.

от мира иноку. Когда в Москве началась эпидемия тифа, он отправился туда ухаживать за больными, причем работал в Екатерининской больнице для чернорабочих. Там Бочков заразился тифом и умер.⁴⁵

Литературное наследие А. П. Бочкова до сих пор не выявлено. Благодаря указаниям в его письмах, мы знаем, что ему принадлежат опубликованные под криптонимом Л. С. ливонские повести «Монастырь св. Бригитты» и «Красный яхонт» в альманахе «Календарь муз» 1827-го года. С. А. Венгеров в «Источниках словаря русских писателей», основываясь, видимо, на данных заметки о Бочкове в книге «Православное Волковское кладбище» (СПб, 1847, стр. 29—30), утверждает, что он выступал под псевдонимом А. Б. и Л. Л. Из заметки А. А. Иванова, хорошо осведомлённого в биографии и литературных занятиях Бочкова, известно, что он печатался в «Благонамеренном» и «Календаре муз». Но под вышеуказанными псевдонимами в этих изданиях опубликованы лишь 4 незначительных произведения: перевод повести Г. Бульи «Демутье в Венсенне, или примиритель» (Благонамеренный, 1825, т. 31) и стихотворения «Болезнь ожидания», «К. С. Г.», «К ней же» (Благонамеренный, 1826, т. 34) — ничем не примечательные образцы любовной лирики. Между тем современники писали о каких-то значительных и обративших на себя внимание читателей произведениях Бочкова. Так, автор книги «Православное Волковское кладбище», характеризуя Бочкова, «пользовавшегося любовью и уважением своих сограждан — достойного любви и уважения русских литераторов», писал: «Статьи, в особенности повести А. П. Бочкова, под скромною подписью Л. Л., украшали страницы наших журналов и альманахов 1825—1827 гг.»⁴⁶ Бочков в уже выше цитированной заметке «Знакомый незнакомец или слова, сказанные кстати и некстати» шутивно писал о себе: «я, который сам писал в стихах и прозе и которого сочинения, в особенности, письма, были читаны с восторгом; я, которого некоторые благомыслящие писатели сравнивали с Дельвигом, не последним стихотворцем своего времени».⁴⁷ Вероятно, здесь речь идёт и о ливонских повестях Бочкова, но что это за «письма», о которых упоминает писатель?

В «Благонамеренном» и «Календаре муз» наше внимание привлекли анонимные «Письма из Ревеля» (Благонамеренный, 1826, ч. XXXIII) и «Екатеринентальский сад и церковь св. Николая в Ревеле» (Календарь муз на 1826-й год), явно представляющие собой части «путешествия» одного автора. Есть много доводов в пользу того, что эти произведения принадлежат А. П. Бочкову. Оба произведения представляют собой отрывки

⁴⁵ Об этом см. Кн. Н. С. Голицын, Иеромонах Антоний Бочков, Русская Старина, 1889, ноябрь, стр. 373—374.

⁴⁶ Православное Волковское кладбище, СПб., 1847, стр. 29—30.

⁴⁷ РО ИРЛИ, ф. 357, оп. 2, № 37, л. 2.

из «Путешествия в Ревель» и хронологически, и по содержанию связаны с «Монастырём св. Бригитты», который сам Бочков назвал «Отрывком из путешествия по Эстляндии». При том исключительном уважении Бочкова к литературным заслугам А. А. Бестужева, при том восхищении его перед талантом писателя-декабриста, которые видны из процитированного нами выше письма Бочкова, вполне естественными становятся упоминания, ссылки на Бестужева во всех трёх произведениях. Мы отмечали уже соответствующие места из «Монастыря св. Бригитты» и «Писем из Ревеля»; в отрывке «Екатеринентальский сад», рассказывая об осмотре церкви св. Николая, автор отмечает, что «путеводителем» его по храму был кистер, «вероятно тот самый, который в 1820 году был проводником г. Б-ва». ⁴⁸ Все эти ссылки на Бестужева делались в самую суровую пору последекабрьской реакции, когда упоминание имён декабристов в печати было запрещено. Наконец, интересно, что отрывок «Екатеринентальский сад» посвящён никому другому как А. А. Ивановскому, другу А. П. Бочкова. Всех этих соображений, конечно, недостаточно, чтобы безоговорочно приписать эти произведения Бочкову, но основание для такого предположения они дают, тем более, что, как нам известно, Бочков действительно был тесно связан с Ревелем и провёл там много времени.

Рассмотрим подробнее произведения Бочкова. Повесть «Монастырь св. Бригитты» представляет собой явное подражание ливонским повестям А. А. Бестужева и в отношении сюжета, и в отношении обрисовки рыцарей, и в отношении исторического колорита. Связь своего произведения с бестужевскими прекрасно осознавал и сам Бочков, хотя склонен был объяснять эту связь случайностью: «Повесть моя, грех моих ради, выпрошенная Измайловым, теперь показалась мне противу Бестужевских как сморчок противу высокого подсолнечника. И вот беда! русские прибаутки и поговорки и у меня есть в моем маранье; вижу теперь, что не хотя (потому что не смога́) и не думая, столкнулся с Бестужевым, только от этого толка я втюрился в грязь. Постараюсь перекрыть её à la *Kagamzine*». ⁴⁹

Если известное сюжетное сходство «Монастыря св. Бригитты» с «Замком Нейгаузен» и «Замком Эйзен» ⁵⁰ ещё не столь показа-

⁴⁸ Календарь муз на 1826 год, стр. 68.

⁴⁹ Русская старина, 1889, июль, стр. 117—118. Близость повести А. П. Бочкова к произведениям писателя-декабриста порою вводила в заблуждение исследователей: так Л. Мышкова в книге «Литературные проблемы пушкинской поры» (М., изд. «Советский писатель», 1934, стр. 34) считает автором «Монастыря св. Бригитты» А. А. Бестужева.

⁵⁰ Бочков, без сомнения, был знаком с этим в ту пору еще малоизвестным произведением А. А. Бестужева («Замок Эйзен» впервые стал известен широкой публике по тексту «Невского альманаха на 1827 год»), так как Ивановский изъясил из следственного дела рукописи Бестужева и Рылеева и регулярно знакомил с ними своего друга — см. об этом комментарий И. С. Зильберштейна к письму А. П. Бочкова, Литературное наследство, т. 58, стр. 57.

тельно, ибо такого рода сюжетные мотивы широко бытовали в тогдашней романтической литературе, то зато изображение рыцарства в этом отношении очень интересно. Маргарита и Валдемар, правда, тоже традиционны, как традиционны вообще образы любовников в романтической прозе на сюжет из эпохи средневековья (благородный рыцарь Эвальд фон Нордек и его жена Эмма в повести Бестужева «Замок Нейгаузен» в этой связи не представляют исключения), но прочие образы рыцарей и их прислужников даны в том плане, какой утвердился в литературе под влиянием повестей Бестужева. Барон Олаф Рининг живо напоминает и магистра Рорбаха из «Замка Венден» и Бруно из «Замка Эйзен». «И нравом и умом барон шёл ровным шагом со своим железным веком, — пишет о Рининге автор «Монастыря св. Бригитты». — С утра до вечера трубил в рога, гонял собак, мучил крестьян, грабил соседей и между добрыми людьми слава об нём была недобрая. Одни только рыцари, такие же как и он буйные, им красовались, но все эти друзья-приятели при первой невзгоде готовились разорвать в клочки и барона и его богатые отчины». ⁵¹ Рыцарей Бестужева и Бочкова роднит грубость и невежество, презрение к низшим и закоренелый эгоизм; голос разума неизменно заглушается в них дикими и низменными страстями, властвующими над их действиями. Жизнь этих славных рыцарей проходит в военных стычках с соседями, охоте и пирах. Ни о каком рыцарском благородстве, доблести, уважении к даме сердца у них не может быть и речи. Хотя и Бочков (особенно в повести «Красный яхонт») и Бестужев находят в рыцарском средневековье сильных людей с могучими страстями, но общий колорит эпохи — мрачный. Чистые и благородные рыцари терпят неудачу в столкновениях с коварными и хитрыми феодалами. Здесь царит вероломство и предательство; феодальный порядок, в котором руководящую роль играют такие люди как Бруно фон Эйзен («Замок Эйзен» Бестужева) и барон Рининг, жестоко топчет чувства людей, их достоинство и честь, не говоря уже о страшном угнетении крестьян. Об этом Бочков упоминает, правда, лишь в одной фразе. Мир средневекового рыцарства своеобразен, экзотичен, любопытен и в то же время полон жестокости и несправедливости. ⁵² Но если уже Бестужев, именно

В руках Ивановского, конечно, был экземпляр отпечатанного, но не пущенного в продажу после восстания декабристов альманаха «Звёздочка», где был опубликован «Замок Эйзен».

⁵¹ Календарь муз, 1827, стр. 131.

⁵² Насколько такого рода представления о ливонском рыцарстве укоренились в литературе, свидетельствует, между прочим, и тот факт, что мотивы рыцарской жестокости, феодального угнетения проникали даже в пейзажную лирику, связанную с Прибалтикой. Так в стихотворении некоего Новикова «Осень в Лифляндии» (Русский зритель, 1828, ч. 2, стр. 209—211) мы читаем:

Гляди, как меж древес, превратно отраженный,
Сей замок рыцаря, с тяжёлой красотой,
Дрожит на влажности, в тумане облаченный,

так рассматривавший феодализм, сводил, однако, в своих ливонских повестях сюжет к столкновению самих рыцарей — «хорошего» и «плохого» (исключение — «Ревельский турнир», где столкновение немецкого феодала с немецким купцом), рассматривая тяжёлое положение крестьян лишь как фон действия, то у Бочкова фактически и этот фон отсутствует. Всё сводится в «Монастыре св. Бригитты» (как это было, впрочем, и в бестужевском «Замке Нейгаузен») исключительно к столкновению барона Рининга с Валдемаром из-за Маргариты.

Новым в повести Бочкова был образ аббата — настоятеля монастыря св. Бригитты. Ещё Бестужев в «Поездке в Ревель» и в исторических отступлениях в ливонских повестях раскрыл неприглядную роль католической церкви в Прибалтике, освящавшей феодальное рабство. Он показал, что церковные феодалы активно участвовали в межрыцарских распрях и междоусобицах. Но в произведениях Бестужева мы не найдём ни одного образа представителей католического духовенства, этих типичных фигур средневековья. Бочков довольно полно раскрывает в образе аббата облик служителей церкви. Аббата, как и его верного клеветра Густава, отличают те же черты, которые типичны и для прочих ливонских рыцарей — его также характеризует вероломство, эгоизм, забота о богатстве с той лишь разницей, что у аббата всё это прикрывается личиной благочестия и добропорядочности. Лицемерие и ханжество — вот черты, дополняющие облик аббата как представителя мира рыцарского средневековья. Аббат даже лучше светских феодалов плетёт сеть интриг против соседей, земли которых он мечтает присоединить к своему монастырю.

Если в «Монастыре св. Бригитты» мир ливонского феодализма XIII—XVI вв. воссоздан в общем в духе декабристских традиций, то в «Красном яхонте» рыцарский сюжет сведен к сугубо интимной, разработанной в сентиментально-романтическом плане истории несчастной любви благородного, но бедного рыцаря Алфреда фон Меллина и исполненной глубокими чувствами и верности графини Шарлотты Мантефельд. На пути к их соединению, собственно, к моменту развертывания действия повести, никаких препятствий нет, мотив имущественного неравенства только намечен. В «Красном яхонте» в центре оказываются описание возвышенных чувств влюбленных. Чтобы придать этому описанию мелодраматической оттенок, автор смертельно ранит главного героя. Перекройка *à la Karamzine*, которую Бочков обещал совершить над своими ливонскими повестями в письме

Превратность счастья являя нам собой.
Сей замок некогда столь грозный, столь ужасный,
Отколь в век рыцарства свирепствовал тиран,
Стоит в безмолвии, как ночи призрак страшный,
Как бы меж трупами оставленный таран

к Ивановскому, мало коснулась «Монастыря св. Бригитты», но зато она заметна в «Красном яхонте».

Сам Бочков склонен был очень невысоко оценивать собственные произведения. В ноябре 1826 г. он писал Ивановскому: «мою и глажу теперь своё старое бельё, именно повесть, которую выпросил у меня из ревельской котомки бедняк Измайлов для помещения в своём глупом Альманахе. Никогда бы я её не решился напечатать (страх, как глупа!), но не мог не жалиться на его христарадничество. Пускай и моя черствая корка лежит в его нищенской суме». ⁵³ Но интересно, что критикой его повести были встречены в общем положительно. Рецензент «Северной пчелы» считал, например, что «Повести «Монастырь св. Бригитты» и «Красный яхонт» очень хороши <...> Сочинитель одарён наблюдательным умом и живым воображением. Слог обеих повестей чист и правилен, рассказ быстр и свободен». ⁵⁴ Рецензент «Московского вестника» более сурово отнёсся к повестям Бочкова, но всё же он считал их лучшими произведениями в «Календаре муз». Рецензент обратил внимание и на связь произведений Бочкова с ливонскими повестями Бестужева: предметы «Монастыря св. Бригитты» и «Красного яхонта» «взяты из рыцарских времён Эстляндии и Ливонии. Это у нас не ново; мы уже видели опыты подобные, но таков обычай наших литераторов: куда одна овца, туда и все». ⁵⁵

«Поездка в Ревель» Бестужева заложила основу постепенно выработавшегося трафарета путешествий в Таллин. Путешествие по Ливонии обязательно должно было включать описание истории, исторических и природных достопримечательностей тех городов и местностей, которые проезжали авторы, причём особое внимание нужно было уделить моментам, указывавшим на участие русских в исторических судьбах Прибалтики и на рыцарскую экзотику в её прошлом. При посещении Нарвы считалось обязательным описание крепости, Вышгорода, домика Петра Великого, водопада и уж, конечно, нужно было вспомнить о подвигах Петра под стенами города. При осмотре Таллина столь же обязательным было посещение церкви Одая или св. Николая и дома Черноголовых (Шварценгейптеров), описание восхищения автора средневековым обликом города. Но в то же время пример «Поездки в Ревель» Бестужева сделал почти обязательным в путешествиях и краткие заметки об эстонцах, их характере, быте, жилище. Конечно, общие места в путешествиях различных лиц по Ливонии были обусловлены, в какой-то степени, общностью наблюдений — все путешественники ехали по одному и тому же маршруту, видели одно и то же. Но влияние «Поездки в Ревель», столь знаменитой в своё время, было весьма значительно, как это показывают хотя бы постоянные ссылки

⁵³ Русская старина, 1889, июль, стр. 115.

⁵⁴ Северная Пчела, 1827, № 15.

⁵⁵ Московский вестник, 1827, ч. 2, стр. 74.

авторов на бестужевское произведение. В доказательство можем сослаться на один пример — мы имеем в виду известное описание эстонской хижины в «Поездке в Ревель»:

«На каждых двух или трёх верстах видны дымные корчмы, без полу, с огромным в углу камином. В них-то закопченные эстонцы со всклокоченными и висящими по пояс волосами покоятся вместе с козами и телятами; в них пар ходит по низу, а дым по потолку. Входя туда, я думал каждый раз видеть себя в подземном Плутоновом царстве, и, выходя на чистый воздух, всегда говорил, любуясь на чёрные лица и грязные стены эстонские. хороша природа — когда ее вымоют». ⁵⁶

Все последующие путешественники в Ревель также и даже почти теми же словами описывают встретившуюся им якобы на пути эстонскую крестьянскую избу.

Мы не будем утверждать, что эти описания буквально списаны у Бестужева, но наличие их во всех «путешествиях» в Ревель всё же говорит, что пример бестужевской «Поездки» сыграл известную роль в выработке своеобразного трафарета «путешествий». Ведь почему-то ни анонимный автор «Писем из Ревеля», ни П. Свинын не дают описания крестьянского труда эстонцев, их обрядов или обычаев (даже в многочисленных путевых заметках Булгарина эта сторона жизни эстонцев почти обойдена), одежды и языка, но зато во всех «путешествиях» — в том числе в булгаринской «Прогулке по Ливонии» — присутствует описание дымной крестьянской избы с упоминанием, что вокруг огня сидели закопчённые эстонцы с длинными по пояс волосами.

Первым «путешествием» в Ревель после бестужевского были анонимные «Письма из Ревеля» и «Екатеринентальский сад и церковь св. Николая в Ревеле». Все атрибуты «путешествий» в Ревель, на которые мы указывали выше, здесь присутствуют. Правда, в этих произведениях меньше исторических экскурсов и, если говорить об отличиях от «Поездки в Ревель» Бестужева, почти отсутствуют отступления, в которых излагались бы взгляды и соображения автора по поводу предметов и явлений, не имеющих прямого отношения к виденному. Но последнее обстоятельство является следствием общей эволюции жанра путешествий: этот жанр вначале был своеобразной формой сведения воедино разнородного материала, объединяемого лишь личностью автора, и, по мере ослабления субъективистских начал в литературе, из него стали исчезать всякого рода «отступления», да и вообще жанр стал терять своё значение. Из «путешествий» постепенно пропадают художественные элементы, зато появляются элементы научные. Широкое распространение получают «учёные путешествия», собственно уже стоящие за пределами художественной литературы. Вместо авторских отступлений «по поводу» появляются точные статистические данные о населении,

⁵⁶ А. А. Марлинский, Второе полное собрание сочинений, т. II, ч. VI, Спб., 1847, стр. 14.

промышленности, количестве производимой продукции и т. д. Уже в 1825 г. в «Письмах на Кавказ» (Сын отечества, 1825, ч. 99) Н. И. Греч, рассматривая «путешествия» в тогдашней русской литературе, разбирал их вместе с историческими произведениями и книгами «по части наук», а не в разряде «литературы изящной».

«Письма из Ревеля» ещё сохранили полностью элементы художественности, но авторские отступления в них, как правило, имеют отношение лишь к тому, что видит вокруг себя путешественник. Так, автору, восхищённому панорамой сохранившего средневековый облик Ревеля, чудятся картины рыцарских времён: ему кажется, что в окне старинного здания появляется благородная дама, ждущая известий с поля боя, где ее муж, конечно, тоже благороднейший рыцарь, сражается с русскими, появляется оруженосец с вестью о победе и т. д.

По сравнению с «Поездкой» Бестужева автор «Писем из Ревеля» уделяет несравненно больше внимания современным эстонцам. Автор не ограничивается описанием эстляндской корчмы — кстати в ней он, видимо, действительно бывал, в противоположность другим путешественникам: описание корчмы содержит ряд деталей, которые мог заметить только их посетитель. Вместе с тем автор вводит в свои «Письма» вставной рассказ из современной жизни эстонцев, подслушанный им в корчме. Простенький рассказ о содержателе корчмы Югане производит впечатление подлинной истории, а не авторской выдумки. Автор начинает своё повествование о Югане с любопытного наблюдения:

«Надобно вам заметить, что состоящие корчмаря имеет больше преимущества в глазах простодушных эстляндцев. Содержатель работает, когда хочет, и то на себя, пьёт вино и курит табуку вволю, и у него же водится и денежка на праздничный день. Завидное состояние!»⁵⁷ Юган полюбил одну девушку-эстонку и «прельстил её сердце богатыми подарками, бисерными пронизками, пятналтынниками и двугривенниками с ушками, медными колечками и запонками».⁵⁸ Любовь увенчалась успехом, но другой крестьянин, более богатый и проворный, предложил больший откуп за корчму, чем Юган. Юган лишился корчмы и благодатного состояния. Он и его любовница решились отомстить, и однажды ночью последняя подожгла корчму. Виновники в конце-концов были найдены. Такого рода истории были нередким явлением в эстонской деревне тех дней, сообщения о них можно было найти в местных газетах.

Вероятно, это первый в русской литературе рассказ о жизни современных эстонцев. Отношение автора к эстонцам в общем благожелательное, хотя и не лишено оттенка снисходительности. Что же касается его наблюдений над характером эстонцев, то тут выводы автора скороспелы и ошибочны. Отмечая простодушие, честность, трудолюбие эстонцев, их спокойный, смирный нрав, автор «Писем из Ревеля» пишет в то же время, что «они не способны ни к худому, ни к хорошему» и даже: «всё их удо-

⁵⁷ Благонамеренный, 1826, ч. XXXIII, стр. 29—30.

⁵⁸ Там же, стр. 30.

вольствие напиться допьяна в праздничный день». Такого рода представления вели своё начало от реакционной остзейской печати, которая всячески стремилась принизить эстонцев, доказать необходимость и благотворность власти над ними немецких баронов.

«И моя поездка в Ревель 1827 года» П. Свинына, издателя «Отечественных записок», известного в своё время автора ряда «учёных путешествий», давала читателю большой познавательный материал по истории, географии и даже статистике Эстляндии. Описывая, например, Нарву, Свинын не только даёт картины достопримечательностей города и всего виденного, но приводит историю города с подробным описанием боевых действий под Нарвой при Петре I: перечисляется количество войска, военачальники, характеризуется линия обороны русских и т. д. О современном состоянии города Свинын пишет не как художник, а скорее, как статистик: «В городе считается около 4000 обоего пола обывателей, в том числе около 1250 разного воинского звания людей, духовенства — 35 человек, дворянства 69, чиновников гражданского ведомства 278, купечества 426, мещанства 2306, нижнего класса рабочих около 150 и столько же здоровых». ⁵⁹ Далее точно перечисляется количество церквей, зданий (каменных и деревянных и по принципу принадлежности), богоугодных заведений и даже число ремесленников по профессиям: столько-то часовых мастеров, переплётчиков, булочников, портных и т. д.

Если с точки зрения историко-статистической «путешествие» Свинына давало читателям много любопытного, то с художественной стороны оно было явно слабым. Однако показательно, что в отрывках, представляющих художественный интерес, замечается известное следование традициям декабристских произведений о Ливонии. Благонамеренный автор «И моей поездки» Ливонии. Но когда он рассматривает развалины гермейстерского замка в Нарве, его неожиданно одолевают мысли, которые утверждал всеми своими произведениями о Прибалтике Бестужев:

«Глубокие, душные подземелья невольно возрождают в памяти вашей ряд злодейств, конми омрачена история тамплиеров. Здесь томилась и издыхали жертвы страстей развратного феодализма: тяжёлые, толстые кольца в стенах, заржавелые крючья из железа возбуждают в душе вашей кровавые воспоминания и заставляют на минуту согласиться с мыслью Руссо, что в жестокосердии никто не сравнится с человеком! . . . — Гермейстерская зала довольно ещё сохранилась, и может в повести какого-нибудь романтического писателя занять важное место < . . . > Следующая затем четвероугольная комната, с высоким сводом и одним окошком внутри замка, служила, может быть, местом страшных судилищ, кон, подобно суду инквизиции, возмущают человечество». ⁶⁰

⁵⁹ Отечественные записки, 1828, ч. 33, стр. 366—367.

⁶⁰ Там же, стр. 42—43.

Обратим внимание на то, что содержание возможной романтической повести на ливонский сюжет ассоциируется у П. Свиньина с картинами ужасов средневековья — это вряд ли просто влияние готического романа, это и следствие представлений, утвердившихся в русском обществе под влиянием произведений декабристов.

Из других описаний Свиньина напоминает о Бестужеве уже отмеченная нами выше картина эстонской избы, начинающаяся фразой: «Ничего не может быть плачевнее жилища эстляндского поселянина».

Популярную у читателей ливонскую тему не мог обойти падкий на всё модное, на всё, что находило спрос у публики, Ф. В. Булгарин. В 1827 г. в альманахе «Северные цветы на 1828 год» публикуется его «Падение Вендена. Историческая повесть», вслед за тем перепечатывавшаяся в «Собраниях сочинений» Булгарина. Если «Замок Венден» Бестужева рассказывает о столкновении защитника крепостных крестьян благородного рыцаря Серрата с жестоким тираном-магистром Рорбахом, то повесть Булгарина посвящена известному эпизоду русско-ливонской войны в XVI в., когда русские войска под начальством Ивана Грозного осадили Венден. Рыцари мужественно защищали крепость и предпочли смерть сдаче — когда русские штурмом овладели городом, запершиеся в замке рыцари взорвали пороховой склад и погибли вместе с осаждающими. Этот эпизод неоднократно привлекал внимание прибалтийских немецких писателей как своеобразный символ беззаветного мужества и самоотверженности ливонских рыцарей: «прочувствованное» описание героизма защитников мы находим, например, в «Bruchstücke aus einer historisch-malerischen Reise durch die schönen Gegenden Livlands». Перед Булгариним стояла нелёгкая задача, не унижая заслуг русского войска под начальством царя Ивана IV, в то же время показать и мужество рыцарей. Закаленный в политических и литературных интригах и в лавировании между противоположными лагерями, Булгарин сумел разрешить и эту задачу. Он использовал даже любовную пару (русский воин Владимир, находящийся в плену у рыцарей в Вендене, и Элеонора, дочь пастора Шреффера, ярого противника Грозного), чтобы показать и мужество рыцарей и храбрость русских.

В повести Булгарина только одно лицо привлекает наше внимание — это вещун Марко. Марко происходит из рода древних эстонских языческих жрецов, которые в былые времена были и князьями, но с приходом немцев, подобно всем эстонцам, сделались рабами рыцарей. Марко так рассказывает о своём детстве:

«Селение близ Колывани, в котором я родился, принадлежало барону Штейнгерцу. Тяжелая была рука его над подданными. Выезжая на охоту, он заставлял нас вместо собак сгонять дичь; с утра до ночи, в будни и празд-

ники тяготил работою и обходился с нами, как с презренными животными. Я более других испытал его жестокость. — В исступлении гнева он проколот копьем отца моего, хворую мать мою выгнал из селения по миру, как неспособную к работе, а у меня отнял невесту и закабалил меня на работу иноземным кораблестроителям». ⁶¹ Марко удалось бежать и даже выгодно устроиться за границей. Но «несчастье моего народа и отечества тяготило мою душу», — говорит Марко. Он тайно в качестве вешуна возвращается в Эстонию, чтобы полностью посвятить себя борьбе с притеснителями родины, чтобы «возбуждать мятежи противу них». Марко последовательно связывается со всеми врагами рыцарской Ливонии, приводит в Эстонию русское войско, натравливает противников друг на друга.

Выраженная в истории жизни Марко неприязнь к немецким рыцарям у Булгарина могла быть и искренней — как мы покажем ниже, она характерна для всех ливонских произведений автора «Падения Вендена», хотя о влиянии декабристов здесь вряд ли приходится говорить — эта неприязнь диктовалась иными причинами. В то же время Булгарин никогда не осмеливался прямо выступить против остзейских баронов — верных слуг самодержавия. Отсюда его стремление, не ограничиваясь критикой ливонских рыцарей, всегда выставить и положительные фигуры представителей ливонского феодализма, в данном случае героических защитников Вендена. Что же касается образа Марко, то сам Булгарин постарался, по возможности, снизить этот в своей основе интересный тип человека. Он вносит в образ Марко черты традиционного романтического «чёрного злодея»: не случайно Иван Грозный характеризует его так — «ты адский дух, а не человек». Несмотря на это, образ Марко полностью не теряет своего значения, как довольно редкий в русской литературе тип эстонца — борца с игом немецких рыцарей, хотя, конечно, булгаринскому Марко очень далеко до Адо В. К. Кюхельбекера, успех которого у критиков и читателей, очевидно, и побудил Булгарина, умевшего приспособляться ко вкусам публики, создать образ вешуна в «Падении Вендена».

Быть может наиболее отчётливо связь с декабристской традицией в изображении Прибалтики прослеживается в повести Владимира Павловича Титова (1807—1891) «Монастырь св. Бригитты» ⁶² (Северные цветы на 1831 год, Спб, 1830). Мы уже

⁶¹ Северные цветы на 1828 год, стр. 137.

⁶² Романтические легенды и предания, связанные с развалинами монастыря св. Бригитты около Таллина, давно бытовали в Эстонии. Многие как русские, так и немецкие, а позже эстонские писатели использовали в своих произведениях эти легенды или же связывали с овеянными романтическими воспоминаниями развалинами монастыря придуманные ими сюжеты своих повестей и романов. Первое произведение, посвящённое монастырю св. Бригитты, принадлежит перу известного Авг. Коцебу, некоторое время жившего в Эстонии. Его «эстляндская повесть» «Подземный ход» (1792) в 1802 году была переведена на русский язык и вышла двумя изданиями в Москве и Смоленске. Легендарный сюжет «Подземного хода» Коцебу, в свою очередь, использовался другими авторами — см. «Die Bäder am Ostseestrande. Geschildert in malerischen Briefen einer Dame an eine Freundin», Leipzig, 1828 (есть русский перевод — «Отрывки из писем одной дамы о Ревеле», Сын Отечества, 1828, ч. 121, стр. 191—236, 281—317) и романтическую драму «Der unterirdische Gang» (отрывки в издании «Esthona», 1829, №№ 18—20), вероятно, принадлежащую перу издателя «Esthona» Ф. Шлейхера. В этом же издании помещено произведение барона А. Унгерн-Штернберга «Der unterirdische Gang. Volkssage» («Esthona», 1828, № 5, 1829, №№ 41, 43, 44, 45), также посвященное монастырю св. Бригитты, но независимое от Коцебу. Сюжеты из истории монастыря св. Бригитты разрабатывались немецкими писателями вплоть до 1920-х гг.; одно из последних произведений на эту тему: М. Munier—Wroblewska «Sankt-Brigitten» (есть эстонский перевод — Piriita,

отмечали выше, что переводчик повести на немецкий язык Ф. Тийтц приписал её А. Бестужеву (в альманахе «Северные цветы» она была опубликована под псевдонимом Тита Космократа). Это очень показательная ошибка переводчика, хорошо разбиравшегося в русской романтической литературе, — сходство «Монастыря св. Бригитты» Титова с «Ревельским турниром» Бестужева очевидно.

Титов избирает для своей повести из истории Прибалтики — XVI столетие — век великих изменений, когда на смену католицизму приходит лютеранство, учащаются столкновения рыцарей и горожан. Этот период окончательного разложения ордена любил изображать и Бестужев. Отсюда наличие многих общих исторических эпизодов в произведениях двух писателей.

Но главное — в основе обоих произведений лежит противопоставление молодого, растущего сословия горожан деградирующим, теряющим свою силу и власть рыцарям. Горожане и рыцари уже не только чувствуют друг в друге врагов, но их взаимная неприязнь нередко доходит до открытых столкновений. У Бестужева самой светлой головой среди рыцарей Ревеля оказался проматвавший дворянин Люфт, сочинитель надгробных надписей и свадебных песен, занимающийся также определением возраста лошадей и лечением охотничьих собак. Титов не менее неприязненно отзывался о рыцарях — окружение комтура фон-Шаренберха он характеризует следующим образом: «У всех на бекрене — высокие перья; на лице — гордость и лень, а на груди под блеском золотых цепей и заморских камней — чёрный крест по белой мантии: символ забытых добродетелей».⁶³ Рыцарям противопоставляются энергичные, решительные, образованные, способные на глубокие чувства представители молодого поколения горожан — Эдвин в «Ревельском турнире» и очень близкий к нему Эрнест Крузе в «Монастыре св. Бригитты».

Но при всём том отношение авторов к третьему сословию не может быть до конца положительным. Бестужев писал, что «купцы, вообще класс самый деятельный, честный и полезный из всех обитателей Ливонии, лстимые легкостью стать дворянами через покупку недвижимостей или подстрекаемые затмить дворян пышностью, кидались в роскошь»⁶⁴, усваивали рыцарские пороки. Титов тоже довольно иронически относится к старшине городских пивоваров, бургомистру Антонию Швальбергу, рисует

Tln, Pirita Kaunistamise Seltsi kirjastus, № 5, 1929). В русской литературе, кроме повестей А. П. Бочкова и В. П. Титова, известны и другие произведения, сюжет которых связан с монастырём св. Бригитты — см., напр., роман Я. де-Сапглена «Рыцарская клятва на гробе, или два портрета» (М., 1832). В эстонской литературе с этим «романтическим» местом связано действие исторической повести Э. Борихёэ «Князь Габриэль, или Последние дни монастыря Бригитты» (1893).

⁶³ Северные цветы на 1831 год, стр. 167.

⁶⁴ А. А. Марлинский, Второе полное собрание сочинений, т. II, ч. IV, стр. 111.

его добродушным, но упрямым сторонником освященных обычаям законов и порядков, также как иронизирует и над ревельским магистратом вообще.

Интересно, что отношение Титова к народу очень напоминает декабристское — народ в целом оценивается положительно, но его вооружённое вмешательство в столкновение верхушки ревельского купечества и ремесленничества с рыцарями осуждается: суперинтендант Генрих Бок напоминает магистрату именно об опасности народных волнений, если ратуша не примет мер по освобождению Авроры из монастыря. Вспомним, что Бестужев тоже всегда пытался разрешать конфликты через столкновение отдельных личностей, не позволяя народу принимать непосредственное участие в событиях.

По форме «Монастырь св. Бригитты» Титова также напоминает повести Бестужева. В основе сюжета лежит любовная интрига, в повести мы видим «отрывочную» композицию того же типа, который вызвал в связи с «Ревельским турниром» известные критические замечания Пушкина в письме к Бестужеву («полно тебе писать б ы с т р ы е повести с романтическими переходами»). Исторический колорит «Монастыря св. Бригитты», как и «Ревельского турнира», в основном, ограничивается лишь описанием внешних сторон средневекового быта. Особенно интересно стремление и Бестужева и Титова к исторической документации в произведении, в общем представляющем собой плод авторской фантазии. Органически ввести историю в ткань повествования ни Бестужев, ни Титов ещё не умеют, поэтому историческая документация вводится в повести в форме авторского комментария — примечаний в конце произведения, своего рода сносок или ссылок, долженствующих подтвердить достоверность описываемых авторами событий или деталей быта. Сюжет, любовная интрига и описание подлинных лиц, событий и обстановки органически ещё не соединены воедино, как это будет характерно для реалистических произведений.

Повесть В. П. Титова была положительно оценена и «Московским телеграфом»⁶⁵, и «Гирляндой»⁶⁶, и другими органами печати. Руководители «Московского телеграфа» вообще склонны были высоко ставить повести Тита Космокротова (Титова) «Монастырь св. Бригитты» и «Уединённый домик на Васильевском». В рецензии на первую часть «Russische Bibliothek für Deutsche» Карла Кнорринга критик «Московского телеграфа» указывал, что в русской прозе уже есть произведения, достойные быть переведёнными на немецкий язык. Критик далее перечисляет те произведения, которые он имел в виду: «Вечер на Кавказских водах», «Страшное гадание» Марлинского, «некоторые повести, бывшие в «Полярной звезде», некоторые из пове-

⁶⁵ См. Московский телеграф, 1831, т. 37, стр. 249.

⁶⁶ См. Гирлянда, 1831, ч. I, № 6, стр. 157.

стей и отрывков г-д Сомова, Булгарина, Погорельского, Космокротова, Сумарокова и проч.»⁶⁷ Зато совершенно иную оценку получила повесть Титова в антиромантическом «Телескопе». В чрезвычайно резкой по тону рецензии, вероятно, принадлежащей перу издателя журнала Н. И. Надеждина, повесть оценивалась следующим образом:

«Пустота содержания, вялость рассказа, пошлые остроты, тупые шутки, беспрестанные обмолвки против языка — ну что это такое! И смешно и жалко!.. Долго ль ещё будет продолжаться это несчастное поветрие повестей на Ливонию? А всё про всё «Ревельскому турниру» спасибо! Это едва ли не сотая на него пародия».⁶⁸

Тот факт, что одна из двух повестей В. П. Титова, видного любомудра, представляет собой явное подражание Бестужеву, даёт дополнительный штрих к прояснению сложного, до сих пор не разрешённого и, более того, приводящего исследователей к прямо противоположным выводам вопроса о взаимоотношениях декабристов и любомудров из круга «Московского вестника».

В 1830-е гг. связь произведений ливонской тематики с повестями декабристов, с «Поездкой в Ревель» Бестужева постепенно слабела. На первый план в ливонских стихах, повестях, романах выдвигается заурядно-авантюрный рыцарский сюжет; изображение экзотических сторон рыцарского средневековья становится самоцелью; критика феодализма, серьёзные идейные мотивы исчезают из произведений. Роман на ливонскую тему превращается в материал занимательного чтения для среднего читателя, увлекавшегося повестями третьестепенных немецких прозаиков типа Клаурена.

Типичный образец такого рода чтения — роман Я. И. де-Санглена «Рыцарская клятва на гробе, или два портрета» (1832). Яков Иванович де-Санглен (1776—1864) был довольно колоритной фигурой.⁶⁹ Сын французского дворянина, сбежавшего в Россию за убийство на дуэли, он учился в гимназии в немецком в ту пору Ревеле и там же начал службу во флоте. Позже, при Александре I, Санглен стал одним из руководителей тайной полиции, некоторое время был очень близок к царю, выполнял ряд его ответственных полицейских поручений — в частности, арест и обыск в доме М. М. Сперанского. Но позже он попал в немилость у недоверчивого Александра I и с 1816 г. оказался не у дел. Хотя он жил довольно тихо и мирно сначала в Москве, позже в своём имении, но в обществе пользовался дурной репутацией. Когда в начале 30-х гг. Санглен случайно остановился в доме Д. В. Давыдова, последний был уверен, что Санглен при-

⁶⁷ Московский телеграф, 1831, т. 38, стр. 245.

⁶⁸ Телескоп, 1831, ч. I, № 2, стр. 229.

⁶⁹ Об его жизни см. «Записки Я. де-Санглена», Русская старина, 1882, т. 36, 1883, т. 37. Донос на Санглена в 1831 году опубликован в «Русской старине» за 1898 г. (т. 96)

ехал шпионить за ним, и даже написал возмущённое письмо по поводу этого московскому губернатору.⁷⁰ Отстраненный от службы де-Санглен в конце 20-х годов решил заняться литературой. В 1831 г. он публикует в «Московском телеграфе» (т. 40) исторический очерк «Подвиги русских под Нарвою в 1700 году», а в 1832 г. выходит из печати его роман «Рыцарская клятва на гробе», рассказывающий о несчастной любви благородного рыцаря Фридриха фон дер Вейве, поклявшегося после смерти любимой жены никогда больше не вступать в брак. Он свято выполняет клятву, хотя это приводит к смерти и самого рыцаря и его новой возлюбленной Викторины, умирающей от избытка чувств. Великолепную характеристику романа дал рецензент «Московского телеграфа»: «Если читатели спросят нас о роде «Рыцарской клятвы», то, несмотря на слова: «Русский роман из времён меченосцев», мы скажем им, что этот роман принадлежит к новой немецкой школе исторических романов, к которой принадлежат сочинения Тромлица, Фан-дер-Фельда, Блуменгагена, Шопенгауэр, отчасти Цшокке. Такого рода романы совсем не В. Скоттовские, и почти не могут называться историческими. Взяв какое-нибудь историческое лицо или событие, романист рисует по произволу своей фантазии, <...> не заботится о живописи нравов и обычаев, очерках характеров, подробностей, о глубине сердца человеческого. Нет! он довольствуется запутанностью завязки, множеством частных происшествий, толпою действующих лиц. Так быстро сменяются одни другими действующие и действия их, что читателю некогда думать. Свидание, битва, любовь, тюрьма, побег, убийство, монастырь, дворец, рыцарь, разбойник, заговор — всё это является беспрестанно».⁷¹

Даже в произведениях, в которых можно, правда, не без труда, проследить использование отдельных положений ливонских повестей Бестужева, на первом плане оказываются мелодраматические эффекты, запутанный рыцарский сюжет и необыкновенные герои: именно эти стороны произведений декабриста привлекают теперь исключительно внимание авторов.

В этой связи можно отметить роман Б. Федорова «Князь Курбский», хотя и вышедший отдельным изданием в 1843 году, но в отрывках начавшийся печататься ещё в 1825 г.⁷² Оголтелый реакционер, не брезговавший шпионажем и доносами, Федоров и в начале и в конце своей литературной (и агентурной!) деятельности вызывал к себе брезгливое отношение деятелей прогрессивного лагеря русской литературы: в 1823 г. А. Бестужев аттестовал его как «гадкого» человека, «словесного вора».

⁷⁰ См. Русская Старина, 1896, т. 86, стр. 561—562.

⁷¹ Московский телеграф, 1832, ч. 47, стр. 102—103. Впоследствии В. К. Кюхельбекер охарактеризовал этот роман в своем дневнике как «более или менее вздор». В. К. Кюхельбекер, Дневник, стр. 276.

⁷² Отечественные записки, 1825, чч. 21—23.

а в 1843 г. В. Г. Белинский отметил уничтожающей рецензией выход в свет его романа «Князь Курбский». Б. Федорову органически были чужды идеи декабристской литературы, но влияние ливонских повестей Марлинского было настолько велико в своё время, что оно заметно даже на реакционном, очень слабом в художественном отношении романе Федорова. В «Князе Курбском» довольно много глав посвящено Ливонии, и в них немецкие рыцари, за малым исключением, предстают бандитами и разбойниками, готовыми на любую подлость. Рыцарский замок оказывается самым обычным разбойничьим притоном. Типичный представитель остзейского рыцарства Тонненберг грабит купцов на большой дороге, поочерёдно изменяет ордену и русским, крадёт женщин для своего гарема, мучит пленных в мрачных подземельях. В первых частях романа, написанных в 1825—27 гг., когда успех ливонских повестей Марлинского был особенно велик, Федоров иногда прямо копировал их. Если бы «Ревельский турнир» Бестужева и первые части романа Федорова не были опубликованы почти одновременно, с интервалом всего лишь в один месяц, то можно было бы без оговорок утверждать, что образ Вирланда списан с Лонциуса, а сцена, когда Ридель рассматривает своё родословное дерево с разукрашенными золотом и киноварью кружками, скопирована с аналогичной сцены с Буртнеком в «Ревельском турнире». Впрочем, это, может быть, и было так — Федоров мог познакомиться с повестью Марлинского, законченной ещё в начале 1824 г., и до выхода в свет «Полярной звезды на 1825 год». Однако ещё интереснее другое. Стиль русских частей романа напоминает спокойный, «округлённый», опоэтизированный стиль карамзинской прозы с неизменной инверсией эпитетов-определений, над которой позже так едко издевался Белинский в своей рецензии на этот роман Федорова. Но стиль первых ливонских частей произведения несколько иной, он является лишь неудачной подделкой под каламбурный, полный острот и необычных силлогизмов стиль Марлинского: именно в таком духе выдержан разговор Риделя с Вирландом, рассказ няни о свадьбах в былые времена, речь слуги Вирланда на допросе и т. д.

Всё это, однако, только чисто внешнее копирование отдельных сторон ливонских повестей Бестужева. Даже изображение ливонских рыцарей как чёрных бандитов у Федорова лишено какого-либо глубокого идейного смысла: это лишь средство создания мелодраматического эффекта — сверхблагородство Курбского и идеальная чистота его жены Гликерии ярче сверкают на фоне коварства и жестокости рыцарей. Последнее подтверждается и тем, что у Федорова нет сочувствия к угнетённым эстонцам. Эстонцев он тоже рассматривает, как жестоких варваров, кровожадных разбойников, без угрызения совести идущих на убийство беззащитных людей. Такое изображение эстонцев в романе выполняет ту же функцию, что и изображение их гос-

под — немецких рыцарей: резче оттенить положительные качества главных героев. Впрочем, экзотики ради Федоров вводит в своё произведение и кое-какие описания быта и обрядов эстонцев XVI в., в частности, он приводит «древнюю эстонскую песню» «Юрий, Юрий, не пора ли мне придти?» В целом же, роман Фёдорова любопытен для нас лишь как образец влияния другого сильного, но чуждого автору таланта; при различии мировоззрения и дарований это приводит лишь к неудачному копированию отдельных внешних сторон произведений предшественника при полном игнорировании главного, внутренней сути их.

Теперь появляются «путешествия» по Ливонии, исключительно посвящённые обозрению исторических достопримечательностей, связанных с «благородным рыцарством» («Поездка в Кокенгаузен» П. Манасеина⁷³). Впрочем, преобладают «путешествия» «учёного» типа, полные статистических данных, обозрений торговли и промышленности (типичный образец — «Путевые записки» известного экономиста и статистика К. И. Арсеньева⁷⁴). Традиции такого рода «путешествий» в Ливонию сохранялись долго: ещё в 1850-ые гг. появляются, напр., «Путевые заметки» Д. Мацкевича (Киев, 1856), «Поездка в остзейские губернии» В. Беккера (М., 1852), анонимная «Поездка из Петербурга в Ревель и Гапсаль» (Московские ведомости, 1852, № 21) и др.

Русская литература, благодаря тому, что ливонская тема в ней, в основном, оказалась уделом декабристов и их литературных последователей, до 1830-х гг. почти не знала той идеализации ливонского рыцарства, того принижения древних эстонцев, которые были характерны для большей части немецкой остзейской литературы, фальсифицировавшей в своих классовых интересах историю Прибалтики.⁷⁵

⁷³ Библиотека для чтения, 1834, т. 4, отд. I, стр. 203—214.

⁷⁴ Там же, т. 5, отд. III, стр. 93—120.

⁷⁵ Едва ли не единственное исключение в русской литературе декабристской поры — произведения Н. М. Языкова «Романс» («Конрад одевается в латы...»), «Ливония», «Ала. Ливонская повесть» и «Меченосец Аран». В этой связи глубоко неверным представляется утверждение И. Д. Гликмана во вступительной статье к сборнику: Н. М. Языков, Стихотворения. Сказки. Поэмы. Драматические сцены. Письма, М.—Л., Гослитиздат, 1959, стр. XXV. И. Д. Гликман пишет, «что в истории Ливонии Языкова главным образом привлекал драматизм борьбы за национальную независимость (и в этом он перекинулся с Кюхельбекером, написавшим в 1824 г. эстонскую повесть «Адо»)». По своему содержанию произведения Языкова, посвященные прошлому Ливонии, наоборот, противоположны повести Кюхельбекера «Адо». Это является ярким свидетельством внутренней противоречивости литературных и политических убеждений поэта уже в предекабрьские годы, что привело его позже на откровенно реакционные позиции.

Несравненно более характерно, что издававшийся в 1832—33 гг. в Ревеле архиреакционный журнал «Радуга» — рупор идей высланного в Эстляндию мракобеса М. Л. Магницкого — напечатал довольно много материалов по

В этих произведениях, образцом которых может служить, к примеру, трагедия Коцебу «Генрих Рейс фон Плауэн, или Осада Мариенбурга» (есть русский перевод — Орёл, 1830), восхвалялось благородство рыцарей, мужественно борющихся во имя христианства и великих рыцарских идеалов с дикими и кровожадными эстонцами и литовцами. Но в 30-е гг., когда декабристские традиции в литературе стали ослабевать, начинают появляться и отдельные произведения, в которых прошлое Прибалтики освещалось с позиций реакционной балтийско-немецкой историографии. Однако показательно, что немногочисленные произведения такого рода, как правило, вышли из-под пера остзейских баронов, выступавших в русской печати. Здесь можно отметить небезызвестного барона Е. Ф. Розена, опубликовавшего в альманахе «Альциона на 1833 год» два стихотворения — «Казнь отца в сыне (Эстонская быль 1221 года)» и «Эсты под Беверином (Быль 1207 года)». В обоих произведениях благородным рыцарям, несущим дикарям свет христианства, противопоставляются жестокие варвары-эстонцы. В «Казни отца в сыне» Розен использует не один раз обрабатывавшийся в литературе сюжет, восходящий к «Хронике Ливонии» Генриха Латвийского (XXVI, 10). Когда в 1223 году эстонцы подняли восстание против рыцарей, один мирный немецкий купец был в гостях у эстонца. Тот убил беззащитного купца на виду у своей жены. Когда же жена убийцы родила сына, то на теле у мальчика оказались раны, совершенно схожие с ранами убитого купца. Впоследствии раны зажили, но рубцы остались навек, как свидетельство кары божьей.⁷⁶ Этот подчёркнуто тенденциозный сюжет в комментариях не нуждается. Сам Е. Ф. Розен чистосердечно признавался в автобиографии: «В лирических стихотворениях моих, писан-

истории Прибалтики, но художественных произведений, где с реакционных позиций освещалась бы история и современная жизнь Эстонии, мы в нём почти не найдём. Только в «эстляндской повести» в стихах Р. фон Берга «Герман и Маргарета» встречаемся с идеализацией средневековых ливонских рыцарей. Из других произведений, опубликованных в «Радуге», необходимо отметить лишь перевод «Эстонской песни» (Радуга, 1832, кн. 1, стр. 62—63) приписанной издателем пастору Гольсту (очевидно, O. R. von Holtz) — в начале XIX в. последнему вообще приписывалось много произведений, сочинённых на эстонском языке. На самом деле автор этой песни, с текстом которой неизвестный нам переводчик мог познакомиться по приложению к книге C. H. I. Schlegel, *Reisen in mehrere russische Gouvernements in den Jahren 1801, 1807 und 1815. Fünftes Bändchen. Ausflug nach Ehstland im Junius 1807*, Meiningen, 1830, до сих пор не определён. Предполагают, что им мог быть Тизенгаузен. За сообщение этих сведений и указание на источник перевода приношу глубокую благодарность доц. Э. Лаугасте.

Публикация «Эстонской песни» имеет некоторое значение для истории русско-эстонских литературных связей. Это был, вероятно, первый русский перевод литературного произведения на эстонском языке. Отметим, что песня, как отмечает и издатель «Радуги», даже получила популярность в народе.

⁷⁶ См. Генрих Латвийский, *Хроника Ливонии*, М.—Л., изд. АН СССР, 1938, стр. 227.

ных для моего альманаха «Альциона», преобладает элемент немецкий». ⁷⁷ С этим нельзя не согласиться.

Интересно, что когда в конце XIX в. молодые эстонские прозаики-романтики в своих исторических повестях вели борьбу с фальсификацией прошлого Прибалтики в трудах и художественных сочинениях остзейского дворянства, то они в полемических целях вновь обратились к этому сюжету. У А. Сааля в повести «Хильда», наоборот, комтур Вилькен фон Ильседе на глазах лежащей в углу эстонской женщины велит забить до смерти её мужа; большая кровавая рана, которая была на лице убитого, оказалась и на лице родившегося в этот же день мальчика — сына замученного комтуром эстонца, получившего поэтому имя Армик (Человек со шрамом). Легенде из «Хроники» апологета немецких рыцарей Генриха здесь придан прямо противоположный смысл.

Но в 30-е годы, кроме эпигонов Марлинского и откровенно реакционных писак, к ливонской теме обращались и писатели, творчески развивавшие традиции декабристов, подготавливавшие своими произведениями новую — реалистическую — эпоху в русской литературе. Мы здесь, в первую очередь, имеем в виду И. И. Лажечникова с его романом «Последний Новик, или Завоевание Лифляндии в царствование Петра Великого» (1831—33).

Академик М. В. Нечкина во вступительной статье к ряду изданий «Ледяного дома» Лажечникова доказывает, что роман «продолжает литературную традицию декабристов». ⁷⁸ Это же можно сказать и о «Последнем Новике» Лажечникова, но только нужно учитывать, что писатель творчески развивает декабристские традиции, а не копирует внешние стороны произведений Бестужева, как это характерно для многих авторов ливонских повестей. Мы не найдём у Лажечникова сюжетных соответствий, общих с Бестужевым черт в стиле романа, не найдём и образов, которые заставляли бы вспоминать персонажи повестей декабристов. Лажечникова роднит с декабристами другое: во-первых, в общем отрицательное отношение к немецким баронам-помещикам в Прибалтике. Во-вторых, показ, в качестве фона действия, тяжёлого положения коренного населения края, страдающего под игом крепостного права. При этом, Лажечников в це-

⁷⁷ А. Е. Розен, Очерк фамильной истории баронов фон Розен, СПб, 1876, стр. 79. Этот феодальный немецкий дух произведений Розена отмечался и в тогдашней критике. Рецензент «Литературной газеты» писал по поводу одной из повестей Розена, помещенной в «Альционе на 1831 год»: герон повести «в словах и поступках своих как будто бы списаны с какого-либо семейства добрых эстонских или ливонских помещиков. Французов часто упрекают за односторонность в изображении характеров чуженародных: писатели немецкие (которых дух отсвечивается во всех произведениях барона Розена) не только не изъяты от сего недостатка, но многие как будто бы заключили весь мир в германской сфере» (Литературная газета, 1831, № 3, стр. 25).

⁷⁸ И. И. Лажечников, Ледяной дом, М., Гослитиздат, 1958, стр. 40.

лом сочувственно относится к латышам и эстонцам, хотя он, как и декабристы, видит и темноту, и невежество, и многие другие отрицательные черты балтийских народов, обусловленные рабством. И, наконец, Лажечникова сближает с декабристами стремление (правда, не очень ярко выраженное) показать какие-то специфические стороны жизни туземцев (язык, верования, суеверие, обычаи, празднества, одежду, внешний облик и т. д.).

Лажечников, как и Бестужев, выводит и положительные типы ливонских феодалов. Таков Паткуль (ошибочная трактовка этого образа как рыцаря без страха и упрека, жертвующего всем ради интересов родины, вообще, характерна для русской литературы — см. стихотворение М. Ю. Лермонтова «Из Паткуля», трагедию Н. Кукольника «Генерал-поручик Паткуль» и др.); таковы идеальные любовники Луиза Зегевольд, Адольф и Густав Трауфеттеры. Но характерно, что никто из них не является помещиком, владельцем имений. Все остзейские помещики у Лажечникова оказываются людьми в общем отрицательными. «Спесь рыцарей меча и низость бременских купцов — всё вместе ещё течёт в жилах лифляндцев. Вот эти *patres patriae, defensores justitiae*»,⁷⁹ — замечает о них один из героев романа. Таков, действительно, отвратительный скопидом Балдуин Фюренгоф, которого отличает «жестокосердое обращение со своими людьми», нравственная нечистоплотность. Фюренгоф убежден, что крестьян «надобно держать в ежовых рукавицах, чтобы они не очнулись; надобно греметь над ними: тогда только они на что-нибудь годятся <...>». ⁸⁰ Лажечников вводит в роман сцену, наглядно показывающую, как именно Фюренгоф держал принадлежащих ему крестьян «в ежовых рукавицах» — мы имеем в виду сцену дикого избиения по приказу барина девочки, заснувшей на своем посту. Такова же и владелица Гельмета тщеславная баронесса Амалия Зегевольд, которая мнит себя вершительницей судеб Ливонии, мечтает попасть в историю, плетет внешне довольно сложную сеть антирусских интриг. Лажечников подчеркивает, что и Балдуин Фюренгоф и Амалия Зегевольд — жестокие крепостники. Баронесса, правда, как иронически замечает автор, мечтала «преобразовать» латышей и эстонцев в швейцарцев, но от общения с «этими грубиянами» наотрез отказывалась. «Худо покрытые избы, хлеб пополам с мякиною и бедная, нечистая одежда поселян»,⁸¹ — вот что бросается в глаза в её деревнях.

Ядовито издевается Лажечников над устаревшей романтикой рыцарских подвигов и поклонения даме сердца.⁸² Аделаида

⁷⁹ И. И. Лажечников, Последний Новик, 2-ое издание, М., 1833, т. I, стр. 42. Отцы отечества, защитники справедливости — *латинск.*

⁸⁰ Там же, т. II, стр. 195—196.

⁸¹ Там же, т. I, стр. 224.

⁸² Насмешки над романтикой рыцарских подвигов и рыцарским поклонением даме сердца, встречавшихся в некоторых ливонских повестях и стихах, начались, собственно, раньше. В опубликованной в 1825 г. «волшебной три-

фон Горнгаузен, увядающая девица, которую «берегли, как старый жетон, для редкости, а не потому, чтобы он имел ценное достоинство»,

«читала панегирики безбрачной жизни и между тем внутренне ожидала себе суженого с вечною любовью, которого вела в ней вечная надежда; с пристрастием говорила о старом, золотом времени, о поколениях знаменитых гермейстеров, о кровных связях с магистрами и коадьюторами, о высоких замках, где каждый барон был независимый государь, окружённый знатными вассалами, пригожими пажам, волшебниками-карлами, богатырями-оруженосцами и толпою благородной дворни, о турнирах, где красота играла первенствующее лицо»⁸³ и т. д.

Благородная девица до того зачиталась рыцарскими романами, что ей и во сне и наяву стали мерещиться всякие карлы, волшебники, великаны и привидения, это в сочетании с её «чувствительностью» производит очень комичное впечатление.

Привольная жизнь остзейских баронов, как показывает Лажечников, возможна только за счёт угнетения крестьян. Изображение тяжёлого положения прибалтийского крестьянства, правда, не занимает сколько-нибудь большого места в произведении, но в качестве фона действия оно всё-таки постоянно присутствует — иногда в форме вскользь брошенной фразы относительно того, что очень редко приходится слышать у латышей весёлую песенку, иногда публицистического отступления о том, как немецкие феодалы напали на Ливонию, «окрестили её мечом и первые ознакомили бедных её жителей с именем и правами господина, с высокими замками, данью и насилиями».⁸⁴ Иногда же это развёрнутая картина, как, например, при описании празднования дня рождения Луизы в имении Гельмет. Эстонцы, прослышав о приготовлениях к празднику в имении, «заранее развали рот от удивления и с нетерпением поджидали у своего окна,

логии» А. А. Шаховского «Фин» мы встречаем уже проницательное описание рыцарского средневековья: Наша говорит матери об остзейских феодалах

— У них мужья

Женам своим, как дети, угождают;

А девушки у них в такой чести,

Что их никто не смеет словом тронуть.

В миг вступятся, да на коня и в бой,

У них за красоту на смерть дерутся,

Ручьями льют за женщин кровь

И мрут, как мухи, за любовь.

(А. А. Шаховской, Фин, без года и места издания, стр. 17).

В другом месте:

А немцы сказывали сами,

Что красота у них всему равна,

И воины дрожат пред милыми глазами;

И только красоту где взвидят, то скорей

И на колени перед ней (стр. 22).

⁸³ И. И. Лажечников, ук. соч., т. I, стр. 239—240.

⁸⁴ Там же, стр. 2.

когда староста или кубиас,

той палкой в замок их погонит веселиться,

которая столько раз и так немилосердно гоняла их на барщину и напоминала о податях. Таков грубый сын природы! Сытное угощение, шумный праздник заставляют его забыть всё бремя его состояния и то, что все его веселости сии делаются на его счёт. Надобно прибавить: таковы иногда бывали и помещики, что решались скорее истратить тысячи на сельский праздник, нежели простить несколько десятков рублей оброчной недоимки, или рабочих дней, немощным крестьянам!»⁸⁵

Лажечников описывает и отличительные особенности жизни коренных жителей края. Он приводит отрывки из нескольких латышских («У кого такая милочка . . .», одна из песен Лиго) и эстонских песен (как и у Б. Федорова отрывок из песенки о Юри⁸⁶). Но само описание этнографических особенностей жизни местных жителей нельзя признать особенно удачным. Эстонского читателя, в первую очередь, неприятно поражает частое смешение у Лажечникова эстонцев и латышей, отдельные несообразности в обрисовке местного колорита: то латыши у него вдруг заговорят по-эстонски (см. т. I, стр. 300, 311), то они же поклоняются древнеэстонским богам и т. д. Это смешение объясняется, вероятно, не пренебрежением Лажечникова к местным особенностям, а как это ни странно, тем, что автор, видимо, слишком доверял собственным наблюдениям: подготавливая роман, он совершил специальную поездку по той местности, которую собирался описать. Действие его романа происходит как раз в пограничных районах Эстонии и Латвии, где наблюдателю, незнакомому с местными языками, действительно, легко спутать особенности быта, обрядов и обычаев двух народов-соседей.

Но при всём том Лажечников с неизменным сочувствием относится к коренным жителям края. Кучер и коновал Фриц и его брат Немой оказываются благороднее да и умнее многих немецких дворян. Довольно полно обрисован образ дочери простого крестьянина Ильзы (Елизаветы Трейман), который вообще играет важную роль в развитии сюжета романа. Мы узнаём трагическую биографию Ильзы, и хотя она однажды совершила преступление, автор не просто относится к ней со снисхождением, но и от души сочувствует её горестной судьбе. И всё же, хотя русская литература до Лажечникова, вероятно, не знала такого разностороннего изображения женщины из коренного населения края, до той подлинной заинтересованности в судьбе человека порабощённой нации, до того уважения к его национальным особенностям, которые характеризуют революционно-демок-

⁸⁵ Там же, т. II, стр. 228.

⁸⁶ Знакомство ряда русских писателей именно с данной эстонской народной песней объясняется просто: она была опубликована в немецком переводе в хорошо знакомых для русских писателей книгах — в «Liefländische Historia» Хр. Кельха и в «Stimmen der Völker in Liedern» И. Г. Гердепа.

ратических писателей следующего поколения, здесь (как и в повестях Бестужева) ещё очень далеко; не случайно, мы так и не узнаём, кто такие Фриц и Ильза — эстонцы или латыши. Но исторические заслуги деятелей прошлого, как отмечал В. И. Ленин, судятся по тому, «что они дали нового сравнительно с своими предшественниками». ⁸⁷ И если мы с этих позиций подойдём к роману Лажечникова, то увидим, что, при всех недостатках и ошибках, изображение коренных жителей края у него полнее, разностороннее и даже исторически достовернее, чем у Бестужева.

Вообще, хотя «Последний Новик» — произведение ещё не реалистическое, но историзм его уже значительно глубже по сравнению с историзмом ливонских повестей Марлинского. Это находит отражение и в художественной ткани произведения. Выше мы отмечали, что ни Бестужев, ни Титов не умели ещё органически соединять воедино сюжетные элементы, рассказ о вымышленных романтических героях с подлинной историей, поэтому для их повестей характерны авторские примечания в конце произведения, композиционно выделенные отступления — своеобразные справки исторического характера и т. д. Лажечников уже обходится без них, объединяя в сюжете и художественную и историческую сторону произведения, романтических героев и подлинных исторических деятелей, вымышленные события и действительно имевшие место исторические факты. Авторское вступление с подробным описанием исторической обстановки данному положению не противоречит. Этот вальтер-скоттовский приём, блестяще развитый английским романистом в «Квентине Дорварде», наоборот, служит своеобразным ключом ко всему произведению: он подчёркивает историзм сюжета, правдоподобность действия романа ⁸⁸, к тому же вступление, собственно, и не воспринимается как чужеродное тело.

Особое место в истории ливонской темы в русской литературе 1820—30-х гг. занимают многочисленные «путешествия» и «путевые заметки» Ф. В. Булгарина. ⁸⁹ Отвратительный облик доно-

⁸⁷ В. И. Ленин, Соч., 4-е изд., т. 2, стр. 166.

⁸⁸ Этот приём получил в начале 30-х гг. уже довольно широкое распространение в русской литературе. Сошлёмся хотя бы на исторические произведения русско-немецкого писателя В. Эртеля «Гаральд и Елисавета, или век Иоанна Грозного» (Спб., 1831) и «Распря за календарь в Риге» (Русский альманах на 1832 и 1833 годы, Спб., 1832). Кстати, основательно забытый писатель В. Эртель отлично знал эпоху XVI в., и его повесть «Распря за календарь в Риге» представляет безусловный интерес: в основе повести лежит история столкновения двух партий среди горожан — польской, к которой преимущественно принадлежит состоятельная верхушка Риги, члены думы, и антипольской, защищавшей привилегии и независимость города и опиравшейся на низы. Общественная, партийная борьба отодвигает на второй план любовные интриги в повести. Правда, автор более сочувствует партии состоятельных горожан и более всего ратует за тишину и порядок.

⁸⁹ Основные произведения Ф. В. Булгарина о Прибалтике перечислены в приложении.

счика, агента III отделения, который в своих газетах и журналах последовательно вёл борьбу со всем передовым, прогрессивным в русской литературе, хорошо известен. Его низкопробные реакционные рассказы и романы также давно по достоинству оценены критиками и исследователями. Произведения Булгарина о Прибалтике принципиально не отличаются от прочих его «творений»: в них мы также находим верноподданические тирады, восхваление существующего в России порядка, восхищенные мероприятия правительства. В свою статью «Ревель летом 1835 года» Булгарин вставил целый панегирик Бенкендорфу, который величается здесь «утешителем страждущих» и «защитником беспомощных». Коробит читателя и натуралистическая манера повествования Булгарина. Из его произведений то и дело выглядывает практичный мещанин, более всего заботящийся о собственном благополучии: неизменным атрибутом его «путевых заметок» является описание корчмы, где он останавливался, трактира, где он обедал, при этом автор обязательно подробно расскажет вам — плохо или хорошо и чем его кормили, дорого или дешево обошёлся ему обед, грязно или чисто было в трактире.

При всём том было бы необъективно умолчать и об иных чертах его «путешествий» по Ливонии. Отношение Булгарина к немецкому рыцарству неизменно резко отрицательное, средневековый феодализм в Прибалтике осуждается и в «Прогулке по Ливонии» (1827), и в «Путевых заметках на поездке из Дерпта в Белоруссию и обратно весной 1835 года» и во «Взгляде» на «Путевые записки» К. И. Арсеньева, опубликованные в «Библиотеке для чтения».⁹⁰ Критика остзейского рыцарства и феодальных порядков порою у Булгарина остроумна и поражает своей резкостью. «Подвиги рыцарей состояли в турнирах и в пиршествах, в междоусобных драках и в драках с городами за привилегии <...> При всем этом туземцы (т. е. поселяне), хотя озарённые извне светом христианства, едва почитались людьми, и рыцари, как известно, отдавали крестьянкам собак своих для откармливания грудью. Поселянин был в самом жалком положении, в худшем чем галерный невольник в Алжире <...> Для крестьян не заводили ни школ, ни больниц и не заботились даже о душевном их спасении. Требовалось только, чтобы они ходили в церковь, где немецкие пасторы совершали службу и говорили проповеди на чуждом языке, которого крестьяне вовсе не понимали. — Рыцари проводили мирное время на охоте или за кубком, а крестьяне должны были бегать по лесу и сгонять для них

⁹⁰ Взгляд на статью в пятом томе «Библиотеки для чтения», сочинение К. И. Арсеньева, под заглавием: «Путевые записки. Ямбург. Нарва. Псков. Изборск. Печоры. Псковская губерния. Рига. Ливония» (Северная пчела, 1834, №№ 229—232).

дичь»,⁹¹ — пишет Булгарин в своём «Взгляде» на «Путевые записки» Арсеньева.

«Рыцарство хорошо только в романах, но на самом деле оно не принесло ни малейшей пользы человечеству <...> Рыцарские обеты оставались только на пергаменте <...> Просвещения не было: каждый рыцарь был записной враг учёнья и всего письменного и почитал науки занятием недостойным благородства. Страсти управляли делами и покорялись одной только силе <...> Всё доброе и дурное для ордена клонилось всегда к большему утеснению туземцев. Счастливая война рыцарей стоила столько же кризиса и жертвованных поселян, как и несчастная. Вся тяжесть лежала на них, а между тем с ними обходились, как с дикими зверьями, и без суда предавали смерти <...> Рыцари крылись в замках, как хищные орлы на утёсах неприступных скал, и высматривали добычу для удовлетворения своим прихотям <...>»,⁹² —

замечает он в «Прогулке по Ливонии». В своих экскурсах в историю Прибалтики Булгарин неоднократно ссылается на Меркеля и очень высоко оценивает его труды.

Но нападать на современное остзейское дворянство было опасно, и трусливый Булгарин даже расточает комплименты по адресу современных баронов, хотя его подлинное отношение к ним, очевидно, далеко не было столь положительным, как это видно на примере рассказа «Три встречи». В это произведение, действие которого происходит за границей, Булгарин вставляет сатирический портрет современного барона

«из страны, где большая часть баронов ни об чём более не говорят и не думают, как о доходах, о процентах, об урожае, о винокурении, о картофелех, о лошадях и о собаках; где они женятся не по любви и даже не из-за богатого приданого, а для того, чтоб иметь в доме хозяйку и полдюжины баронят, которым можно бы было передать свои права и привилегии, и свой образ мыслей насчёт винокурения, процентов и хлебопашества. Этот барон был человек добрый, но добрый отрицательно <...>. Он готов был помочь в нужде соседу и приятелю — за шесть процентов, под верный залог; не изменял слову, но и не обещал ничего, когда представлялась хотя отдалённая возможность самонаименьшей потерн; выплачивал исправно слугам жалованье, но вычитал за каждую разбитую рюмку, за каждый растроченный сноп, не обманывал своих крестьян, но не давал больному даром порошка ревеню, а записывал чётко в долговую книгу <...> Словом, барон был человек добрый и порядочный».⁹³

Булгарин выступает в защиту эстонцев — у него есть даже специальная заметка («Несколько слов в защиту чуди белоглазой»⁹⁴), восхваляющая эстонский народ. В «Прогулке по Ливонии» он дважды вступает в полемику с немецкими публицистами, пытавшимися приписать латышам и эстонцам лишь отрицательные черты, представить их как народы варварские и неспособные к умственному прогрессу. Описывая эстонский национальный характер, Булгарин, правда, перечисляет не только положительные черты эстонцев (привязанность к своим нацио-

⁹¹ Северная Пчела, 1834, № 232, стр. 927—928.

⁹² Ф. В. Булгарин, Сочинения, т. III, Спб, 1836, стр. 339—343.

⁹³ Там же, т. I, стр. 11—12.

⁹⁴ Северная Пчела, 1833, № 188, стр. 749—751.

нальным обычаям, твёрдость и настойчивость, мужество, народная гордость), но и такие, которые, с нашей точки зрения, являются скорее отрицательными (смирение, повиновение феодальным властям и т. д.). Отметим ещё, что в «Прогулке по Ливонии» Булгарин приводит некоторые сведения об эстонской и латышской литературе.

Как же объяснить эти черты в творчестве Булгарина? Как сочетать хорошо известный нам облик реакционного писателя и агента Бенкендорфа с этими в общем положительными чертами в его произведениях о Прибалтике?

Здесь нужно учитывать ряд моментов. Во-первых, нужно отметить, что политика Николая I, конечно, защищавшая интересы дворян, внешне демагогически прикрывалась псевдодемократическими лозунгами, вроде «самодержавия, православия и народности». Булгарин в своей литературной деятельности прекрасно учитывал эту правительственную демагогию: не случайно в полемике с Пушкиным и кругом «Литературной газеты» он выступал защитником русской «народности» от аристократизма. Булгарин вообще очень любил рядиться в тогу «демократа» в период, когда русское освободительное движение ещё находилось в руках передовых дворян.

В произведениях Булгарина иногда проскальзывает очень характерное для его убеждений (если таковые у него вообще были) мысли, кстати, соответствующие идеям Николая I, о том, что народ — в особенности представители купечества — верен и предан самодержавию, царская власть в свою очередь заботится о народе, а вот дворяне вместо того, чтобы безропотно служить царю, хотя какого-то особого для себя положения. Этот булгаринский псевдодемократизм, носивший откровенно демагогический характер, нужно принимать во внимание при оценке его произведений о Прибалтике, тем более, что критиковать средневековых ливонских рыцарей было делом безопасным — ордена Ливония XIII—XVI вв. исторически была военным противником русского самодержавного государства.

Во-вторых, нужно учитывать особое положение остзейского края в Российской империи. Шовинистически настроенная часть придворных кругов уже при Николае I с известным предубеждением смотрела на то, что в Прибалтике действовали особые законы, остзейские дворяне имели особые привилегии, что государственным языком был немецкий, что проникновению русских государственных начал, даже православия, в прибалтийские губернии неизменно оказывалось — и вполне успешно — сопротивление со стороны местных немецких кругов.⁹⁵ Остзейские бароны

⁹⁵ Такого рода убеждения шовинистически настроенного русского дворянства рано нашли отражение в переписке Н. М. Языкова. В феврале 1826 г., в дни масленицы, он писал брату из Тарту: «Скучно, любезнейший, видеть, как немцы пренебрегают русскими праздниками; если б я был императором Российским, я бы заставил их и пить русский квас, и есть русские

не скрывали к тому же своего презрения ко всему русскому. Правда, при Николае I остзейским дворянам, любимцам царя, его верным слугам, имевшим большой вес при дворе, успешно удавалось нейтрализовать влияние русских дворянских шовинистических кругов, но Булгарин, который имел личные основания недолюбливать прибалтийских немцев и который всегда придерживался шовинистических взглядов во внутренней политике, учитывал эту борьбу. При этом не лишённый известного политического чутья Булгарин, видимо, понимал, что интересам царизма, русского самодержавия больше соответствует политика руссификаторства Прибалтики (её осуществил впоследствии Александр III), чем политика сохранения особых остзейских порядков, которую в угоду своим любимцам из числа балтийских баронов проводил, правда, не всегда последовательно, Николай I. Позиция Булгарина в остзейском вопросе предвосхищает позицию Каткова и поздних славянофилов (1860—80-х гг., Ю. Самарин даже раньше — в 40—50-х гг.), развернувших на страницах русской печати оживлённую кампанию против балтийского рыцарства, против особого остзейского режима, за политику руссификаторства в отношении Прибалтики. Интересно, что Катков и последователи реакционного славянофильства, требуя от правительства распространения и на Прибалтику общерусских законов, демагогически утверждали, что это надо сделать в интересах угнетаемых немецкими баронами эстонцев и латышей. Их желание «помочь» эстонцам и латышам означало на деле желание осуществить обрусение народов Прибалтики. Но демагогические выступления Каткова и иже с ним привлекали к этим кругам даже симпатии виднейших деятелей эстонского (К.-Р. Якобсон) и латышского (Х. Вальдемар) национального движения, ещё неопытных в политике и наивно возлагавших на эти круги надежду на помощь в своей борьбе за освобождение народа. Симпатии Булгарина к народам Прибалтики, его защита эстонцев и латышей от нападков немцев были того же типа, что и демагогия Каткова. Его выступление в защиту коренного населения остзейского края может даже показаться благородным и искренним, но это то же катковское «благородство», которое обмануло и деятелей эстонского и латышского национального движения.

В-третьих, надо учитывать и моменты биографического порядка. Булгарину пришлось лично столкнуться с остзейскими баронами, когда он купил под Тарту Карлову мызу. Гордое, ки-

блины, и ходить в русскую церковь, и говорить по-русски, да обрусеют и да принадлежат вовсе к огромному государственному телу России. Не правда ли, что это предположение политическое, и — шутку в сторону — его исполнение было бы полезно царству православному». Языковский архив, вып. 1, Письма Н. М. Языкова к родным за дерптский период (1822—1829). Под редакцией и с объяснительными примечаниями Е. В. Петухова, Спб, 1913, стр. 241.

чащеется древностью своих родов остзейское дворянство отличается от русского своей подчеркнутой кастовостью: на каждого человека иной национальности, тем более не знатного по происхождению, оно смотрело с пренебрежением. Булгарин с их точки зрения был «выскочкой», незаконно пытающимся втереться в благородное общество остзейских дворян, и местные помещики относились к нему свысока. К тому же Булгарину на себе пришлось почувствовать, что значат местные привилегии: во «Взгляде» на «Путевые записки» К. И. Арсеньева он с горечью пишет, что русский помещик, который приобретает имение в Ливонии, не имеет права участвовать в дворянских выборах, более того — он в течение года может лишиться имения, если какой-нибудь местный дворянин заплатит за него хотя бы столько же, сколько истратил на его покупку этот русский помещик. Были у Булгарина столкновения и с тартускими студентами-корпорантами из баронских сынков. Эти личные взаимоотношения Булгарина с местными дворянами тоже сыграли известную роль в выработке его отрицательного взгляда на остзейское дворянство вообще.

* *

*

Таковы основные произведения на ливонскую тему в русской литературе 1820—30-х гг.⁹⁶ Как видим, прошлое и настоящее Прибалтики были отображены здесь довольно подробно. Это особенно важно подчеркнуть ещё и потому, что эстонская и латышская художественные литературы в этот период только зарождались и не могли донести до читателей всё своеобразие жизни народов Прибалтики. Об интересном прошлом Прибалтики, о её современной жизни возвестили миру средством художественного слова вначале именно русские и немецкие писатели. Если принять во внимание, что ливонские повести и романы А. А. Бестужева-Марлинского, Н. А. Бестужева, В. П. Титова, И. И. Лажечникова переводились на иностранные языки, то это утверждение не будет казаться преувеличением.

При этом русские писатели относились с неизменным сочувствием к эстонцам и, за малым исключением (Н. М. Языков,

⁹⁶ Мы специально не рассматривали светской повести на ливонский сюжет (Ф. В. Булгарин, Невольная месть. Истинное событие; Влад. Владиславлев, Барон фон Флемминг и др.), поскольку отражение жизни Прибалтики в ней фактически отсутствует. Эти произведения характеризуют свои особенности, своя эволюция, общие для жанра светской повести в русской литературе вообще. Видимо, с иной литературной традицией связан и незавершённый замысел произведения А. С. Пушкина о Лифляндии, от которого сохранился отрывок «В 179* году возвращался я...» (отрывок датируется 1835 г.). Мы не остановились также на поэзии дерптского студенчества, поскольку это интересное ответвление тогдашней русской лирики имеет мало общего с выше рассмотренными произведениями на ливонскую тему. Анализ творчества дерптских студенческих поэтов надеемся посвятить в будущем специальную работу.

Е. Ф. Розен), обличали в своих произведениях основных угнетателей балтийских народов — остзейских баронов. Эта традиция, утвердившаяся под влиянием декабристской литературы, оказала воздействие даже на творчество писателей, не принадлежащих к прогрессивному лагерю.

Анализ ливонской темы ещё раз подтверждает, что русская литература всегда проявляла живой интерес к жизни населяющих Россию народов, к истории вошедших в её состав разноязычных областей. Гуманизм и народность, присущие классической русской литературе, проявились и в защите угнетенных народов России, в неизменном сочувствии к их горькой судьбе. Не случайно, русская литература почти не знала такого позорного явления, как колониальный роман.

Вместе с тем, как мы видели, анализ ливонской темы даёт дополнительные штрихи к прояснению немаловажного, хотя и частного историко-литературного вопроса о традициях декабристов в русской литературе второй половины 1820-х — первой половины 1830-х гг.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Основные произведения на ливонскую тему в русской художественной литературе 1820—1835 гг. *

1820

- 1) И. И. Лажечников, Отрывки из походных записок русского офицера (Дерпт и краткая выписка из истории города Дерпта), Соревнователь просвещения и благотворения, ч. XII. Опубликовано также в книге Лажечникова «Походные записки русского офицера», Спб., 1820.
- 2) Сведения о церкви св. Олая в Ревеле, зажжённой молнией в ночь с 15 на 16 число июля 1820 года, собранные Г. В. И. Риккерсом. Перевод с немецкого. Спб., 1820.

1821

- 3) А. А. Бестужев, Поездка в Ревель, Спб., 1821.
- 4) Усолец, О достопамятностях одного города, Отечественные записки, ч. 8.

1822

- 5) Замок Гельмет (Отрывок из живописного путешествия по Лифляндии). С нем. В. Соколов. Новости литературы, кн. I.
- 6) Замок Трейден (Отрывок из живописного путешествия по Лифляндии). С нем. С<около>в. Там же. Перепечатано в «Собрании новых русских сочинений и переводов в прозе, вышедших в свет с 1821 по 1823 год», ч. I, Спб., 1825.
- 7) Замок Кокенгаузен (Отрывок из живописного путешествия по Лифляндии). С нем. С<околов>. Там же, кн. II. 3 последних произведения, как и «Замок Венден», опубликованный в 1823 г. — см. ниже № 11, — переводы из „Bruchstücke aus einer historisch-malerischen

* Произведения расположены в хронологическом порядке по годам их появления в печати. Отмечены лишь оригинальные и переводные произведения, имеющие самостоятельное художественное значение. Статьи и заметки чисто исторического характера и перепечатки в собраниях сочинений писателя не стмечаются.

Reise durch die schönen Gegenden Livlands“, помещённых в альманахе „Livona“ за 1812 и 1815 гг.

1823

- 8) А. А. Бестужев, Замок Венден, Библиотека для чтения, составленная из повестей, анекдотов и других произведений изящной словесности, кн. IX.
- 9) А. А. Бестужев, Листок из дневника гвардейского офицера, Соревнователь просвещения и благотворения, ч. 22.
- 10) Н. А. Бестужев, Гуго фон-Брахт, Соревнователь просвещения и благотворения, ч. 24. Перепечатано в «Собрании новых русских сочинений и переводов в прозе, вышедших в свет с 1821 по 1823 год», ч. I, Спб., 1825.
- 11) Замок Венден (Отрывок из живописного путешествия по Лифляндии). С нем. С<околов>. Новости литературы, кн. V.
- 12) Р. М. Зотов, Александр и София, или Русские в Ливонии. Национальная драма в 4 действиях, Спб., 1823.
- 13) Н. М. Языков, Чувствительное путешествие в Ревель, Благонамеренный, ч. XXIII. Первопубликация под названием «Отрывки из описания путешествия из Д*** в Р***, сделанного от безделья»

1824

- 14) А. А. Бестужев, Замок Нейгаузен, Полярная звезда на 1824 год.
- 15) В. К. Кюхельбекер, Отрывки из путешествия, Соревнователь просвещения и благотворения, ч. XXVIII. Перепечатано в «Собрании новых русских сочинений и переводов в прозе . . .», ч. II, Спб., 1826.
- 16) В. К. Кюхельбекер, Адо. Эстонская повесть, Мнемозина, ч. I.

1825

- 17) А. А. Бестужев, Ревельский турнир, Полярная звезда на 1825 год.
- 18) А. А. Бестужев, Замок Эйзен. Напечатан в альманахе «Звёздочка», весь тираж которого был конфискован после декабрьского восстания. Перепечатан в «Невском альманахе на 1827 год».
- 19) ***Ветеран. Письмо из Ревеля, Благонамеренный, ч. 31.
- 20) Б. Федоров, Князь Курбский. Черты отечественных событий и русских нравов XVI в., Отечественные записки, чч. 21—23.
Отрывки из романа Б. Федорова «Князь Курбский», полностью изданного лишь в 1843 г., вслед за публикацией в «Отечественных записках» часто печатались на страницах русских журналов, газет и альманахов: см., напр., «Северную пчелу», 1831 г., №№ 39—40, 1833 г., № 45; «С.-Петербургский вестник», 1831, т. I, № VIII; «Литературные прибавления к «Русскому инвалиду», 1831, № 99; «Невский альманах на 1832 год» и т. д.
- 21) Н. М. Языков, Ливония, Мнемозина, ч. 4.
- 22) Н. М. Языков, Меченосец Аран, Новости литературы, т. XII. Полностью опубликован в «Альбоме северных муз на 1828 год».

1826

- 23) <А. П. Бочков (?)>, Екатерининтальский сад и церковь св. Николая в Ревеле, Календарь муз на 1826 год.
- 24) <А. П. Бочков (?)>, Письма из Ревеля, Благонамеренный, ч. XXXIII.
- 25) П. А. Вяземский, Нарвский водопад, Северные цветы на 1826 год.
- 26) А. Шидловский, Князь Вячко, Благонамеренный, ч. XXXIII.
- 27) Н. М. Языков, Ала. Ливонская повесть, Северные цветы на 1826 год.

1827

- 28) Л. С. <А. П. Бочков>, Монастырь св. Бригитты, Календарь муз на 1827 год.
- 29) Л. С. <А. П. Бочков>, Красный яхонт, Календарь муз на 1827 год.
- 30) Ф. В. Булгарин, Морские купальни по берегу Балтийского моря в западных губерниях, Северная пчела, №№ 122—125.

- 31) Ф. В. Булгарин, Падение Вендена, Северные цветы на 1828 год, Спб., 1827.
- 32) Ф. В. Булгарин, Прогулка по Ливонии, Северная пчела, №№ 59—64, 66—67, 70—71, 75—78, 80—82, 84—88.
- 33) В. Н. Олин, Эстонский кудесник. Русская баллада, Славянин, ч. 2, № XXI.*
- 34) <П. П. Свиньин>, Письмо П. П. Свиньина к О. М. Сомову, Северная пчела, № 88.

1828

- 35) <А. А. Бестужев>, Ливония, Невский альманах на 1829 год, Спб., 1828.
- 36) Ф. В. Булгарин, Ревель (Отрывки из «Прогулки по Ливонии»), Северная пчела, №№ 69, 71, 99 [В текст «Прогулки по Ливонии» в «Сочинениях» 1836 года эти отрывки не вошли].
- 37) Золотой рожок <Новиков>, Осень в Лифляндии, Русский зритель, ч. 2.
- 38) Отрывки из писем одной дамы о Ревеле, Сын отчества, ч. 121 [Перевод „Die Bäder am Ostseestrande. Geschildert in malerischen Briefen einer Dame an eine Freundin“, Leipzig, 1828].
- 39) П. П. Свиньин, И моя поездка в Ревель 1827 года, Отечественные записки, ч. 33.
- 40) Н. М. Языков, Романс (Конрад одевается в латы...), Невский альманах на 1829 год, Спб., 1828.

1829

- 41) Ф. В. Булгарин, Поездка из Лифляндии в Самогитию, через Курляндию, летом 1829 года, Северная пчела, №№ 103—106.

1830

- 42) Ф. В. Булгарин, Дерптская жизнь. Письмо к другу в Москву, Северная пчела, №№ 74—76.
- 43) Авг. Коцебу, Генрих Рейс фон Плауэн, или Осада Мариенбурга, Орёл, 1830 [Перевод с нем.]
- 44) Тит Космократов <В. П. Титов>, Монастырь св. Бригитты, Северные цветы на 1831 год, Спб., 1830.

1831

- 45) И. И. Лажечников, Последний Новик, или Завоевание Лифляндии в царствование Петра Великого, Спб., 1831—33.
- 46) И. Лукьянович, Город Нарва. Отрывок из походных записок офицера, Литературные прибавления к «Русскому инвалиду», №№ 25 и 27.
- 47) Яков де-Санглен, Подвиги русских под Нарвою в 1700 году. Московский телеграф, т. 40.

1832

- 48) Р. фон Берг, Герман и Маргарета (Эстляндская повесть), Радуга, кн. III—IV.
- 49) Гольст <Тизенгаузен (?)>, Эстонская песня, Радуга, кн. I.
- 50) Я. И. де-Санглен, Рыцарская клятва на гробе, или два портрета, М., 1832.
- 51) А. Унгерн-Штернберг, Русский стан под Нарвою. Перевод с нем. Тило. Литературные прибавления к «Русскому инвалиду», №№ 36—38. [Перевод повести «Das Russenlager vor Narva», «Esthona», 1828, №№ 1—4].
- 52) <В. Эртель>, Распря за календарь в Риге, Русский альманах на 1832 и 1833 годы, изданный В. Эртелем и А. Глебовым, Спб., 1832.

* Сюжет заимствован из «Истории Государства Российского» Н. М. Карамзина. Этот же сюжет был использован Н. М. Языковым в стихотворении «Кудесник», которое мы не включаем в нашу библиографию, поскольку эстонский элемент в нём фактически отсутствует.

1833

- 53) Ф. В. Булгарин, Несколько слов в защиту Чуди белоглазой, Северная пчела, № 188.
 54) П. А. Вяземский, Поручение в Ревель (Николаю Николаевичу Карамзину), Альциона на 1833 год.
 55) Поездка из Дерпта в Псково-Печерский монастырь, Литературные прибавления к «Русскому инвалиду», №№ 39—41.
 56) Е. Ф. Розен, Казнь отца в сыне (Эстонская быль 1221 г.), Альциона на 1833 год.
 57) Е. Ф. Розен, Эсты под Беверином (Быль 1207 года), Альциона на 1833 год.
 58) Н. М. Языков, Корчма, Литературные прибавления к «Русскому инвалиду», № 7.

1834

- 59) К. И. Арсеньев, Путевые записки. Ямбург. Нарва. Гдов, Псков. Изборск. Печоры. Псковская губерния. Рига. Ливония, Библиотека для чтения, т. V.
 60) Б-н — Р-н <Барон Розен (?)>, Языческий эстонский замок Варбола. Отрывок из повести, Северная пчела, №№ 4—5.
 61) Ф. В. Булгарин, Взгляд на статью в пятом томе «Библиотеки для чтения», соч. К. И. Арсеньева, под заглавием «Путевые записки. Ямбург. Нарва. Псков. Изборск. Печоры. Псковская губерния. Рига. Ливония», Северная пчела, №№ 229—232.
 62) П. Манасеин, Поездка в Кокенгаузен, Библиотека для чтения, т. IV.
 63) N. N. Скамья близ Нарвского водопада, Литературные прибавления к «Русскому инвалиду», № 89. *

1835

- 64) Автор Вечеринки молодых людей <А. Ф. Воейков ?>, Письма из Дерпта, Литературные прибавления к «Русскому инвалиду», № 18 (письмо первое) и № 44 (письмо четвертое). [Второе и третье письма не были опубликованы].
 65) Ф. В. Булгарин, Путевые заметки на поездке из Дерпта в Белорусию и обратно весною 1835 года, Северная пчела, №№ 140—141, 150—154, 175—176, 189—192, 197, 212—215.
 66) Ф. В. Булгарин, Ревель летом 1835 года, Северная пчела, № 228—230.
 67) Л. Якубович, Старый русский замок, Библиотека для чтения, т. IX.

* В статье Ульмана «Латышские народные песни» (Телескоп, 1834, ч. XXI; статья представляет собой перевод из "Dorpat'er Jahrbücher für Litteratur, Statistik und Kunst, besonders Russlands", 1834, т. II, № 5) помещены переводы 4 латышских народных песен: «Похищенная сестра», «Брат едет на войну и не возвращается», «Липовая арфа» и «Гномы».

АПОЛЛОН ГРИГОРЬЕВ — КРИТИК

Доц., канд. филол. наук Б. Ф. Егоров

Статья 1

... сверхестественные силы нужно иметь для того, чтобы после долгой, даже успешной борьбы с чем-либо живым <...> — не принять в себя некоторым образом соков того, с чем борешься...

Ап. Григорьев, Взгляд на историю России (1859).

Трудно найти в истории русской общественной мысли XIX века фигуру более сложную, чем Григорьев. Мистик, атеист, масон, петрашевец, славянофил, артист, поэт, редактор, критик, драматург, фельетонист, певец, гитарист, оратор, чистый, честный юноша, запойный пьяница, душевный, но безалаберный человек, добрый товарищ и непримиримый противник, страстный фанатик убеждения, напоминающий этим Белинского — таков облик Григорьева, мозаично рассыпавшийся на несоизмеримые элементы в глазах многих современников и потомков. Понять эту пестроту и воссоздать образ единого человека и мыслителя пытались многие. Но из-за противоречивости фигуры оценки возникали самые разнообразные: то Григорьев объявлялся величайшим критиком XIX века, то сваливался в общую могилу, где были захоронены представители «чистого искусства».

Нет возможности рассматривать все исследования об А. Григорьеве. Достаточно упомянуть, что и в советском литературоведении высказывались о нем самые разнообразные мнения: «идеолог преимущественно купеческого класса»,¹ «защитал теорию «чистого искусства»,² оставался «до конца жизни славянофилом»,³ «с буржуазией были связаны его политические чаяния»,⁴

¹ Очерки по истории русской критики, под ред. А. Луначарского и Вал. Полянского, т. I, М.—Л., 1929, стр. 312.

² Характеристика в именном указателе ко 2-му тому Полного собр. соч. Н. А. Добролюбова в 6 тт., ГИХЛ, 1934—1941, стр. 732.

³ А. Г. Цейтлин, Русская литература первой половины XIX века, М., 1940, стр. 504.

⁴ Еф. Мейерович, Аполлос Григорьев — критик Островского, Театр, 1940, № 10, стр. 150.

его критика «реакционная и формалистическая»,⁵ «либерал Григорьев»⁶ и т. д.

Главная причина такого разнобоя заключалась в том, что, помимо беглых очерков, не было ни одного более или менее обстоятельного марксистского труда о Григорьеве, где бы в полной мере привлекалось обширное наследие критика, богатые архивные материалы, где бы эволюция идей критика была рассмотрена на фоне движения общественной мысли России.

В последнее время, наконец, появились обобщающие исследования о творчестве Ап. Григорьева: соответствующая глава в «Истории русской критики», изданной Академией наук СССР (т. I, 1958) (автор главы — У. А. Гуральник), и вступительная статья П. П. Громова к «Избранным произведениям» Ап. Григорьева в «Большой серии библиотеки поэта» (Л., 1959); большую ценность также представляют комментарии в этой книге (автор — Б. О. Костелянец).

Но У. А. Гуральник, ограниченный рамками небольшой главы в обширном сводном труде по истории русской критики, смог дать лишь самую общую характеристику взглядов Григорьева, не прослеживая сложной эволюции мыслителя и почти не останавливаясь на противоречивой диалектике взаимосвязей социальной, философской и эстетической позиции критика. П. П. Громов детально анализирует путь Григорьева-поэта, но, естественно, его критические взгляды рассмотрены в статье лишь попутно.

В настоящей работе сделана попытка дополнить имеющиеся исследования и впервые рассмотреть относительно подробно творческий путь Григорьева-критика. Ввиду большого количества трудов, посвященных различным сторонам и различным этапам его деятельности, постараемся по возможности не повторять уже известных фактов и отсылать в таких случаях читателя к соответствующим источникам.

Григорьев вошел в литературу 1840-х годов с невероятной путаницей взглядов и стремлений. Я. Полонский писал уже после смерти критика: «Помню Григорьева, проповедующего поклонение русскому кнуту — и поющего со студентами песню, им положенную на музыку: долго нас помещики душили, станковые били! Помню его не верующим ни в бога, ни в чорта — и в церкви на коленях, молящегося до кровавого пота. Помню его как скептика и как мистика».⁷

Действительно, в его сознании одновременно скрещивались

⁵ БСЭ, 2-ое изд., т. 12, 1952, стр. 604.

⁶ М. А. Наумова, Социологические, философские и эстетические взгляды Н. А. Добролюбова, М., изд. АН СССР, 1960, стр. 240.

⁷ Неизданные письма <...> Из архива А. Н. Островского, 1932, стр. 455.

и «неистовая» словесность Франции, и Фурье,⁸ и масонство и «наполеонизм»,⁹ и Шеллинг, и христианская религия, и кружок Петрашевского.

Мощные веяния общественной мысли первой половины XIX века, часто и сами еще не отделившиеся друг от друга (утопический социализм и христианство, например), бросали свои различные семена в страстную восприимчивую душу молодого человека. Поэтому невозможно говорить о системе его взглядов в первые годы деятельности. Система заключалась в бессистемности. В области общественной критик нападал и на западников,¹⁰ и на славянофилов,¹¹ а подчас соглашался с теми¹² и другими.¹³

Критические отзывы раннего Григорьева (1844—1847) также крайне противоречивы. Здесь можно усмотреть воздействие Белинского и натуральной школы: требование отражать сущность явлений, внимание к повседневной прозе жизни, развенчание романтического индивидуализма («не смешон ли, не жалок ли человек, который среди общего стога слышит только свою песню, среди страшных общественных явлений обделывает с величайшим старанием свою маленькую статульку, и любит ее, когда кругом него страшные, бледные, изнуренные голодом лица?»¹⁴), положительная оценка произведений, типичных для натуральной школы: «Кто виноват?» Герцена,¹⁵ «Обыкновенной истории» Гончарова,¹⁶ повестей Панаева¹⁷ и т. п.

⁸ Превосходный анализ своеобразного «фурьеризма» Григорьева дал Б. О. Костелянец (Ап. Григорьев, Избранные произведения, Л., 1959, стр. 525—526, 535, 560—561).

⁹ Благодаря открытиям Б. Я. Бухштаба окончательно доказывается участие Ап. Григорьева в масонских организациях (см. Б. Я. Бухштаб, «Гимны» Аполлона Григорьева, Ученые записки Саратовского гос. университета, т. LVI, Саратов, 1957). Автор хорошо показал «соединимость» социалистических и христианских идей в мировоззрении Григорьева.

Очень тонко диалектика масонства и «наполеонизма» в сознании молодого Григорьева вскрыта Б. О. Костелянцем (ук. соч., стр. 570).

¹⁰ Защищая, например, от нападок «Выбранные места...» Гоголя (см. его рецензию в «Московском городском листке», 1847, №№ 56, 62—64).

¹¹ См. его рецензию на славянофильский «Московский сборник» (Московский городской листок, 1847, №№ 127—131).

¹² В духе либерализма 1840-х гг. Григорьев отрицательно относился к крепостному рабству (и резко же отрицательно характеризовал идею об уравнительном разделе земли) (см. Моск. гор. листок, 1847, № 270), защищал европейское просвещение, за что подвергся нападкам Шевырева (там же, №№ 33, 39).

¹³ См. его рецензии на роман А. Вельтмана «Новый Емеля» (Финский вестник, 1846, т. VIII, март) и на книгу проповедей Филарета (там же), под которыми подписался бы любой правовеверный славянофил.

¹⁴ Русская драма и русская сцена. I. Вступление, Репертуар и пантеон, 1846, № 9, стр. 429.

¹⁵ Обзорные журнальные явления за январь и февраль, Московский городской листок, 1847, № 51.

¹⁶ Обзорные журналов за март 1847 года, там же, 1847, № 66.

¹⁷ См. прим. 15.

Но уже возникали, пока в зародыше, будущие идеи «органической» критики: вытеснение социальных проблем абстрактно-нравственными,¹⁸ критика натуральной школы за «фатализм», за перенос вины на среду и игнорирование «свободы воли» человека.¹⁹ Усиливаются религиозные настроения, отразившиеся в рецензиях «Финского вестника» и в письмах к Гоголю.

Григорьев с трудом освобождается из-под влияния масонства и «христианского социализма» Жорж Занд. В его автобиографической повести «Другой из многих» (1847) alter ego автора — Чабрин — в конце концов убивает на дуэли своего искусителя — «мефистофеля» и «масона» Имеретинова (тем самым как бы символизируется отказ героя от идей бывшего друга и учителя), но Имеретинов все же возведен на недостижимый пьедестал, как выдающаяся личность, к которой тянется герой, которая покоряет женские сердца.

Григорьеву еще нужно было пережить 1848 год, нужно было войти в качестве равноправного члена в кружок Островского в 1850—1851 году, чтобы отказаться от многих «заблуждений молодости» и выработать более или менее последовательные принципы. Это произошло в кружке Островского, в так называемой «молодой редакции» «Москвитянина». О Григорьеве этих лет можно говорить уже как о зрелом, хотя по-прежнему противоречивом мыслителе.

Чтобы яснее понять сущность этих противоречий, остановимся на социальной позиции критика. Если обратиться к письмам Ап. Григорьева, особенно заграничного периода, когда он был домашним учителем молодого князя Трубецкого, то бросается в глаза острая ненависть автора к аристократическому миру. Сам же Григорьев постоянно называл себя «демократом».²⁰ Разумеется, автохарактеристика еще не является доказательством (разве мало в истории примеров, когда самые отъявленные реакционеры пытались говорить от имени народа!). И все же в целом Григорьев был, действительно, демократом. Дело, конечно, не только в антипатии к аристократизму. Важно в первую очередь определить, интересы какой общественной группы защищает мыслитель. Наследие Григорьева неопровержимо доказывает демократизм автора. Возьмем такой яркий пример. При анализе «Князя Серебряного» А. К. Толстого он буквально обрушился на романиста, который сваливал ответственность за

¹⁸ См. истолкование народной жизни и отражения ее в искусстве в «Обозрении журнальных явлений за январь и февраль» (там же, № 52).

¹⁹ См. Обозрение журналов за апрель, там же, № 116.

²⁰ См. А. А. Григорьев. Материалы для биографии, под ред. В. Княжнина, Петроград, 1917, стр. 184, 185, 229 и др. В дальнейшем ссылки на это издание сокращаются до первой буквы фамилии редактора и страницы: К, 184 и т. д.

Ссылки же на «Сочинения Аполлона Григорьева» под ред. Н. Н. Стрехова, Спб., 1876, сокращаются в дальнейшем до страницы (например: 251). Сокращенные ссылки даются прямо в тексте статьи.

зверства эпохи Ивана Грозного на равнодушие народа. Какого народа? — спрашивает критик, — «народ умел стоять за себя, когда дело касалось его интересов. Если он молчал, если Грозный становился все грознее и грознее, то потому, что народ не сочувствовал оппозиции земских бояр по той простой причине, что солоны ему самому были эти земские бояре, которых хочет наш романист выставить защитниками его прав против опричнины». Когда же опричнина, продолжает критик, касалась народа, «он умел постоять за себя, что гениально угадано Лермонтовым». «Этого народа не видел или не хотел видеть» А. Толстой, заканчивает мысль Григорьев.²¹ Как видно, в оценке русской истории XVI века критик в корне расходился с либерализмом и приближался к крестьянско-фольклорной точке зрения.

Неоднократно заявляя о «единстве», «целостности» нации, Григорьев, однако, основную «жизненную силу» видит все же в низших слоях: в крестьянстве и — особенно — в купечестве, в городском мещанстве (широко известна соответствующая фраза из письма Григорьева к Кошелеву²² — см. К, 151).

²¹ Время, 1862, № 12, стр. 51.

²² Очень интересна также оценка Григорьевым своих взглядов и характеристика славянофильства и западничества как дворянских течений в его неопубликованном письме к Погодину: «Как скоро славянофилы видят народное начало только в одном крестьянстве (потому что оно у них связывается с старым боярством), совсем не признавая бытия чисто великорусской промышленной стороны России, — как скоро славянофильство подвергает народное обрезанию и холощению во имя узкого, условного, почти пуританского идеала — так славянофильство, во имя сознаваемой и исповедуемой мною правды, становится мне отчасти смешно, отчасти ненавистно как барство с одной стороны и пуританство с другой.

Правда, мною (да, кажется, и вами) сознаваемая и исповедуемая, ненавидит вместе с западниками и сильнее их деспотизм государственный и общественный, — но ненавидит западников за их затаенную мысль узаконить, возвести в идеал распутство, утонченный разврат, эмансипированный блуд и т. д. Кроме того, она не помирится в западничестве с отдаленнейшим его мыслию, с мыслию об уничтожении народностей, цветов и звуков жизни, с мыслию об отвлеченном, однообразном, форменном, мундирном человечестве. Разве социальная блуза лучше мундиров блаженной памяти и <императора> Н<иколая> П<авловича> незабвенного, и фаланстера лучше его казарм? В сущности, это одно и то же.

Как с славянофильством, так и с западничеством расходится исповедуемая мною правда в том еще, что и славянофильство, и западничество суть продукты головные, рефлексивные, а она, *tant bien que mal*, порождение жизни. Положим, что мы и точно порождение тракторов, погребков и б... как звали вы нас некогда в порыве кабинетного негодования — но из этих мест мы вышли с верою в жизнь, с чувством или лучше чутьем жизни, с неистощимою жаждою жизни. Мы не ученый кружок, как славянофильство и западничество: мы — народ.

Между тем, попробуйте убедить славянофильство, что народ, для которого оно пишет, ничего не понимает в том, что оно пишет, — что мысль холощенная — недействительна, или попробуйте убедить западничество в том, что горбатый Леонтьев или последняя немецкая монография не есть венец разума человеческого!

Посмотрите, какое странное, почти нежное отношение господствует в сущности между двумя учеными кружками. Западники, ругая Филиппова, меня,

Мировоззрение, быт, нравы этого круга близки к идеалу Григорьева; по крайней мере, в некоторые периоды деятельности он неоднократно будет призывать опуститься до народного сознания: «понимание и чувство народа составляют высший критерий» (450) (см. также 532 и след.; эта точка зрения резко отлична от революционно-демократической; «шестидесятники» стремились поднять народное сознание до уровня передовых идеалов эпохи).

Одним из главных достоинств народного мировоззрения Григорьев считал религиозность (шеллингианское «божественное откровение» сближалось при этом с народным суеверием!). Критик ненавидел официальную церковь, он раздраженно писал Погдину о «богопротивных брошюрках святейшего Синода, церкви, иже о Христе жандармствующих»,²³ но пытался, как говорил Ленин о Толстом, «поставить на место попов по казенной должности попов по нравственному убеждению».²⁴

Официальной церкви Григорьев противопоставил понятие христианства как религии братства и помощи обездоленным. Этим объясняются его неоднократные заявления, что именно «в православии <...> заключается истинный демократизм» (К, 226). Помощь обездоленным мыслилась не в плане социальных преобразований, а в виде... милостыни. Характерно, что резко критикуя содержание некрасовского стихотворения «Еду ли ночью по улице темной», Григорьев противопоставляет героине бедных женщин, которые с гробиком в руках просят на улице подаяния (329—330). Этическое возвеличивание милостыни было настолько значительным в мировоззрении Григорьева, что даже в одной из самых «бунтарских» своих статей («Стихотворения Некрасова») он повторил этот упрек поэту и опять идеализировал женщин «с маленькими гробиками, нередко довольно наполненными медными деньгами благочестивого и доброго русского люда».²⁵ Опираясь на народное суеверие, на представление забитого крестьянина о милостыне как

Бессонова, Крылова, спешат всегда оговориться насчет несомненного благородства истинных славянофилов. У них есть в этом и расчет (как вообще я предполагаю у них формальный государственный и литературный заговор с Строгановым во главе). Этим они показывают, что умеют различать бар от холопов — а бары, по гордости и некоторой тупости, в сущности сему радуются, выдают и будут всегда выдавать (т. е. предавать — Б. Е.) новые элементы, привившиеся к их принципу.

Посмотрите, с другой стороны, как бары (они же — православные и славянофилы) постоянно с глубоким уважением спорят с «Русским вестником» и кадят ему, как ярый К. С. Аксаков торопится извиниться перед Соловьевым за ловкую статью Ярополка!» (письмо 1856—1857 гг. Рукописный отдел. Гос. библиотеки СССР им. В. И. Ленина, архив М. П. Погодина, раздел II, картон 9, № 37; в дальнейшем ссылки на этот архив даются сокращенно: ЛБ Пог./II. 9. 37). Здесь и в дальнейших цитатах разрядка авторов.

²³ Письмо от 11 мая 1859 г. ЛБ. Пог./II. 9. 35.

²⁴ В. И. Ленин, Соч., т. 15, стр. 180.

²⁵ Время, 1862, № 7, стр. 46.

этически положительном поступке (подобные этические воззрения крепостного крестьянства нашли частично отражение и в творчестве Некрасова — см., например, стихотворение «Влас»), Григорьев возводит религиозность и «братскую» помощь милостыней в идеал.²⁶

Близки к народным и некоторые черты эстетических взглядов Григорьева. Poleмика с идеями тургеневского «Помещика» выливается в статье Григорьева в горячую защиту простой и здоровой жизни: «Удивительная вообще была вражда к простору и, главное дело, к здоровью — в былые годы литературы. Случалось ли автору попадать, например, на провинциальный бал, ему становилось несносно видеть здоровые и простодушные девические физиономии <...> Качества веселости, доброты и здоровья особенно не нравились авторам» (54). Правда, здесь речь велась не о крестьянских девушках, но для Григорьева «здоровые и простодушные» лица провинциалок из дворян или из среднего сословия — символ близости к народной жизни.

Нет никакого сомнения, что все эти качества очень близки к тем представлениям крестьянина о женской красоте, о которых так подробно говорил в своей диссертации Чернышевский (но Чернышевский не возводил эти представления в идеал, для него, как разночинца, важнее другое: «Истинная жизнь — жизнь ума и сердца» — II, 11²⁷).

В. И. Ленин употреблял термин «демократ», в основном, в двух смыслах: для характеристики передового деятеля, выразителя интересов народных масс (даже если массы еще и не дооросли до глубокого понимания своих интересов) — и идеолога, отражающего современное состояние народного сознания, т. е. и забитость, и невежество крестьянина. Ленин называл это «темным мужицким демократизмом».²⁸ Действительно, чаще всего такие идеологи отражали именно темные стороны народного сознания (и это иногда давало возможность их идеям сближаться с отдельными положениями дворянских и буржуазных реакционных течений общественной мысли: ведь «темные» стороны народного мировоззрения фактически были антинародными, реакционными, объективно служили интересам господст-

²⁶ Крайне интересно, что в личной практике Григорьева человеческое достоинство брало верх над «теоретическим» оправданием милостыни. Например, он пережил, как сам называл, «одну некрасовскую ночь», когда достигла кульминации болезнь его ребенка, а у обитателей сырой комнаты не было ни дров, ни денег, ни хлеба. Однако Григорьев не послал любимую женщину просить подаюния на улицу (согласно его принципам!) и гордо не попросил денег у Эдельсона, старого товарища, навестившего его в трущобе: «Он помощи не предлагал... А я — ни слова не сказал» (подробнее об этом эпизоде см. в письмах Григорьева к Эдельсону и в его автобиографической поэме «Вверх по Волге», откуда взята последняя цитата).

²⁷ Здесь и в дальнейшем ссылки даются по «Полному собр. соч.» Н. Г. Чернышевского в 16 тт., М., 1939—1953 (с указанием тома и страницы).

²⁸ В. И. Ленин, Соч., т. 19, стр. 350.

вующих классов). Понятно, что мировоззрение подобных демократов могло быть не только не революционным, но и антиреволюционным, и тем самым революционно-демократическая идеология оказывалась им прямо враждебной.

Мировоззрение Ап. Григорьева, при всей его сложности, очень близко (хотя и не всегда) к демократизму в таком смысле. Созревшее в эпоху душного николаевского царствования, в эпоху отсутствия революционности в народном сознании, но значительного роста революционных идей в передовых кругах русской интеллигенции, это мировоззрение естественно сплеталось с романтически-идеалистической философией. Учение Шеллинга было, если говорить социологически, романтической реакцией дворянства на неумолимый ход буржуазного развития Европы. В России революционно-разночинские идеи 1840—1850-х гг. вели объективно страну также на буржуазные рельсы. Правда, реакция Ап. Григорьева была *неревoluционно-демократической*, а не дворянской. Однако постольку, поскольку это тоже была реакция на прогрессивную поступь исторического развития, она могла стать идеалистической, романтической и брать «на вооружение» шеллингианскую философию.

С начала 1850-х годов Григорьев приходит к окончательному отказу от идей социализма, даже в христианском облачении. С этого времени не только Фурье, но и «христианский социализм» Жорж Занд, мистическое «братство» масонов — воспринимаются им как догма, теория, как «безобразия, испортившие «Консуэло» и наполнившие вздором три четверти «Графини Рудольштадт»» (349). Былой восторг сменился отвращением: «нельзя спокойно и не оскорбляясь за здравый смысл и нравственное чувство, переварить дикую историю «Невидимых», купно с изложением их таинственного учения в «Графине Рудольштадт»» (167).

Григорьев теперь всякое учение, любую теорию воспринимает как нежизненное и даже противоестественное явление, как сухую догму, авторы которой используют лишь прокрустов способ обращения с жизненными фактами. Само слово «теория» употребляется в статьях Григорьева лишь в «ругательном», дискредитирующем смысле. Учение Гегеля, концепции Белинского, натуральная школа, теория «искусства для искусства» и даже близкое критику славянофильство — все это объявляется «теорией», догмой, искусственно сужающей жизненные явления, рассматривающей лишь какую-то одну сторону факта.

Единственное исключение Григорьев делает для философии Шеллинга (причем, как он неоднократно подчеркивал, — Шеллинга всех периодов; см., напр., К, 247). Идеи всеобщей гармонии, религиозно-интуитивного самопознания; слияния, тождества человека и природы, осуществляемого в искусстве — были для Григорьева спасением от неизвестно куда бегущей жизни, от бурного бытия, полного «случайностей». Не понимая закономер-

ностей жизненного развития, не видя никакой логики в поступательном ходе истории, он воспринимал также и современные социальные и эстетические теории как зыбкие, «неосновные», не способные объять жизнь в целом, а лишь искусственно разрезающие органическое единство бытия, лишь анализирующие действительность (кстати сказать, в критике эпигонов натуральной школы или философов-позитивистов Григорьев был совершенно прав; другое дело, что он к антисинтетическим, к исключительно анализирующим теориям относил и учение революционных демократов).

Все более ускоряющийся ход общественного развития, «гегелевский» мир скачков и переворотов, стремительной диалектики жизни — оказался страшен для Григорьева. После 1848 года уже невозможно было не понимать, что между диалектикой Гегеля и революционными учениями существует довольно тесная связь. Понятно поэтому, что Григорьев решительно боролся с гегелевской теорией. Идея о «безграничном развитии», безначальном и бесконечном, рассматривается критиком как «бездонная пропасть, в которую стремглав летит мысль, без малейшей надежды за что-либо ухватиться, в чем-либо найти точку опоры» (206). Тем самым Гегель, по мнению А. Григорьева, отрицал вечный идеал, что якобы приводит к «безразличию нравственных понятий», к аморализму. А идея детерминизма явлений воспринимается Григорьевым как чисто фаталистическая, отрицающая свободу души, «самоответственное бытие» народов и личностей (208) и целиком подчиняющая жизнь железной логике развития абстрактного духа.

Видя действительные слабые стороны и противоречия гегелевской концепции («человек, провозгласивший закон вечного развития, останавливает все развитие на германском племени» — 206), Григорьев, однако, решительно объявляет «гегелизм» в целом несостоятельным и считает, что шеллингизм «потрясло» и заставило «вымереть» гегелевские принципы.²⁹

Но в том-то и заключается сила всякого учения, имеющего всемирно-исторический резонанс, что оно оказывает могучее воздействие даже на мыслителей враждебного лагеря, если только они талантливы и искренни, а Григорьев был таковым. «У жизни есть не одно настоящее, а есть прошедшее и будущее, и то только в ее настоящем существенно, что так или иначе, положительно или отрицательно, связано с прошедшим, что носит в себе семена будущего» (141). Григорьев хотел в этой фразе

²⁹ См.: Взгляд на книги и журнальные статьи, касающиеся истории русского народного быта, Время, 1861, № 4, стр. 173—174.

Следует впрочем оговориться, что в 1860-е годы Григорьев несколько изменил свое отношение к Гегелю и сделал объектом своей полемики последователей философа (об этом см. ниже); в частности, в данной статье речь идет именно о «гегелизме левой стороны», т. е. о левых гегельянцах, говоря нашими терминами, а не о самом основателе метода.

выразить идею вечной преемственности, но в ней невольно звучит и «гегелевская» мысль о развитии, о переходе явлений из одних форм в другие. И в своей литературной практике Григорьев очень часто рассматривает именно развитие от низших форм к высшим (см., например, анализ движения русской литературы от «допотопных образований» Полежаева и Марлинского — к Лермонтову, от Лажечникова — к Островскому — 227). Характерно, что одна из самых обстоятельных статей Григорьева называется «Развитие идеи народности в нашей литературе со смерти Пушкина». При этом Григорьев стремился показать качественное отличие современных писателей от «допотопных».

Однако многое в философских и эстетических построениях Григорьева имело исходной точкой учение Шеллинга. Народ, считал он, является по своей сущности вечным, неизменным (в отличие от славянофилов и западников, Григорьев указывал, например, что русский народный характер нужно рассматривать в «органической целостности» допетровской и послепетровской поры — 238).

Индивидуальные характеры, будучи конкретными и обусловленными эпохой, также имели «вечные» черты, человеческая душа оказывалась сложной, полной таинственных страстей и порывов (Григорьев и о себе писал: — «я впадаю вечно в стихийные стремления» — К, 226).

Из этого естественно вытекала идея о второстепенном значении социальных преобразований в жизни («вопрос о нашей умственной и нравственной самостоятельности» значительно важнее вопросов о «крепостном состоянии» и о «политической свободе» — К, 270). Не переделывать жизнь, а воспринимать ее такой, какова она есть — вот основной принцип Григорьева: «Жизнь любить — и в жизнь одну верить, подслушивать биение ее пульса в массах, внимать голосам ее в созданиях искусства и религиозно радоваться, когда она приподнимает свои покровы» (459).

Но фактически Григорьев всегда решительно вторгался в жизнь, защищая одно, отрицая другое. Вообще, проповедуя идеалистический принцип «вечности души», критик в то же время неоднократно подчеркивал, что явления жизни отражают определенные закономерности данной эпохи, данной страны. «Все идеальное есть ни что иное, как аромат и цвет реального» (202), поэтому и «идеал», «душа» оказываются для Григорьева «цветными», т. е. полнокровными, конкретно-современными явлениями. Подходя к жизненным фактам как к продуктам эпохи (до социального детерминизма Григорьев не дошел, остановившись на обусловленности эпохой в целом), призывая художников улавливать новые, возникающие явления, видя в искусстве отражение типических черт современной жизни, критик сближался с демократической эстетикой.

А от Шеллинга исходило чрезвычайно высокое значение, придаваемое искусству. Естественно, что, если жизнь весьма сложна, а иногда даже алогична, и душа полна сокровенных тайн, то отразить эти явления наиболее полно сможет не наука, а искусство. Отсюда — многократные заявления Григорьева о превосходстве искусства над наукой (К, 150; К, 182 и др.), о исключительном значении искусства: «художественное произведение для меня есть откровение великих тайн души и жизни, единственное порешение общественных и нравственных вопросов» (406).

Нравственные проблемы при этом выдвигаются на первый план. Григорьев, правда, видит их связь с общественными: «Современные душевные вопросы» «столь же важны, как и наши гражданские; они, может быть, глубоко связаны и с теми последними» (358). Однако критик считает, что нравственное — шире, богаче, сложнее социального, что этические категории и нормы (сближаемые с христианской моралью — см. 257, 262) — вечны; «не вечная правда судится и измеряется веками, эпохами и народами, а века, эпохи и народы судятся и измеряются по мере хранения вечной правды души человеческой и по мере приближения к ней» (210).

На протяжении многих лет Григорьев обвинял революционных демократов в попытках решить все проблемы жизни путем установления социалистического строя, он усматривал в этом игнорирование сложностей человеческой души, ее трагедийных конфликтов. В такой позиции была и слабость, и сила. Слабость — в слепом непонимании того, что лишь социально-политическое уничтожение реакционного строя создаст предпосылки для свободного развития человеческих душ. Сила — в видении просветительской ограниченности революционно-демократической теории.

Ап. Григорьев, правда, не знал, что «теоретику» Чернышевскому принадлежат такие мысли: «Убеждения не составляют еще всего в жизни — потребности сердца существуют, <...> не от мировых вопросов люди топятя, стреляются, делаютя пьяницами» (XIV, 322). Но действительно, Чернышевский искренне верил, что с помощью разума передовой человек относительно легко преодолет все душевные трагедии. В романе «Что делать?» автор лишь бегло упоминает об этих трагедиях и, наоборот, обстоятельство подчеркивает возможность полного их изживания: все три героя — Лопухов, Вера Павловна, Кирсанов — довольно быстро смогли окончательно преодолеть сложный конфликт и выйти из него победителями, счастливыми и веселыми.

Увидев эту слабость концепции, Григорьев ухватился за нее и объявил несостоятельной теорию в целом. Он не знал, что материалисты, избавившиеся от просветительских иллюзий, отнюдь не будут считать справедливым социальный строй лекарством от всех трагедий души. Маркс, например, подчеркивал, что

именно при истинно-человеческих отношениях неразделенная любовь станет «бессильной», станет «несчастьем». ³⁰ Ленин, изучая перед II съездом партии плехановский проект партийной программы, критиковал, наряду с прочими, и пункт, где абстрактно говорилось о полном освобождении человечества; Ленин отметил, что лучше воспользоваться конкретной марксовой формулировкой («уничтожение деления на классы»), ибо «все» угнетенное «человечество» еще не знаю, освободим ли мы: например, угнетение тех, кто слаб характером, теми, кто zelo твердо характером». ³¹ Думается, что ирония, которая чувствуется в этой фразе, направлена не только в адрес Плеханова, но и вообще против наивно-просветительской веры в возможность полного исчезновения внесоциальных трагедий.

В соответствии с отмеченными выше принципами Григорьев устанавливал и задачи критики.

Свой метод он назвал в конце концов, после некоторых изменений, органической критикой, а основателем этого метода считал Карлейля (198). Григорьев совершенно справедливо характеризовал Карлейля как «отражение лучшей шеллингова гения на англосаксонской почве» (640). ³² Действительно, у Карлейля мы найдем и учение о таинственности человеческой души и вечной и неизменной жизни в целом, и приоритет абстрактно-нравственных проблем над социальными, и представление о художнике, как о вдохновенном ясновидце, открывающем «покровы тайны», и, соответственно, мысль о громадной роли и интуиции в художественном творчестве и критике (у Григорьева то же: «взгляд на искусство как на синтетическое, цельное, непосредственное, пожалуй, интуитивное разумение жизни, в отличие от знания» — 334). Несомненно, Карлейль оказал не меньшее (если не большее) воздействие на Григорьева, чем Шеллинг, т. к. был писателем и критиком (т. е. действовал в сфере, особенно близкой Григорьеву). ³³ Во всяком случае Григорьев неоднократно заявлял о большом значении Карлейля в его жизни.

Вслед за Шеллингом и Карлейлем Григорьев рассматривал художника как пророка, проповедника: «истинная истина не доказывается, а проповедуется» (355). Из враждебных деятелей лишь те получали положительную оценку Григорьева, в облике которых заметно выделялись черты «пророка»: «Грановский был

³⁰ К. Маркс и Ф. Энгельс, Из ранних произведений, Госполитиздат, 1956, стр. 620.

³¹ В. И. Ленин, Соч., изд. 4-е, т. 6, стр. 37. (Указано Я. С. Билинским).

³² Ср. характеристику Карлейля в рецензии молодого Энгельса: «Все его воззрения непосредственны, интуитивны, больше в духе Шеллинга, чем Гегеля» (К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, изд. 2-е, т. I, стр. 589).

³³ На это впервые указал Л. Гроссман (см. в его книге «Три современника», М., 1922, главу «Аполлон Григорьев», стр. 57).

не ученый, а актер на кафедре, т. е. оратор, проповедник, но в этом-то и его значение» (К, 195).

Однако основной пафос «органической критики» Григорьева — защита в искусстве «мысли сердечной» и борьба с «мыслью головной» (199). Григорьев страстно нецарил «сделанные», «сочиненные» произведения искусства, т. е. созданные по заранее заданной схеме, и считал истинно художественными лишь те, которые представляют собой синтез мысли и души, ума и сердца художника, охватывают наиболее типические, наиболее значительные явления жизни во всей глубине и целостности, без упрощенных решений и схематического насилия.

Именно в «органичности», «живорожденности» произведения видел Григорьев силу громадного общественного воздействия искусства на массы, его «проповеднический» характер.

Он был страстным врагом навязывания искусству решений, идущих от «головы», от голой теоретической схемы, а не от жизни.

С таким отношением к искусству тесно связано увлечение Григорьева театром. Он был восторженным почитателем этого жанра, активнейшим зрителем, сам писал и переводил пьесы и, наконец, был театральным критиком. Театральные рецензии занимают в его наследии одно из самых значительных по количеству и качеству мест.

Именно в области театральной критики Григорьев был в известной мере продолжателем Белинского, т. к. здесь он наиболее последовательно проводил принцип проверки искусства действительностью: рассматривал, в первую очередь, насколько типичны образы, конфликт драмы, насколько естественна игра актеров. Еще в 1845 г., в весьма противоречивый период своей деятельности, он утверждал драматургические принципы, которые мы можем смело назвать реалистическими:³⁴ автор требовал свести драму с романтического «пьедестала», т. к. «повседневные явления <...> столько же важны, как исключительности»; театр — «приближение искусства к потребностям жиз-

³⁴ Сам Григорьев в начале своей деятельности не употреблял этого термина. Во второй половине 1850-х гг. «реализм» отождествляется критиком с «натурализмом», чему противостоят «идеализм», как метод, вносящий в искусство поэзию и идеал; идеализм должен сочетаться с «реализмом формы», и тогда возникает настоящее, художественное произведение. Такие идеи Григорьев развивает в статье «Реализм и идеализм в нашей литературе. (По поводу нового издания сочинений Писемского и Тургенева)» (Светоч, 1861, № 4). Писемский, разумеется — реалист, Тургенев — идеалист.

В 1860-х гг. Григорьев уже не противопоставляет «реализм — идеализм», а для безидейного реализма, т. е. для натурализма, употребляет термин «голый реализм» (см., например статью «О Писемском и его значении в нашей литературе» — Якорь, 1863, № 18); «настоящее» же искусство, где сочетается «полнейшая жизненность» с «идеалом», он называет теперь «истинным реализмом» (см. рецензию на оперу А. Серова «Юдифь» — Якорь, 1863, № 12).

ни»; задача драмы — уловить «ту особенную сторону жизни, которая движет известным веком и известным народом». ³⁵

Показательно, что Григорьев ни разу за свою жизнь не обманулся и не похвалил нереалистическую пьесу. В области театра его кумиром и недостижимым образцом всегда оставался Шекспир. Из русского репертуара Григорьев выделял «Горе от ума», пьесы Островского, «Горькую судьбину», «Свадьбу Кречинского». В течение 20 лет критик боролся с эпигонами романтизма, а также с пошлостью и халтурой на сцене. Он развенчивал ремесленные поделки, язвительно высмеивал ходульность в игре актеров, вводя термин «бурдинизм», якобы, образованный от слова «бурда», а между тем прозрачно намекавший на ломающегося на сцене Бурдина. ³⁶ Григорьеву принадлежат глубокие и тонкие разборы актерской игры, особенно игры крупных артистов реалистической школы: Щепкина, Мартынова, Садовского, С. Васильева, Живокини, Косицкой.

В конце 1840-х и в течение всех 1850-х годов Григорьев, бесспорно, был ведущим театральным критиком России. Таковым же он остался и в период революционной ломки. Дело в том, что «шестидесятники», занятые насущной политической борьбой, почти не уделяли внимания театру — ни в области художественного творчества, ни в области критики. Поэтому как раз в театральной сфере у Григорьева не мог возникнуть конфликт с революционно-демократическим лагерем, не могло быть серьезных «соперников». И критик с полным основанием утверждал: «кроме нас никто театром серьезно не занимается». ³⁷ И в начале 1860-х годов Григорьев продолжает бороться за естественность и глубину актерской игры, за расширение репертуара реалистических пьес, за расширение сферы деятельности театра, за «демократизм искусства». ³⁸ Очень интересны также его суждения об опере, которая должна, с его точки зрения, стать доступной широким слоям населения: «Как демократ, я, разумеется, вагнерист, ибо принцип, что опера есть драма — <...> принцип

³⁵ Об элементах драмы в нынешнем русском обществе, Театральная летопись, 1845, № 8, стр. 75.

³⁶ Зато и злились же на критика бездарности! Его «тезка», актер Григорьев подавал на него даже в суд за оскорбление личности (см. об этом в статье Ап. Григорьева «Хроника спектаклей» — Якорь, 1863, № 25). По воспоминаниям В. С. Серовой, Григорьев вынужден был завести специальную палку с набалдашником, т. к. артисты делали попытки ... избить его в темных переулках! (См. Полное собр. соч. и писем Аполлона Григорьева под ред. В. Спиридонова, т. 1, Пг., 1918, стр. 286).

³⁷ Якорь, 1863, № 7. Статья «По поводу спектакля 10 мая». О ведущей роли Григорьева как театрального критика его эпохи уже имеются высказывания в нашем литературоведении. См.: Еф. Мейерович, Аполлон Григорьев — критик Островского, Театр, 1940, № 10, стр. 152.

³⁸ Аполлон Григорьев, Русский театр, Эпоха, 1864, № 1—2, стр. 423. Ср. в ранней статье «Русская драма и русская сцена»: «Театр — училище массы» (Репертуар и пантеон, 1846, № 9, стр. 427).

вполне демократический, устраняющий наслаждения дилетантские и дающий наслаждения массам». ³⁹

Восторженное отношение Григорьева к Вангеру и А. Серову, его музыкальный «романтизм» и «демократизм» (здесь опять сложно и интересно переплелись противоречивые элементы григорьевской эстетики) — требуют специального, музыковедческого исследования. ⁴⁰

Пристальное внимание к духовной и душевной жизни человека дало возможность Григорьеву не только глубоко и тонко оценивать игру актера на сцене, но и аналитически рассмотреть сферы жизни, обычно не входившие в поле зрения критики. Ему принадлежат, например, интереснейшие (хотя и запутанные идеалистической терминологией) наблюдения над эволюцией темы любви, как этической и эстетической категории, в литературе от XVIII века до современности; ⁴¹ Григорьев очень тонко показал различие в чувствах Нади («Воспитанница») и Катерины («Гроза») ⁴² и т. д.

Представление о поэте и художнике как о проповеднике высоких истин и первооткрывателе «вечной» жизни, естественно, не могло сочетаться с идеями «чистого искусства». «Нет! я не верю в их искусство для искусства не только в нашу эпоху, — в какую угодно и стинную эпоху искусства <...> Понятие об искусстве для искусства является в эпохи упадка, в эпохи разъединения сознания немногих лиц, утонченного чувства дилетантов, с народным сознанием, с чувством масс... Истинное искусство было и будет всегда народное, демократическое, в философском смысле этого слова. Поэты суть голоса масс, народностей, местностей, глашатаи великих истин и великих тайн жизни» (458).

В связи с этим Григорьев настойчиво призывал писателей изучать современность, не искать «утешения» в античности, подобно Щербине, ибо дело поэтов «порешается народом, для которого они пишут, а совсем не Грецией, которая судила своих жрецов». ⁴³

Такое отношение к личности писателя и к его творчеству заставило Григорьева отказаться от анализа элементов поэтической формы произведений, вообще от художественного ана-

³⁹ Там же, стр. 433.

⁴⁰ Очень жаль, что Ю. Кремлев в своих очерках по истории русской музыкальной критики уделил А. Григорьеву всего несколько строк (Ю. Кремлев, Русская мысль о музыке, т. I, Л., 1954, стр. 254).

⁴¹ См. его статьи «Значение страстей вообще, и любовь, как один из драматических элементов» и «Последний фазис любви — любовь в XIX веке» (Репертуар и пантеон, 1846, №№ 11, 12).

⁴² См. его статью ««Воспитанница» Островского на петербургской сцене» (Якорь, 1863, № 31).

⁴³ А. П. Григорьев, Библиотека для чтения, Январь и февраль, Москвитянин, 1855, № 3, стр. 122.

лиза — ради анализа общих идей (подобный принцип обуславливался, с другой стороны, «синтетическим» отношением критика к действительности, враждебностью к разъятию целого на элементы). Григорьев, намеренно утрируя, заявлял, что описание особенностей формы не нужно, с его точки зрения, ни массе, ни деятелям искусства (200), что «критика перестала быть чисто художественною, что с произведениями искусства связываются для нее общественные, психологические, исторические интересы, — одним словом, интересы самой жизни» (193).

Критика, утверждает Григорьев, разъясняет, истолковывает мысль художественного произведения (204), если нужно — углубляется «в причины того, почему не полно разрешен вопрос» (205). Таким образом, критика объясняет сущность произведения и естественно переходит к самим «жизненным вопросам, поднятым более или менее живо» (193) в произведении, т. е. критика становится критикой *по поводу*: «Критика пишется не о произведениях, а по поводу произведений» (193).

Недаром одна из самых крупных работ Григорьева называется «И. С. Тургенев и его деятельность, по поводу романа «Дворянское гнездо»». Действительно, это произведение «по поводу». «Статья первая» цикла (объемом около 2 печ. листов) посвящена не столько анализу деятельности Тургенева, сколько общим проблемам современной жизни и литературы (личность и общество, «смирный» и «гордый» человек, фатализм и борьба и т. п.). Затем следует своеобразное прибавление к первой статье (около 1 печ. л.), специально посвященное разъяснению терминов и принципов критического метода Григорьева.

«Статья вторая» (более 1 печ. л.) содержит характеристики творчества Ж. Занд, Гоголя, Писемского, Крестовского и др., рассуждения об общих проблемах теории литературы (художественная истина, искренность, романтизм и т. д.) — о Тургеневе же здесь имеется всего несколько фраз. Лишь третья и четвертая статьи цикла посвящены, в основном, анализу «Дворянского гнезда», да и здесь встречаются громадные, на несколько страниц, отступления.

В большой статье «После «Грозы» Островского» Григорьев не высказывает ни единой мысли о самой драме: вся она посвящена полемике с противниками и характеристике общих принципов критики.

Может показаться, что эти черты (критика — разъяснение жизни; статья — не о произведении, а по поводу произведения) сближают критический метод Григорьева с «реальной критикой» Добролюбова. Действительно, эпоха оказывала мощное воздействие на мировоззрение Григорьева, и в его критическом методе появились черты, общие для передовой критической мысли 1850-х гг. Однако, сущность метода Григорьева резко отличалась от принципов Добролюбова. Революционные демократы

считали, что критика должна не только объяснить явления жизни и искусства, но и произнести над ними приговор, придти к определенным социально-политическим выводам, способствующим переделке жизни в интересах народа. Григорьев же был убежден, как уже говорилось, что всякие попытки изменить жизнь приведут к искусственному втискиванию живых, органических явлений в прокрустово ложе той или иной теории и поэтому был принципиальным противником приговора критики над жизнью. Недаром в статьях Григорьева много рассуждений об абстрактных философских и литературных проблемах и почти совершенно отсутствует социально-политический анализ.

Такая позиция могла привести в конечном счете к объективизму, к созерцанию художественных образов («Берите нас, каковы мы родились»⁴⁴), а, следовательно, и к созерцанию жизни. Но, как уже говорилось, страстная натура Григорьева, его живая заинтересованность в искусстве, явно противоречит теоретическим предпосылкам, заставляла критика активно защищать или отрицать соответствующее явление, вторгаться и в искусство, и в жизнь.

Например, в своей критической практике Григорьев далеко не всегда принимал образы, «каковы они родились». Даже в произведении, близкие его сердцу, он пытался внести свои поправки, иногда довольно наивные. Так, анализируя «Дворянское гнездо», он решил, что «некоторые качества, свойственные Лаврецкому, Тургенев придает Паншину, и наоборот» (396); «изображение Варвары Павловны страждет теми же недостатками против художественной правды, как изображение Паншина» (444) и т. д. Меньше всего Григорьев был объективистом, поэтому следует говорить не о равнодушии, а о принципиальном отказе от социально-политических выводов.

Существенное отличие метода Григорьева от Добролюбовской «реальной критики» заключается и в самом анализе художественных образов. В большинстве своих крупных статей Добролюбов рассматривает литературных героев как типические и объективные явления жизни и поэтому исследует в первую очередь общественную сущность этих героев, тем самым изучая и наиболее животрепещущие социальные проблемы современности. Лишь попутно Добролюбов касается творческой индивидуальности писателя, особенностей его отношения к героям и тому подобных субъективных сторон произведения (в свете «реальной критики» главное — объективная сущность сюжета, конфликта, образов).

Григорьев же главное внимание уделяет именно отношению писателя (а также и себя, критика) к художественным образам. Возьмем, к примеру, анализ «Бедной невесты»: «Особен-

⁴⁴ А. П. Григорьев, Обозрение наличных литературных деятелей, Москвитянин, 1855, № 15—16, стр. 186.

ность мирозерцания Островского в отношении к событию...» (63); Островский «не пощадил Мерича, не идеализировал Добротворского» (65); «Теперь взглянем несколько на отношение художника к выведенным им лицам» (65); «замоскворецкий мир» изображен «без малейшей злобы и задней мысли»; «нет возможности сердиться читателю на бедную старуху (Анну Петровну — Б. Е.), когда ни автор, ни сама Марья Андреевна на нее не сердятся» (67); к Добротворскому «автор отнесся необыкновенно правильно и человечно» (67); к матери Хорькова «автор, видимо, относится, со смехом» (68) и т. д., о каждом образе. Подобный принцип анализа господствует в подавляющем большинстве статей Григорьева. Критика, таким образом, интересует не столько объективная сущность образа, сколько его связь с личностью художника. Григорьев неоднократно подчеркивал, что он рассматривает творчество как отражение «данных эпохи» и индивидуальности, «натуры» художника (см. 63, 97 и др.).

Добролюбов, конечно, не отверг бы такой формулировки, но, если он главное внимание уделял «данным эпохи», то Григорьев — «натуре» писателя. Интересно, что в то время как большинство добролюбовских статей посвящено прозе, почти все значительные произведения Григорьева — поэзии (или, по крайней мере, включают в себя анализ стихов). И суть дела, разумеется не только в том, что критик был поэтом (Добролюбов ведь тоже писал стихи!), а в тяге к субъекту, к личности писателя, естественно, более ярко выраженной в стихах, чем в романе или драме. Характерно, что некоторых поэтов, например, Полежаева, Григорьев как бы отождествлял с его героями (см. 151—152, 279). Отметим, кстати, следующий факт: именно представитель революционно-демократической эстетики — Чернышевский — впервые в истории русской критики подробно показал существование в лирике «я» героя, отличного от авторского «я» (см. Чернышевский, III, 457): Чернышевского и в лирике интересовал объективный характер образов.

Григорьев же считал наиболее важным объектом исследования именно личность писателя, изучение которой уже позволяет судить о «духе» эпохи, нации, местности: «Анализ натуры Белинского есть анализ нашего критического сознания, по крайней мере в известную эпоху — как анализ пушкинской натуры есть анализ всех творческих сил нашей народной личности» (301—302). В этом свете критик рассматривает и художественные образы: прежде всего — насколько они отражают те или иные черты «натуры» художника.

При этом Григорьев интересовался в первую очередь этической стороной героев и отношения к ним авторов, почти пренебрегая эстетическим анализом, вернее — этическое воспринимая и переживая как эстетическое. Нравственные проблемы критик считал главнейшими в человеческом общежитии

и часто сетовал на пренебрежение к ним: «многие блестящие и пронизательные умы, сознавая великое значение в нашей жизни Пушкина, как воспитателя художественного, не обращают внимания на его нравственное для нас значение» (248). Григорьев подчеркнуто отождествлял понятия «нравственность» и «жизнь» (см. 139).

Поэтому учение, которое, с точки зрения критика, пренебрегало этикой, было нежизненным (особенно активно нападал Григорьев в этом отношении на гегелевскую систему).

Сущность этических идеалов Григорьева в разные периоды его деятельности будет изменяться (о чем речь ниже), но общий принцип — преобладание «нравственного» анализа — сохранится на всю жизнь. Классически прозрачно он выразился в ранних статьях Григорьева «москвитянинского» периода, например, при анализе «Бедной невесты», когда критик прямо заявил о эстетических несовершенствах драмы (61, 65), не мешающих однако читателю «искренне сочувствовать произведению» (65) — и далее следует анализ этический; или при анализе стихов Огарева, Фета, Гейне, Майкова и других поэтов в той же статье «Русская изящная литература в 1852 году». В дальнейшем анализ усложнится, благодаря изменению представлений Григорьева об историзме, о роли личности в обществе и т. д. К этому мы вернемся позднее, при рассмотрении эволюции григорьевской критики. Подчеркнем лишь, забегая вперед, что — изучали ли Григорьев «натуру» художника, или его отношение к героям, или этические взаимосвязи самих героев — он в большей или меньшей степени был всегда историчен, т. е. его анализ как будто абстрактных категорий объективно оказывался констатацией (а иногда и объяснением!) исторической обусловленности тех или иных «отношений», той или иной этической черты.

Наконец, отметим еще композиционное отличие статьи «по поводу» у Григорьева от аналогичной, казалось бы, статьи Добролюбова. Если добролюбовское произведение подчинено железной логике, мысль развивается последовательно, «цепевидно», то принцип построения статьи Григорьева чаще всего характеризуется отсутствием плана, логики. «Начиная свою статью, он никогда не знал ее конца, — подтверждал Н. Н. Страхов; — так он сам мне говорил незадолго до смерти». ⁴⁵

Автор, полный идей, мыслей, переживаний, стремился изложить свои взгляды, не задумываясь над формой, над композицией, поэтому почти каждая статья Григорьева представляет собой экспромт, страстный поток мыслей и чувств, где переходы от одного к другому часто неожиданны, парадоксальны, интуи-

⁴⁵ Н. Страхов, Воспоминания об Аполлоне Александровиче Григорьеве, Эпоха, 1864, № 9, стр. 11.

тивны⁴⁶. Часто такая неожиданность превращалась в противоречивость или несоразмерность частей, а иногда и в то, и в другое вместе взятое. Особенно полна несообразностей статья «О правде и искренности в искусстве», писавшаяся в остро-кризисный период жизни Григорьева (крушение надежд на продолжение «Москвитянина», кризис мировоззрения, трагическая любовь к Л. Я. Визард). Критик сам позднее вспоминал именно об этом произведении, когда говорил о путанице взглядов: «Статья явилась на свет решительно в муках раскаяния, каким-то неправильно развившимся эмбрионом, с головой, значительно разросшейся на счет туловища».⁴⁷ К тому же Григорьев как бы боялся оставить «за бортом» что-то из своих заветных мыслей, разрушить синтетичность обзора, поэтому его статьи чудовищно «перенаселены»: в небольшом очерке охвачены проблемы, достойные разработки в целых томах по теории литературы (характерен полуиронический эпиграф к 1-ой статье «Парадоксов органической критики»: «О чем бишь нечто? Обо всем! — Репетиллов»).

Захлебывающийся, страстный поток мыслей и чувств мог так же неожиданно оборваться, как и причудливо двигаться вне обычной причинно-следственной связи. Характерно, что большинство крупных статей Григорьева обрывается почти на полуслове, в них совершенно невозможна логическая, завершающая всю статью, социально-политическая концовка работ Чернышевского и Добролюбова. Обрыв статьи также закономерен. В основном Григорьев, как уже сказано, рассматривал «идеологические» факторы, почти не касаясь чисто эстетических элементов искусства, но между тем о самих теоретических проблемах он писал как о любимой женщине: с пафосом, вдохновенно, взволнованно. Кстати сказать, в этой страстной вдохновенности — один из источников эстетического обаяния статей Григорьева. Но здесь же таится и «ахиллесова пята»: Григорьев мог писать большую, серьезную работу лишь будучи «взволнованным». Спадало вдохновенье — обрывалась статья. Увлеченность артиста приводила также к нарушению меры: Григорьев мог, например, забыть о задачах статьи и начать подробный пересказ книги, захватившей его в данный момент. Так, вся вторая часть статьи Григорьева «О комедиях Островского...»⁴⁸ посвящена изложению известного трактата Посошкова, вполне достойного специальной статьи, но отнюдь не об Островском! Во втором письме «Парадоксов органической книги» «коньком»

⁴⁶ Рецензент «Библиотеки для чтения» отмечал: «Критические приемы его <Григорьева — Б. Е.> — эта бесконечная беседа или речь — едва ли могут повести к логическому решению литературных вопросов» (1855, № 6, Журналистика, стр. 35).

⁴⁷ Светоч, 1861, № 1, стр. 2.

⁴⁸ Эта часть была запрещена цензурой и впервые опубликована В. С. Спиридоновым (Ежегодник петроградских гос. театров, сезон 1918—1919. П., 1922).

Григорьева становится монография В. Гюго о Шекспире, вытеснившая все остальные вопросы (трогательен полуиронический эпиграф к этому разделу статьи: «Читал ли ты? Есть книга . . .» — слова Репетилова! Григорьев хорошо знал свои уязвимые места . . .).

Сумбурная интенсивность идей и чувств Григорьева является также причиной усложненности его стиля, о чем неоднократно в негативном плане высказывались современники и позднейшие исследователи, хотя совершенно ясно, что не будь такого стиля, не было бы и наследия Аполлона Григорьева: именно и только таким стилем он мог выражать свои мысли. Много насмешек вызывали и новые термины, обильно вводимые критиком в свои статьи: «цвет и запах эпохи», «цветная истина» (342), «растительная поэзия» (338), «живорожденный» (411) и т. п. Григорьев был вынужден специально объясниться по этому поводу: «множеством» таких терминов, подчеркивал он, «часто, действительно, неудачных, но принимаемых мною как первые хватки, за недостатком лучших и за несостоятельностью (в отношении к моей мысли) старых — я ничего не искал и не ищу, как указать на тождество законов органического творчества в параллельных явлениях мира психического (духовного) и соматического (материального)» (336).

Действительно, учитывая «синтетический интуитивизм» Григорьева, трудно представить более удачные названия, чем «цвет и запах» и «живорожденный». Характерно, что некоторые нововведения Григорьева оказались настолько образными, что прочно вошли в русскую лексику. Такова судьба его эпитета «допотопный», употреблявшегося им для характеристики устаревших литературных явлений. Современникам термин показался необычным и даже смешным: Добролюбов написал об этом в «Свистке» веселую заметку⁴⁹, над которой хохотал сам Григорьев (335). А уже спустя четверть века слово «допотопный» в метафорическом смысле фактически вытеснило в живом русском языке его первоначальное значение. Теперь уже никому этот эпитет не кажется комичным.

Так как в статье Ап. Григорьева не было обычно «особного» развития, т. е. движения идей, характерного именно для данного произведения критика (что бы отличало его от предшествующих и последующих работ), да и вообще логическое развитие мысли, как таковое, отсутствовало, то автор смело переносил из статьи в статью большие отрывки, иногда объемом в несколько страниц, и эти инородные, казалось бы, вкрапления органически сливались с общим потоком мыслей. Так, из статьи «О комедиях Островского и их значении в литературе и на сцене» (1855) в «После «Грозы» Островского» (1860) перенесены обзор твор-

⁴⁹ Н. А. Добролюбов, Полное собр. соч. в 6 тт., ГИХЛ, 1934—1941, т. 6, стр. 56.

чества драматурга (ср. 113—114 и 468—469) и рассуждение о соотношении национального и народного (ср. 119—120 и 477—478); критика Гегеля и исторической школы в статье «Развитие идеи народности в нашей литературе после смерти Пушкина» (1861) оказывается почти целиком переписанной из «Взгляда на современную критику искусства» (1858) (ср. 206—208 и 574—576). Более того, обширная статья, растянутая на три книжки «Времени», — «Лермонтов и его направление» — вся, как лоскутное одеяло, сшита из различных отрывков предшествующих лет.

Интересно, что Н. Н. Страхов, издатель первого собрания сочинений Григорьева, в случае переноса больших (более полустатьи) отрывков, не воспроизводил их, а заменял многоточием с отсылкой к первой статье (см., например, 265, 613 и др.). Ясно, что подобные переносы абсолютно исключены в работах критиков революционно-демократического лагеря 1860-х гг.: во-первых, из-за строгой логичности каждой статьи, требующей в каждом отрезке своего, «особного», что невозможно заменить другим; во-вторых (а, может быть, именно это — во-первых?), благодаря стремительной эволюции мировоззрения и тактики авторов, обусловленной быстрыми изменениями общественной жизни.

Однако нельзя полагать, что мировоззрение и метод Григорьева оставались неизменными. Выше уже говорилось о довольно резком переходе от 1840-х к 1850-м годам. Но и позднее критик не «застыл». Можно лишь утверждать, что у Григорьева были общие принципы (о них шла речь выше), в целом сохранявшиеся до конца его жизни, но их конкретное применение к жизненным и литературным фактам не осталось без эволюции, что, кстати сказать, и сам Григорьев прекрасно осознавал (см. 202, 340). Рассмотрение основных этапов этих изменений — предмет особого исследования.

ПРИЛОЖЕНИЯ

I. БИБЛИОГРАФИЯ КРИТИКИ И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОЗЫ

Ап. ГРИГОРЬЕВА

Полный библиографический указатель произведений Григорьева не составлялся ни при его жизни, ни после его смерти.

А. Блок к собранному им однотомнику «Стихотворений Ап. Григорьева» (М., 1916) приложил два списка: очерков и рассказов (стр. 592—593) и переводов из произведений иностранной литературы (стр. 593—597).

Перечень стихотворений Ап. Григорьева, изданных в «Большой серии библиотеки поэта» (Л., 1959), вместе со списком не включенных в книгу произведений (стр. 589—590), исчерпывает теперь библиографию стихов Григорьева (если не считать некоторых *dubia*).

К нашему списку критических статей присоединены также прозаические художественные произведения и мемуары Григорьева, т. к. они тесно связаны с его критическими работами и часто неотделимы как особый жанр.

Главную трудность представляла атрибуция многочисленных анонимных статей критика. Когда библиография была уже составлена, я получил (благодаря разрешению зав. рукописным отделом Института русской литературы АН СССР Н. В. Измайлова и активной помощи сотрудника отдела Н. Т. Панченко) доступ к недавно приобретенному ИРЛИ и еще не разобранному архиву проф. С. С. Спиридонова, почти всю жизнь трудившегося над изучением творчества Ап. Григорьева, тщательно исследовавшего периодику середины XIX века, государственные и частные архивы, готовившего к изданию 12-томное полное собрание сочинений и писем Григорьева, а также монографию о критике объемом в 20 печ. листов (к сожалению, почти ничего из своих работ о Григорьеве В. С. Спиридонову не удалось опубликовать). В архиве удалось обнаружить интересные копии цензурных дел, касающихся Ап. Григорьева, а также множество библиографических карточек и разрозненных списков произведений критика. К сожалению, В. С. Спиридонов, работая над ними в основном еще в дореволюционный период, многого не знал из истории русской журналистики, не имел доступа ко многим архивным материалам, ныне уже опубликованным или легко доступным. Поэтому чаще всего при определении авторства той или иной анонимной статьи исследователь руководствовался субъективным чутьем. Большинство карточек Спиридонова, куда занесены соответствующие произведения, содержит такие «доказательства»: «сомнений нет», «вероятно», «все говорит, что статья принадлежит Ап. Григ.». Поэтому ученый неоднократно приписывает Григорьеву статьи Эдельсона из «Москвитянина», Е. Моллера из «Якоря» и т. п. (как известно, элементы субъективизма при атрибуции Спиридонов допустил и в работе над сочинениями Белинского).

И, тем не менее, несколько статей Григорьева, обнаруженных Спиридоновым в мало известных изданиях, а также те его атрибуции, которые, при внимательном изучении текста, удалось подтвердить вескими доводами, включены (с соответствующими ссылками) в настоящий список. Поэтому нельзя не быть благодарным человеку, который много лет занимался интересной, но в его время совершенно еще не изученной темой и который сделал все, что было в его силах.

Статьи, которые не могут быть безоговорочно приписаны Григорьеву, сопровождаются знаком вопроса в угловых скобках.

В списке, где основными рубриками являются журналы, я стремился придерживаться по возможности хронологического принципа. В тех же случаях, когда Григорьев одновременно участвовал в нескольких изданиях, прежде следуют журналы или газеты, в которых Григорьев начинал печататься ранее (хотя бы интервал был в несколько дней).

Подпись воспроизводится точно так, как она фигурировала в первой публикации. Затем следует название работы. В заключение в обычных скобках указывается номер журнала или газеты.

Если статья подписана псевдонимом, раскрываемым с помощью словаря И. Ф. Масанова, объяснение атрибуции отсутствует.

В конце списка особо выделены статьи, печатавшиеся в непериодических изданиях, и посмертные публикации.

Библиография Григорьева-прозаика заключается перечнем статей, необоснованно приписывавшихся ему.

В комментариях приняты следующие сокращения:

ЛБ — рукописный отдел Гос. библиотеки СССР им. В. И. Ленина;

ИРЛИ — рукописный отдел Института русской литературы АН СССР;

К — «А. А. Григорьев. Материалы для биографии», под ред. В. Княжина, П., 1917 (следующая затем цифра — страница);

Спиридонов — «Полное собрание сочинений и писем Аполлона Григорьева» под ред. В. Спиридонова, т. I, П., 1918 (следующая затем цифра — страница).

А. Журнальные и газетные статьи

«Репертуар и пантеон»

1845¹

- 1—2. А. Григорьев. Об элементах драмы в нынешнем русском обществе (Театральная летопись, №№ 4, 8).
3. А. Григорьев. Человек будущего (№ 6).
4. А. Григорьев. Мое знакомство с Виталиным (№ 8).

1846

5. А. Григорьев. Офелия. Одно из воспоминаний Виталина (№ 1).
6. А. Трисмечистов <так!>. «Гамлет» на одном провинциальном театре (№ 1).
7. А. Трисмегистов. Роберт-дьявол (№ 2).
8. Петербургские театры в 1845-м году (№ 5)².
9. Александринский театр (№ 5)³.
10. А. Григорьев. Один из многих. Рассказ в трех эпизодах. Эпизод первый (Любовь женщины) (№ 6).
11. Александринский театр (№ 6)⁴.
12. А. Григорьев. Один из многих. Рассказ в трех эпизодах. Эпизод второй. Антоша (№ 7).

¹ В этом журнале, очевидно, Григорьев начинал свою критическую деятельность. Его сообщение в письме от января-февраля 1846 г. о «двухлетнем участии в Репертуаре» (К, 105) заставляет датировать дебют началом 1844 года. Однако в этот период вряд ли Григорьев выступал в качестве критика. Как можно судить по воспоминаниям В. Р. Зотова, в 1844 г. театральные рецензии писал именно он, а не Григорьев (см. Исторический вестник, 1890, № 3, стр. 563). Здесь же Зотов упоминает Григорьева, как автора серии «Об элементах драмы в нынешнем обществе» (стр. 566), публиковавшейся в специальном приложении к журналу — в «Театральной летописи», с чего, видимо, и началось сотрудничество Григорьева в издании. В то время «Репертуар и пантеон» редактировался В. С. Межевичем, довольно ретроградной фигурой, но которого, однако, не следует, как это делает В. С. Спиридонов, путать с бродягой и пьяницей Межевым (Спиридонов, 272), довольно случайным посетителем кружка Островского-Григорьева (см. сборник: Литературные салоны и кружки. Первая половина XIX века, под ред. Н. Л. Бродского, 1930, стр. 394).

В 1846 году Григорьев становится уже ведущим театральным рецензентом «Репертуара и пантеона», Межевич, очевидно, передал в его ведение основные отделы журнала («В 1846 г. я редактировал Пантеон» — К, 305), его имя объявляется в качестве обозревателя спектаклей Александринского и Большого театров (Петербург) в рекламе на 1847 год (см. приложение к № 12 за 1846 г.), но с января журнал стал редактировать Ф. А. Кони, который и забрал в свои руки основные рецензии. К тому же Григорьев в самом начале 1847 года выехал в Москву, так что, очевидно, его участие в журнале закончилось в декабре 1846 г.

² Атрибутируется на основании ссылки в следующей (№ 9 росписи) статье: «Мы не ошиблись, говоря на прощанье со старым театральным годом, что «много сделал он и еще больше оставляет за собою» (См. в нынешней книжке «Репертуара и пантеона» обозрение прошлого года)» (стр. 34). Действительно, в данной статье эта фраза встречается на стр. 209.

³ Приписывается Григорьеву на основании ссылок в последующих статьях (№№ 11, 15 росписи) на анализ «Горе от ума» и игры Самарина в роли Чацкого, как на свой собственный; этому анализу посвящена данная статья.

⁴ См. прим. 3 и № 15 росписи.

13. А. Григорьев. Александринский театр (№ 7).
14. А. Григорьев. Немецкий спектакль (№ 7).
15. <То же, что № 13 росписи> (№ 8).
16. А. Григорьев. Русская драма и русская сцена (№ 9).
17. А. Трисмегистов. Лючия (№ 9).
18. <То же, что № 13> (№ 9).
19. Русская драма и русская сцена (№ 10) ⁵.
20. А. Григорьев. Один из многих. Рассказ в трех эпизодах. Эпизод третий. Создание женщины (№ 10).
21. <То же, что № 13> (№ 10).
22. <То же, что № 16> (№ 11).
23. <То же, что № 13> (№ 11).
24. <То же, что № 16> (№ 12).
25. <То же, что № 13> (№ 12).
26. «Ведомости санктпетербургской городской полиции» 1846
26. Петербургский сборник, изданный Н. Некрасовым. С.-Петербург. 1846 <...> (№ 33 от 9 февраля) ⁶.

«Финский вестник» 1846 ⁷

27. Новый Емеля, или превращения. Роман А. Ф. Вельтмана <...> Москва. 1846 <...> (т. VIII) ⁸.
28. Слова и речи синодального члена Филарета, митрополита московского <...> Москва <...> 1844 <...> (т. VIII) ⁹.
29. Руководство к познанию законов. Сочинение графа Сперанского. Спб. <...> 1845 <...> (т. IX) ¹⁰.
30. Правила высшего красноречия. Сочинение Михаила Сперанского. Спб. <...> (т. IX) ¹¹.
31. О подражании Христу, четыре книги Фомы Кемпийского. Перевод с латинского графа М. М. Сперанского. Спб. 1845 <...> (т. IX) ¹².
32. Петербургский сборник. С. Петербург, 1846 <...> (т. IX) ¹³.

⁵ Раскрыто в оглавлении номера.

⁶ Авторство Григорьева доказано в статье: Н. И. Мордовченко, Неизвестная рецензия Ап. Григорьева на «Петербургский сборник» Некрасова (1846), Ученые записки Лен. Гос. пед. ин-та им. А. И. Герцена, т. 67, 1948, стр. 114—115.

⁷ В «Кратком послужном списке» (см. К, 305) Григорьев забыл упомянуть о своем участии в данном журнале. Однако в письме к С. М. Соловьеву (начало 1846 г.) он перечисляет свои рецензии, «имеющие быть напечатанными в мартовском номере «Финского вестника»: «1) о проповедях Филарета, 2) о романе Вельтмана «Емеля» и 3) Сперанского о законах» (К, 105). Это сообщение — единственное документальное свидетельство об авторстве Григорьева. Архив «Финского вестника» не сохранился, большинство статей печаталось анонимно, поэтому исследователи журнала вынуждены опираться на косвенные данные (см. статью о журнале за 1846 год: В. М. Морозов, «Финский вестник» в борьбе против литературно-общественной реакции, Ученые записки Петрозаводского гос. университета, т. VI, вып. I, 1956).

Очевидно, однако, что Григорьев, занятый статьями «Репертуара и пантеона», участвовал в «Финском вестнике» эпизодически.

⁸ См. прим. 7.

⁹ То же.

¹⁰ То же.

¹¹ По аналогии с предыдущей статьей.

¹² То же.

¹³ В. С. Спиридонов печатно заявил об авторстве Григорьева (Спиридонов, LXVIII), но нигде не доказывал этого. В его архиве сохранилась запись: «слог, мировозз. (?), напомин., что он начнет с яиц Леды — все говорит, что статья принадлежит Ап. Григ.» (ИРЛИ). Так что, очевидно, сам исследова-

33. А. Г. Новая библиотека для воспитания, издаваемая Петром Редкиным. Книжки 1 и 2. Москва. 1847 года (№ 33).
34. А. Г. Концерт г. Сальви (№ 34).
35. А. Г. Библиографическое известие. Серый армяк, или исполненное обещание. Повесть для детей. Издание второе. Москва, 1847 (№ 36).
36. А. Г. Ответ на замечание С. П. Шевырева (№ 43).
37. Обзорение журнальных явлений за январь и февраль (№ 51)¹⁵.
38. А. Г. <То же> (№ 52).
39. А. Г. Обзорение газет за январь 1847 года (№ 52).
40. А. Г. Сын рыбака — Михаил Васильевич Ломоносов, Повесть для детей. Соч. П. Фурмана; Спб. 1847 (№ 52).
41. А. Г. Гоголь и его последняя книга (№ 56).
42. А. Г. Концерт г. Миллера (№ 58).
43. А. Г. Живые картины г. Пино (№ 61).
44. Гоголь и его последняя книга. II (№ 62).
45. <То же>. III (№ 63).
46. А. Г. Гоголь и его последняя книга. IV <и V> (№ 64).
47. Обзорение журналов за март 1847 года (№ 66)¹⁶.
48. А. Г. <То же> (№ 67).
49. А. Г. <То же> (№ 68).
50. <То же, что № 47 росппси> (№ 69).
51. <То же> (№ 74).
52. А. Г. <То же> (№ 75).
53. А. Г. Концерт Берлиоза (№ 76).
54. А. Г. Музей современной иностранной литературы. Выпуски 1, 2, 3. Спб., 1847 (№ 80).
55. А. Г. Петербургский сборник для детей, изд. В. Петровым и М. М. Спб. 1847.
Повести для детей, с шестью картинками. Спб. 1847 (№ 81).
56. А. Г. Путешественник (Южный берег Крыма) Н. Сементовского. Спб. 1847 (№ 83).
57. А. Трисмегистов. Москва и Петербург. Заметки зеваки. I. Вечер и ночь кочующего варяга в Москве и Петербурге (№ 88).
58. А. Г. Новый руководитель русско-французско-английско-немецкий <...> Сост. д-м Липпертом. Лейпциг и Спб. 1847.
59. Путеводитель от Москвы до Петербурга и обратно. Составил и издал И. Д<митриев>. Издание второе. Москва. 1847 (№ 89).

тель сомневался в доказательности своих предположений, ибо поставил знак вопроса.

Позднейшие же исследователи (Н. И. Мордовченко и В. М. Морозов, например, в упоминавшихся выше работах) ссылаются на печатное сообщение В. С. Спиридонова, как на доказательство. Действительно, анализ статьи не оставляет сомнения, что она принадлежит Григорьеву: подчеркивание «фатализма» «лермонтовской школы», противопоставление Достоевского (якобы «опускающегося» до своих героев) и Гоголя, всеобъемлющего и возвышающего героев «христианской любовью» и др. мысли, а также типичные для Григорьева пословицы и выражения — все это является убедительным доказательством. Очевидно, в не дошедших до нас бумагах Спиридонова эти доказательства уже имелись.

¹⁴ «М.Г.Л.» — ежедневная газета, просуществовавшая всего один год (редактор — В. Драшусов). Приехав в конце января — начале февраля в Москву, Григорьев сразу же принял активное участие в газете и интенсивно сотрудничал (с некоторыми перерывами) до самого закрытия органа.

¹⁵ Раскрыто в следующем номере, в окончании статьи.

¹⁶ Статья печаталась в №№ 66—69, 74, 75, в том числе в №№ 66, 69, 74 — без подписи.

60. <?> Экс-юрист. Взгляд на современное положение уголовного судопроизводства, соч. П. Дегай. Спбург. 1847 (№ 94) ¹⁷.

61. А. Г. Руководство для молодых людей, назначающих себя к торговым делам. Спбург. 1847 (№ 99).

62. А. Г. Обзорение журналов за апрель (№ 116).

63. А. Г. Дон-Жуан, поэма лорда Байрона <...> Спб. 1847 (№ 117).

64—65. А. Г. Обзорение русских журналов (№№ 118—119).

66. А. Г. Обзорение газет и журналов за апрель (№ 126).

67. А. Г. Московский литературный и ученый сборник на 1847 год (№ 127).

68. А. Г. Указатель законов Российской империи для купечества. Москва. 1847 (№ 127).

69—71. Московский литературный и ученый сборник на 1847 год (№№ 128—130) ¹⁸.

72. А. Г. <То же> (№ 131).

73. А. Г. Обзорение журналов за май, июнь и июль месяцы (№ 183).

74—90. Другой из многих (№№ 244, 247—250, 253, 255, 257—261, 263—265, 268, 269) ¹⁹.

91. А. Г. 1) Живописная энциклопедия, общепольное чтение, том 1-й. выпуск первый.

2) Опыт о народном богатстве или о началах политической экономии. Сочинение Александра Бутовского. Спбург. 1847 (№ 270).

92—93. Другой из многих (№№ 271, 272) ²⁰.

94. А. Г. Отелло на Песках <...> П. Каратыгина. Спб. 1847 (№ 272).

95—97. Другой из многих (№№ 277—279) ²¹.

98. А. Григорьев. Другой из многих (№ 280).

«Отечественные записки» ²²

1849

99. Приключения, подчерпнутые из моря житейского. Саломея. Соч. А. Ф. Вельмана. Москва <...> 1849 <...> (№ 6) ²³.

¹⁷ Григорьев окончил юридический факультет и написал несколько рецензий на юридические темы в «Финском вестнике» и в «М.Г.Л.» (см. ниже). Идея и стиль статьи (рассуждение о «страшной загадке сфинкса» — об отношении человека к обществу, о «вопиющем повсюду вопросе: кто виноват?», о христианских началах) весьма сходны с григорьевскими.

¹⁸ Раскрыто в следующем номере, в окончании статьи.

¹⁹ Раскрыто в окончании (см. № 98 росписи).

²⁰ То же.

²¹ То же.

²² В «Кратком послужном списке» А. Григорьев лаконично охарактеризовал свое участие в журнале: «В 1850 году послал в «Отечественные записки», не надеясь, что она будет принята — статью о Фете. Приняли. Я стал писать туда летопись московского театра. Ненадолго. Не переварилась» (К, 305).

В действительности, П. Н. Кудрявцев и А. Д. Галахов познакомили Краевского с Григорьевым еще в конце 1848 — начале 1849 г. (см. К, 381). В первом сохранившемся письме к Краевскому от 28. II. 1849 Григорьев предлагает перевод драмы Мюссе и сетует по поводу неудачи со статьей о Дидро, намекая на цензурные гонения 1848 года (К, 120). В следующем письме от 4. V. 1849 Григорьев сообщает о посылке театрального обозрения и обещает присылать таковые и в дальнейшем (К, 121), что дает возможность приписать Григорьеву обозрения Московского театра в июле—сентябре 1849 г. В дальнейшем обзоры публиковались с полным именем автора. Но во второй половине 1850 года происходят, видимо, трения между редактором и критиком, и обзоры Московского театра исчезают из «Отечественных записок» так же молниеносно, как они в свое время появились. Лишь через несколько лет переговоры возобновятся.

²³ Приписана Григорьеву В. С. Спиридоновым (его архив в ИРЛИ).

100. Заметки о Московском театре (№ 7) ²⁴.
 101—102. — в. Заметки о Московском театре (№№ 8, 9) ²⁵.
 103. Заметки о Московском театре (№ 11) ²⁶.
 104. А. Григорьев. Заметки о Московском театре (№ 12).

1850

- 104а. Русская литература в 1849 году (№ 1, часть статьи: стр. 15—31) ^{26а}.
 105. Стихотворения А. Фета. Москва. 1849 (№ 2) ²⁷.
 106—109. А. Григорьев. Заметки о Московском театре (№№ 3, 4, 6, 9).

«Москвитянин»

Здесь опубликована значительная часть литературного наследия Григорьева.

Знакомство Григорьева с редактором журнала М. П. Погодиным состоялось еще в студенческие годы критика. В 1843 году Григорьев, очевидно, часто посещает своего бывшего профессора, публикует в «Москвитянинне» ряд стихотворений и даже намеревается активно сотрудничать в журнале в качестве критика. В письме, относящемся к концу 1843 года, он сообщает Погодину, что для январского номера «Москвитянина» за 1844 год готовит четыре статьи: рецензии на басни Крылова и стихи Фета, а также статьи «О настоящем состоянии философии на Западе» и «О немецком театре в Москве» (ЛБ. Погод. 9. 36). Вряд ли Погодин опубликовал эти произведения. По крайней мере, в течение следующего года в «Москвитянинне» появилась рецензия лишь о баснях Крылова (№ 4); да и в отношении этой статьи нет никакой уверенности, что она принадлежит Григорьеву.

Вскоре Григорьев переезжает в Петербург и лишь в начале 1847 года возвращается в Москву и снова начинает вести переговоры с Погодиным

Идеи рецензии сходны с высказываниями Григорьева в рецензии на роман Вельтмана «Емеля» (Финский вестник, 1846, т. VIII): положительная оценка подробностей быта, удавшихся автору, осуждение надуманности и фантастической запутанности сюжета; кроме того, в статье содержится типичное для Григорьева подчеркивание значимости для художника купеческой сферы жизни: «Этот непочатый до сих пор быт ждет еще своего комика» (стр. 95); наконец, в обзоре «Русская литература в 1849 году» (см. № 104а росписи) есть ссылка: «При выходе в свет «Саломей» <...> мы сказали довольно подробно как о таланте г. Вельтмана вообще, так и о содержании его «Саломей»» (стр. 28).

²⁴ См. письмо к А. А. Краевскому от 4. V. 1849 (К, 121).

²⁵ См. прим. 24.

²⁶ Раскрыто в оглавлении тома.

^{26а} В письме к А. А. Краевскому от 16. XII. 1849 Григорьев советовал редактору открыть отдел «Обозрение журналов» и обещал прислать «в скором времени статью о последних книжках 1849 года» (К, 123). Очевидно, этот обзор и был включен Краевским в общую коллективную статью о русской литературе 1849 г. Принадлежность Григорьеву данной части статьи подтверждается следующим: 1) идеи типичны для Григорьева начала 1850-х гг. Отзыв о «Кто виноват?»: «Отсутствие соразмерности частей и на- сильственное принесение всего в жертву заданной мысли» (стр. 15—16); об «Обыкновенной истории»: «Натянутое развитие наперед заданной темы» (стр. 16); зато о «Сне Обломова»: «спокойное творчество» (там же); Гоголь призывал, чтобы «с словом обходиться честно» (стр. 21); 2) автор обещает подробно говорить о таланте Фета (стр. 28), а в следующем номере появилась большая статья Григорьева о поэте (см. № 105 росписи).

А. В. Мезьер (Русская словесность, ч. II, 1902, стр. 422) приписывает Григорьеву отзыв о «Гамлете Щигровского уезда» — стр. 17—19 статьи.

²⁷ Статья атрибутируется на основании упоминаний самого Григорьева в его письмах (см. К, 125 и К, 305).

№	Имя сотрудника	Журналистика	Библиография
1	А. Н. Островский	—	—
2	Е. Н. Эдельсон	1) Отечественные записки. 2) Журнал министерства народного просвещения.	1) Разбор нововыходящих книг по теории словесности. 2) Романов и повестей, выходящих отдельно.
3	Т. И. Филиппов	Библиотека для чтения.	Разбор нововыходящих книг по части русской филологии и истории русской словесности
4	Б. И. Ордынский	—	Разбор книг, диссертаций и сборников по части классической филологии
5	Н. Ф. Щербина	—	Разбор стихотворений и пьес, представляющих поприще для юмора
6	П. Е. Басистов	—	—
7	А. А. Григорьев	Современник Репертуар и пантеон. Сын отечества. Петерб. ведомости.	Разбор стихотворений, романов и драм, выходящих отдельно
8	Б. Н. Алмазов	—	—

НИКАМИ — ЧЛЕНАМИ РЕДАКЦИИ «МОСКВИТЯНИНА»

Науки	Смесь	Переводы	Иностранные журналы, поручаемые для прочтения
—	—	—	—
Статьи по части эстетики.	—	—	—
—	—	—	—
Статьи по части греческой жизни и литературы.	—	—	Zeitschrift für die Alterthumswissenschaft; Rheinisches Museum für die Philologie.
—	—	—	—
Статьи о русских классиках (изд. Смирдина).	—	—	—
1) Современные иностр. лирики, романисты и драматурги; 2) статьи о Шекспире.	Театральная хроника	1) Перевод Вильгельма Мейстера. 2) Переводы статей исторических с франц. и немецкого.	1) Revue des deux Mondes 2) ... [так!]. 3) L'Illustration. 4) Illustrierte Zeitung.
—	Юмористические статьи.	—	—

№	Имя сотрудника	Журналистика	Библиография
9	В. Ф. Корш	1) Ж[урнал] мин[истерства] вн[утренних] дел. 2) Ж[урнал] мин[истерства] госуд[арственных] имущ[еств].	Разбор книг и сборников, выходящих по части политич. экономии, статистики, географии.
10	Н. М. Пановский	—	—
11	Н. И. Роговский-Рожанский	Лучи, Звездочка и другие детские журналы	Разбор книг для детей и критико-библиографический перечень разных выходящих книг и изданий.
12	И. Д. Беляев	Временник общества истории и древностей.	Разбор книг по части русской истории
13	Н. И. Шаповалов	Газеты — Кавказ, Инвалид.	—
14	И. Т. Кокорев	Северная Пчела	Библиографический перечень букварей, песенников и других изданий промышленной литературы.
15	Г. Г. Новицкий	—	—

(точнее, он их начал еще живя в Петербурге: см. К, 105), которые на этот раз, кажется, увенчались успехом. В рекламном объявлении «Возобновленный «Москвитянин <...> на 1848 год <...>» (приложение к части III журнала за 1847 г., дата цензурного разрешения книги — 23 октября) Григорьев назван в качестве заведующего отделом «Европейское обозрение», чьи обязанности состоят «в сообщении известий о важнейших современных явлениях

Науки	Смесь	Переводы	Иностраные журналы, поручаемые для прочтения
Статьи по тем же предметам.	—	1) Переводы Dorf-Erzählungen Ауэрбаха. 2) Переводы статей о путешествиях и статистических.	Revue Britanique.
—	Разные известия.	—	Presse, Independence Belge, Allgemeine Zeitung.
—	—	Переводы статей педагогического содержания	—
—	—	—	—
Статьи об испанской и итальянской литературе.	—	Переводы французских повестей и романов.	—
—	1) Внутренние известия из гу[бернских] ведомостей. 2) Очерки нравов.	—	—
—	—	По назначению редактора.	—

по части гражданственности, промышленности, учености, искусства (музыки, живописи, ваяния, о театре) и проч.»

Опубликованные и неопубликованные письма Григорьева к Погодину той поры полны различных планов и сообщений о работе над статьями, а также каких-то тревожных намеков на разногласия с редактором (см. К, 108—110). Помимо разногласий и очевидного страха Погодина перед возможной

трактовкой Григорьевым грозных европейских событий, разразившаяся февральская революция в Париже явно положила конец всем сомнениям: в 1848 в «Москвитянине» отсутствует «Европейское обозрение». Впрочем, и трения с редакцией дали о себе знать: Григорьев на два с лишним года уходит из журнала.

С 1850 года начинается новый, самый интенсивный и плодотворный период участия Григорьева в «Москвитянине». Поводом послужило сближение Григорьева с «молодой редакцией» во главе с Островским, состоявшееся, очевидно, в конце 1850 года. С началом следующего года Григорьев — один из самых активных сотрудников «Москвитянина»; через несколько месяцев он стал в центре кружка, заменяя в нем Островского, постепенно отходившего от активной работы в журнале. * О возросшем «весе» Григорьева в редакции «Москвитянина» свидетельствует набросанный его рукой план распределения работы между сотрудниками (рукопись, как справедливо предположил В. Лакшин, ** датируется концом 1851 г.: именно в это время Островский отказывается от редакторской работы, Григорьев сдает перевод «Вильгельма Мейстера» и т. д.). План настолько интересен, что воспроизводим его полностью *** (он дает возможность судить как о реальном распределении обязанностей, так и о «программе-максимум», о намерениях Григорьева сделать журнал всеобъемлющим; значительная часть плана оказалась невыполненной).

Как ясно видно из плана, Григорьев решающую роль отводил себе: он единственный из 15 перечисленных сотрудников, кто должен был участвовать во всех шести отделах (не учтена, правда, оригинальная художественная литература).

Однако в действительности Григорьев работал значительно менее интенсивно по сравнению с планом. Например, из периодики он обозревал в 1851 году только «Современник» и «Пантеон» (в следующем году «поменялся» с Т. Филипповым и взял вместо «Современника» «Библиотеку»).

В 1853 году идейные и материальные конфликты с Погодиным (см. К, 137—138) заставляют «молодую редакцию» почти на год порвать отношения с журналом, и затем работа уже в прежнем объеме не возобновлялась, хотя с перерывами Григорьев участвовал в «Москвитянине» до 1855 года включительно. В этот период в течение многих месяцев Григорьев с невероятной энергией добивается от Погодина передачи журнала в руки «молодой редакции» (см. К, 140—150).

Предвидя крах «Москвитянина», Погодин вынужден был согласиться (см. К, 312—314), но затянул дело еще на несколько месяцев. Е. Э. Дрянский сообщал Островскому 15. VI. 1857: «Погодин вызвал его <Григорьева — Б. Е.> к себе и передал ему «Москвитянина», с правом полного и безотчетного распоряжения журналь<ной> частью и с буд<ушего> года Григорьев остается единственным его редактором <...> 8-го послана уже бумага в министерство» («Незданные письма <...> Из архива А. Н. Островского 1932, стр. 120).

28 сентября 1857 года Главное управление цензуры разрешило передать «Москвитянин» Григорьеву (копия дела из архива В. С. Спиридонова в ИРЛИ).

В 1855—1856 гг. Григорьев очень горячо воевал с Погодиным за журнал, собрал свой актив, а также подготовил интереснейший документ о принципах подхода редакции к современным литературным явлениям, который приводим, ввиду его важности, полностью:

* См. об этом: В. Лакшин, О некоторых ошибках в изучении А. Н. Островского, Вопросы литературы, 1958, № 6, стр. 223.

** Там же.

*** ЛБ Погол/III. 27. 27. По техническим причинам план публикуется на стр. 222—225.

Окружное послание о правилах отношений критики «Москвитянина» к литературе русской и иностранной, современной и старой

1. Правила отношений к литературе русской современной.

1) Разделить для читателей с самых первых статей и разделять потом постоянно, неуклонно, не смущаясь ничем и ничтоже сумняся, всю современную литературу на две полосы: 1) дельную, настоящую, русскую, имеющую предметом анализ отношений правильных, общерусских, и 2) вздорную, поддельную, подражательную, имеющую предметом такие отношения, до которых никому нет дела, кроме особенно-тонких, т. е. морально и умественно развращенных личностей.

2) В отношении к первой полосе, т. е. к литературе дельной, — преимущественно заботиться о разъяснении для читателей ее народного смысла, ее новых сторон, показывая, в какой степени они новы, т. е. в какой степени они стары, как старокоренное русское воззрение. В эстетической оценке произведений Островского, Писемского, Потехина, Стаховича воздерживаться от указаний на такие промахи, которые посторонним не видны, во-первых потому, что до эстетической оценки мало кому дела в настоящее время, а во-вторых, и потому еще, что, как ясно видно из нашего собственного отношения к новой драме Островского, — до настоящей эстетической оценки мы еще не доросли и сами. Вообще, — твердо укоренить в себе мысль, а эта мысль опирается на своде всех критических статей журналов за прошлые годы, — что посторонние не видят и не могут видеть настоящих недостатков; что они борются не с Островским как художником, а с новым, т. е. со старым его словом, т. е. с коренными русскими началами, которые лежат в основе его драм; — с новою формою их развития, чуждою шепетильных условий и свободною до некоторой небрежности, и то — видной нам, а не им. Не сдаваться на их, даже благовидные уречения: когда, например, они будут вопиять во имя искусства о неуместности постоянного введения песен в драмы, — не верить их благовидным эстетическим основаниям (которые могут быть притом и опровергнуты значением хора в греческой трагедии и примером Шекспира), а знать наперед, что они вооружаются не во имя искусства, до которого им, по собственным их многократным признаниям, дела нет и которое готовы они посылать торговать в мелочную лавочку, — а во имя ненависти ко всему народному, стало быть и к песням. Или, когда они будут, примерно, вопиять на случайность и быстроту развязок в его драмах, — то опять-таки не верить, а знать твердо, что упреки происходят из источника вражды к коренной черте русской натуры: к отходчивости сердца, к отсутствию упорства в злобе, ко всегдашней готовности к примирению, к вере в промысел, — из источника досады на то, что божье крепко, а вражье только лепко. Или когда они женщин, выводимых новой литературой, будут упрекать в отсутствии личности, то опять знать твердо, что таковые упреки происходят из тех же самых начал, по коим пушкинская Татьяна была упрекаема ими же в том, что не дала Онегину. Вообще, при всякой статье о каком бы ни было из явлений литературы настоящей, нужной для искусства и для общества, — иметь постоянно в виду врагов этой еще только возникающей литературы, врагов явных и тайных, врагов в западном образовании и в лакейской полуобразованности.

3) Связывать ее, эту настоящую литературу, т. е. разъяснять до очевидности связь ее с допетровскою литературою, духовною и гражданскою, письменною и устною, переходящую из рода в род в песнях, притчах, сказках и т. д. — равномерно и связывать язык ее <<с> языком древних памятников — летописей, грамот, Сильвестрова Домостроя, сочинений Посошкова и т. д. Вести ее происхождение по прямой линии от идей Карамзина в последние годы его и от зрелых идей Пушкина, в котором и надо, очевидно, для всех представить истинного отца прямых, чистых отношений мысли и чувства к народному быту.

4) Высказывать чаще и уяснять все различие этой настоящей литературы 1) от натуральной школы и 2) от ложнонародного направления, явив-

шегося из любви к французским мужичкам Занда. Показывать отличие ее юмора даже от юмора гоголевского, разумеется, с глубочайшим уважением к Гоголю. Доказать, разумеется, в приличных формах и избегая называть вещи их собственными именами, что она не имеет целию ни пролетариатства, которого, слава богу, и нет в России и который в поте лица отыскивала на чердаках и в углах Петербурга натуральная школа: ни демократизма в его политическо-западном смысле; что в купечестве и простонародье ищет она народного быта только потому, что там целнее удержались язык, понятия и типы — которых увековечение и составляет ее художественное призвание, которых удержание есть ее общественное служение.

5) Что касается до отношений к литературе вздорной и праздной, то надобно принять за правило: смеяться беспощадно 1) над тонкостью ее анализа, выводя на свежую воду, какой моральный и умственный разврат под ними скрывается; 2) над ее склонностью к комфорту, светскому лоску и т. п. — постоянно выставляя на вид, как ограниченно на Руси, слава богу, количество лиц с подобными склонностями. Не увлекаться в этой праздной литературе вещами, по-видимому, и безвредными, каковы разные пошедшие теперь в ход психологические анализы ощущений детства, тонких любей и т. п., и твердо быть убежденными самим и убеждать спокойно, основательно публику, что все это — в сфере искусства — одно праздношатательство, а в жизни — болезненность.

К литературе а б л я т и в у с о в, всех без исключения, относиться с постоянною ирониею, никогда не позволяя себе о романах разных госпож от Евгении Тур до гр. Р<остопчиной> включительно говорить много, серьезно и как будто о деле. Преследовать праздную литературу, когда она принимается мозаическим языком и поддельными красками рисовать коренной народной быт.

6) Произведения научной деятельности разделить также на две категории 1) трудов важных, самостоятельных, по части изучения русского быта или даже западной истории и статистики, но с русской точки зрения; 2) и тепличных растений, крохотно-специальных исследований (т. е. выборки из немецких и французских монографий) о различных судьбах Италии, о Григорьях Турских, Сидониях Аполлинариях и т. д. — исследований, смешных в литературе, в которой нет еще путного учебника истории, бесстыдно выдаваемых за оригинальные, — не имеющих никакого значения в науке западной, а между тем ее продолжающих, порождений умственного онанизма, выдаваемых за нечто важное, — исследований, которых авторы то встречаются случайно в мыслях с Макиавелли, — то своими мизерными и неотделанными работами затемняют, по мнению их адептов, труды Гегелей, Рихтеров и проч. В комическом свете стараться поэтому выставлять скороспелые ученые авторитеты, выросшие на почве маленьких, краденых и кладеных диссертаций — вырастающие ежегодно и шипящие против всего, что не книжная пыль и не мертвечина. То же отношение, только еще более резко, к возделывателям русской истории по Тьерри, русской мифологии по Гримму, русского быта во вкусе родовых понятий. Бичевать насмешкой, почаще, побольше. Завести бы отдел — типов из ученого мира и действовать сатирой постоянною, как уже начал было Алмазов.

7) Где нехватит специальных сведений — брать правдою чувства — чувство вывезет, и притом же из противников авторите<ты> постарше (extrême gauche), прославленные пониманием философов, как Боткин и иные — и даже многие профессора разрезывали только предисловия и введения ко множеству немецких и французских сочинений, а дальше не ходили, занимаясь более пьянством и гамаюнированием; а авторитеты нового, таинственного кружка — по необычайной книжной тупости голов ударились в исключительно микроскопические занятия культом Зевса или Венеры Каллипиги: в их кружке умнее других тот, кто прочел самую новую из немецких микроскопических монографий, коих выходит в Германии по тысяче в год. Общие, синтетические идеи есть, да и то в смутном и таинственном виде, у одного Каткова. Невежество молодых ученых адептов этого и того кружка таково, что многим из них можно рассказывать за новостью, что в Москве есть Чудов

монастырь и что в нем почивают мощи Св. Алексия митрополита. Это не гипербола, а *exregentia in anima vili*, мой собственный опыт над одним из таковых. Исследователи же русского быта знают его только по Сахарову и Терещенко и кроме того по большей части не ведают иностранных языков и должны довольствоваться для построения своих гипотез только слышанным ими от читавших Я. Гримма. Стало быть, вообще с теми и другими церемониться нечего: ваяя в дубье!» (ЛБ. Пог/III. 27. 31).

Рукопись (очевидно, не законченная) относится к концу 1855—1856 гг., т. к. в ней есть намек на книгу С. Ешевского «К. С. Аполлинарий Сидоний», М., 1855.

* * *

Но измученный хлопотами, переживающий тяжелую внутреннюю драму (кризис мировоззрения, безответная любовь к Л. Я. Визард), Григорьев, не дождавшись решения о передаче журнала в его руки, уехал надолго за границу — и, таким образом, все его старания пропали даром. Правда, в октябре 1860 г. Григорьев снова сделал попытку получить «Москвитянин», обратившись официально в Главное управление цензуры и неофициально — к влиятельным петербургским лицам, за содействием (см. его письмо к П. А. Плетневу от 24. X. 1860 — ИРЛИ, ф. 234, оп. 3, № 183). Однако Григорьеву было отказано на том основании, что в данный момент он уже являлся редактором «Драматического сборника» в Петербурге (копия дела из архива В. С. Спиридонова в ИРЛИ).

<«Москвитянин»> 1850

110. Причуды. Комедия П. Н. Меншикова. Современник, 1850, № VIII, (№ 17).²⁸

1851

111. Современник в 1850 году (№ 2).²⁹
 112. Г.³⁰ <То же> (№ 3).
 113. Г. Пантеон и репертуар русской сцены <...> 1850. № 1—XII (№ 4).
 114. Г. Современник. Январь (№ 5).
 115. Г. Жизнь и смерть короля Ричарда третьего. Драма В. Шекспира. Перевод <...> Григория Данилевского. С. Петербург. 1850 (№ 5).
 116. Г. Библиотека для чтения <...> 1850 год. № XII (№ 6).
 117. Г. Пантеон и репертуар русской сцены <...> 1851. № 1. Январь (№ 6).
 118. Г. Современник 1851 г. № 2-й, февраль (№ 6).
 119. Г. Галерея польских писателей. Часть I. Будник, повесть И. Крашевского, перевод А. Афанасьева. Киев, 1851 <...> (№ 7).
 120. Г. Сотрудники, или чужим добром не наживешься. Пословица <...> В. Соллогуба. Спбурк. 1851 (№ 7).
 121. Г. Современник. № III. Март (№ 7).
 122. Г. Комета, учено-литературный альманах, изд. Н. Щепкиным Москва. 1851 <...> (№ 9—10).
 123. Г. Современник, № 4 (№ 9—10).
 124. Г. Первое апреля <...> Е. Тур. Антонина <...> Е. Тур. (№ 11).
 125. Г. Разговор на большой дороге <...> И. С. Тургенева (№ 11).
 126. Г. Пантеон и репертуар русской сцены <...> № 2. Февраль. № 3. Март. № 4. Апрель (№ 11).

²⁸ Раскрыто В. Лакшиным (Вопросы литературы, 1958, № 6, стр. 220).

²⁹ Раскрыто в окончании статьи — в № 3.

³⁰ Под криптонимом «Г» будет в «Москвитянине» опубликовано значительное число статей Григорьева. В «Словаре псевдонимов» И. Ф. Масанова инициал расшифрован лишь в пределах 1851—1853 гг., но в действительности и в 1854 г. публиковались статьи под этим криптонимом.

127. Г. Сцены из обыкновенной жизни. Соч. Ф. Корфа <...> Спб. 1851 (№ 12).
128. Г. Современник, № 5. Май (№ 13).
129. А. Григорьев. Летопись московского театра (№ 13).
130. Г. Легенда о Монтрозе. Исторический роман Вальтера Скотта <...> Москва. 1851 <...> (№ 14).
131. Г. Пантеон и репертуар русской сцены. Май (Июнь). Книжка пятая и шестая (№ 14).
132. Г. Современник. № 6. Июнь, № 7. Июль (№ 15).
133. <То же, что и № 129>, II (№ 15).
134. Г. Пантеон и репертуар русской сцены. Июль <...> (№ 16).
135. Г. Современник. № VIII. Август (№ 17).
136. <То же, что и № 129>. III (№ 18).
137. Г. Галерея польских писателей. Часть II. Осторожней с огнем, повесть И. Крашевского. Перевод А. Афанасьева. Киев <...> (№ 19—20).
138. Г. Ярмарка тщеславия <...> Теккерей <...> Спб. 1851 <...> (№ 19—20).
139. Г. Пантеон и репертуар русской сцены. Август <...> (№ 19—20).
140. Г. Современник. № IX. Сентябрь (№ 19—20).
141. <То же, что и № 129> IV (№ 21).
142. Г. Современник. № X. Октябрь (№ 22).
143. Г. Пантеон <...> Сентябрь. Книжка девятая (№ 23).
144. <?> Современник, № XI, ноябрь (№ 24).³¹
145. Г. Статья Проспера Мериме о Гоголе, в «Revue des deux mondes» (№ 24).

1852

146. Переводчик. Предупреждение <к переводу «В. Мейстера» Гете> (№ 1).³²
147. Русская литература в 1851 году. Статья первая (№ 1).
148. Г. Русская литература в 1851 году. Статья вторая (№ 2).
149. Русская литература в 1851 году. Статья третья (№ 3).
150. Г. Библиотека для чтения. Январь. 1852 (№ 3).
151. А. Григорьев. Русская литература в 1851 году. Статья четвертая и последняя (№ 4).
152. Г. Библиотека для чтения 1852 года, № 2, февраль (№ 5).
153. Пантеон <...> Том I. Январь. Книжка 1. 1852 (№ 6).³³
154. Библиотека для чтения. Март, № 3-й (№ 8).³⁴
155. А. Григорьев. Летопись московского театра. Обзорение зимней поры (сезона) (№ 8).

³¹ Согласно распределению обязанностей, «Современник» должен был рецензировать Григорьев. Но почему-то отсутствует обычный криптоним. Кроме того, с 1852 г. основным рецензентом «Современника» станет Т. Филиппов, следовательно, полной уверенности в принадлежности статьи Григорьеву пока нет.

³² Автор раскрыт в годовом оглавлении.

³³ Идея рецензии — защита истинной комедии и разнос рыночной халтуры — типичны для Григорьева.

Кроме того, из текста следует, что автор продолжает обзорение журнала, который он рецензировал в прошлом году: «Мы не помянем его лихом за прежнее и не скажем даже ни слова о последних книжках 1851 года, хотя мы ничего не говорили о них, как, вероятно, помнят читатели» (стр. 75). См. также прим. 36.

³⁴ Атрибутируется на основании оценки романа «Самоучки»: «мы обещались не говорить более ни слова об этом литературно-неприличном произведении» (стр. 145); имеется в виду фраза, сказанная Григорьевым при разборе февральской книги журнала (см. № 152 росписи): «не позволим себе более сказать об этом литературно-неприличном произведении ни одного слова» (стр. 40).

156. Библиотека для чтения. Апрель, № 4 (№ 9).³⁵
 157. Пантеон <...> Февраль и март. Книжки 2 и 3 (№ 9).³⁶
 158. А. Григорьев. Современные лирики, романисты и драматурги. Альфред де Мюссе. I (№ 12).
 159. А. Григорьев. Драмы А. де Мюссе (№ 13).
 160. Повести А. де Мюссе (№ 14).³⁷
 161. Пантеон <...> №<№> 4, 5, 6 (№ 16).³⁸
 162. Галерея польских писателей, часть 3. Коллокация, повесть г. Корженевского <...> Киев <...> 1852 (№ 17).³⁹
 163. Пантеон. № 7 (№ 17).⁴⁰
 164. Библиотека для чтения. Июнь, книжка VI. Июль, кн. VII. Август, кн. VIII (№ 17).⁴¹
 165—166. А. Григорьев. Летопись московского театра (№№ 18, 19).
 167. Библиотека для чтения № 9-й. Сентябрь (№ 20).⁴²

³⁵ В тексте содержится следующая фраза: «Статье г. И. Т.<ургенева> <...> отдана была полная справедливость в нашем журнале <...> — хотя рецензент наш взглянул, как нам кажется, слишком снисходительно на ее поучительный тон» (стр. 40). Речь идет об обзоре «Современника» в № 8 «Москвитянина» (автор — Т. Филиппов; он же положительно отозвался о другой рецензии Тургенева в обзоре «Современника» в № 3 «Москвитянина» за 1852 г.). Очевидно, в 1852 г. Ап. Григорьев и Т. Филиппов «поменялись» журналами: первый стал обозревать «Библиотеку», второй — «Современник».

Кроме Григорьева, вряд ли кто-нибудь мог делать замечание Т. Филиппову, т. к. третий журнальный рецензент — Э. Эдельсон — оставил, как известно, исчерпывающие данные о своем участии в «Москвитянине», и там нет никаких сведений о принадлежности ему в 1852 г. обзоров «Библиотеки».

Еще более убедительное доказательство принадлежности рецензии Григорьеву находим в обзоре «Пантеона» в № 16 «Москвитянина», где прямо сказано о том, что автор обозревал в 1852 г. два журнала: «Пантеон» и «Библиотеку для чтения» (см. № 161 росписи).

³⁶ Атрибутируется на основании фраз: «мы даже и в прошлом году, при разборе книжек «Пантеона» <...> высказывали мысль» (стр. 46); «Рассматривая первую книжку «Пантеона» за 1852 год, <...> мы высказали желанья...» (стр. 46).

³⁷ Раскрыто в оглавлении номера.

³⁸ Атрибутируется по аналогии с другими рецензиями на «Пантеон», по содержанию: автор сочувственно отмечает переход Ж. Занд к «спокойному» «взгляду на жизнь» (стр. 186 — ср. с аналогичными высказываниями тех лет: Соч. А. Григорьева, 1876, стр. 164—178) и по следующей фразе: «Мы в долгу перед читателями «Москвитянина», не беседовавши с ними так долго о «Пантеоне» и «Библиотеке для чтения»» (стр. 185). См. также прим. 41.

³⁹ Автор раскрыт в оглавлении тома.

⁴⁰ Атрибутируется на основании содержания, из которого следует, что рецензент — прежний (напр., «составлено, как всегда, полно» (стр. 50) и т. п.).

⁴¹ В статье подчеркивается связь с другими рецензиями на «Пантеон» и «Библиотеку»: «Совершенное отсутствие в отделе словесности «Библиотеки для чтения» произведений, способных заинтересовать и читателя, и критика, заставило нас хранить такое долгое молчание об этом журнале: мы все ждали, как уже сказано в отчете о трех книжках «Пантеона и репертуара», — накопления материалов» (стр. 51).

Ниже имеется ссылка на труд «одного из наших сотрудников» (стр. 53) о Теккерее в том же номере (автор — Т. И. Филиппов).

Содержание и термины статьи характерны для Ап. Григорьева.

⁴² В статье проводятся идеи, типичные именно для Григорьева: о важности «прочного мирозерцания» (160), о творчестве во имя идеала, о диалектике фатальной обусловленности эпохой и различия в «угле зрения» (161); внимательно анализируется эстетика Ж. П. Рихтера; стиль и термины харак-

168. Библиотека для чтения. № X. Октябрь (№ 21).⁴³
 169. Пантеон. Август. Книжка VIII (№ 21).⁴⁴
 170. Г. Обзорение иностранной журналистики. I (№ 22).
 171. Библиотека для чтения № XI, ноябрь (№ 23).⁴⁵
 172. Библиотека для чтения. Декабрь, № 12 (№ 24).⁴⁶

1853

173. А. Григорьев. Русская изящная литература в 1852 году (№ 1).
 174. Г. Библиотека для чтения. № 1. Январь, 1853 (№ 3).
 175. Библиотека для чтения. № 2 (№ 5).⁴⁷
 176. Г. Библиотека для чтения. № 3. Март (№ 7).
 177. Г. Библиотека для чтения, апрель и май (№ 12).
 178. А. Г. Некролог <И. Т. Кокорев> (№ 12).

1854

179. Г. Пантеон <...> Взгляд на прошлый 1853 год журнала и обзорение 1-й книжки 1854 года (№ 5).
 180. Г. Древние грамоты и акты Рязанского края, собранные А. Н. Пискаревым <...> С.-Петербург. 1854 <...> (№ 6).
 181. Г. Взгляд на «Библиотеку для чтения» в прошлом году (№ 6).
 182. Г. Библиотека для чтения. Январская, февральская и мартовская книжки (№ 8).
 183. Проспер Мери́ме (№ 11).⁴⁸
 184. А. Григорьев. Русские народные песни. Статья первая. Собрание русских народных песен <...> Михайло Стахович. Москва, 1854 <...> (№ 15).
 185. Г. Библиотека для чтения. Апрель, май, июнь, июль (№ 17).
 186. Историческое значение царствования Алексея Михайловича. Сочинение П. Медовикова. Москва. 1854 года (№ 23).⁴⁹

терно григорьевские: «во имя ясно-сознаваемого или живо-чувствуемого ими идеала» (160), «степень разумения» (160), «исторический фатализм» (161) и др. Статья написана от имени постоянного обозревателя «Библиотеки»: «Судя по объявлению, мы надеемся в следующем году говорить иначе о Библиотеке» (163). Это еще более убедительно подтверждает, что в конце года Григорьев продолжает рецензировать этот журнал.

⁴³ См заключение прим. 42.

⁴⁴ В статье содержится излюбленный Григорьевым пример «овцелюбия» некоторых поэтов XVIII в. (стр. 17; ср. — Репертуар и пантеон, 1846, № 11, стр. 238). На основании поздней ссылки (см. след. прим.) видно, что и «Библиотеку», и «Пантеон» рецензировал один автор.

⁴⁵ Содержание статьи типично для Григорьева: борьба с цинично беспринципными рецензиями Сенковского, требование объективных критериев критики. Имеется ссылка, подтверждающая авторство: «О стихотворениях г-жи Хвошинской мы высказали уже раз свое мнение» (стр. 75). Это мнение содержалось в обзоре «Пантеона» № 8 (Москвитянин, 1852, № 21, стр. 16—18).

⁴⁶ Автор заявляет: «Мнение наше о г. Дружинине высказывали мы несколько раз» (стр. 103). Действительно, Григорьев часто при разборе «Библиотеки» (а раньше — «Современника») анализировал творчество Дружинина. Здесь лишь повторяются прежние идеи (см. стр. 103—104), с прямыми указаниями: «как мы уже несколько раз замечали» (стр. 184).

⁴⁷ Раскрыто в оглавлении номера.

⁴⁸ Раскрыто в годовом оглавлении.

⁴⁹ Раскрывается на основании письма Григорьева к Погодину (см. К, 139).

187. А. Григорьев. О комедиях Островского и их значении в литературе и на сцене (№ 3).⁵⁰

188. Ап. Григорьев. Библиотека для чтения. Январь и февраль (№ 3).

189. А. Григорьев <То же> (№ 4).

190. Ап. Григорьев. Журна. Закавказский альманах. Издание Е. А. Вердеревского. Тифлис <...> 1855 <...> (№ 13—14).

191. Аполлон Григорьев. Замечания об отношении современной критики к искусству (№ 13—14).

192. Ап. Григорьев. Обзорение наличных литературных деятелей (№ 15—16).

«Русская беседа» 1856⁵¹

193. Аполлон Григорьев. О правде и искренности в искусстве (т. 3).

«Библиотека для чтения»⁵²

1857

194. Письмо к А. В. Дружинину по поводу комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь» и ее перевода (№ 8).⁵³

195. Примечания <к переводу той же комедии> (№ 8).⁵⁴

1858

196. А. Григорьев. Критический взгляд на основы, значение и приемы современной критики искусства (№ 1).

«Русское слово» 1859⁵⁵

197. Аполлон Григорьев, Взгляд на историю России, соч. С. Соловьева (№ 1).

⁵⁰ Григорьев рассчитывал написать очень обширную статью об Островском: «пойдет на четыре №, листа по два в каждый» (ЛБ. Пог./II. 9. 31; письмо Погодину от 17. II. 1855), но цензура запретила уже вторую статью (опубликована В. С. Спиридоновым в «Ежегоднике петроградских гос. театров», сезон 1918—1919. Пг., 1922), и Григорьев, очевидно, прекратил на этом работу.

⁵¹ Получив приглашение от редактора-издателя журнала, славянофила А. И. Кошелева, Григорьев ответил «ультимативным» письмом с требованием безраздельного владения критическим отделом (К, 150—152). Кошелев, разумеется, не согласился, и сотрудничество ограничилось помещением одной статьи.

⁵² Несмотря на обширные планы (К, 155—164), Григорьев и здесь участвует эпизодически.

⁵³ Письмо от имени переводчика -- А. А. Григорьева (раскрыто в заглавии).

⁵⁴ См. прим. 53.

⁵⁵ Весной 1858 года, во Флоренции, Я. Полонский представил Григорьева Г. А. Кушелеву-Безбородко, и последний пригласил его в качестве помощника главного редактора и ведущего критика во вновь организуемый журнал «Русское слово» (подробнее об организации журнала и о первых годах его существования см. в статье Г. В. Прохорова «Начало «Русского слова» и Г. Е. Благосветлов» — Звенья, I, М.—Л., 1932). Но вскоре у Григорьева возникли серьезные разногласия с другими сотрудниками редакции и он был вынужден уйти из «Русского слова»: «В июле 1859 <года> в отъезд графа Кушелева — я не позволил г. Хмельницкому вымарать в моих статьях доро-

198. А. Григорьев. I. Народное чтение <...> II. История Рязанского княжества, соч. Д. Иловайского <...> (№ 1).
199. Аполлон Григорьев. Великий трагик. Рассказ из книги: «Одиссея о последнем романтике» (№ 1).
200. Граф Гр. Кушелев-Безбородко, Я. Полонский, А. Григорьев. От редакции (№ 1).
201. Аполлон Григорьев. Взгляд на русскую литературу со смерти Пушкина. Статья I (№ 2).
202. А.п. Григорьев. Утро. Литературный сборник <...> (№ 2).
203. <То же, что № 200> (№ 2).
204. Аполлон Григорьев. Взгляд на русскую литературу со смерти Пушкина. Статья II (№ 3).
205. А.п. Григорьев. Собрание сочинений Сенковского (№ 3).
206. <То же, что № 200> (№ 3).
207. А.п. Григорьев. И. С. Тургенев и его деятельность по поводу романа «Дворянское гнездо» (№ 4).
208. А. Г. Библиографический перечень (№ 4).
209. <То же, что № 200> (№ 4).
210. А.п. Григорьев. Несколько слов о законах и терминах органической критики (№ 5).
211. <То же, что № 207> Статья вторая (№ 5).
212. А.п. Григорьев. Гейнрих Гейне (№ 5).
213. <То же, что № 200> (№ 5).
214. <То же, что № 207> Статья третья (№ 6).
215. <То же, что № 200> (№ 6).
216. <То же, что № 207> Статья четвертая и последняя (№ 8).
217. Московское обозрение. Книга I <...> Книга II <...> Москва 1859 <...> (№ 8).⁵⁶
218. Весна. Литературный сборник на 1859 год. С. П. бург <...> (№ 8).⁵⁷
219. Русский раскол старообрядства <...> А. Шапова. Казань. 1859 <...> (№ 8).⁵⁸

«Русский мир» 1860⁵⁹

220—223. А.п. Григорьев. После «Грозы» Островского (№№ 5, 6, 9, 11).

гие мне имена Хомякова, Киреевского, Аксакова, Погодина, Шевырева. Я был уволен от критики» (К, 306).

В журнале за первое полугодие, очевидно, не было анонимных статей Григорьева. Он писал Погодину: «в шести книжках «Русского слова» моих около пятнадцати листов» (К, 277), но в действительности за подписью Григорьева за этот период опубликовано свыше 20 печатных листов.

⁵⁶ Атрибутируется на основании письма Григорьева к Погодину от 4. VIII. 1859, где автор говорит об этой рецензии как о своей (К, 244).

⁵⁷ Атрибутируется на основании первой фразы: «Вот этот сборник представляет собою совершенно другого рода явление, нежели разобранное нами «Московское обозрение» (стр. 55).

⁵⁸ Статья сверстана вместе с предыдущими двумя; содержание статьи — положительная оценка труда Шапова — будет потом неоднократно повторяться в работах Григорьева (см., напр., его рецензию на «Князя Серебряного» А. К. Толстого, Время, 1862, № 12); стиль и лексика статьи типично григорьевская: Шапов «взял живую струю дела, струю, которую смутно чувствовали многие» (стр. 58) и т. п.

⁵⁹ «Уволенный» из «Русского слова», Григорьев оказался в трагическом положении: ни один редакционный кружок не соответствовал его взглядам. Этим и объясняются его скитания по различным органам печати: «Негде было писать, — стал писать в «Русском мире». Не сошлись. У Старчевского (в «Сыне отечества» — Б. Е.) — не сошлись» (К, 307). Пройдя еще через

«Сын отечества» 1860

224—225. Ап. Григорьев. Беседы с Иваном Ивановичем о современной нашей словесности и о многих других вызывающих на размышление предметах (№№ 6, 7).

«Отечественные записки» 1860

226—227. А. Григорьев. Русские народные песни с их поэтической и музыкальной стороны (№№ 4, 5).

«Драматический сборник»⁶⁰

1860

228. Несколько заметок вместо предисловия <к комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь»> (№ 4).⁶¹

229. Примечания <к той же комедии> (№ 4).⁶²

230. Ап. Григорьев. Гаазе в роли Гамлета (№ 4).

231. Аполлон Григорьев. Альфред де Мюссе (№ 5).

232. Об издании журнала «Драматический сборник» в 1861 году (№ 9).⁶³

1861

233. Ап. Григорьев. <От редакции> (№ 4).⁶⁴

«Светоч» 1861

234. Ап. Григорьев. Искусство и нравственность. Новые Grübeleien по поводу старого вопроса (№ 1).

235. Ап. Григорьев. Реализм и идеализм в нашей литературе. (По поводу нового издания сочинений Писемского и Тургенева) (№ 4).

«Северная пчела» 1861

235а. Аполлон Григорьев. Несколько замечаний о значении и устройстве долговых отделений (№ 92).

«Время»⁶⁵

1861

236. А. Григорьев. Народность и литература (№ 2).

несколько редакций, Григорьев, наконец, найдет пристанище во «Времени», да и то не на долго.

⁶⁰ Издатель Ф. Стелловский в августе 1860 г. объявил о прекращении журнала «Театральный и музыкальный вестник» (см. № 31, вышедший 7 августа); деятельность редакции была перенесена в приобретенную Стелловским газету «Русский мир» (редактором стал А. Гиероглифов); особое же приложение, выходявшее при «Театральном и музыкальном вестнике», — «Драматический сборник» — выделилось в самостоятельный журнал под редакцией Ап. Григорьева. Кажется, это — первое официальное редакторство критика. Редактировать «Драматический сборник» Григорьев начал еще до его «отпочкования» от «Т. и М. вестника». Главное управление цензуры утвердило Григорьева в качестве редактора 26 мая 1860 г. (архив В. С. Спиридонова в ИРЛИ).

⁶¹ Предисловие почти без изменений перепечатано из «Библиотеки для чтения» (см. № 194 росписи).

⁶² См. прим. 61.

⁶³ Объявление от имени редактора. В следующих номерах оно повторяется (вплоть до конца 1861 г.).

⁶⁴ Сообщение повторено в следующих номерах (до № 10 включительно).

⁶⁵ Вскоре после организации журнала братьями Достоевскими, Григорьев принял в нем активное участие в качестве ведущего литературного критика.

237. <?> Гаванские чиновники <...> Ивана Генслера. Библиотека для чтения. Ноябрь и декабрь 1860 (№ 2).⁶⁶

238. <?> Несколко слов о Ристори (№ 2).⁶⁷

239. А. Григорьев. Западничество в русской литературе. Причины происхождения его и силы. 1836—1851 (№ 3).

240. Знаменитые европейские писатели перед судом русской критики (№ 3).⁶⁸

241. Явления современной литературы, пропущенные нашей критикой (№ 3).⁶⁹

Впрочем, как указал Н. Страхов, первый номер «Времени» вышел без статей Григорьева (см. Эпоха, 1864, № 9, стр. 6). С февральского по майский номера включительно Григорьев публикует, как он сообщал Погдину в сентябре, до 18 печатных листов (К, 277). Однако, удалось обнаружить лишь около 16 листов его текстов. Много статей опубликовано было анонимно и, возможно, какие-то произведения критика еще остаются неизвестными (если только он не ошибся в цифре). Записи в «Приходно-расходном журнале» из конторы «Времени» не помогают в определении авторства Григорьева, т. к. он обычно забирал деньги вперед, следовательно, взятые суммы не соответствуют реально напечатанным статьям (ЛБ. Дост./I. 3. 22).

В №№ 6—12 за 1861 г. Григорьев из-за переезда в Оренбург не участвовал, затем сотрудничал до начала 1863 г., до тех пор, пока не стал редактировать «Якорь».

Между редакцией и критиком возникали разногласия, о чем см. статью Н. Страхова «Воспоминания об А. А. Григорьеве» и примечания к ней Ф. М. Достоевского (Эпоха, 1864, № 9).

⁶⁶ В статье «Нигилизм в искусстве», явно принадлежащей Григорьеву (см. прим. 74), содержится фраза: «Разбирая раз в нашем журнале вещь г. Генслера, мы, помнится, назвали ее огромным холстом с маленькими кадрами» (стр. 58). Речь шла именно о данной рецензии. Она может быть приписана Григорьеву на следующих основаниях: 1) проводится идея критика о недостатках произведений, авторы которых «рассыпаются» на мелочи и не имеют общего взгляда на жизнь; 2) автор сетует по поводу упадка критики, благодаря чему возникает много художественных «явлений», «не замеченных» литературой (ср. № 241 росписи); 3) сравнение произведения с холстом — излюбленное для Григорьева (ср. Время, 1861, № 4, стр. 131; Соч. А. Григорьева, изд. 1876 г., стр. 367).

Сомнения в авторстве Григорьева следующие: 1) статья написана как бы от имени редакции (стр. 145); 2) встречается много кратких, отрывистых предложений, мало типичных для синтаксиса Григорьева; 3) отдельные слова характерны скорее для лексикона Ф. Достоевского, чем Григорьева: «муссирование», «взмывание», «стусhevаться». Возможно, статья подверглась редакционной правке.

⁶⁷ Может быть приписана Григорьеву на следующих основаниях: 1) он был чуть ли не единственным театральным рецензентом «Времени»; 2) идеи характерны для Григорьева: артист отражает прежде всего национальный характер, темперамент; «общечеловеческое выражается в красках времени, места и народа» (стр. 156); главное для артиста — естественность и сознание «идеала» (там же); в России чувствуется стремление к созданию «народного театра» (стр. 157).

⁶⁸ Атрибутируется по следующим соображениям: 1) идеи типичны для А. Григорьева (отрицательная оценка Рашели, воспоминания о своей «донкихотской оппозиции французскому классицизму» (стр. 40), сочувственные отзывы о Надеждине (43) и т. д.); 2) стиль и термины характерны только для Григорьева: «кавалерские отношения» (37), «новые веяния жизни» (37), «ничего напряженного» (43), «таинственный гегелизм с его страшно-меняющим, всеохватывающим принципом» (45) и др.

⁶⁹ Содержание статьи — анализ рассказа Н. Д. <митриева> «Лес». А в рецензии на роман Д. Григоровича «Два генерала» Григорьев заявил, что он — автор рубрики «Явления современной литературы...» и что он анали-

242. Один из многих ненужных людей. О постепенном, но быстром и повсеместном распространении невежества и безграмотности в российской словестности (из заметок ненужного человека) (№ 3).⁷⁰

243. А. Григорьев. Тарас Шевченко (№ 4).

244. Псковитянка, драма Л. Мея (№ 4).⁷¹

245. Взгляд на книги и журнальные статьи, касающиеся истории русского народного быта (№ 4).⁷²

246. А. Григорьев. Белинский и отрицательный взгляд в литературе (№ 4).

247. А. Григорьев. Оппозиция застоя. Черты из истории мракобесия (№ 5).

248. Стихотворения А. С. Хомякова (№ 5).⁷³

1862

249. А. Григорьев. Граф Л. Толстой и его сочинения (№ 1).

250. Аполлон Григорьев. Стихотворения Н. Некрасова (№ 7).

251. А. Григорьев. По поводу нового издания старой вещи. Горе от ума. Спб. 1862 (№ 8).

252. Нигилизм в искусстве (№ 8).⁷⁴

253. <То же, что № 249> (№ 9).

254. Русский театр. Современное состояние драматургии и сцены (№ 9).⁷⁵

зировав рассказ Н. Д. «Лес» и «Псковитянку» Мея (Эпоха, 1864, № 7, стр. 1, 2).

⁷⁰ Григорьев писал Страхову 23. IX. 1861: «Мои заметки ненужного человека» (К, 280).

⁷¹ См. прим. 69.

⁷² Идеи статьи повторяют мысли Григорьева из известных его статей. Так, характеристика позиции «западников» («пожертвование Турции славянством и жертва им же австрийскому жандарму» — стр. 173) почти дословно повторяют фразы из статей «Западничество в русской литературе» и «Белинский и отрицательный взгляд...»

Идеи, стиль и термины характерны только для Григорьева: теории всегда узки «сравнительно с безграничной жизнью, которой органом литература» (стр. 167), «растительная поэзия» (170), «органический взгляд» (174), славянофильство «не брало народ, каким он является в жизни» (175) и т. п.

⁷³ Следующую характеристику Погодина мог во «Времени» написать, только Григорьев: «Передовой публицист, почтенный исследователь, глава направления, которое, несмотря на имена М. Дмитриева и иных <...>, появлявшиеся временами в «Москвитянине» пятидесятых годов и вредившие бесконечно делу, было однако направлением новым и свежим» (стр. 47).

Затем встречается фраза: «мы уже в нескольких статьях говорили и о значении отрицательного взгляда Белинского» (стр. 55).

Термины — типично григорьевские: «поэт головной» (56), песня «родилась, а не сочинилась» (57) и т. п.

⁷⁴ М. М. Достоевский 28. VII. 1862 сообщал брату: «Григорьев напишет <...> статью о нигилизме в искусстве» («Ф. М. Достоевский. Материалы и исследования», Л., изд. АН СССР, 1935, стр. 538).

Идеи статьи — как бы конспект будущего первого письма Григорьева из цикла «Парадоксы органической критики». Кроме того, суждения об искусстве как «самом полном» «выражении смысла жизни» (стр. 51), о двух противоположных взглядах — утилитарном и идеальном (стр. 59), о человеческой душе как о критерии идеального взгляда (там же); примеры с яблоком нарисованным и натуральным, с Венерой Каллипигой — все это крайне характерно для Григорьева.

⁷⁵ Атрибутируется на основании полной подписи под той же рубрикой (в 1863, № 2) и заявления: «Я с этих пор вынужден, наконец, подписывать свое имя под этой скромной летописью» (стр. 150).

255. Аполлон Григорьев. Лермонтов и его направление (№ 10).
 256. <То же, что № 254> (№ 10).
 257. Аполлон Григорьев. Мои литературные и нравственные скитальчества (№ 11).
 258. <То же, что № 255> (№ 11).
 259. <То же, что № 254> (№ 11).
 260. <То же, что № 257> (№ 12).
 261. <То же, что № 255> (№ 12).
 262. Князь Серебряный <...> Алексея Толстого (Русский вестник, 1862 г., август, сентябрь, октябрь) (№ 12).⁷⁶
 263. <То же, что № 254> (№ 12).

1863

264. А. Григорьев. Северно-русские народоправства во времена удельно-вещевого уклада, соч. Николая Костомарова. Спб. 1863. Два тома. Статья первая (№ 1).
 265. А. Григорьев. Наши литературные направления с 1848 года (№ 2).
 266. А. Григорьев. Русский театр. Современное состояние драматургии и сцены (№ 2).

«Якорь»⁷⁷

1863

267. Вступительное слово о фальшивых нотах в печати и жизни (№ 1).⁷⁸
 268. Ненужный человек. Безвыходное положение. Из записок ненужного человека (№ 1).⁷⁹
 269. Ветер переменился (№ 2).⁸⁰
 270. А. Григорьев. По поводу одного мало замечаемого современного критикой явления. Письмо из Оренбурга к Н. Косице. Письмо первое (№ 2).
 271. Наша пристань (№ 3).⁸¹

⁷⁶ Атрибутируется на основании заявления о разборе «Псковитянки» Мея (стр. 51); на основании идей, типичных для Григорьева [об эволюции «петербургского» «славянофильства» от Шишкова к «Маяку» и Аскоченскому; о значении Островского и Щапова в изображении массовых народных движений (стр. 51) и т. п.] и благодаря григорьевским терминам: «наши умственные и нравственные требования» (стр. 46), «романтическая струя» (стр. 47) и др.

⁷⁷ Издатель и владелец нотного магазина Ф. Стелловский организовал в начале 1863 г. новый журнал «Якорь» и пригласил редактором А. Григорьева, на что последний, очевидно, с радостью согласился, т. к. он был недоволен ролью «подцензурного» редакции сотрудника во «Времени» и давно намеревался стать хозяином своих статей.

«Якорь» стал выходить с конца марта 1863 г. еженедельно в виде полугазеты — полужурнала с театральным и музыкальным уклоном. Как вспоминал Н. Страхов, Григорьев вначале горячо взялся за дело, «писал передовые статьи», но, видя неуспех издания, «опустил руки» (Эпоха, 1864, № 9 стр. 41). Номинально он числился редактором вплоть до своей смерти (последний раз его подпись стоит в № 36 «Якоря» за 1864 год, вышедшем 19 сентября), но фактически прекратил сотрудничество в январе 1864 г., как указывал Дм. Аверкиев (Эпоха, 1864, № 8, стр. 16).

После смерти Григорьева журнал перешел в руки Н. Шульгина с совершенно новым составом редакции.

⁷⁸ Написано в виде передовицы от имени редакции.

⁷⁹ Григорьев перенес псевдоним, уже использованный им во «Времени».

⁸⁰ Автор ссылается на свою поездку летом 1862 г. из Оренбурга в Петербург (стр. 21).

⁸¹ Вся статья, написанная от имени редактора, содержит повторение большинства прежних социальных идей А. Григорьева: о роли купечества, о православии и т. п., дополняя передовицу первого номера.

272. Ненужный человек. Плачевные размышления о деспотизме и вольном рабстве мысли. Из записок ненужного человека (№ 3).⁸²
273. Ред. <актор>. Журнальный мир и его явления. I. Взгляд на судьбы русской журналистики (№ 6).
274. Ред. Садовский в Петербурге (№ 6).
275. Теории и жизнь (№ 7).⁸³
276. <То же, что № 274>. Статья вторая (№ 9).
277. Ред. Журнальный мир и его явления. II. Темные стремления. Русское слово. Книжки 1, 2 и 3-я (№ 10).
278. Ред. Спектакль 6 мая. П. Васильев в «Грех да беда на кого не живнет» (№ 10).
279. Ред. Новая русская опера на нашей сцене (№ 10).
280. Ред. По поводу спектакля 10 мая «Бедность не порок» Островского (№ 11).
281. Ред. «Юдифь», опера в пяти актах А. Н. Серова (№ 12).
282. Ред. Журнальный мир и его явления. III. Порода лихачей («Современное слово») (№ 12).
283. Ред. О реализме в искусстве и литературе (№ 13).
284. Ред. Журнальный мир и его явления. III <...>. Судороги мракобесия (№ 14).
285. Ред. О Писемском и его значении в нашей литературе (№ 18).
286. Ред. Взбаламученное море. Роман в шести частях А. Ф. Писемского («Русский вестник», № 3 и 4) (№ 19).
287. Преобразования в театральном мире (№ 19).⁸⁴
288. Ред. Взбаламученное море (№ 20).
289. <То же> (№ 21).
290. Ред. Судороги мракобесия (№ 22).
291. <То же, что № 288> (№ 22).
292. Ред. Несколько слов о театральных заслуженностях (№ 22).
293. <То же, что № 288> (№ 23).
294. Ред. Русская оперная труппа. Несколько слов о ее настоящем и будущем (№ 23).
295. Редактор «Якоря» и специального отдела оного: «Подвиги назидательной головешки». Самонавейшие сведения о подвигах Виктора Ипатьевича (№ 24).
296. <То же, что № 288> (№ 24).
297. Ред. Русская оперная труппа (№ 24).
298. <То же, что № 288> (№ 25).
299. Ред. Сказания о подвигах «назидательной головешки» (№ 25).
300. Ред. Наша драматическая труппа (№ 25).
301. Хроника спектаклей (№ 25).⁸⁵
302. Ред. Театральные новости (№ 25).
303. <То же, что № 299> (№ 26).
304. Ред. Хроника спектаклей (№ 26).
305. Ред. Еще несколько слов о русской опере по поводу представления «Юдифи» (№ 27).
306. Ред. Г-жа Владимирова в роли Софьи Павловны (№ 27).
307. Взбаламученное море (№ 28).⁸⁶
308. Наша драматическая труппа (№ 28).⁸⁷

⁸² См. прим. 79.

⁸³ Написано от имени редакции. Повторение прежних идей А. Григорьева.

⁸⁴ Статья написана от имени редакции. Впервые авторство раскрыто В. С. Спиридоновым (его архив в ИРЛИ).

⁸⁵ В статье содержится фраза: «Мой соиненник, г. артист Григорьев» (стр. 489).

⁸⁶ Продолжение статьи, начатой еще в № 19 журнала.

⁸⁷ По аналогии с соответствующими предшествующими обзорами.

309. Ап. Григ. Хроника спектаклей (№ 28).
 310. На полдороге (№ 29).⁸⁸
 311. Ап. Григорьев. Наша драматическая труппа (№ 29).
 312. Ап. Григ. Хроника спектаклей (№ 29).
 312а. Критическая заметка (№ 30).⁸⁹
 313. <То же, что № 311> (№ 30).
 314. Ап. Григорьев. Хроника спектаклей (№ 30).
 315. Ап. Григорьев. «Доходное место» Островского и его сценическое представление (№ 31).
 316. <То же> (№ 32).
 317. <То же, что № 314> (№ 33).
 318. Ап. Григорьев. Несколько беглых заметок о выставке (№ 35).
 319. <То же, что № 314> (№ 35).
 320. Ап. Григорьев. Две сцены (№ 41).
 321. <То же, что № 314> (№ 41).
 322. Ап. Григорьев. «Воспитанница» Островского на петербургской сцене (№ 42).

1864

323. Ненужный человек. О борзописании ради печатного листа и о скачке мысли, а равно о малой пользе и великом вреде, принесенных словоизвержением словесности российской. Иеремиада ненужного человека (№ 1).⁹⁰

324. <То же, что № 314> (№ 1).

325. <То же, что № 314> (№ 2).

«Оса» 1863⁹¹

326. От редакции (№ 1).⁹²

327. <?> Театральные слухи и вести (№ 2).⁹³

⁸⁸ Статья написана от имени редакции.

⁸⁹ То же. Впервые авторство доказано В. С. Спиридоновым (его архив в ИРЛИ).

⁹⁰ См. прим. 79.

⁹¹ Журнал выходил в качестве сатирического приложения к «Якорю». Редактором также был Григорьев. Содержание журнала расписано в библиографическом указателе: И. Ф. Масанов, Русские сатиро-юмористические журналы, вып. III, Владимир, 1913. Там же автор раскрыл многие псевдонимы, к сожалению, без всяких ссылок на источники. В его же «Словаре псевдонимов» (т. III, М., 1958) источником соответствующих данных указана данная роспись. Так, например, вопросительный знак, часто встречающийся в виде подписи к статьям «Осы», расшифрован И. Ф. Масановым, как псевдоним И. Г. Долгомостьева. Однако в некоторых случаях, в частности, в статье «Нечто о вине, водке и опьянении» (см. № 331 росписи), подписанной «? —», речь ведется явно от имени Ап. Григорьева: «я ни за что бы не тронул августовской книжки «Русского слова», если бы не стал меня запугивать велемудрый г. В. Зайцев» — и далее следуют цитаты из статей последнего, где тот прямо «запугивает» Ап. Григорьева. Следовательно, или Григорьев воспользовался чужим псевдонимом, или этот псевдоним ошибочно приписан Долгомостьеву, или последний вступился за редактора от имени редактора. Все это заставляет пока считать вопрос открытым и атрибутировать Григорьеву лишь те статьи, которые явно написаны от имени редакции и имеют сходство со статьями Ап. Григорьева.

Большинство статей, введенных в роспись, впервые приписано (без доказательств) Григорьеву В. С. Спиридоновым (его архив в ИРЛИ).

⁹² См. прим. 91.

⁹³ В статье содержатся издевки над актерами Бурдиным и П. Григорьевым, характерные для театральных рецензий Ап. Григорьева.

328. От редакции (№ 11).⁹⁴
 329. <?> ?-ь. В ответ некоему читателю, спрашивавшему меня <...>
 (№ 18).⁹⁵
 330. <?> Новость (№ 19).⁹⁶
 331. <?>?. Нечто о вине, водке и опьянении (№ 22).⁹⁷
 332. От редакции «Осы» к ревнителям общественного благосостояния
 (№ 23).⁹⁸
 333. <?> Литературные благовония. Головешка, возвратившийся на
 путь истинный (№ 24).⁹⁹
 334. <?> Всероссийское bon-mot (№ 26).¹⁰⁰
 335. <?> Попрыщин на новом поприще (№ 26).¹⁰¹
 336. «Оса» к своим читателям (№ 28).¹⁰²
 337. <?> Сочинителю Гейне из Тамбова (№ 29).¹⁰³

«Эпоха» 1864

338. Аполлон Григорьев. Русский театр. 1. По возобновлении
 в первый раз (№ 1—2).
 339. Аполлон Григорьев. Мои литературные и нравственные ски-
 тальчества (№ 3).
 340. Ап. Григорьев. Русский театр в Петербурге (№ 3).
 341. <То же, что № 339> (№ 5).
 342. Аполлон Григорьев. Парадоксы органической критики.
 1 (№ 5).
 343. <То же, что № 340> (№ 6).
 344. Ап. Григорьев. Парадоксы органической критики. Письмо вто-
 рое (№ 6).
 345. Аполлон Григорьев. Отживающие в литературе явления.
 Д. В. Григорович. Два генерала. Эпизод из романа. (Русск. вестник 1864 г.)
 (№ 7).
 346. Аполлон Григорьев. Голос старого критика (№ 7).

«Русская сцена» 1864

347. Примечания <к переводу «Ромео и Джульетты» Шекспира>
 (№ 8).¹⁰⁴

Б. Статьи Ап. Григорьева в отдельных изданиях

348. <Предисловие к опере «Роберт-дьявол»> (Роберт-дьявол <...>
 Музыка Мейербера. Либретто Скриба и Делявиня. Перевод Ап. Григорьева.
 Спб. <1863>).¹⁰⁵

⁹⁴ См. прим. 91.

⁹⁵ Статья явно написана от имени редактора. Однако, «чужой» псевдо-
 ним (см. прим. 91) заставляет оставить вопрос открытым.

⁹⁶ В статье встречаются излюбленные выражения Григорьева «дважды
 два — пять» и «дважды два — стеариновая свечка», «Головешка» (характер-
 истика «Домашней беседы» Аскоченского).

⁹⁷ То же, что прим. 95.

⁹⁸ См. прим. 91.

⁹⁹ В статье содержатся типичные для Григорьева выпады против «До-
 машней беседы» Аскоченского.

¹⁰⁰ Статья написана как бы от имени редакции.

¹⁰¹ То же.

¹⁰² См. прим. 91.

¹⁰³ Статья написана как бы от имени редакции.

¹⁰⁴ Имя указано в заглавии.

¹⁰⁵ Атрибутируется на основании содержания, частично повторяющего
 очерк Ап. Григорьева «Роберт-дьявол» из «Пантеона» (см. № 7 росписи).

349. <?> <Биография А. Е. Варламова> (Приложение к «Полному собранию сочинений» А. Е. Варламова в 12 тт., изд. Ф. Стелловского, Спб., 1861—1864 гг.).¹⁰⁶

В. Посмертные публикации рукописных прозаических произведений Ап. Григорьева

350. Краткий послужной список на память моим старым и новым друзьям (Эпоха, 1864, № 9, стр. 45—47).¹⁰⁷

351. Москвитянин. Исторический и критический журнал. Под редакцією М. П. Погодина и А. А. Григорьева (П. Барсуков, Жизнь и труды М. П. Погодина, т. 14, Спб., 1900, стр. 363).

352. Проект реформы «Москвитянина» в 1856 г. (Там же, стр. 364—365).¹⁰⁸

353. Листки из рукописи скитающегося софиста (К, 01—016).

354. Отрывки из летописи духа (К, 311—312).

355. О комедиях Островского и их значении в литературе и на сцене. Статья вторая (Ежегодник петроградских гос. театров, сезон 1918—1919, Петроград, 1922, стр. 175—191).

356. Полное собрание сочинений русских авторов. Стихотворения Ивана Козлова. Издание Александра Смирдина. Спбрг. 1855. Два тома <...> (Сборник «Sertum bibliologicum», Пг., 1922, стр. 242—244).

357. Ф. Достоевский и школа сентиментального натурализма (Сборник «Н. В. Гоголь. Материалы и исследования», т. I, М.—Л., 1936).

358. Окружное послание о правилах отношений критики «Москвитянина» к литературе русской и иностранной, современной и старой (настоящий том, стр. 000—000).

Г. Неверно приписываемые Ап. Григорьеву статьи

Слабая разработка библиографии Ап. Григорьева явилась причиной приписывания ему явно чужих произведений. Особенно часто Григорьев объявлялся автором стихов или статей, подписанных криптонимом «А. Г.» (в период его молодости были случаи противоположные: например, А. Д. Галахов должен был выступить в печати со специальным заявлением, что статьи за подписью «А. Г.» в «Московском городском листке» 1847 г. принадлежат другому лицу — см. его письмо в редакцию, опубликованное в № 65 газеты).

Так, в генеральном каталоге ГПБ в Ленинграде Григорьеву приписан герценовский отзыв о лекции Грановского (см. ниже), из-за общего криптонима «А. Г.». В собрания сочинений Григорьева явно ошибочно включаются стихотворения за той же подписью из «Меркурия мод» 1859 г. Интересно, что Б. О. Костелянец, составитель последнего издания («Избранные произведения», Л., СП., 1959), в основной корпус поместил лишь одно стихотворение («Все кончено! Мечты мои пропали...» — стр. 458), другое оказалось в разделе «Dubia» (стр. 514—515), третье — вообще не опубликовано (см. стр. 589).

¹⁰⁶ В литературе имеется упоминание об этой работе, как о вышедшей (Спиридонов, 270). Однако ее не удалось обнаружить в доступных мне книгохранилищах. Не нашел ее и Х. Сатин, автор биографии А. Е. Варламова, предположивший, что, возможно, данная статья и не была написана (см. Советская музыка, 1948, № 8, стр. 41).

¹⁰⁷ Опубликовано с пропусками. Более полно — К, 305—308.

¹⁰⁸ Как явствует из подлинника (ЛБ. Пор/III, 27, 29), текст написан Ап. Григорьевым, подписи Погодина нет. На стр. 365 публикации строку 13 снизу нужно читать: «1856 года февраля дня сие условие подписали и взаимною доверенностью <...>».

Между тем уже А. Блок колебался по поводу включения второго стихотворения в корпус произведений Григорьева (см. «Стихотворения Ап. Григорь-

ева», М., 1916, стр. 557). А колебаться не следовало бы: это пустые стихи какого-то посредственного виршеплета! Акад. М. П. Алексеев справедливо считает «более чем сомнительной» принадлежность третьего стихотворения Григорьеву (см. его статью ««Письма об Испании» В. П. Боткина и русская поэзия» — Ученые записки ЛГУ, серия филол. наук, вып. 13, Л., 1948, стр. 156—157).

Явно ошибочно, что в «Словаре псевдонимов» И. Ф. Масанова «А. Г.» из «Меркурия мод» расшифровано «А. Григорьев». Ведь доказательств нет никаких, а мало ли сколько было «А. Г.»! Лишь за период 1850 — нач. 1860 гг. в том же словаре указано около десяти писателей с такой подписью: А. Д. Галахов, А. И. Георгиевский, А. С. Гиероглифов, А. Ф. Гильфердинг, А. Л. Гинтовт, А. Горбунов, А. С. Горковенко, А. И. Григорович, да сколько еще имен, очевидно, не расшифровано!

Очень легко, например, приписать Григорьеву театральные обзоры и рецензии за подписью «А. Г.» в «Театральном и музыкальном вестнике» 1859—1860 гг. (что и делает В. С. Спиридонов — см. его архив в ИРЛИ). Между тем они явно принадлежат А. С. Гиероглифову, ведущему критику и рецензенту журнала, подписывавшемуся «А. Г-фов», «А. Г-ов», «А. Г-в», «А. Г.» (почему-то в словаре И. Ф. Масанова не указан ни один из этих криптонимов по отношению к статьям Гиероглифова 1859—1860 гг.). Очевидно, этому же автору принадлежат статьи за подписью «А. Г.» и «Г.» в «Русском мире» за 1862 г. (Гиероглифов был редактором издания), где принял участие и Ап. Григорьев (в №№ 41, 42 опубликована его поэма «Вверх по Волге»).

Отметим кстати, что ссылка Масанова на наличие григорьевского криптонима «Г» в журнале «Время», 1861, № 2 — ошибочна. В этом номере журнала нет ни одной статьи за подписью «Г».

Приводим список статей или подписей, печатно приписывавшихся Григорьеву (№ примечания соответствует № росписи):

1. «А п. = Аполл. Ал-др. Григорьев. «Лит. приб. к Р. Инвалиду» 1830-х гг.» (Масанов, Словарь псевдонимов, т. 1).
2. А. Г. О публичных чтениях г-на Грановского (Москвитянин, 1844, № 7).
3. Петербургские вершины, описанные Я. Бутковым, книга первая. Спб. <...> 1845 <...> (Финский вестник, 1846, т. 7).

¹ В словаре нет ссылки на источник. Вполне возможно, что таким источником явился воспоминания А. Д. Галахова: «Аполлоны Григорьеву сильно досталось бы от Ленского, раздраженного его стальнойкой в «Литературных прибавлениях» к «Инвалиду», если бы Григорьев не свалил «ответственность на меня <...> Зато уж что и вытерпел рецензент, когда ложь открылась!» (Русская старина, 1886, № 4, стр. 184). Престарелый Галахов все спутал 50 лет спустя: он пишет в данном случае о событии, случившемся совсем по другому поводу, — о своем письме в редакцию «Московского городского листка» (1847, № 65), в котором он отмежевался от статей А. Григорьева и которое не имеет отношения ни к Ленскому (Григорьев не опубликовал еще ни одной театральной рецензии за подписью «А. Г.», чтобы его спутали с Галаховым), ни, тем более, к «Литературным прибавлениям», прекратившим существование в 1839 году (и вряд ли Григорьев «сваливал ответственность» на другого: просто широкая публика еще не знала его, а Галахов уже был достаточно известным).

Таким образом, нет никаких оснований считать юношу Григорьева сотрудником «Литературных прибавлений».

² Приписано Григорьеву в Генеральном алфавитном каталоге ГПБ. В действительности автор — А. И. Герцен.

³ Спиридонов. 308. Рецензия скорее всего Григорьеву не принадлежит, т. к. насыщена социологическим анализом: «Придаем слову народ утвержденное теперь за ним социальное значение той части общества, которая <...> не имеет в своем владении средств развития и зависит от других классов во всем, что касается до первых потребностей жизни» (стр. 5); продолжатели Гоголя, изобrazяющего маленького человека, «должны были

4. Воспоминания Фаддея Булгарина <...> Часть первая <...> Спб. 1846 (Финский вестник, 1846, тт. 7, 8).
5. Путешествие вокруг света, изд. Ф. Студитским, Южная Европа <...> 1846 <...> Спб. <...> (Финский вестник, 1846, т. 7).
6. Сказания русского народа, собранные г. Сахаровым, т. I-й (изд. 3-е) и 2-й. Книги I—VIII. Санктпетербург, 1841 и 1849 (Отечественные записки, 1849, №№ 4, 9).
7. Русская литература в 1849 году (Отечественные записки, 1850, № 1).
8. Странная ночь. Комедия <...> Алексея Жемчужникова. С.-Петербург. 1850 <...> (Москвитянин, 1850, № 13).

явиться только из того класса, которого интересы образуют это поприще» (стр. 9).

Даже в период увлечения идеями христианского социализма Григорьев никогда не доходил до классовых понятий в литературе. Кроме того, в статье чувствуется хорошее знакомство автора со шведским языком: «замечательный шведский писатель» Аттербом окончил выпуски этюдов о коллегам-соотечественниках; переводы будут публиковаться в журнале (стр. 8).

⁴ «Две резко отрицательные рецензии <...>, написанные, вероятно, Ап. Григорьевым» (В. М. Морозов, «Финский вестник» <...>, Уч. зап. Петрозаводского гос. ун-та, т. VI, вып. 1, 1956, стр. 57). Рецензии написаны в ярко издевательском, остроумном тоне (крайне не характерном для Григорьева), насыщены отзвуками политической борьбы. Авторство Григорьева очень сомнительно.

⁵ «Рец., очевидно, А. Григорьева» (В. М. Морозов, ук. соч., стр. 51).

В статье проведен ультра-космополитический взгляд, невозможный для Григорьева: «Заслуга самая существенная и прочная цивилизации есть сглаживание национальных шероховатостей под уровень общей человеческой семьи» (стр. 64).

Далее советуется преподавать детям только «точные науки». «Даже историю мы бы исключили» (стр. 67). Подобная точка зрения была всегда враждебна Григорьеву.

⁶ Спиридонов, LXXVIII. Принадлежность Григорьеву очень сомнительна. Статья явно написана ученым специалистом, со ссылками на предшествующие работы автора: «В другом месте мы <...> высказали свое мнение о трудах и направлении тех археологов» (стр. 74). Этому же автору принадлежит обзор исторических трудов, включенный в статью «Русская литература в 1849 году» (О. З., 1850, № 1, стр. 31—33), как видно из последней (см. стр. 31).

Имеются и суждения, в корне расходующиеся со взглядами Григорьева (например, явное удовольствие по поводу вытеснения христианской религией языческих обрядов).

⁷ Спиридонов, LXXVIII. Вся статья никак не может принадлежать Григорьеву. Вступление написано от имени редакции; откровенно заявлено об отказе от общих выводов (Григорьев никогда бы так не сказал) и о решении «представить» «специальные обозрения разных отделов словесности» (стр. 1), т. е. явно намекается на участие разных специалистов. Вначале идет обозрение отдельных изданий по русской литературе (стр. 1—14), составленное четко, ясно, логично, синтаксис также четок, предложения кратки и отрывочны — вряд ли автором был Григорьев. Эта часть принадлежит, по всей вероятности, С. С. Дудышкину, ведущему критику журнала (высказывались мнения, что вообще вся статья написана Дудышкиным: см. Г. Б. Курляндская, Романы И. С. Тургенева 50-х — начала 60-х годов, Ученые записки Казанского гос. университета, т. 116, кн. 8, 1956, стр. 9).

Затем следует обзор журналов (стр. 15—31), очевидно, написанный Григорьевым (см. прим. 26а к росписи), далее — характеристика исторических трудов, написанная историком (см. прим. 6), работ по классической филологии и, наконец, по естествознанию и точным наукам, явно принадлежащая разным ученым.

⁸ «Рецензия <...> написана Ап. Григорьевым» (В. Лакшин, О некоторых ошибках в изучении А. Н. Островского, Вопросы литературы, 1958,

9. Отечественные записки в 1850 году (Москвитянин, 1851, № 1).
10. Отечественные записки 1851 года. Май, № 5-й (Москвитянин, 1851, № 12).
11. Стихотворения А. Н. Майкова (Атеней, 1858, № 20).
12. По поводу одной драмы («Ребенок», драма г. Боборыкина) (Время, 1861, № 5).
13. «Батька» <А. Ф. Писемского> (Светоч, 1862, № 3).

№ 6, стр. 220), Убедительный «отвод» Григорьева и вероятное приписывание рецензии Эдельсону см.: Н. И. Тотубалин. Рецензия, необоснованно приписанная Аполлону Григорьеву, Вестник ЛГУ, 1959, № 2.

В. Я. Лакшин, полемизируя с Н. И. Тотубалиным (см. его статью «Ап. Григорьев или Е. Эдельсон?», Научные доклады высшей школы. Филологические науки, 1959, № 4, стр. 174—176), выдвигает следующие аргументы: 1) «в безымянной статье» (т. е. в статье о «Современнике») «Григорьев мог говорить о себе в третьем лице («один из наших сотрудников»)» (стр. 174); 2) идеи данной рецензии и обзора «Современника», принадлежащего Григорьеву («Москвитянин», 1851, №№ 2, 3), — сходны.

Оба аргумента необедительны: невероятно, чтобы Григорьев назвал сам себя «одним из наших сотрудников», по крайней мере, ни разу не удалось обнаружить чего-либо подобного в его статьях; во-вторых, сходство идей в двух рецензиях еще не есть доказательство одного авторства: это могло быть сходством идей «молодой редакции».

Добавим к этому, что в счете, поданном Григорьевым Погдину в начале 1851 г. и содержащем список статей критика за 1850 — начало 1851 гг., данная рецензия не указана (ЛБ. Пог/II. 9. 27).

⁹ Г. Б. Курляндская, Романы И. С. Тургенева 50-х — начала 60-х годов, Ученые записки Казанского гос. университета, т. 116, кн. 8, 1956, стр. 9.

В действительности статья принадлежит Е. Эдельсону (см. Труды ЛБ. сб. IV, М., 1939, стр. 67).

¹⁰ «Обзор с большим основанием можно приписать перу Григорьева». (Еф. Мейерович, Аполлон Григорьев — критик Островского, Театр, 1940, № 10, стр. 145). В действительности, статья принадлежит Е. Эдельсону (см. Труды ЛБ., сб. IV, М., 1939, стр. 67).

¹¹ А. В. Мезьер, Русская словесность, ч. II, 1902, стр. 206. Явная ошибка. Статья принадлежит М. Н. Лонгинову (подписана).

¹² «Возможно, что статья написана А. Григорьевым» (Ф. М. Достоевский. Собрание сочинений, т. XIII, 1930, Примечания, стр. 610). О. Шульц приписывал (dubia) рецензию самому Достоевскому (см. Oscar von Schoultz, Ein Dostojewskij — Fund, Commentationes humanarum litterarum. Societas scientiarum Fennica, 1. 4, Helsingfors, 1924, стр. 8).

Статья не может принадлежать ни Достоевскому (что доказано в вышеупомянутых примечаниях к т. XIII его сочинений), ни Ап. Григорьеву. Последний отводится по следующим соображениям: 1) в статье имеется характеристика пушкинской Татьяны («изукрашенная», т. е. приукрашенная — стр. 41), которой никогда бы не допустил Григорьев; 2) автор в споре западников и славянофилов не может «не отдать предпочтения западничеству» (стр. 43), что исключено для Григорьева 1861 года; 3) автор был студентом «лет 16—17 тому назад» (стр. 36), т. е. в 1844—45 гг., когда Григорьев уже давно закончил курс учения; 4) статья написана фельетонным, легковесным тоном, крайне нехарактерным для Григорьева.

¹³ С. А. Венгеров, Собрание сочинений, т. 5, Спб., 1911, стр. 273. Статья анонимна. Венгеров не приводит никаких доказательств. Интересно, что выше он, указывая эту же статью, не раскрывает анонима (стр. 264). Очевидно, в библиографию вкралась ошибка. Почти невероятно, чтобы Григорьев, находясь в это время за несколько тысяч верст от столиц, переживая тяжелый душевный кризис (мучительное недовольство жизнью в Оренбурге, назревание скандального разрыва с любимой женщиной и т. д.), смог написать статью да еще стал завязывать отношения с забытым журналом.

14. Немец из русских. Хроника спектаклей (Якорь, 1863, № 27).
Немец из русских. Несколько слов о г. Циммермане (там же,
№ 30).

И. БИБЛИОГРАФИЯ ОПУБЛИКОВАННЫХ ПИСЕМ АП. ГРИГОРЬЕВА¹

- Разным лицам (К, 101—302, 364—368).²
В. П. Боткину от 26. IV. 1856 (Голос минувшего, 1922, № 1, стр. 129—134).
А. В. Дружинину 7 писем 1856—1857 гг. («Письма к А. В. Дружинину», М., 1948, стр. 97—106).³
А. Н. Майкову от 24. X. 1860 (Переписка Ф. Достоевского и И. Тургенева, 1928, стр. 166; отрывок письма).
А. Н. Островскому 2 письма без даты (Неизданные письма к А. Н. Островскому, 1932, стр. 80—81).
М. П. Погодину от 1856—1857 гг. (настоящий том, стр. 000—000).
Е. Н. Эдельсону от конца 1859 — начала 1860 гг. (Литературная мысль, т. 2, 1923, стр. 145—146).
Ему же от 1861 г. (Ученые записки Куйбышев. пед. института, вып. 6, 1942, стр. 196—197).

¹⁴ М а с а н о в, Словарь псевдонимов, т. II: «Апол. Ал-др. Григорьев [?]». Более вероятным автором является Е. А. Моллер (который был, действительно, немецкого происхождения), фельетонист и театральный обозреватель. Ему принадлежит, например, в № 35 «Якоря» «Хроника спектаклей. Несколько слов о нашем немецком театре». По содержанию и стилю две статьи легкого фельетонного жанра значительно ближе к рецензиям Е. Моллера, чем к серьезным обзорам Григорьева.

¹ В библиографию не включены цитатные (в несколько строк) использования архивных текстов.

² В. Княжнин собрал в этой книге все напечатанные в дореволюционный период письма Григорьева, а также опубликовал целый ряд новых. К сожалению, ему были недоступны подлинники многих писем (особенно, к М. П. Погодину и к Е. С. Протопоповой), поэтому они напечатаны с большими пропусками и искажениями, как и в первых публикациях. Все эти письма, а также несколько десятков никогда не публиковавшихся, еще ждут научного издания.

³ Ранее было опубликовано в К, 154—164, но здесь — более исправно и с подробным комментарием.

ПОЭМА «ДВЕНАДЦАТЬ» И МИРОВОЗЗРЕНИЕ А. БЛОКА ЭПОХИ РЕВОЛЮЦИИ

Канд. филол. наук З. Г. Минц

Поэма «Двенадцать» всегда не только возбуждала споры, но и порождала прямо противоположные суждения о сущности ее проблем.

Уже в годы Гражданской войны враждебная революции критика, дружно ругая Блока, так и не смогла договориться, благословляет ли Блок Октябрь, «приспособляясь» к его «трагедии»,¹ или создает сатиру на «гримасы Октября».²

Столь же противоречиво было и отношение к Блоку в советской критике и литературе. Если для И. Сельвинского:

Революция возникла для того,
Чтобы Блок написал «Двенадцать»,³

а для Л. Никулина революция началась с того, что «мыслями и всеми чувствами <...> владела стихия «Двенадцати»,⁴ то для вульгаризаторско-рапповской критики характерно, напротив, всемерное подчеркивание ограниченности мировоззрения Блока.⁵

Столь диаметрально-противоположные точки зрения объясняются не только разницей в позиции критиков, но и бесспорными объективными противоречиями поэмы Блока. Противоречия эти стали объектом научного изучения лишь в 30-е гг. (работы П. Медведева, Д. Е. Максимова, В. Н. Орлова, Е. Малкиной и др.).

Затем, однако, вновь последовали периоды одностороннего восприятия поэмы: сначала — вульгаризаторского наклеивания на

¹ С. Гордон, Приспособление к трагедии, в кн.: Слово о культуре, сборник критических и философских статей, М., изд. М. Гордон-Константиновой, 1918.

² См.: Ю. Айхенвальд, Поэзия Блока, там же.

³ И. Сельвинский, Записки поэта, М.—Л., ГИЗ, 1928, стр. 14.

⁴ Л. Никулин, Записки спутника, Л., Издательство писателей, 1932, стр. 20.

⁵ См., например: С. П., «Двенадцать» Блока, в кн.: Избранный Блок, М.—Л., ГИЗ, 1930.

«Двенадцать» различных «ярлыков», отрицающих, фактически, роль послеоктябрьского творчества Блока,⁶ впоследствии же — «юбилейного» восхваления, вполне понятного как реакция на вульгаризаторское зачеркивание поэмы, но научно не состоятельного. Взгляд Блока на революцию приравнялись социалистическому мировоззрению.⁷ И лишь в последние годы вновь возродилась и получила дальнейшее развитие традиция подлинно-научного изучения поэмы. В монографиях В. Н. Орлова и Л. И. Тимофеева,⁸ в работах Долгополова и — отчасти — Смирнова⁹ поэма анализируется в ее реальной сложности и противоречивости. Это позволило исследователям именно за последние годы сделать ряд ценных выводов, касающихся проблематики и художественной природы поэмы «Двенадцать».

Но изучение этого чрезвычайно ёмкого и многогранного произведения, естественно, еще не закончено. В частности, до сих пор полностью не освещена проблема, на важность которой указала еще в 1918 г. большевистская печать, — проблема изучения «Двенадцати» в неразрывной связи с теоретическими воззрениями Блока в период Октября, в частности — с его статьями о революции. Для анализа текста поэмы по-настоящему привлекается (и весьма плодотворно!) лишь одна работа Блока — очерк «Катилина». Думается, однако, что без анализа *самых основ* философских представлений Блока, отразившихся во всей совокупности его теоретических высказываний этого периода, невозможно понимание ряда важных аспектов «Двенадцати». Настоящая работа представляет собой попытку осветить проблематику поэмы с точки зрения отражения в ней общеполитических, эстетических и этических представлений Блока.

I

Если попытаться определить идейную и художественную специфику поэмы «Двенадцать» одним каким-то понятием, то таким понятием будет, вероятно, предельная антитетичность, контрастность всех ее образов. Л. Тимофеев совершенно справедливо утверждает, что в поэме Блок «стремится осмыслить революцию в целом» при помощи особой «поэтики контра-

⁶ См., например: М. Луконин, О советской поэзии, Звезда, 1949, № 3, стр. 195, а также, вообще, значительное большинство работ 1949—53 гг.

⁷ См., например: В. Будрин, Первая поэма об Октябре (против традиционного толкования поэмы А. Блока «Двенадцать»), Прикамье, 1958, № 24, С. Штут, «Двенадцать» А. Блока, «Новый мир», 1959, № 1 и др.

⁸ В. Н. Орлов, Александр Блок, Очерк творчества, М., ГИХЛ, 1956. Л. И. Тимофеев, Александр Блок, М., Изд. МГУ, 1957.

⁹ Л. К. Долгополов, «Двенадцать» Ал. Блока (идейная основа поэмы), Вопросы советской литературы, вып. VIII, М.—Л, изд. АН СССР, 1959. Н. Смирнов, «Двенадцать» А. Блока, Ученые записки Иркутского Государственного университета им. А. А. Жданова, т. XXVII, серия филологических наук, вып. 2, Иркутск, 1959.

стов». ¹⁰ Исследователи уже отмечали, что вся поэма выдержана в «черно-белых» тонах. Кроме этих цветов, в поэме встречается еще красный, но его символика — та же, что и у белого цвета («белое» подчеркивает нравственную сторону революции, ее высокий моральный пафос, «красное» — уточняет, о каком политическом явлении идет речь). Наконец, единственный цветовой эпитет: «юбку *серую*», — вообще не носит обобщенно-символического характера, а потому не разрушает полностью выдержанной цветовой контрастности «Двенадцати».

Столь же характерна и композиция «Двенадцати». Все главы расположены так, что каждая последующая чем-то контрастирует с предыдущей. Так, после обрисовки «черного» мира в 1 главе, во 2 главе следует портрет «двенадцати». Главы 3, 4 и 5 также переводят наше внимание от красногвардейцев к Ваньке и Катьке — и вновь к красногвардейцу Петрухе. При этом революционная песня (гл. 3) контрастирует с мещанской (гл. 4), а пошлый тон последней — с серьезными интонациями монолога Петрухи (гл. 5). Главы 6 и 7 показывают переход от революционной практики к попыткам осознать ее общий смысл. Главы 8 и 9 резко противостоят одна другой эмоциональной оценкой совершающихся событий («Скучно!» — Петрухи и: «Гуляй, ребята, без вина!» — остальных красногвардейцев). После изображения «буржуя» (гл. 9) идет показ революционной масты (гл. 10 и 11), причем показ эмпирии революции в этих главах переходит в обобщенно-философскую концовку (гл. 12).

Эту же предельную контрастность мы находим и в расстановке персонажей поэмы. Их много: здесь и поп, и «вития»-интеллигент, и «буржуй» с барыней... Однако среди них нет ни одного героя, отношение которого к двум мирам поэмы было бы неопределенным. Нет неопределенности даже в характеристике позиции таких представителей народа, как бедная старуха в 1 главе и связанные в прошлом с «двенадцатью» Ванька и Катька. — Они не с революцией, — следовательно, против неё. С другой стороны, колебания Петрухи также не могут стать его постоянной характеристикой, он должен с полной четкостью и быстро определить свое место в революции, — и он определяет его, слившись с остальными красногвардейцами.

Этот же принцип предельной контрастности обуславливает и стиль поэмы (где нет «средних» интонаций, а есть лишь полюсы: уничтожающая ирония или открытое прославление), и ее мелодику, и все остальные элементы художественной структуры «Двенадцати». Подобная антитетичность как ведущий принцип поэмы чрезвычайно важна. Пожалуй, именно она, в первую очередь, делает «Двенадцать» типичнейшим произведением революционного искусства 1917—21 гг. Вся советская литература этих

¹⁰ Л. Тимофеев, Поэма Блока «Двенадцать» и ее толкователи, «Вопросы литературы», 1960, № 7, стр. 120 и 121.

лет направлена, прежде всего, на познание самых общих закономерностей истории. Она *принципиально избегает оттенков, нюансов, показа «подробностей жизни»* — время для этого еще не настало. Здесь — и историческая ограниченность, и огромное значение революционного искусства тех лет, отказавшегося от всего, что может заслонить показ центральной закономерности эпохи: классовой борьбы, разделения общества на непримиримые лагеря. Эстетика предельных контрастов определяет не только структуру, но и названия произведений тех лет — от «Мистерии-буфф» Маяковского и «Двух миров» Зарубина до льес малоизвестных советских драматургов А. Вермишева («Красные — и белые»), А. Тодорского («Там — и тут») и др. У истоков подобного рода произведений стоит поэма А. Блока.

Трудно поэтому согласиться с мнением И. Машбиц-Верова, считающего первой советской поэмой «Про землю, про волю, про рабочую долю» Д. Бедного.¹¹ Хронологически, — конечно, да. В смысле же исторического значения, — бесспорно, нет.

При всей четкости революционного мировоззрения Д. Бедного и аморфности политических убеждений А. Блока именно последний смог *в искусстве* ответить на основную потребность революционной литературы, дать *художественный* адекват мыслям о роли классовой борьбы в искусстве.

Поэма Д. Бедного построена, напротив, на подробном рассказе о том, каковы именно возможные пути народа в революции. Не случайна преемственность по отношению к «Кому на Руси жить хорошо» — поэме, созданной в период реакции и говорящей именно о кажущейся множественности путей — с тем, чтобы лишь в конце утвердить наличие только двух («Средь мира дальнего...»). В годы революции выбор не мог быть таким длительным — и эту *быстроту прояснения конфликтов*, необходимость и «мгновенность» самоопределения прекрасно прояснила именно поэма Блока. Поэтому-то именно «Двенадцать» с ее предельной четкостью, антитетичностью стоит у истоков советской литературы. Однако антитетичность поэмы — это «типовой» признак, сближающий «Двенадцать» со всей советской литературой 1917—21 гг. Неповторимое в ней начинается с понимания сущности конфликтов.

Для того, чтоб раскрыть их сущность, и необходимо обратиться к теоретическим взглядам Блока этого периода.

II

К моменту создания поэмы философские воззрения Блока сложились в весьма сложную и противоречивую систему. В основе мира, по Блоку, находится некое объективное, но идеальное по своей природе начало — «дух музыки». Изменения, развитие

¹¹ См.: И. Машбиц-Веров, Заметки на полях, Звезда, 1957, № 4, стр. 173.

«духа музыки» порождают движение истории, чередование различных форм культурной и социальной жизни общества («Крушение гуманизма»). С этих позиций всё, совершающееся на земле, в человеческом обществе, мыслится как отблеск, отражение движений «духа музыки». В частности, и социальная революция понимается как производное от «революции в Мирах», от неких всеохватывающих, универсальных, «космических», потрясений: «Прносящийся революционный циклон производит бурю (в мирах) во всех морях — природы, жизни и искусства» и, в частности, в мире политики.¹²

Нетрудно увидеть определенную связь между подобным пониманием социальной действительности как отражения явлений более «высокого», духовного порядка и ранними, «соловьёвскими» представлениями Блока. Но, вместе с тем, названные системы и глубоко различны. Как известно, учение Соловьева о том, «что все видимое нами — только отблеск, только тени от незримого очами», возникло в борьбе и с материализмом, и с субъективным идеализмом. Вл. Соловьев и его последователи стремились преодолеть субъективизм во имя объективного идеализма («платоновского типа»). Однако такого преодоления достичь им не удалось.¹³ В частности, в эстетике эта невозможность преодолеть субъективизм с позиций «соловьёвства» проявилась в том, что внимание «младших символистов» оказывалось прикованным не к «ускользающим теням суетливых дел мирских», а к «виденьям, сновиденьям, голосам миров иных» (Блок). Художник по-прежнему (как и декаденты 1890-х гг.) обращался не к окружающей его живой, конкретной действительности, а к показу сложных взаимоотношений двух категорий субъективного порядка: «я» поэта и мистического (т. е., по сути, тоже субъективного) идеала.

После первого, сравнительно кратковременного, но весьма плодотворного обращения к объективной действительности (стихи 1905 года) и открытого субъективизма «Балаганчика» и «Снежной маски» Блок «Вольных мыслей» и III тома приходит к новым, весьма далеким от «соловьёвства» взглядам на искусство. Именно жизнь, окружающая художника, — главный объект подлинного искусства. В письме А. Чеботаревской от 27. XII. 1915 года Блок пишет: «Я ведь никогда не любил мечты; когда мне удастся более или менее сказать свое, настоящее, — я даже ненавижу «мечту», предпочитаю ей самую серую действительность».¹⁴ Но этот огромный шаг вперед в эволюции

¹² А. Блок, Собрание сочинений, т. 5, Л., Изд. писателей в Ленинграде, 1933, стр. 134.

¹³ См. об этом: В. Асмус, *Философия и эстетика русского символизма*, Литературное наследство, т. 26—27, М., 1937.

¹⁴ Письма А. Блока Анастасии Чеботаревской, публикация Д. Е. Максимова, *Ученые записки ЛГПИ им. М. Н. Покровского*, т. IV, Отд. яз. и литературы, вып. 2, Л., 1940, стр. 281.

Блока не следует всё же отождествлять с представлениями реалистической эстетики. И «Песня судьбы», и «Возмездие» (наиболее близкие к «Двенадцати» дооктябрьские произведения Блока), и стихотворения III тома подразумевают представление *о духовной сущности мира*. Фаина-Россия, — конечно же, *не социально определенный образ*; «народное» в Фаине — это ее *духовный облик*, ее мечты и страсти, её песни и сказки нянюшки. «Страшному миру» русской действительности в III томе также противостоят именно духовные (*хотя и оплодотворенные живым земным началом*, а не мистически — бесплотные) ценности: искусство («Итальянские стихи»), любовь к Родине («На поле Куликовом»), сила гнева против несправедливостей жизни («Ямбы»). Даже приход одних господствующих классов на смену другим Блоком осмысливается как, в основе своей, духовный процесс «возмездия» и воплощается в смене музыкальных ритмов одноименной поэмы. Поэтому, хотя социальные мотивы играют в названных произведениях чрезвычайно важную роль, их поэтическое звучание весьма специфично. Неповторимое своеобразие социальной темы у Блока — в том, что социальная действительность дооктябрьской России больше всего волнует поэта своей *несправедливостью*, а не непосредственным осознанием тяжести жизни «голодной и холодной». Страшные картины, рисующие «детей в Париже» и «нищих на мосту зимой», ужасны не столько как образы *материальной нужды*, сколько как свидетельство *нравственного страдания*, отверженности, бездомности человека в буржуазном мире, где «богатый зол и рад», а бедный — «унижен». Отсюда — господство тем «унижения», «моряка, на борт не принятого», «пустынной, бездомной, бездонной» жизни, образ женщины, раздавленной «любовью, грязью иль колесами» и т. д. Даже в дни наивысшего взлета социальных интересов Блок истолковывает их своеобразно. Призывая художников «никогда не забывать о социальном неравенстве», Блок говорит, что «великое содержание» этих двух малых слов «*неизмеримо выше*» «*политической экономии*»; «знание о социальном неравенстве есть знание высокое, холодное и гневное»,¹⁵ это, в первую очередь, именно прозывающее поэта *возмущение* неравенством, *не* сводимым к экономическим законам. Подобная точка зрения обуславливала изображение действительности, которое не было еще реалистическим: социальная тема входила *не как основа* духовных страданий человека, а как *один из многих равнозначных* аспектов проявления «духа» истории. Между материальной нуждой и «унижением» у Блока — не причинно-следственная связь; и то, и другое — порождения «страшного мира», утратившего связь

¹⁵ Ответ Блока на анкету Союза деятелей художественной литературы. Публикация В. Н. Орлова. Литературное наследство, т. 27—28, М., 1937, стр. 676.

с живой культурой, с «духом музыки». Подобная концепция, беспорно, идеалистична. Но в ней содержался и огромный шаг вперед сравнительно с эстетикой «младших символистов». Объектом искусства теперь не прозрение в духовную сущность мира, а интерес к конкретным, *сегодняшним* проявлениям «духа музыки», т. е. к *живой современности*, хотя и своеобразно истолкованной. Это был не пройденный до конца, но отчетливо наметившийся путь к реализму. Яснее всего он в поэме «Двенадцать».

В свете таких общих представлений Блока видна и его связь, и его глубокое отличие от позиции писателей, объединившихся вокруг сборника «Скифы». ¹⁶ И для А. Белого, и для других авторов данной ориентации революция — «Мистерия» (не в метафорическом и ироническом, как для Маяковского, а в прямом смысле слова). Земной план событий — отражение неких вневременных столкновений духовных начал Добра и Зла. Несмотря на известное родство подобных философских посылок и воззрений Блока 1918—21 гг., литературная позиция названных авторов неизмеримо ближе к эстетике «Стихов о Прекрасной Даме», чем к идейно-художественным принципам, лежащим в основе поэмы «Двенадцать». Внимание участников сборника «Скифы» целиком поглощено тем, чтобы прозреть за земным, частным планом «Мистерии» ее высшую духовную сущность. Поэтому содержание «скифской» поэзии и публицистики составляет повествование о самых отвлеченных закономерностях жизни, к тому же почти мистифицированно. Эта поэзия крайне абстрактна; в ней почти нет реальных примет времени:

Я видел последнюю грозную сечь:
Метались копы и солнечный меч,
То витязи Дня в солнцезарных бронях,
На огненно-рыжих, крылатых конях
Преследуют Змия и черную рать,
Пришедших, чтоб светлое царство забрать. ¹⁷

В поэме Белого «Христос воскрес», написанной неизмеримо более талантливо, есть и конкретные зарисовки людей сегодняш-

¹⁶ На связь Блока с группой «Скифы» неоднократно указывалось в литературе. Из работ последнего времени следует выделить статью Л. К. Долгопольска: «Двенадцать» Блока (идейная основа поэмы), в сб.: Вопросы советской литературы, вып. VIII, М.—Л., изд. АН СССР, 1959. Слабее изучен вопрос о *конкретной специфике* позиции Блока.

¹⁷ Алексей Ганин, Причастие тайны, «Скифы», сб. 2-ой, Пг., изд. «Скифы», 1918, стр. 189. Бросается в глаза близость подобной манеры изображения к пролеткультовской. Действительно, несмотря на огромную разницу в политических убеждениях участники сборника «Скифы» тяготели в 1918 году к «левым» эсерам — большинство пролеткультовцев было членами РКП(б)!, эстетические принципы в обоих случаях были весьма близки. Представления поэтов пролеткульта об искусстве также содержали мысль о необходимости исключить из поэзии все «частное», конкретное, устремившись к познанию лишь самых общих закономерностей жизни.

него дня (например, известный образ интеллигента). Но эти образы лишь как бы выплывают из «высоких» картин поэмы и вновь растворяются без остатка: не ими держится сюжет, не они определяют идею произведения.

Напротив, пафос «Двенадцати» — в том, чтобы показать реальные, земные контуры происходящего. Объективно-идеалистическое осмысление сущности революционных событий, хотя и накладывает известный отпечаток на способ их изображения, однако, в значительной степени этот общий план поэмы остается «за сценой». В орбите внимания художника — сегодняшней день революции. Именно в этом, в частности, — непреходящее значение поэмы как памятника эпохи.

Вместе с тем, и в «Двенадцати» видна *специфика* подхода Блока к революционной теме. Она состоит в особенностях трактовки социальных проблем.

Уже из первых зарисовок поэмы видно, что «черный» и «белый» миры противопоставлены в значительной мере именно по своему социальному облику. Старый мир — это царство денег, вещей, материальных «благ», это царство собственности (или стремления к ней). О *вещах* мечтает проклинаящая большевиков старуха-мещанка («Сколько бы вышло портянок для ребят, / А всякий раздет, разут»). В окружении вещей и в ореоле «материального» выступают все герои 1 главы: «барыня в *каракуле*», поп с толстым *«брюхом»* и т. д. Эта же черта постоянно подчеркивается и в характеристике «изменников» — Ваньки и Катьки. У «толстоморденок» Катьки *«керенки»* есть в чулке, она «в *кружевном белье* ходила», *«гетры серые носила, Шоколад «Миньон» жрала»*. Ванька тоже *«теперь богат»* и т. д. Аналогичное понимание уходящего буржуазного мира находим и в сравнительно близких по времени дневниковых записях А. Блока. Так, 12 июля 1917 года он пишет: «Стыдно любить «свое» <...> буржуа — *всякий, накопивший какие бы то ни было ценности*». ¹⁸ Не менее характерна известная запись Блока о ненавистном ему соседе — «буржуе». Главный признак «буржуа» — неотделимость его от мира вещей: «От него *так и пахнет чистым мужским бельем*». ¹⁹ Итак, один из основных признаков «черного мира» — собственность (вещи, деньги). Но истолкование этого понятия у Блока весьма своеобразно. Собственность для героев поэмы — характеристика скорее философская, чем социально-экономическая. Это — *не буржуазная частная собственность, а мир вещей вообще*. Это — то, что привязывает героев к мещански-пошлому *материальному* миру и противопо-

¹⁸ Дневник Александра Блока, т. 2, 1917—21, Л., изд. «Прибой», 1928, стр. 44. Эта же мысль почти дословно повторяется в записной книжке лета 1917 года: «Буржуем называется всякий, кто накопил какие бы то ни было ценности» (Записные книжки Александра Блока, Л., изд. «Прибой», 1930, стр. 196). Здесь и далее неоговоренный курсив — мой. З. М.

¹⁹ Дневник Александра Блока, т. 2, стр. 109.

ставляет их высокому миру духа, подлинной культуры, великих идей и подвигов. Поэтому, кстати, для Блока не различимы мечтающая об удовлетворении элементарных потребностей старушка и «барыня в каракуле»: по своему отношению к «материальному» они совпадают, а потому и попадают обе в один лагерь.

Поэтому же «светлый» мир — это мир без собственности (и — шире — без «материального») вообще. За революцию — те, кто «ко всему готовы», кому «ничего не жаль». Не случайно, первый же образ поэмы, контрастирующий с царством «сытых» — это нищий, бездомный бродяга. Сама «бесприютность» противопоставляется здесь (как и в стихотворениях III тома) пошлой сытости мешанства. «Двенадцать» — люди мира «без вещей». Единственный их постоянный «вещественный» признак — «винтовочки стальные», оружие возмездия. Таким образом, в поэме противостоят не миры буржуазной и социалистической собственности, а низменно-материальное (для Блока равное буржуазному) и высокие духовные ценности (для Блока равные революции).

Показ старого мира как мира собственников — характерная черта большинства первых произведений советского революционного искусства. Она объединяет столь далеких по художественной манере и взглядам художников, как В. Маяковский — и А. Серафимович, Д. Бедный — и В. Хлебников, А. Неверов — и А. Гастев и мн. др. Зато изображение нового мира подчас отличается весьма существенно. Иногда победа революции рисуется, в первую очередь, как справедливое перераспределение материальных ценностей («Мистерия — Буфф»). Значительно чаще новое мыслится как победа чисто духовных начал (поэты-пролеткультовцы). Наконец, были попытки осмыслить сущность революции в единстве ее социальных и культурных целей (Д. Бедный). Однако, время для художественного решения этой последней задачи еще, видимо, не наступило; поэтому здесь мы встречаемся чаще с декларациями, чем с художественными образами соответствующего содержания²⁰.

Совершенно очевидно, что Блоку наиболее близки произведения второго типа;²¹ не случайно, по воспоминаниям В. Шкловского, «Блок любил Маяковского, хорошо понимал и огорчался только в «Мистерии — буфф» *простою счастьем*. В «Мистерии — буфф» *в раю росла булка*».²² Необходимо помнить при этом, что свой резон и свои уязвимые места имела позиция

²⁰ Ср. в пьесе «Там и тут», написанной рядовым работником советской печати А. Тодорским (автором высоко оцененного В. И. Лениным очерка «Год — с винтовкой и плугом»), мысли Питерского рабочего о социализме как царстве «довольства» и «культуры».

²¹ Впрочем, с известными, довольно существенными оговорками (см. ниже, стр. 269—270 настоящей работы).

²² В. Шкловский, Дневник, М., изд. «Советский писатель», 1939, стр. 108.

обоих великих поэтов. «Мистерия — буфф» подчёркивала примат социального в революции, производность, вторичность ее культурных задач по отношению к задачам реальной перестройки общества. Это ставит пьесу Маяковского у истоков советского искусства как искусства реалистического. Однако воззрения Маяковского 1917—21 гг. окрашены в тона известного примитивизма, утилитаризма. Стремясь овладеть материалистическим мировоззрением, Маяковский на первых порах иногда принимал экономическую природу общества как непосредственное распределение вещей и не всегда учитывал сложную диалектику материального и духовного. Эта особенность взглядов Маяковского была окончательно преодолена им уже после 1921 года.

Позиция А. Блока отличается значительно более аморфным и нечётким представлением о мире будущего. Мир «двенадцати» в социальном плане характеризуется, в основном, по негативному признаку: это — люди *без* собственности, воюющие *против* нее. Подобное представление соприкасается с наивным «революционным аскетизмом» ряда первых произведений молодого искусства. Здесь явственно ощущается недопонимание социальной стороны событий 1917 года, её недооценка. Но, вместе с тем, подчёркивание духовного пафоса революции противостояло попыткам антиреволюционной литературы отрицать этот пафос, представить «хама» — человека революции — как мещанина, интересующегося только низменно- и примитивно-материальным, как разрушителя культуры и всего духовного, как «буржуа на выворот» (Д. Мережковский, З. Гиппиус, Е. Замятин и др.). В дальнейшем развитии советской литературы трактовка революции в духе (условно говоря) «Мистерии-буфф» должна была дополниться сильными сторонами пафоса «Двенадцати», воссоздав подлинный облик Октября, в единстве его социальных и духовных задач.

Понимание социального как зависящего от духовной сущности явлений порождает еще одну характерную особенность поэмы А. Блока. Рядом с социальной характеристикой персонажей возникает — *не* как производная, а, напротив, как *основная и определяющая* — характеристика героев по их отношению к «стихии» революции.

Здесь необходимо уточнить широко распространенное по отношению к «Двенадцати», но в значительной мере утратившее необходимую для термина чёткость представление о «стихийничестве» Блока. Как правило, в понятие «стихийность» вкладывается только политический смысл (Блок не понял сознательно-организующей роли идей большевизма). Относительность такого утверждения — в рамках его общей аксиоматичности — уже неоднократно подчёркивалась исследователями (в частности, приводилось и высказывание Блока о том, как он стремился понять «рабочую», т. е. *именно социально-организующую*, «сторону большевизма»). Еще более ясна и относительность

мысли о том, что «стихийничество» Блока связано с отрицанием строительной, созидательной стороны Октября. Такая мысль находится в вопиющем противоречии с теоретическими высказываниями Блока в период создания поэмы. Ведь известная формула в статье «Интеллигенция и революция»: «*Переделать всё*» — включала в себя не только максимализм разрушения, но и представление о гигантских созидательных задачах революции, хотя и своеобразно истолкованных. Противоречит такое понимание «стихийности» Блока и его огромной практической деятельности по созиданию новой, революционной культуры, и свидетельствам современников.²³

И если «рабочая» сторона Октября осталась вне непосредственного поля зрения автора «Двенадцати», не вошла в текст поэмы, то это объясняется в какой-то мере (хотя, естественно, не полностью) тематикой поэмы — показом практики первых дней революции — практики, в которой *объективно*, до известной поры, преобладало именно разрушение старого мира.

Разумеется, мы весьма далеки от «юбилейного» представления о том, что «стихийности» у Блока вообще не было (это значило бы признать совершенно абсурдную вещь — социалистический характер мировоззрения поэта). Речь идет совсем о другом. Попытка свести мысли поэта о революции как стихии *только* к его политической программе не дает ключа к пониманию *сути* вопроса. Собственно политический аспект взглядов Блока — одна из наиболее аморфных и консервативных сторон мировоззрения поэта. Не в политическом (для 1917 года — левоэсеровском) *сredo* Блока — источник его движения вперед. Принятие революции Блоком — шаг, неизмеримо больший, чем движение от сочувствия кадетам к программе «левых» эсеров. Для того, чтобы понять смысл «стихийничества» Блока, необходимо опять-таки обратиться ко всей сумме его идеологических представлений тех лет.

Мысль о музыкальной «стихии» как о движущей силе истории возникает у поэта в период создания «Песни судьбы» и первых статей об интеллигенции и революции (1908). До этого образы «стихий» играли, как известно, важнейшую роль в цикле «Снежная маска», но там их художественная функция была совершенно иной. Возникший в годы полного преодоления условной гармонии «Стихов о Прекрасной Даме», — гармонии, принципиально противопоставленной жизни, — цикл «Снежная маска» сыграл значительную роль в эволюции Блока. Это был один из этапов того процесса «попиранья заветных святынь»,

²³ Ср., например, воспоминания В. Шкловского о встрече с Блоком в 1920 г.: «Блок говорил о Шекспире, о короле Лире. Для него главным вопросом был вопрос о культурном наследстве» (В. Шкловский, Дневник, М., изд. «Советский писатель», 1939, стр. 115). Разумеется, вопрос об отношении Блока к культуре прошлого гораздо сложнее. Однако бесспорна причастность Блока к культурному строительству.

который привел поэта, в конечном итоге, к принятию революции. Подчёркнутый отказ от восхваления спокойной красоты неземного идеала, введение мотивов буйной страсти, губящей человека, насмешка над тем, что некогда казалось добром, — всё это сам Блок воспринимал как насыщение поэзии духом жизни. Бураны и снега «Снежной маски» были для поэта как-то связаны с его ощущением эпохи реакции; ещё тесней с ним связаны мотивы гибели. Но, вместе с тем, отказавшись от мистических «заветных святынь», Блок здесь (как и в «Балаганчике») отрицает «святыни» вообще, отрицает *объективность идеалов*. Единственной реальностью для Блока «Снежной маски» становится «сердце легкое» поэта, мир его чувств и иллюзий. Внешний мир — это лишь «тени», «маски»:

... Верь лишь мне, ночное сердце,
Я — поэт.
Я, какие хочешь, сказки
Расскажу
И, какие хочешь, маски
Приведу...

Отсюда — двойственность понимания «стихий». С одной стороны, «сердце предано метели», потому что метель *вокруг* поэта; с другой стороны, — сами эти метели и вьюги — *свойства «ночного сердца»* поэта. Иное дело «стихия» в «Песне судьбы». В словесной характеристике «стихий» здесь много близкого или прямо совпадающего с образами «Снежной маски» («Как будто я крещен вторым крещеньем / В иной — холодной, снеговой купели»: ср. стихотворение «Второе крещенье»; — «И жизнь, и смерть — холодный снежный вихрь» и т. д.). Однако неизмеримо важней здесь совпадение с совершенно иным по смыслу циклом «Вольные мысли» («Мне нужен мир с поющим песни ветром!», ср.: «И песни петь, и слушать в мире ветер.») Ветер, стихия теперь — это, действительно, внешняя по отношению к отдельной личности (в том числе и к поэту) сила. Высшим воплощением её являются такие внеличностные, объективные понятия, как народ, Родина. Герман (интеллигенция в её лучшей части) стремится к слиянию с этой стихией. Но такое слияние пока недостижимо. И — что самое основное — слияние со стихией требует не только внутреннего изменения, совершенствования героя, как это было с иноком «Стихов о Прекрасной Даме». Хотя, по Блоку, интеллигенции нужно и внутренне переродиться, чтобы слиться с народом, однако, дело не только в этом: Герман должен совершить и ряд каких-то *реальных* действий, пройти какой-то *жизненный* путь, чтобы вновь отыскать «стихию» — Фаину.

Как видим, с конца 1900-х — начала 1910-х гг. понятие «стихий» для Блока включает в себя представление о том, что существуют некие объективные силы, не зависящие от воли, сознания или желания человека и, напротив, направляющие жизнь лич-

ности. Эти силы потому и определяются понятием «стихия», что логика их развития — *вне субъекта*, вне произвола поэтического (и всякого иного) «я». Если основа мира, исторического процесса — «дух музыки», то «стихия» — *форма его движения*, обусловленная собственными внутренними законами. Подобное представление Блока предреволюционных лет о роли «стихии» в истории глубоко противоречиво и двойственно. Оно включает в себя мысль о принципиальной непознаваемости законов истории, а потому сводит роль личности лишь к пассивному «слушанию» эпохи и следованию за её «духом». Но оно подразумевает и мысль об объективных, не зависящих от произвола «я» законах истории, — и в этом — огромная правда мыслей Блока, его огромный шаг к материалистическому пониманию истории.

В известной статье «Катилина» в послеоктябрьский период на этом пути был сделан следующий большой шаг. «Напрасно думать, — пишет здесь Блок, — что сеяние ветра есть только человеческое занятие, внушаемое одной лишь человеческой волей». Еще раз подтвердив, таким образом, объективность «ветра» («стихии»), Блок далее подчёркивает, что к созданию его более всего причастны *народные массы*: «Ветер поднимается не по воле отдельных людей». Затем следует важнейший тезис — люди не могут произвольно изменять ход истории. Однако, учитывая её законы, люди могут помогать движению «стихии» — тогда их деятельность не только революционна, но и плодотворна, — или пытаться противостоять «ветру» — тогда их усилия и реакционны, и бесплодны. Законы истории осуществляются не помимо пассивного по своей природе человека. Исторически активен тот, кто «чует» и «собирает ветер». ²⁴ Так Блок преодолевает метафизичность своих прежних представлений об истории и вплотную подходит к диалектике роли личности и массы в революции. Последней задачи Блок полностью решить не мог, но какими-то вехами на пути ее решения были отмеченные выше мысли о «рабочей стороне большевизма». Сказанное объясняет и расстановку сил в поэме «Двенадцать». И здесь, как и в других своих аспектах, поэма не дает никакой середины, никаких компромиссов. Герои поэмы либо противостоят стихии, «духу музыки» Октября, либо полностью сливаются с ними. Так, все персонажи первой главы страдают от «веселого и злого» ветра революции. Это видно уже в первой строфе поэмы, где противопоставлены ветер и одинокий человек ²⁵ («Ветер, ветер — / На ногах не стоит человек») и далее: «Всякий ходок / Скользит — ах, бедняжка!» От стихии страдает и старушка, которая «как курица, кой-как перемотнулась через сугроб», и «долгополый»,

²⁴ А. Блок, Собрание сочинений, т. 8, Л., изд. «Советский писатель», 1936, стр. 90.

²⁵ О значении образа одинокого, отдельного человека см. ниже, стр. 266 настоящей работы.

и барыня, которая «*поскользнулась и — бац! — растянулась*». ²⁶ И символ старого мира — «буржуй на перекрестке» — тоже «*в воротник упрятал нос*», ибо — «ветер хлесткий! / Не отстают и мороз!» Наконец, символические сцены в гл. 8 и 12 рисуют образ все того же буржуя, страдающего от стихии.

Напротив, «двенадцать» рисуются как начало, слитое со стихией. Они — сами ветер, ибо бури революции в Мирах могут проявиться только через них. Поэтому вихревой и морозный пейзаж поэмы по отношению к новым людям выступает не как враждебная сила, а как фон, на котором действуют и с которым сливаются красногвардейцы. Пейзаж здесь — не антитеза героев, а параллель к их духовной сущности (точнее: их духовная сущность — параллель к явлениям природы, и оба они — производные от всеохватывающей, универсальной стихии Революции):

Гуляет ветер, порхает снег,
Идут двенадцать человек.

Никогда (кроме сцен с Петрухой, имеющих особый смысл) «двенадцать» не страдают от холода и мороза; напротив, они проходят *сквозь* стихию «мерным шагом», «державным шагом», они *легко* проходят через те самые «сугробы снеговые — не утянешь сапога», в которых застряла старушка. И еще одна характерная деталь: на общем динамическом фоне бросаются в глаза неподвижные фигуры персонажей первой и девятой главы: буржуй *стоит*, дамы беседуют, поп хоронится за сугробом (а раньше — «брюхом шел вперед») и т. д. Люди же нового — столь же динамичны, как и природа, стихия. Такие параллели или антитезы явлений природы и общественной жизни у Блока — следствие его мыслей об объективности «стихий». Подобно тому, как природа действует, «не спросясь у человека», и революция развивается по внутренним законам. Поэтому революция «сродни природе», поэтому она «грозовой вихрь», «снежный буран». ²⁷

Сопоставление это имеет и другую сторону — своеобразное понимание Блоком социальных закономерностей. Последние воспринимаются как разновидность законов природы. Революции, катастрофы закономерны в природе: «Ледники и вулканы спят тысячелетиями, прежде чем проснуться и разбушеваться потоками водной и огненной стихии». ²⁸

Поэтому революции неизбежны и в социальной жизни — частице природы. Поэтому «один из основных мотивов всякой революции — мотив о возвращении к природе». ²⁹

²⁶ Ср. ироническое воспроизведение психологии мещанина, боящегося революционной улицы, в очерке «Сограждане»: «По двору у нас пройти — и скользко, и — того гляди — *угодишь в сугроб*» (А. Блок, Собрание сочинений, т. 8, стр. 73).

²⁷ А. Блок, Собрание сочинений, т. 8, стр. 48.

²⁸ Там же, стр. 120.

²⁹ А. Блок, Собрание сочинений, т. 8, стр. 120.

Важной стороной представления о «стихии» была, как уже говорилось, мысль об определяющей роли народных масс в истории. В статье «Крушение гуманизма» (1919) появление нового, современного «духа музыки» прямо связывалось с тем периодом, «когда на арене европейской истории появилась новая движущая сила — не личность, а масса». И дальше: «Хранителем духа музыки оказывается *та же стихия*, в которую возвращается музыка <...>, *тот же народ, те же варварские массы*». ³⁰ В этих словах прямо ставится знак равенства между понятиями «стихия» и «народ».

И здесь мы подходим к еще одному важнейшему принципу, по которому в поэме «Двенадцать» противопоставляются старый и новый мир. Это — мысль об уходящем как о царстве индивидуализма и о новом как о царстве народа, народных масс.

III

Октябрь, уничтоживший «все середины», противопоставил революционное и антиреволюционное искусство не только по их социально-политическому звучанию, но и во всех остальных аспектах. Важнейшим водоразделом стал принцип подхода к вопросам морали.

Антиреволюционное искусство при этом сравнительно редко выступало под зародившимися в конце XIX — начале XX в. декадентскими лозунгами открытого индивидуализма, прямого антидемократизма. Представления о человеке как «боге единственного мира» (Ф. Сологуб), «о том, что люди — стадо» (Минский) *не могли* объединять контрреволюционные элементы для отпора революции. Лозунгами «сплочения» этих реакционных элементов стали тенденциозно извращенные представления старой гуманистической мысли, приобретавшие в условиях Гражданской войны смысл прямого неприятия революции. Не случайно В. И. Ленин, просматривая белоэмигрантские издания, отметил не только их злобную реакционность, но и маскировку последней девизами «защиты демократии», «социализма» и т. д. ³¹

Так, из гуманизма прошлого выхолащивалась вся его активная, протестующая сторона. Гуманизм начинал трактоваться как любовь ко всему в жизни и человеку, как *полное примирение с действительностью* во избежание «кровопролитной борьбы». Напротив, всякие призывы к революционному изменению социального строя истолковывались как бесчеловечные, ведущие к «вражде» вместо необходимого человечеству примирения враждующих. Мысль эта буквально пронизывает все те произведения 1917—21 гг., авторы которых стоят на позициях, враждебных революции. Призыв к всеобщему примирению звучит в философской поэзии Вяч. Иванова:

³⁰ Там же, стр. 112 и 128.

³¹ В. И. Ленин, Сочинения, т. 29, стр. 51

Когда ж противники увидят
С двух берегов одной реки,
Что так друг друга ненавидят,
Как ненавидят двойники? ³²

Он же — в детских стихах П. Соловьевой (Allegro), прославляющих антигероизм и «жалость» всех ко всем: персонаж сказки «Герой» — заяц — велик в дни, «когда кругом вражда», «не потому, что смел, / А потому, что он сумел / Всем тем страстям, что в звере есть, / Большую жалость предпочесть». ³³

Основной вопрос этики — проблема взаимоотношения личности и общества — решается при этом антиреволюционным искусством в двояком плане. С одной стороны, провозглашается, как мы видели, евангельское «все люди — братья», прославляется слияние *всех* в *единую* семью. «Героический гуманизм (т. е. гуманизм борьбы — *Э. М.*) умер,» ³⁴ — утверждает Вяч. Иванов. На смену ему приходит этика «монантропизма» («всечеловечества»), ³⁵ растворяющая «я» во *всех* его «двойниках». «Новая» этика — это «круговая порука *единой* совести», это «снятие индивидуальной воли и вины *целым* человечеством, понятия как живое *вселенски-личное* единство». ³⁶

Напротив, революционное искусство, в каких бы различных формах оно ни проявлялось, исходит в эти годы из отрицания этики «всечеловеческого» гуманизма, ибо признает наличие в мире двух враждующих начал — прогрессивного и реакционного — и нравственную оправданность борьбы первого с последним. Разумеется, осмысление этих враждующих начал у разных авторов, принимавших революцию, было весьма различным — от крайней абстрактности «Скифов», говоривших о борьбе «Добра» и «Зла», «Ночи» и «Дня», или вульгаризаторски-субъективистского понимания борющихся классов пролеткультовцами до четкого марксистского представления об этике классовой борьбы у авторов типа Д. Бедного и В. Маяковского. Однако основной водораздел проходил именно по линии признания или отрицания нравственной оправданности борьбы.

В этом смысле «Двенадцать» — ярчайший памятник прославления революционной этики. Отмеченное выше реакционное осмысление понятий «гуманизм» и «демократия» в годы Гражданской войны толкало Блока к размышлениям о «кризисе

³² Вяч. Иванов, Кручи, «Записки мечтателей», 1919, № 1, стр. 97.

³³ П. Соловьёва (Allegro), Бочонок. Герой (2 сказки), М.—Л., 1922, стр. 4.

³⁴ Вяч. Иванов, Кручи, «Записки мечтателей», 1919, № 1, стр. 113.

³⁵ Там же, стр. 116.

³⁶ Там же, стр. 118. Объективный идеализм Блока резко подчеркивал необходимость нравственной оценки действий каждой отдельной личности с точки зрения отношения человека к «ветру революции»; объективный идеализм Вяч. Иванова снимал самую проблему оценки поступков человека. Этим он был прямо противоположен тому сурово-требовательному, «контрастному» мышлению Блока, о котором речь шла выше.

гуманизма». О разных сторонах этих размышлений мы ещё будем говорить. Сейчас необходимо лишь отметить, что в понятие нового, революционного гуманизма для Блока включается представление о необходимости слияния «я» и народа. При этом «народ» Блока — нечто диаметрально противоположное «всечеловечеству» Вяч. Иванова (тоже начинавшего с разговоров о «кризисе гуманизма»). Народ, как мы видели, — это у Блока и социальное понятие («униженные» в прошлом, мстящие за унижение в настоящем народные массы), и — в каких-то рамках — понятие историческое (то, что идет в ногу с «духом музыки»). «Народ» не только не включает *всех* людей, но и прямо предполагает наличие «антимзыкального» и антинародного «черного» мира. Поэтому само понятие о неизбежности исторического прогресса включает и мысль о нравственности борьбы. Более того — Блок приходит к мысли о *нравственности* насилия над «черным» миром *вплоть до его уничтожения*. При этом говорится именно об уничтожении *всего старого мира в целом*, вне зависимости от того, что отдельные представители его могут быть субъективно добры, честны и т. д.³⁷

Мысли эти широко отражены в тексте поэмы. Само понятие жалости к умирающему строю для Блока «Двенадцати» настолько чуждо, что всякое сожаление к людям «черного» мира в поэме может пониматься только иронически. Так, издевкой звучат строки:

Всякий ходок
Скользит — *ах, бедняжка!* —

Сентиментальное «бедняжка» — это, конечно, насмешка над самим принципом «жалости».

Еще отчётливее ирония по отношению к «барыне в каракуле», которая —

... Поскользнулась
И — бац — растянулась!

Призыв о помощи, намеренно-вульгарный:

Ай, ай!
Тяни, подымай! —

носит тем более издевательский характер, что за ним следует пояснение, как относится к этой «беде» «стихия» революции:

Ветер весёлый
И *зол, и рад.*

Таково же отношение к бедствиям, которые терпят от стихий старушка, поп и «буржуй»: они ничего, кроме гибели, не достойны. Отсюда — «веселье» в момент их гибели. Такое «ве-

³⁷ Ср. мысли Н. Степанова о родстве поэм Вел. Хлебникова этих лет и «Двенадцати» (см.: Н. Степанов, В. В. Хлебников, Биографический очерк, в кн.: Велемир Хлебников, Избранные стихотворения, М., изд. «Советский писатель», 1936, стр. 65.

селье» нравственно (не в абстрактно-«гуманистическом», а в новом и, по мнению Блока, высшем смысле слова). Еще до революции поэт говорил не только о неизбежности, но и о нравственном праве народа на «возмездие». Поэтому если раньше был «богатый» *«зол и рад»*, то теперь *«зол и рад»* ветер истории — и эта радость правомерна. Поэтому естественна характеристика ветра революции как «злого», равно как и возведение «черной злобы» к «святой злобе» — одна из центральных мыслей поэмы.

Отношение к отдельным представителям старого мира обобщается в призывах главы 2-ой («Пальнем-ка пулей в Святую Русь») и 3-ей («Мы на горе всем буржуям // Мировой пожар раздуем...»). Далее эта же тема о ненужности «жалости» раскрывается в главах 7, 8 и 9. Петька жалеет убитую Катьку — товарищи сурово отчитывают его, говоря о ненужности, даже безнравственности жалости; это чувство отнимает силы, необходимые для борьбы с «толстозадой» Русью:

Не такое нынче время,
Чтобы нянчиться с тобой —
Потяжеле будет бремя
Нам, товарищ дорогой!

Глава 8 повествует о переходе Петьки от колебаний и жалости к революционной ненависти. Именно «буржую» собирается мстить Петька за погубленную любовь:

Выпью кровушку
За зазнобушку,
Чернобровушку.

Исторически оправданное возмездие нравственней, чем «жалость». Но все же, в диссонанс к бодрым мотивам борьбы, глава заканчивается тоскливым: «Скучно!» Глава 9 полностью снимает мотив тоски, рисуя ликование раскованной народной стихии: «Больше нет городского, Гуляй, ребята, без вина!» И здесь же наиболее полно, в обобщенно-символической форме, подчеркивается, что это — *радость по поводу гибели врага*. Строки — «Стоит буржуй на перекрестке»... и т. д. — глубоко новаторские. Как ни ненавидела угнетателей народа реалистическая русская литература XIX в., мотив торжества *в момент гибели врага* был ей чужд, т. к. именно в этот момент герой переставал быть человеком класса, среды и становился просто человеком. Если безобразная *болезнь* Ивана Ильича — продолжение его безобразной жизни, то *смерть и предшествующие ей мгновения* — это полный разрыв с прошлым, просветление, возврат к нравственным нормам «естественной поры» — детства. И потому чем ближе к смерти Иван Ильич, тем он выше окружающей его среды. Симпатии к Обломову, почти снятые осуждением его пассивности, также резко возрастают в сценах смерти героя (равно как и в главе «Сон Обломова»). Поэтому и умирающий (и, в частности, замерзающий) персонаж — это или страдающий

герой, дитя народа («Мороз, Красный нос»), или герой, искаженный при жизни до потери человеческого облика, но когда-то имевший человечески-прекрасные потенции, о которых вспоминается в момент гибели (Иудушка Головлёв). Во всех названных — и аналогичных сценах — смысл смерти врага — именно в том, что герой мог бы быть прекрасным, но не стал таковым по условиям среды. Поэтому он гибнет.

Там же, где речь шла именно о революционном возмездии, — там оно осмыслялось в той или иной связи с традициями романтизма (или как «искупление греха» в «Кому на Руси жить хорошо»). У Блока постановка вопроса иная.

Для него и в момент страдания «буржуй» остается буржуем, а потому остаются в силе и законы высокого Возмездия. Отказ от них есть отказ от революции, ибо —

«Неугомонный не дремлет враг»,

и «шелудивый» пес, каким бы жалким он сейчас ни казался, — не только был, но и вновь может стать опасностью для нового мира.

Так Блок первым в советской литературе оправдал классовую борьбу в ее конкретных, иногда неизбежно кровавых формах — борьбу вплоть до полной победы над «буржуем». Позиция Блока подвергалась ожесточенным нападкам реакции за ее, якобы, «бесчеловечность». Даже сам поэт, не до конца осмысляя значение собственных поисков, рассматривал их как борьбу со старым гуманизмом, как призывный набат «колокола антигуманизма». В действительности же это была новая, качественно более высокая ступень развития гуманизма.

Реальное продолжение демократических традиций было не в повторении формулировок, выдвинутых гуманизмом XIX века. Любовь к человеку, написанная на знамени гуманистической литературы XIX в., была неразрывно связана с требованием освобождения народа. По своему пафосу она была глубоко революционна. Поэтому настоящими продолжателями гуманистических традиций оказывались не те, кто повторял старые формулы, выродившиеся в абстрактно-беззубую «жалость», а те, кто развивал *революционные* традиции XIX в. Для Блока новая теория не осмыслялась и не могла осмыслиться в конкретно-исторических терминах пролетарской морали. Но объективно поэт сделал навстречу ей огромный шаг, поняв и восславив этику борьбы за новый мир.

Однако сказанное — лишь одна сторона этических проблем поэмы. Другая, не менее важная сторона вопроса состояла в показе того, как именно для новых людей решается вопрос о соотношении личности и народа.

Здесь опять-таки существуют два аспекта. Первый состоит в утверждении того, что новая этика сливает личность и народ в неразрывное целое. Хорошо известно утверждение Блока о том,

что реакция означает трагическую обособленность личности, а революция — её слияние с массой: «Революция — это я, не один, а мы». ³⁸

Утверждение слияния личности и народа в новом мире у Блока противостояло другой характерной черте антиреволюционной литературы 1917—21 гг. — прославлению отдельного человека как высшей и незабываемой ценности. Эта мысль также была связана с характерным для данного направления демагогическим использованием гуманистических формулировок искусства XIX в. при внутреннем искажении их сущности. Для прогрессивного искусства XIX в. речь шла о защите «маленького человека» от жестокого «целого» — *феодалного государства*; в годы Октябрьской революции и Гражданской войны речь шла о «защите» «единицы» от *классовой борьбы*. Именно таков смысл абстрактно-гуманистической защиты «маленького человека» от бурь революции у А. Н. Толстого в годы его идейных «распутий» (рассказы «Милосердия!», «Простая душа», 1 редакция «Смерти Дантона» и т. п.).

Характерно, что даже такой, в прошлом предельно далекий от каких бы то ни было мыслей о гуманизме автор, как Н. Гумилев, в годы Гражданской войны выступает именно с апологией «маленького человека», его быта и его маленького счастья, разрушаемого революцией («Заблудившийся трамвай»).

Концепции Блока диаметрально противоположны. «Маленький человек» (если, конечно, он остается «маленьким», т. е. изолированной личностью, а не сливается с народом) — это мещанин. Он — частичка старого мира и достоин его участи. Поэтому и бедная старушка, и «буржуй» — люди одного лагеря, и отношение их к большевикам одинаково. Поэтому же всякая, вообще, одинокая личность ассоциируется с человеком «черного» мира и изображается иронически. Это видно уже из первой строфы поэмы, где вслед за известной антитезой «черный вечер — белый снег» следует не менее существенная:

Ветер, ветер!
На ногах не стоит человек.

В противопоставлении «ветра» «человеку» сказывается ироническое переосмысление той великой терминологии гуманизма, которая была опошлена в годы Гражданской войны «демократической» демагогией контрреволюционной прессы. Точно так же принадлежит к «черному» миру тот самый одинокий «ходок»-«бедняжка» во второй строфе, над бедами которого смеется Блок.

Сказанное определяет всю структуру образов героев в «Двенадцати». Выше уже говорилось, что центральной особенностью двух миров в поэме является их полная, диаметральная противоположность, принципиальное отсутствие всего среднего, про-

³⁸ Дневник Александра Блока, т. 2, стр. 110.

межуточного. Это приводит к тому, что каждый персонаж поэмы интересует Блока не в сложной диалектике конкретно-неповторимого и типического, а, в основном, только с этой последней стороны. Индивидуальное в героях само по себе, в его собственной художественной значимости (как единственно возможная форма проявления общих закономерностей, как показатель сложности и многообразия мира) в поэме «Двенадцать» Блока не интересует. Всякое отклонение данного героя от общих признаков его мира (да и сам принцип появления конкретных персонажей) служит здесь другой цели — подчеркнуть какие-то существенные моменты в жизни революции. Герой всегда интересен здесь лишь постольку, поскольку через него выявляются те или иные общие закономерности. Это сближает «Двенадцать» с большинством произведений советской литературы 1917—21 гг., делает поэму типичным произведением литературы эпохи, как в её сильных сторонах (стремление познать посредством искусства ведущие закономерности жизни общества), так и в её неизбежной исторической ограниченности (недооценка роли «подробностей жизни», невольная «суммарность» образов). Это же, бесспорно, сближает героев «Двенадцати» с персонажами драматургии «социальной маски» (при учете специфики понимания «социального» у Блока). Принцип обрисовки героев в поэме напоминает также революционные плакаты тех лет: здесь — такое же стремление выделить лишь то в человеке, что делает его человеком класса, и карикатурно или героизированно подчеркнуть, стусить эти черты, отвлекшись от индивидуального (поп, барыня и др.). Сказанное в равной мере характеризует структуру образов, относящихся и к «черному», и к «белому» миру.

Тем более интересно, что вся характеристика «черного» мира полностью дается через образы *отдельных* людей, а вся характеристика мира революции — через групповой образ «двенадцати». Подобная структура определена тем, что старое для Блока — это царство разрозненных индивидуальностей. Поэтому *типическим* признаком героев 1. и 9. глав является именно их *внешнее разнообразие*, их (кажущаяся) непохожесть друг на друга. И старушка, и «буржуй на перекрестке», и «писатель-виталя», и «долгополый» поп, и «барыня в каракуле» — всё это люди одного мира, но того мира, где индивидуалистическое, разделяющее людей, стоит на первом месте.

В таком же духе нарисованы и образы «отступников» — Ваньки и Катьки. Само индивидуальное, особое в их судьбе — это именно их «отступничество». Они же наделены и яркой, хотя и немногословной, портретной и психологической характеристикой. Смысл последний — подчеркнуть «буржуйское» (или его разновидность — «мещанское») в персонажах:

Он в шинелишке солдатской,
С физиономией дурацкой,
Крутит, крутит черный ус,

Да подкручивает,
Да подшучивает . . .

Так же индивидуализирован образ «толстоморденышкой» Катюшки, у которой «зубки блещут жемчугом». Дается сравнительно подробное описание ее внешности, одежды, её судьбы. Как видим, сам по себе принцип индивидуализации (при всей относительности в данном случае термина «индивидуализация») в поэме возникает как средство противопоставления тех или иных персонажей массе — стихии.

Напротив, новый мир — это мир единой массы, куда влилось множество «я». «Двенадцать» в поэме всегда появляются все вместе. О них говорится почти всегда во множественном числе. Вторая глава, знакомящая нас с красногвардейцами, сразу же дает их групповую характеристику: «Идут двенадцать человек». В них общее все: от внешнего вида («оплечь — ружейные ремни», «в зубах цыгарка, примят картуз») до настроений, психологии и судьбы («И идут без имени святого // Все двенадцать — вдаль», «их винтовочки стальные — // На незримого врага» и т. д.). Диалоги красногвардейцев (исключая те места, где вклинивается голос Петрухи) весьма специфичны по своей художественной функции. Они выражают не разницу во взглядах, настроениях и т. д., а разные стороны одной и той же мысли. Такова, например, коллективная отповедь красногвардейцев Петрухе («Ишь, стервец, завел шарманку» . . . и т. д.). Поэтому здесь совершенно невозможно отделить язык одних героев от других. Не случайно излюбленное местоимение «двенадцати» — «мы», «наш» («Мы на горе всем буржуям . . .», «Был Ванька наш, а стал солдат», «Потяжеле будет бремя // Нам, товарищ дорогой!» и т. д.).

И для всего мира бездомных и униженных Блок видит один выход — слиться со стихией революции, с массой. Поэтому уже в конце I главы появляется образ одинокого бродяги. Образ этот вначале двойственен. Он связан и со старым миром: он один, он еще не слит со стихией и «сутулится» от холода. Но он бездомен и нищ, а потому для него есть выход.

Эй, бедняга! Подходи!
Пощелуемся!

Бродяга может стать частицей революционной массы — в этом его спасение.

В указанном смысле интересно употребление в поэме собственных имен. Они используются в трех целях: для передачи живой речи революционной улицы, без стремления как-то подчеркнуть индивидуальное в героях («Андрюха, помогай!!! — Петруха, сзади забегай!»), для выделения героев, противопоставленных массе (Ванька, Катюшка) и, наконец, при характеристике Петрухи. Образ Петрухи многогранен; бесспорно, однако, что пока этот герой выступает по преимуществу как часть массы,

он — *безымянный* участник диалогов 2 главы («Ну, Ванька»... и т. д.), и даже внутренние монологи его трудно отличимы от лирического авторского отступления (гл. 5 и 8). Но там, где Петруха как-то противопоставлен остальным красногвардейцам («жалость» к Катьке, упоминание Спаса), — там остальные герои сразу же *называют его по имени*, причем такое упоминание всегда связано с критикой героя («Что ты, Петька, баба, что ль?», «Петька, эй, не завирайся!»). Диалоги же критикующих красногвардейцев не разделены на отдельные голоса. И здесь, как видим, отразилось представление Блока о том, что носителем самых высоких революционных норм и идеалов является масса. Не даром в последних главах, где Петька вновь с друзьями, перед нами — единый коллективный герой.

Однако рассматриваемая проблема имеет и другую сторону, теснейшим образом связанную с блоковской концепцией «крушения гуманизма». Это — вопрос о том, что происходит с человеческой личностью, когда её «я» сливается с единой революционной массой. Будет ли такое слияние растворением, уничтожением «я» или, напротив, предпосылкой его расцвета и новых условиях новой жизни?

Вопрос этот очень важен для всей молодой советской литературы. Если всё революционное искусство 1917—21 гг. объединялось в прославлении слияния личности с народом (не с «всечеловечеством» Вяч. Иванова, а именно — только с его прогрессивной *частью*: трудовым народом для одних авторов, пролетариатом — для других), то дальше начинался ряд существенных отличий. Для близких Блоку писателей из группы «Скифы», например, слияние с народом мыслилось как отказ от своего «я», как проповедь самоотречения и самоограничения «эгоизма» личности. Принятие революции — это радостное «самосожжение» личности:

И ты, огневая стихия,
Безумствуй, сжигая меня ... !³⁹

Главное в революции — «жертва».⁴⁰

Нетрудно увидеть, что подобного рода этические построения *субъективно* включали в себя принятие революции. Но своими *теоретическими* корнями они уходили в ту самую идеалистическую этику смирения и отказа от всего личного, которую писатели данной ориентации пытались преодолеть в ее непосредственно-политических проявлениях.

В сущности, к такому решению вопроса весьма близки и остро полемизировавшие с группой «Скифы» писатели и теоретики Пролеткульта. Как известно, этика Богданова опиралась на представление о том, что «я» — основа буржуазной морали, возникшей на базе частной собственности. Напротив, крупное машин-

³⁹ А. Белый, Родине, «Скифы», сб. 2-й, стр. 36.

⁴⁰ Р. Иванов-Разумник, Две России, там же, стр. 222.

ное производство и социалистическая собственность порождают «коллективную мораль». В новом обществе личность «анонимна» и «безымянна». Как видим, противоположность этих двух форм идеалистической морали была субъективной.

Подлинно революционное решение вопроса могло быть дано лишь с позиций марксистского понимания соотношения личности и класса, личности и общества при социализме. К художественному решению этих вопросов в указанные годы приближался Маяковский (с его критикой безликого пролеткультовского «мы»); весьма близок к нему Д. Бедный в поэме «Про землю, про волю . . .» и ряде стихотворений. Однако полностью решены эти вопросы будут лишь на следующем этапе развития советской литературы. В искусстве же периода Гражданской войны представление о расцвете личности при социализме только еще вырабатывается, постепенно осваивается — и то скорее еще как теоретическое положение, чем как принцип, связанный с художественной структурой образа.

В подобной обстановке происходит оформление той стороны этических воззрений Блока, которая связана с мыслями о *характере* слияния «я» и народа (при осознании *необходимости* этого слияния!). И здесь опять мы встретимся не только с близостью, но и с качественным отличием воззрений Блока и авторов сборника «Скифы». Для Блока, с первых дней поэтического самоопределения, нравственный идеал предстаёт как нечто, весьма далёкое от морали самоотречения и жертвы. Идеал — Прекрасная Дама — изображается как мистическое начало, слияние с которым бренного и земного «я» обеспечивает и этому «я» величайшее счастье, величайшую гармонию. Разумеется, и сам идеал, и пути его осуществления понимались чисто идеалистически, однако, отнюдь не в духе христианском. Отсюда понятно оценочное и отнюдь не апологетическое отношение раннего Блока к образу Христа (например, в стихотворении «Вот он, Христос . . .», где сквозит мысль о неспособности поэта «стать, как стезя»). В письмах к Е. П. Иванову Блок с полной определенностью заявляет, что он не намерен идти «врачеваться к Христу». ⁴¹ Христос для Блока есть символ этики нарочитого обеднения личности, морали жертвы.

Дело осложняется, однако, начиная примерно с 1908 г., когда идеалом Блока становится высокое духовное начало Родины, народа. Народ для Блока — духовное, а не четко-социальное понятие. Поэтому ведут к нему *нравственные* пути. Интеллигент для слияния с народом должен отречься от эгоизма, от гипертрофии «я» и обречь себя на «духовную диету». Подобная мысль, выраженная преимущественно в статьях Блока, отразилась

⁴¹ А. Блок, Письма к Е. П. Иванову, М.-Л., 1936, стр. 26; то же см.: там же, стр. 37 и др. Мысль о двойственном отношении Блока к образу Христа была высказана Д. Е. Максимовым на заседании Блокковского семинария в ЛГУ в 1947 г.

и в его предоктябрьском творчестве, начиная с ряда стихотворений цикла «Фаина» («Работай, работай, работай...»). Особенно четко отразилась она в поэме «Соловьиный сад» (1913). На этом этапе неминуемо возникало и новое отношение к образу Христа («Когда в листве, сырой и ржавой...»). Хотя возможность сблизиться с ним по-прежнему оставалась под сомнением («... Челн мой будет ли причален / К твоей распятой высоте?»), но общность отношения поэта и Христа к миру, людям, к «лику Родины суровой» ощущается вполне отчетливо.

Однако и в этот период этические поиски Блока далеко не сводятся к мыслям о необходимости «духовной диеты». Вырастающая из идеалистического характера общих представлений Блока, они соответствуют лишь одной стороне поисков поэта. Другая же их сторона определялась тем, что идеал мыслился как объективный и проявляющий свою духовную сущность через земное и конкретное. Отсюда совершенно другая постановка вопроса о личности — прославление яркого, земного, «ренессансного» «я» (цикл «Вольные мысли»). Такое, по существу взаимоисключающее, отношение к личности было внешним выражением внутренних противоречий Блока и не могло быть полностью снято без разрыва с идеалистическим миропониманием. Пока такого разрыва не произошло (а его так и не произошло), всякая борьба с аскетической моралью церковного толка неизбежно вызывала крен к субъективному идеализму (в этике — к индивидуализму), а попытки преодолеть субъективизм декадентства — крен в сторону этики жертвы. Это двойное колебание и было результатом неудовлетворенности Блока *любой* формой идеалистической этики и, вместе с тем, — невозможности противопоставить ей ничего, кроме идеализма же. Указанное противоречие не исчезло и в период Октябрьской революции. Напротив, оно еще более углубилось.

От революции Блок ждет чего-то чрезвычайно большого и совершенно нового, «неслыханных перемен». Эти перемены, связанные с выходом на арену истории широких народных масс, должны, вместе с тем, по мнению Блока, привести и к невиданному расцвету личности. Революция, слив «я» с массой, должна, вместе с тем, полностью снять «проклятье» с личности. Не случайно новый человек мыслится Блоком не как самоуничтожающийся аскет, а как яркая индивидуальность, как «человек-художник», который будет «жадно жить и действовать».⁴² Не менее значительно и то, что дух революции — «дух музыки». Этим подчеркивается не только историческая неизбежность и не только нравственная правота, но *эстетичность*, высокая *красота* передовой идеи. Все сказанное говорит о естественности возрастания в эти дни отталкивания Блока от идей самоограничения и жертвы. В дневнике поэт записывает: «Страшно

⁴² А. Блок, Собрание сочинений, т. 8, стр. 131.

хочу мирного труда; но — окрыленного, не проклятого», ⁴³ т. е. — совсем не того, который прославлялся в стихотворении «Работай, работай, работай...» В этой записи (кстати, вновь говорящей о принятии созидательной стороны революции) ощущается и надежда на то, что революция снимает с труда проклятие, и характерная боязнь того, что этого может не произойти. В такой связи становится понятной и несколько более ранняя дневниковая запись: «Труд — это написано на красном знамени революции <...> священный труд <...> Откуда же на нем ещё проклятие? А оно есть. И на красном знамени написано не только слово труд, написано большее, еще что-то». ⁴⁴ Это «что-то», что стремится Блок увидеть в революции, — бесспорно, дополнение труда радостью для трудящегося, снятие «проклятия». Обобщающей, в данном смысле, является сочувственная запись Блоком 4 января 1918 г. слов: «Не хочу страдания, смирения, сораспятия». ⁴⁵

Здесь — глубокое, принципиальное отличие Блока от позиции участников сборника «Скифы». Последние, отталкиваясь от политической стороны выводов из христианской морали (т. е. от проповеди смирения), не подвергали сомнению ее этические основы. И у Есенина, и у Клюева поэтому «богохульство» органически сочетается с христианским осмыслением идеалов революции.

Для Блока эта позиция, не порвавшая с самими основами абстрактного «демократизма», оказывается неприемлемой. Он ищет такую теорию, которая оправдала бы гармонию личности и народа, достигаемую в результате революции.

В данной связи делаются понятными внутренние пружины сближения Блока и Горького в 1918 г. На их сближение неоднократно указывали и мемуаристы, подчас весьма далекие от сочувствия позиции обоих авторов, ⁴⁶ и исследователи. Разумеется, причин этому было много: и общая активная работа по культурному строительству, и общее отношение к проблеме «интеллигенция и революция», и бесспорное личное обаяние каждого из писателей. Думается, однако, что основной причиной сближения было общее направление этических поисков. Оба художника видели в революции силу, которая, в конечном итоге, слив личность с массой, приведет и к расцвету личности. Эти мысли Горького, выраженные уже в статье «Разрушение личности», совпадали с размышлениями Блока о «кризисе гуманизма». Поэтому, прослушав доклад Блока о Гейне,

⁴³ Дневник А. Блока, т. 2, стр. 109.

⁴⁴ Там же, стр. 12—13.

⁴⁵ Там же, стр. 92.

⁴⁶ Ср.: «Горький тогда был влюблен в Блока... «Вот — это человек! Да! Покорнейше прошу!» Блока слушал Горький на заседаниях «Всемирной литературы» так, как никого» (Е. З а м я т и н, Из воспоминаний о Блоке; цит. по кн.: О. Немировская, Ц. Вольпе, Судьба Блока, Л., 1930, стр. 234.).

Горький присоединился к блоковской концепции, заметив: «... Мне тоже кажется, что гуманизм, именно гуманизм (в христианском смысле) должен полететь ко всем чертям». ⁴⁷ В письме к Федину Горький высказался об этических воззрениях Блока еще определенной: «Старый гуманизм (т. е. гуманизм страдания, жертвы — З. М.) — плохая вещь». «И А. А. Блок — кажется, единственный, кто чуть-чуть не понял это». ⁴⁸

Все сказанное имеет самое непосредственное отношение к структуре поэмы «Двенадцать». Прежде всего, оно объясняет сущность отношения Блока к образу Христа. Исследователи уже неоднократно обращали внимание на устойчиво-отрицательную оценку Блоком Христа в дни написания поэмы и сразу же после ее окончания. Блок прямо заявляет, что присутствие Христа в революции для него «страшно», ⁴⁹ что он ненавидит его «женственный призрак». ⁵⁰ В чем же причина этой ненависти? Исследователи, как правило, или обходят вопрос, или объясняют его тем, что Блок боялся ассоциаций образа Христа с ортодоксально-церковным его истолкованием. Мысль эта высказывалась в 30-е гг. Е. Малкиной; затем она получила развернутое доказательство в статьях и монографии В. Н. Орлова, в книге Л. Тимофеева и в ряде других работ. «Блок хотел, чтоб вместо Христа вел красногвардейцев кто-то «другой», учитывая *внешнее* сходство его с «женственным призраком», ставшим достоянием церковной легенды». ⁵¹

Однако, выше уже говорилось, что для Блока Христос всегда предельно далеко отстоял от «церковной легенды». Это видно и во всех высказываниях Блока, и в тексте поэмы, где ничего общего нет и не может быть между «долгополым» попом и Христом.

Вообще, в истории дооктябрьской общественной мысли, не преодолевшей до конца философского идеализма, но далекой и субъективно, и объективно от реакции, существовала достаточно широкая традиция прославления идеалов Христа при резко отрицательном отношении к ортодоксальной церкви (Л. Н. Толстой и др.). Поэтому для самого Блока такая ассоциация была бы слишком неожиданной. А *только* тактические соображения, *только* боязнь, что его «не так поймут», никогда бы не могла остановить Блока с его глубокой уверенностью

⁴⁷ В. С. Иванов, Сентиментальная трилогия, в кн.: Сборник воспоминаний и статей о Горьком, М.—Л., ГИЗ, 1928, стр. 351.

⁴⁸ К. Федин, Горький среди нас, ч. II, 1921—28 гг., ГИХЛ, 1944, стр. 131.

⁴⁹ См.: Записные книжки Ал. Блока, Л., изд. «Прибой», 1930, стр. 199; почти дословно эта же мысль повторена в дневнике (т. 2, стр. 107).

⁵⁰ Дневник А. Блока, т. 2, стр. 112. Это же вспоминает и К. Чуковский.

⁵¹ В. Н. Орлов, Александр Блок, в кн.: А. Блок, Сочинения в одном томе, М.—Л., ГИХЛ, 1946, стр. XXI. Эта же точка зрения — и в позднейших работах исследователя.

в необходимости серьезного разговора с новым читателем, с его ненавистью к дешевой популярности.⁵²

Дело, таким образом, в чем-то другом, более глубоко связанном с думами и противоречиями самого Блока. Образ Христа в поэме имеет, как представляется, несколько значений. Христос здесь — некое «высокое» философское начало, которое обобщает эмпирию революции, придавая ей общий исторический смысл. Христос — далее — вождь плебеев; с именем его связано разрушение старой «цивилизации» Рима; потому образ его возникает и в момент крушения буржуазной цивилизации. Наконец, Христос — и этический символ охарактеризованной выше морали «духовной диеты». Два первых аспекта освещены, на наш взгляд, в исследовательской литературе вполне детально (Е. Малкина, Вл. Орлов, Л. Тимофеев) — с трактовкой третьего согласиться невозможно. Большинство исследователей (в последнее время эта точка зрения наша детально развитие в содержательной статье Л. К. Долгополова) считает, что, вводя Христа как этический символ, Блок сам полностью стоит на позициях связанной с этим образом этики. Л. К. Долгополов прямо пишет об «идее христианского искупления у Блока»,⁵³ что соответствует и общей установке исследователя — всячески подчеркивать близость Блока и авторов сборника «Скифы». Однако это расходится со всем комплексом мыслей Блока в названный период, от прямых высказываний о Христе до обобщающих статей 1918—19 гг.

Откуда же все-таки Христос в поэме, и как его образ соотносится с истолкованием природы новой, революционной личности? Дело представляется следующим образом.

Как доказано П. Медведевым, первоначальные наброски поэмы, вообще, не содержали ни мыслей о Христе, ни соответствующего образа.⁵⁴ Первые наброски выделяют в качестве центральной идеи мысль о нравственном праве революции на разрушение старого мира: «Сразим мы пулей // Святую Русь» — и о высоком торжестве по поводу его гибели: «Стоит буржуй на перекрестке». . .⁵⁵ На этой стадии, совпадающей по своему идейному звучанию с создававшейся тогда же (январь 1918 г.) статьей «Интеллигенция и революция», высшим положительным идеа-

⁵² Размышления Блока о «серьезном» стиле революционного искусства, о недопустимости грошевой популяризации см.: Дневник Ал. Блока, т. 2, стр. 40.

⁵³ Л. К. Долгополов, «Двенадцать» Блока (идейная основа поэмы), Вопросы советской литературы, вып. VIII, М.—Л., изд. АН СССР, стр. 140, см. также стр. 157, 170—179.

⁵⁴ П. Медведев, Драммы и поэмы Ал. Блока, Л., Издательство писателей, 1928, стр. 180—181.

⁵⁵ Там же, стр. 79. Ср. также воспоминания К. Чуковского о том, что первыми строками поэмы, возникшими в сознании Блока, были: «Уж я ножичком полосну, полосну. . .» — тоже выдвигающие на передний план мысль о праве народа на возмездие.

дом поэмы является сама практика революции. Если вся поэзия Блока 1910-х гг. строилась на противопоставлении «страшного мира» и идеалов поэта, то теперь вырабатывается совершенно новая эстетика, основанная на безоговорочном принятии революционной действительности. Идеал теперь — *это и есть* революционное сегодня. Такая трактовка вопроса отнюдь не означала принятия революции только как разрушения. Смысл ее — совершенно иной: и разрушение, и созидание может возникнуть лишь *из реальной практики* революции, к «музыке» которой должен с восторгом прислушиваться поэт.

На данной стадии развития замысла Христос не нужен как обобщение эмпирии революции (ибо она сама по себе прекрасна и совпадает с высшим идеалом поэта). Не нужен он и как этический символ, ибо пока что Блок уверен в бесконечном расцвете революционной личности. Революция мыслится как победоносное шествие народа из царства унижения в мир высшего счастья всех и каждого. Образ Петрухи, появившийся вскоре после первых зарисовок к поэме, пока что несет только одну функцию; он — часть революционной массы, но часть, которая, преследуя великие общие цели, вместе с тем, решает и свои задачи. Так трактуется убийство Катьки. Оно носит характер одновременно *и* социальный — высокое возмездие изменникам революции («Был Ванька наш, а стал солдат»), *и* интимный — месть за обиду и измену. Человек в революции имеет право на личные чувства — поэтому в гл. 5 («У тебя на шее, Катя»...) звучит та «реабилитация плоти», та мысль о праве на земную радость, то оправдание жажды счастья и борьбы за него, которые будут столь важны для советской литературы 1920-х гг.⁵⁶ Более того: именно через осуществление маленьких, частных стремлений реализуются великие цели революции. Отсюда — зачеркнутая впоследствии строка:

*Мировой пожар в крови
Из-за Катькиной любви.*

Строчка эта совершенно неправомерно расценивается исследователями как «снижение» мотивировок «мирового пожара». Напротив, в ней содержалась замечательная попытка *неразрывно связать потребности «я» с «великим целым»* Октября.

В этой связи интересна еще одна деталь, сообщенная Л. К. Долгополовым, но не получившая, как нам кажется, полного истолкования. В черновиках стихотворения «Он занесен, сей жезл железный...», напечатанного в период работы над

⁵⁶ В этом смысле вряд ли плодотворно рассматривать поэму В. Маяковского «Хорошо» по отношению к блоковской традиции *только* как отталкивание от последней. Постановка вопроса о личности, которая «каплей льется с массами», не жертвуя своим «я», бесспорно, была близка Маяковскому. Хотя в поэме затем появляется и новое, иное решение вопроса о характере революционной личности, но следы первоначального замысла остаются и в значительной мере продолжают определять звучание «Двенадцати».

поэмой — 6(19) января 1918 г., исследователь нашел первоначальный вариант концовки: «Сияние *Ее* лица», впоследствии замененный строкой: «Сиянье *Божьего* лица». Исследователь не дает детального анализа смысла этих изменений, между тем, они очень существенны. Строчка о «Сиянии *Ее* лица» над суровым революционным сегодня неожиданно возвращает нас к образу Прекрасной Дамы. Но этот образ в этическом плане имел, как мы видели, особый смысл: он сливал этику и эстетику, говорил о приобщении «я» к чувствам *не только долга, но и — одновременно — счастья, гармонии*. Так понимал революцию и сам Блок в начале работы над поэмой.

Однако за 2—3 недели работы в сознании Блока происходят характерные сдвиги. Их внутренней причиной была уже отмеченная выше невозможность решить последовательно вопрос о месте личного начала в революции, не порвав *сознательно* с идеализмом. Внешним же толчком к изменению замысла были огромные трудности, переживаемые страной в условиях первых дней Советской власти. Конкретная марксистская диалектика конечных целей революции и данного этапа борьбы, тактика временного отступления во имя будущего социализма, приведшая вскоре к заключению «позорного», по словам В. И. Ленина, но неизбежного Брестского мира, — всё это Блоком осмысливается в категориях идеалистической эстетики. При попытке решения этой «квадратуры круга» Блок и «срывается» к образу Христа. Чем серьезней грозящая революции опасность, чем реальней трагическое размышления о её возможном поражении — тем яснее новое отношение к вопросу о роли личности. Революционный народ раньше мыслился Блоком как *берущий* по праву ему принадлежащее. Теперь народ понимается как идущий на огромные жертвы во имя общих целей революции. Не случайно именно в день подписания Брестского мира — и сразу же после сообщения о нем — в дневнике Блока появляется мысль о том, что «именно Он (Христос — З. М.) идет с ними». ⁵⁷ Теперь борцы за революцию мыслятся не как яркие личности, осуществляющие одновременно и свое, и общее дело, а как «дети в железном веке», приносящие себя в жертву конечным целям борьбы, а потому — льющие «воду на мельницу христианской церкви» ⁵⁸ Это существенно изменяет структуру образов и сюжет поэмы, особенно — образ Петьки. Теперь Петька — не только часть революционной массы, но и временно заблуждающийся. Ошибка Петьки — именно в том, что в великое общее дело он внес ненужные для него «частные» побуждения и чувства. Уже первая реплика героя:

Ну, Ванька, сукин сын, буржуй,
Мою попробуй, поцелуй! —

⁵⁷ Дневник А. Блока, т. 2, стр. 107. Запись сделана после написания поэмы, но в период подготовки к ее опубликованию.

⁵⁸ Там же, стр. 112.

отличается от речей остальных героев и местоимением «*мою*», и взволнованно-лирическим тоном. В дальнейшем оказывается, что именно это лирическое, личностное начало ведет Петруху к вредным для революции мыслям. Перед лицом революции Ванька и Катька равны как отступники (а если и не равны, то и это не меняет дела, ибо личное, случайное несущественно для революции и отдельная ошибка не снижает высоких идеалов борьбы). Для Петьки же они не равны, он жалеет Катьку. В данной сцене Петруха начинает противопоставляться остальным красногвардейцам и по своему отношению к «стихии». Он не равен ей, как прежде, а страдает от «стихии»:

«Замотал платок на шею —
Не оправиться никак»;

(к этому подготавливала в гл. 2 фраза: «Холодно, товарищи, холодно!», пока еще не развернутая). Петруха в гл. 7 отличается от остальных и своими «бабьими» и — одновременно — «буржуи-скими» настроениями горечи, рефлексии — вообще, лирическими интонациями. Товарищи сразу же указывают Петьке на его ошибки. Рефлексия и жалость вредны для общего дела; они — наруку врагу. Ср. в черновике:

Верно, душу наизнанку
Хочешь вывернуть, буржуй?
Поскули еще, холуй!

Его настроения теперь неожиданно напоминают настроения «барыни в каракуле» («уж мы плакали, плакали...»). Революции все это враждебно. Ей нужны не рефлексии, а *действия*, не личное, а общее. Петруха осознает это, подавляет «личное» и полностью сливается с революционной массой.

На этой стадии мыслей Блока о революции в стихотворении «Он занесен, сей жезл железный...» появляется «сиянье *Божьего* лица», а строки поэмы, связывающие Катькину любовь и «мировой пожар», снимаются и заменяются каноническим текстом. Здесь-то и возникает потребность в образе Христа как начала, объясняющего смысл отказа от «личного» во имя революции. Характерен тот установленный П. Медведевым факт, что Христос впервые возникает как продолжение монолога Петрухи. Теперь, в окончательном варианте поэмы, у Блока больше совпадений с А. Белым и С. Есениным. Как и они, Блок резко отгораживается от «*тактической*» стороны христианской этики «непротивления» (отсюда тема: Христос и разбойники, Христос — борец), но не может преодолеть её *философских* посылок.

Однако и сейчас позиции Блока и «скифов» не совпадают. Там, где для последних «всё ясно», для Блока — глубокое, неразрешимое противоречие. Блок оставляет и в каноническом тексте мысли о праве героя на земное счастье; как основной мотив по-прежнему звучит призыв к мести, а Петруха, при всем своём отличии от красногвардейцев, воспринимается как частица но-

вого мира (не только после спора с друзьями, но и до него). Самое же главное — в том, что из двух начал революции: ее эмпирии и Христа-обобщения — с наибольшей симпатией и детальностью обрисовано первое. Да и сам Блок, как мы видели, гораздо больше симпатизировал именно первому. В результате этическая сторона образа Христа, глубоко понятная в творчестве Белого, Есенина и Клюева, в поэме Блока ощущается как нечто неорганическое, что не раз подчеркивалось современниками. Но именно в этой неорганичности образа — сила поэмы.

Она приводит Блока к тому, что поэт постоянно стремится увидеть в революции «Другого»⁵⁹ и вновь приходит к мыслям о необходимости расцвета личности в статье «Крушение гуманизма» (1919). Эти мысли так и не получили законченного теоретического обоснования, поскольку Блок так и не принял материализма. Но они были, и их четкое звучание в поэме «Двенадцать» обусловило значение произведения для развития той линии советской литературы, которая завершилась в «Хорошо» В. Маяковского.

Как видим, идейно-теоретические (этические, эстетические и т. п.) представления Блока в период создания поэмы весьма сложны и противоречивы; отсюда и противоречия «Двенадцати».

Принятие Октября обуславливает ряд основных положений поэмы, делающих её классическим произведением революционного искусства 1917—21 гг. Это — предельная антитетичность образов поэмы, сведение всех красок к двум, всех героев — к двум лагерям, утверждение права народа на борьбу и «возмездие» и т. д. Но значение поэмы — и в другом. Не придя *теоретически* ни к принятию марксистской этики, ни к признанию эстетики реализма, Блок логикой художественных образов и своих конкретных размышлений уходит далеко вперед от общедемократических представлений участников группы «Скифы». Его объективно-идеалистические посылки понимания развития общества практически поворачиваются интересом в конкретно-историческому (а не отвлеченно-схематическому) показу сегодняшнего дня революции. Его этика не только революционно-активна и не только утверждает роль народа в истории, но и подчас близко подходит к материалистическому пониманию соотношения личности и общества при социализме. В этом — значение «Двенадцати» как произведения, стоящего у истоков советской поэзии не только периода Гражданской войны, но и дальнейших этапов ее развития.

⁵⁹ Л. К. Долгополов в цитированной статье утверждает, что «Другой», которого Блок мечтал увидеть во главе революции, и Христос — в принципе, явления одного порядка. В смысле их общефилософской (духовной) природы Христос и «Другой», конечно, едины. Но этический смысл этих двух возможных начал в революции весьма различен. Христос означает понимание этики революции как великой жертвы, желаемый «Другой» — это, бесспорно, начало гармонии «я» и народа, воплощение этики расцвета личности.

ИЗ ИСТОРИИ ЭСТОНСКОЙ РИФМЫ (К ПРОБЛЕМЕ РУССКИХ ВЛИЯНИЙ НА ЭСТОНСКУЮ ПОЭТИКУ)

Статья II

Доц., канд. филол. наук В. Т. Адамс

1.

Зависимость эстонской литературы от немецкой длилась до тех пор, пока длилась экономическая гегемония прибалтийских немцев. Поднимающиеся из народных недр немногие деятели культуры, пасторы и кистеры, учителя, интеллигенты и полунинтеллигенты, вначале шли на поводу у немецких менторов и отражали движения культурной жизни господствующих классов.

Накануне и в дни Первой мировой войны в Эстонии наблюдается экономическая структура симбиоза балтийско-немецкой и эстонской буржуазии (несмотря на политическую борьбу последней под националистическими лозунгами). Развитие промышленности на территории Эстонии ведет к некоторой «урбанизации» эстонской культуры, в прошлом носившей сугубо аграрный характер. Культурные запросы экономически поднявшихся кругов растут, быстро повышается образовательный и культурный уровень верхов, расширяется их кругозор. Интеллигенция, как правило, овладевает «тремя местными языками» (немецким, эстонским, русским), в кругах более обеспеченной буржуазии все чаще попадают люди, изучавшие, кроме того, и западные языки (французский, английский). Появляется созданный по скандинавскому образцу космополитический лозунг «младо-эстонского» движения: «Останемся эстонцами, но станем и европейцами».

Эта нарочитая направленность на Запад еще усиливается после отделения Эстонии от России и образования буржуазного эстонского государства. После окончания Гражданской войны взаимовыгодным Тартуским миром 1920 года эстонская культурная жизнь была отделена «железным занавесом» от жизни Советского Союза, а аграрная реформа 1919 года, наделившая землей и часть безземельного крестьянства, укрепила диктатуру националистической буржуазии, несмотря на кризисные явления в эстонской экономике.

Буржуазия овладевает органами общественного мнения,

школой, наукой, церковью, литературой. Ловко оперируя еще свежими лозунгами национальной самобытности и независимости, культивируя эстонский язык и национальные науки, эстонская буржуазия сумела временно повести за собой значительные круги впервые обретшего свой язык народа, создать нужное для успешного администрирования общественное мнение и временно скрыть от широких кругов за кулисы интимно-политических и верхушечных организаций сознание кризисных явлений. В 1919 году вновь возобновил свою деятельность знаменитый Тартуский университет, превращенный в эстонский; несколько позже была осуществлена идея эстонского «Культурного капитала», ставшего источником стимулирования эстонской литературы, искусства и науки. Всё это не могло не оказать влияния на развитие многих областей эстонской культуры. Завязываются контакты со всеми странами Запада, посылающими своих наблюдателей, культуртрегеров и пропагандистов в Прибалтику. Идеалистическая эстетика западной буржуазии становится господствующей.

Но несмотря на насильственное отторжение культурной жизни буржуазной Эстонии от страны побеждающего социализма и несмотря на инфляцию культурных воздействий Запада, влияния русской литературы продолжают в какой-то мере просачиваться. Носителями этих влияний были разнообразные круги интеллигенции, получившие образование в русских школах и сохранившие интерес к русской литературе. При этом, так как прямая связь с Советской Россией была прервана, эти «восточные» влияния зачастую приходили в Эстонию через посредство Запада. Радиовещание в те годы еще не играло роли главного информатора, но в годы нэпа в Эстонию стала поступать дешевая русская книга из Германии. Именно этим путем проникли в изолированную от Советской России Эстонию, наряду с писаниями белоэмигрантов, и такие литературные произведения, как «Двенадцать» А. Блока и «150.000.000» В. Маяковского. «Двенадцать» А. Блока было впервые опубликовано на территории Эстонии в провинциальной газетке «Petserlane — Печерянин» в 1920 году автором этих строк. В 1921 году поэма была переведена на эстонский язык Йог. Семпером. Поэма В. Маяковского «150.000.000», впервые вышедшая отдельным изданием в 1921 году, была в 1923 году перепечатана в вышедшем в Берлине однотомнике.¹ Она поражала зарубежного читателя не только своим содержанием, картиной грядущей мировой революции, невиданным доселе сатирическим изображением империалистической Америки, но и новизною формы и изобразительных средств. Уже Тихонов отметил, что Маяковский первым «сумел свой стих перенести за пределы Советского Союза».²

¹ «Избранный Маяковский», Берлин, изд-во «Накануне», 1923.

² В сборнике «Маяковскому», 1940, стр. 8.

почти невозможным, а написание полной истории русской рифмы — весьма трудоёмкой задачей. Однако после трудов В. М. Жирмунского⁵, Б. В. Томашевского⁶, Л. И. Тимофеева⁷ и других общая направленность истории русской рифмы уже ясна.

Исторически рифма вошла в русскую письменность из украинской и польской силлабической поэзии. Однако рифма не чужда и русскому фольклору; большая часть русской народной песни состоит из рифмованных стихов; вышеупомянутая книжная традиция встретилась здесь с родственной фольклорной традицией. Традиция точной рифмы, идущей с Запада, канонизируется в творчестве и теоретических трактатах Третьяковского и Ломоносова. Эта традиция точной рифмы крепнет, совершенствуется и господствует до самого конца XIX века. Правда, наряду с точной рифмой мы видим у отдельных поэтов и употребление неточных рифм, все же такие попытки остаются эпизодами. Эпизодическое значение имеет, например, индивидуальное отклонение от канона в творчестве Державина⁸ и его подражателей, рифмотворчество Никитина, под влиянием народной песни употреблявшего рифму-параллелизм, ученическое рифмотворчество молодого Жуковского и молодого Лермонтова⁹. Есть неточные рифмы и у Пушкина, но значение этой «левизны» тенденциозно и неимоверно преувеличивается В. Брюсовым¹⁰.

У Пушкина и его школы мы видим в принципе уже господство канона точной рифмы. Это господство продолжается и во второй половине XIX века, чему не мог воспрепятствовать и А. К. Толстой, принципиально употреблявший неточную рифму и даже теоретизировавший на эту тему. А. К. Толстой писал¹¹, что «гласные, когда на них нет ударения, — по-моему, совершенно безразличны, никакого значения не имеют. Одни соглас-

Малоизвестным и недоступным для поэтов остался словарь рифм, помещенный в «Грамматике русского языка» Род. Кошутича, вышедший впервые в Петрограде на сербском языке (1919).

По-видимому, неоконченным остался труд Г. В. Быкова, предпринявшего в сороковых годах попытку создать словарь русских рифм по новой системе (Об этом см. сообщение: Г. В. Быков, О принципах составления и плане современного словаря рифм русского языка. Доклады и сообщения филологического факультета МГУ, вып. VII, 1948, стр. 67—72).

⁵ Вопросы поэтики, Непериодическая серия, издаваемая Разрядом истории словесных искусств, Вып. IV, В. Жирмунский, Рифма ее история и теория, Петербург, Academia, 1923.

⁶ Б. В. Томашевский, К истории русской рифмы, Труды Отдела новой русской литературы Института русской литературы АН СССР, ч. I, стр. 233—280.

⁷ Л. И. Тимофеев, Очерки теории и истории русского стиха, М., 1958.

⁸ См. В. Жирмунский, ук. соч., стр. 188—194.

⁹ См. В. Жирмунский, ук. соч., стр. 194—197.

¹⁰ См.: В. Брюсов, Левизна Пушкина в рифмах, Жизнь и революция, 1924, № 2.

¹¹ А. К. Толстой, Сочинения. Спб, изд. А. Ф. Маркса, 1908, т. IV, стр. 182.

ные считаются и составляют рифму». Эта тенденция, вытекающая из фонетических свойств русского языка (редукция безударных гласных), окончательно победила в нашу эпоху. А. К. Толстой защищает свои неточные рифмы отчасти ссылкой на фонетику, отчасти как поэтическую вольность. Однако рифмотворчество А. К. Толстого также осталось эпизодом, а на широкой дороге русской поэзии, где попрежнему господствовали либо неглиже, либо шаблон, мы не видим принципиальной деканонизации точной рифмы до появления школы символистов.

Валерий Брюсов, впервые рифмовавший «ночи» не с традиционной рифмой «очи», а со словом «рабочий», является первым застрельщиком новой техники в XX веке. Правда, его опыты в этой области не реформируют всю систему рифмовки, а образуют как бы особый класс метрических «уточков». Как бы осуществляя свой лозунг «ищи сочетания слов!» — Брюсов искал новых неожиданных словосочетаний вместо надоевших старых, всё больше превращавшихся в клише. В сборнике «Все напевы» он строит строфы на ассонансах по примеру французских символистов, экспериментирует с неравносложными и составными рифмами.

Опыты великого эклектика были подхвачены его младшим современником Александром Блоком, причем в его творчестве неточные рифмы перестают быть опытами, а становятся в начале нашего века канонизированным элементом общей системы рифмовки. Блок стал употреблять неточную рифму систематически, наравне с точной. На этом основании В. М. Жирмунский считает Блока канонизатором неточной рифмы в русской поэзии XX века¹². Такая техника опиралась у Блока, как нам кажется, не столько на «перемену душевного настроения поэтических тем и стиля», как думает Жирмунский¹³, сколько на произносительные нормы и манеру камерной декламации того времени. В своих мемуарах¹⁴ А. Белый вспоминает: «Блок просто проглатывал окончания слова. Я думаю, для Блока характерны неточные рифмы «границ» и «царицу». В произношении Блока окончания «-ый» и просто «ы» прозвучали бы равно одинаково, а созвучие «обманом» и «туманные» сошли бы за рифму». Как известно, такая манера приглушать заударные слоги была принята и модными тогда чтецами-декламаторами, напр. А. Вертинским.

После Блока употребление всех видов неточных рифм быстро распространяется в русской поэзии (акмеисты, «футуристы»).

Однако метрические опыты Брюсова, а также и интимная лирика Блока или Ахматовой, читались только в узких кругах. Лишь в творчестве глашатая русской революции В. В. Маяков-

¹² В. Жирмунский, ук. соч., стр. 202.

¹³ Там же, стр. 203.

¹⁴ Записки о Блоке, Эпопея. I, Берлин, 1922, стр. 220.

ского канонизация неточной рифмы не только достигает своей высшей точки, но и становится всеобщим достоянием. Именно он сделал новую систему рифмовки популярной и господствующей. При этом он не «извинял» неточность рифмы ссылками на фонетику. Люди, слышавшие его читку, утверждают, что он как бы подчеркивал разногласия в безударных слогах.¹⁵ Новизна и неожиданность его рифм порою поистине сногшибательны.

Однако в историческом аспекте важнее то обстоятельство, что в творчестве раннего Маяковского проведена систематическая реформа всей системы русского рифмотворчества. В этом нас убеждает анализ его рифм за период 1912—1920, т. е. от появления его первых стихотворений до создания поэмы «150.000.000». Уже в первых стихотворениях Маяковского видно упорное экспериментирование автора над неточными рифмами (тип «скомкан : окон» с выпадением согласной; 1, 33, 1912)¹⁶ хотя в 1912—13 гг. неточных рифм у него еще очень мало. За годы Первой мировой войны (1914—1916) количество неточных рифм резко возрастает, достигая в 1916 году 80% (в 1914 г. — 63%, в 1915 г. — около 70%). После революции употребление неточных рифм слегка снижается за счет применения исключительно оригинальных точных рифм, оставаясь всё же в пределах 60%. Соответственно мы видим резкое уменьшение традиционных рифм: их количество в 1916 году только 20%, в последующие годы несколько больше (в 1918 г. — 32%, в 1919 г. — 35%, в 1920 г. — 40%). Ко времени создания поэмы «150.000.000» система рифмовки Маяковского включает около 60% неточных и только 40% точных рифм.

Среди категорий неточной рифмы доминирует тип с отсечением конечного звука (так наз. усеченные рифмы, в среднем — 49,8 процентов от числа неточных рифм, т. е. почти половина). Этот тип неточной рифмы появляется у Маяковского уже в 1913 г., в цикле «Я» (фляжки — тяжкий, 1, 44, 1913; помешанных — повешены, 1, 45, 1913) и становится особенно характерным для рифмотворчества поэта. Другим распространенным типом неточной рифмы Маяковского являются рифмы неравносложные, столь заметные в поэме «150.000.000» (рифмуется односложное слово в трехсложном: верфь — уверовав; двухсложное с трехсложным: сути — рисуете, даже четырехсложное с шестисложным: будущее — распутывающие):

Теперь довольно смеюшихся глав нам.
В уме Америку ясно рисуете.
Мы переходим к событиям главным,
К невероятной, к гигантской сути.

¹⁵ Это отмечал уже В. М. Жирмунский в ук. соч., стр. 217. Подтверждают это наблюдение и хранящиеся в Музее-квартире Маяковского звукозаписи. Ср. и статью Н. Н. Асеева «Как читать Маяковского».

¹⁶ Ссылки на Полное собрание Сочинений Вл. Маяковского в 13-ти томах, М., ГИХЛ, 1955—60, даются сокращенно: римская цифра означает том, арабская — страницу. К каждой рифме дается и год.

Тут уже полный и подчеркнутый разрыв с традиционной поэтикой.

В рамках нашей темы не место подробно анализировать всю систему неточной рифмы Маяковского. Она необычайно многообразна. Начиная с умелого использования редукции гласных в заударных слогах, Маяковский проводит полную деканонизацию традиционной рифмы вплоть до сочетания в рифмующихся словах согласных и гласных, далёких по месту образования, и до нарочитого чередования согласных. Более того: поэт рифмует даже неравноударные слова (в радости — подрасти; а изредка применяет и прямые диссонансы (типа: слушать — лошадь; норов — коммунаров).

Мы считаем сизифовым трудом попытки объяснить такую рифмовку только лишь русской фонетикой и произносительными нормами рецитации Маяковского и видим в его рифмотворчестве сознательное стремление к деканонизации старой рифмы. Вот почему мы находим в его стихах все типы и возможности неточных созвучий: усеченную рифму всех видов, неравносложную и неравноударную, с отклонениями в области консонантизма (выпадение, перестановку и чередование согласных) и в области вокализма (как учитывающие фонетическую близость гласных, так и резко её игнорирующие, типа: диване — устану), а также сочетание всех этих видов и разновидностей. Это — работа сознательного деканонизатора традиционной рифмы.¹⁷

Своим крылатым творчеством, облетевшим весь мир, Маяковский перенес семена новой поэтики и во многие зарубежные литературы.

Для понимания в научном и историческом аспекте распространения творчества Маяковского необходимо учитывать характер читательских интересов, читательскую психологию той или иной категории читателей в данной стране и данную эпоху. Каждое поколение воспринимает по-своему одно и то же произведение в зависимости от исторического и местного фона. Только учитывая этот фактор, мы сможем понять мировой успех поэмы «150.000.000» за рубежом.

В сложной обстановке первых лет революции даже такие передовые писатели, как Горький, Демьян Бедный, Маяковский не всегда правильно разбирались в политической обстановке и не всегда правильно понимали задачи литературы в социалистическом государстве. В частности, Маяковский в эти годы еще не вполне изжил влияние так наз. «футуризма», и это сказалось

¹⁷ Для наших целей, в аспекте истории эстонской рифмы, нет надобности вдаваться к проблематику генезиса и природы этих деканонизаторских тенденций Маяковского. Вопрос о том, играло ли тут роль, напр., стремление приблизить рифму к разговорной речи или иные факторы, должен быть решен исследователями русской рифмы. Для нас новаторство Маяковского является историческим фактом, оказавшим влияние на эстонскую поэзию.

и на поэме «150.000.000», где он пытался дать обобщенное героическое и сатирическое изображение своей эпохи, применяя новые формы поэтического мастерства.

Если для передовых кругов Советского Союза эта поэма в 1920 году уже не была адекватной передовому общественному сознанию, а излишняя затрудненность и претенциозность формы могла даже вызвать протест Ленина¹⁸ в момент борьбы с футуризмом, то на зарубежных друзей Советского Союза грандиозная картина Мировой революции, сатирическая критика капиталистического строя в образе американского президента Вудро Вильсона и поражающая новизной поэтика действовали как луч света из далекой страны побеждающего социализма. Именно так была воспринята поэма широкими кругами просоветской интеллигенции за рубежом: в Чехословакии, Польше, Германии, Франции, Латвии, Эстонии. Конечно, враждебная Советскому Союзу националистическая буржуазия этих стран стояла на позициях принципиально воинствующего отрицания всего, исходящего от красного поэта, но отдельные деятели просоветской интеллигенции зачитывались поэмой, распространяли и переводили ее (Ст. К. Нейман в Чехословакии, Л. Арагон во Франции). Этот интерес распространялся и на поэтику произведения, а у многих интерес был вызван именно новаторством формы.¹⁹

В Эстонию поэма «150.000.000» проникла по берлинскому изданию (1923) избранных произведений Маяковского. Она не была ни переведена, ни даже отмечена в эстонской печати. И всё же она вызвала большой интерес. В 1923 году в литературном семинаре Тартуского университета была автором этой статьи защищена студенческая работа об этой поэме, одновременно автором был прочитан реферат в полулегальном кружке друзей советской литературы (так наз. кружке Сыщиковых).²⁰

Наконец, под непосредственным воздействием поэтики «150.000.000» в 1924 году появился сборник стихов В. Адамса «Suudlus lumme», в котором автор попытался произвести систе-

¹⁸ Об этом см.: Е. И. Наумов, Ленин о Маяковском, Литературное наследство, т. 65, М., 1958, стр. 206—216.

¹⁹ Недаром даже А. В. Луначарский обратил внимание именно на эту сторону в творчестве раннего Маяковского: «Если отделить форму Маяковского и взвесить только содержание — то оно окажется чрезвычайно съезжившимся и в смысле новизны почти не существующим. Всё-таки это талантливый человек. Со временем можно ожидать от него большей зрелости ума и сердца, а своеобразия в формальном мастерстве он добился высокого». Луначарский судил так в декабре 1918 года, когда Маяковский встал уже на путь борца за революционное искусство и был автором многих агитационных надписей, плакатов и политических стихотворений (цитируем по публикации: В. Д. Зельдович, Первые встречи Луначарского с Маяковским в 1917 г., Литературное наследство, т. 65, стр. 572).

²⁰ Об этом кружке до сих пор появились упоминания только в биографиях некоторых эстонских советских деятелей. Необходимо историческое исследование деятельности этого любопытного кружка, сыгравшего известную роль в истории развития русско-эстонской дружбы в 20-ые и 30-ые годы.

матическую деканонизацию традиционной эстонской рифмы, предложив в этом сборнике теорию (в послесловии «Несколько слов любителям формы» — «Mõni sõna vormiharrastajaile») и практику новой системы рифмовки.

3

Исключительное значение, придаваемое Маяковским рифме, документировано как высказываниями самого Маяковского и его современников, так и анализом его рифменной системы.

Знакомый поэта по футуристическому объединению «Гилея» Б. Лившиц в своих воспоминаниях²¹, относящихся к декабрю 1912 г., говорит об «обратной» рифме, «которую Володя Маяковский был готов объявить чуть ли не рычагом Архимеда, способным сдвинуть с оси всю мировую поэзию».²²

Всё раннее творчество Маяковского полно многообразными экспериментами над деканонизацией точной рифмы и поисками новых. Истоки русской неточной рифмы требуют рассмотрения в специальном исследовании, но эволюции рифмы Маяковского от формалистических опытов 1912—14 гг. к смысловым рифмам времен его работы в «Новом Сатириконе» (1915—1915)²³ и перенесению выработанной техники и в несатирические стихи после-революционного творчества достаточно ясна и исследована. Маяковский, как никто до него, увеличил организующую роль рифмы в стихе, причем он делал это вполне сознательно, придавая своим рифмам необычайную суггестивность. Это настолько бросается в глаза, что некоторые исследователи считают рифму Маяковского главнейшим и даже «единственным постоянным признаком его стиха».²⁴ Бросающееся в глаза повышенное значение рифмы у Маяковского, в связи с мировым значением его поэзии, обратило внимание на эту рифму даже в тех читательских кругах, которые не заметили деканонизации точной рифмы в творчестве Брюсова и Блока. Поэтому именно техника рифмы Маяковского прежде всего повлияла на развитие национальных форм стиха в братских советских литературах, а также и на поэтов стран капиталистического лагеря, в том числе и на эстонских поэтов. Не всегда освоение художественно-технических средств Маяковского происходило комплексно и прямолинейно,

²¹ Бенедикт Лившиц, Полутораглазый стрелец, Л., Изд-во писателей в Ленинграде, 1933, 300 стр.

²² Ук. соч., стр. 125.

²³ См. стихотворения Маяковского в №№ 1, 2, 9, 11, 24, 26, 29 и 48 «Нового Сатирикона» от 1915 г. и в № 18 — 1916 г.

²⁴ А. В. Кулинич, Очерки по истории русской советской поэзии 20-х годов, Изд. Киевского гос. университета имени Т. Г. Шевченко, 1958.

М. П. Штокмар характеризует («О стиховой системе Маяковского» в сборнике «Творчество Маяковского», М., изд-во АН СССР, 1952, стр. 258—312) всю стиховую систему Маяковского как систему рифменную. М. П. Штокмар дал и наиболее систематическое описание его рифмы в книге «Рифма Маяковского», М., 1958.

но всегда оно утверждалось в борьбе с местной консервативной традицией. При этом, конечно, новая рифма, в зависимости от структуры того или иного языка, видоизменялась.

Опицианский, немецкий канон рифмовки²⁵ изжил себя в эстонской литературе уже к началу XX века, однако, в силу традиции он продолжал господствовать в творчестве поэтов всех школ. Техническое эпигонство развивалось в двух направлениях. Большинство поэтов, следуя традициям эпохи национального возрождения, до тошноты повторяло избитые точные рифмы с огромным привхождением суффиксально-флексивных рифм. Зачастую и этим «полуфабрикатом» (М. П. Штокмар) пользовались через строку, причем и эта единственная рифма часто хромала, приобретая характер надоедливой «звонка», лишённого художественной выразительности. Такой стих не мог уже удовлетворить читателя, вкус которого повысился от знакомства с поэзией мировой классики. Эстетствующая младоэстонская школа пыталась повысить эстетическую ценность рифмы путем повышения требований к «чистоте» рифм. Мастера этой школы и их выученики искали новых, редких рифм и нередко находили их. Однако ради «чистых» рифм приходилось приносить в жертву другие формально-эстетические средства стиха. Даже в стихах крупнейшего мастера этой школы Густава Суйтса (1883—1956) «чистота» рифм подчас ведет к затрудняющим понимание инверсиям, а также в преобладании грамматически-однородных рифм, обедняющих художественную силу стиха. Другие поэты этого периода ищут выхода в широком применении т. наз. поэтических вольностей. Так, Мария Ундер опирается при подборе рифм на правила не эстонской, а немецкой фонетики и орфоэпии, отождествляя в рифмах гласные e : ä, e : õ, i : u (а по принципу аналогии — также и отсутствующую в немецком каноне ö = ы с — e, ä и õ) — всё это при принципиальном соблюдении старого, «опицианского» канона точной рифмы. Некоторыми поэтами культивируются составная рифма (встречающаяся еще в XVII веке), но, ввиду немногочисленности и повторяемости введенных в рамках традиционного канона точной рифмы категорий, и это быстро ведет к трафарету. В литературной критике тех лет мы то и дело встречаем жалобы поэтов на бедность эстонского словаря рифм.²⁶ Эрудированные и образованные авторы знали, конечно, о канонизации неточной

²⁵ См.: В. Т. Адамс, Из истории эстонской рифмы, статья I, в кн.: Труды по русской и славянской филологии Тартуского Государственного Университета, т. II, Тарту, 1959.

²⁶ Поэт Виснапуу в газете «Vaba Maa», 1921, № 22 писал: «Несмотря на все усилия, становится невозможным нахождение новых, еще не использованных рифм».

Другие авторы, напротив, считают патриотическим долгом, вопреки фактам, отрицать эту «бедность». Ср. ук. в прим. 27 монографию В. Адамса, гл. I, § 7, — и ст. П. Маантэ в ж. «Looming», 1959, № 3.

рифмы в русской поэзии, но традиция прошлого тяготела над поэтической практикой.

Перед инициатором реформы эстонской рифмы стояло несколько задач:

1) произвести переоценку самого понятия рифмы по русскому образцу (теория новой рифмы);

2) приспособить эту теорию неточной рифмы к фонетическим свойствам и структуре эстонского языка, весьма отличного от русского;

3) разработать новый канон рифмовки;

4) доказать на практике пригодность новой рифмы как организирующего и эстетического принципа, обладающего не меньшей художественной убедительностью, чем традиционная, «опицианская» рифма (практика новой рифмы).

Первые три задачи были поставлены в научном исследовании о неточной рифме²⁷ и популяризованы в пропагандистских и полемических статьях 1925 года (см. ниже), а практика новой рифмы была продемонстрирована в сборнике стихов «Suudlus lütmis» (1924), в предисловии к которому было дано и краткое изложение теории новой рифмы.²⁸ Жизненность этой реформы была доказана поэтической практикой последующих десятилетий. Реформа эстонской рифмы («riimiuendus») после кратковременной, хотя и ожесточённой борьбы с защитниками старого канона приобрела общелитературное значение задолго до воссоединения Эстонии с Советским Союзом.

Освоение традиций русской неточной рифмы не носило, однако, характера механического заимствования, и эстонская неточная рифма отнюдь не является механической копией с рифмы Маяковского.

Во избежание недопонимания русский читатель должен твёрдо уяснить себе, что так называемая глубокая рифма, т. е. обогащение созвучия влево от подударного гласного, в эстонском языке невозможна, т. к. здесь влево от ударного гласного всегда стоит только один единственный согласный (только изредка сочетания kl, kr, pl, pr и tr), а ударение всегда на первом слоге. В эстонском языке безударные гласные не редуцированы, как в русском. Поэтому все отклонения в вокализме неточной рифмы ясно ощущаются в произношении. Эти фонетические свойства языка определяют отличие эстонской рифмы от русской.

В поисках новых категорий рифмующихся слов инициатор

²⁷ V. Adams, Riim, võrdlevajalooline ja kirjandusteoreetiline uurimus üldise ja eesti riimiteooria alalt, Tartu, 1925, 199 стр.

²⁸ В целях восстановления литературно-исторического процесса и его научного исследования автор принужден цитировать и собственное творчество, надеясь, что через 35 лет, когда неточная рифма выдержала проверку временем и отчасти даже стала явлением трафаретным, это не может уже быть истолковано историком как тщеславие.

реформы эстонской рифмы выдвинул, прежде всего, категорию усеченных рифм (типа: *Hiina — riinad, laip — lai*), беспрецедентных в эстонской литературе. К этому типу относится 57 из общего числа 157 неточных рифм цитируемого сборника. Для обозначения этой категории автором был введен термин «*irgdriim*», впоследствии распространенный составителями школьных поэтик на неточную рифму вообще (в отличие от рифмы традиционной).²⁹

Кроме усеченных рифм, в систему новой рифмовки были введены неточные рифмы с отклонением в области консонантизма (с выпадением и перестановкой согласных), с неточностями в качестве согласных (сочетание твердых и мягких согласных типа *võid — õit*, строго разграниченных в эстонском произношении). Неточности в вокализме (типа: *kainelt — ainult*) употреблены более осторожно и редко, т. к. в эстонском языке и заударные гласные звучат вполне отчетливо.

В порядке эксперимента в сборнике «*Suudlus lumme*» даны рифмы неравносложные (типа: *okas — oks; anda — mehaanika*), сложные рифмы неиспользованных раньше типов (*suurem maks — suuremaks, Narvani — harva nii*; всего 13) и омонимические (24).

Введение новых категорий дало развитию эстонской рифмы новое направление, хотя точная рифма сохранялась как равноправная. Изгнан был только траферат и традиция довольствоваться убогими суффиксально-флексивными рифмами.

Несмотря на такую умеренность реформы,³⁰ она вызывала на первых порах большую оппозицию со стороны сторонников старой рифмы. Противники новой системы рифмовки приводили отчасти и научно обоснованные доводы (новая рифма до некоторой степени противоречит фонетическим свойствам эстонского языка), которые инициатору реформы приходилось отводить ослажением теорией эстонской неточной рифмы. Школярское требование «чистой» рифмы покоится на филистерском представлении, что стихотворение тем совершеннее, чем больше созвучия в конце строчек. Оно предполагает какую-то абсолютную эстетику рифмы, зависящую исключительно только от фонетики, т. е. от того, что происходит между небом, глоткой, зубами и губами.

Пространными экскурсами в историю рифмы (в вышеуказанном исследовании) мы старались разрушить это укоренившееся представление. Орфоэпию, по нашему мнению, нельзя считать

²⁹ В большом нормативном словаре эстонского языка (*ÕS*), 1925—1937, как и в новом издании 1960 года, объяснено правильно: «*irgdriim — te at ebatärne riim*» (т. е. определенная категория неточной рифмы). *Irddriim > irgdriim* = отделяться, отрываться, отсекается + *riim* = рифма.

³⁰ В восприятии настоящего времени, 35 лет спустя. Такова, напр., оценка С. Кивной на стр. 25 курсовой работы «Поэтическое творчество В. Адамса» (рукопись на эстонском языке, Тарту, 1959).

единственным критерием рифмы, при анализе которой в прошлом видели часто только фонетические проблемы. Представители этой, образно говоря, отоларингологической критики неточной рифмы поневоле принижают ее значение до роли акустического украшения или «звонка» в конце стиха.

Между тем, рифме присущи и другие аспекты. В. М. Жирмунский указал на организующую функцию рифмы. Маяковский с большой художественной убедительностью показал ее на практике. Ведь пригодность двух слов стать компонентами рифмопар определяется не только их фонетикой, но и господствующим каноном, принятой традицией, эстетико-психологическими и социально-семантическими моментами. В метрике древнеисландских скальдов, например, к рифме предъявлялись совсем иные фонетические требования (совпадение замыкающих согласных ударного слога при различных гласных, т. наз. *scothending*),³¹ чем, например, в средневековой испанской поэзии, где господствовал чистый ассонанс. Поэтому, аргументировали мы, отсутствие редукции гласных в эстонском языке не может служить доводом против канонизации неточной рифмы. Такой новый канон будет оправдан возможностью рифмовать слова и сближать мысли, никогда в прошлом не связывавшиеся в эстонском стихе. Свежесть и эмоциональная мощность неточной рифмы при условии высокого её мастерства должна даже усилить эстетическое восприятие по сравнению с трафаретной и изъезженной старой рифмой, сугубая механичность и угадываемость которой лишала её художественной убедительности.

Однако борьба против реформы рифмы отразила не только непонимание проблем литературной техники со стороны критиков старшего поколения, но и зависимость их суждений от факторов, находящихся далеко за пределами «чистой» литературы и поэтики. Именно это было показано путем конкретного исследования в монографии-инвективе Инно Васка «Банкрот нашей литературной критики»,³² вышедшей в 1925 году и содержащей

³¹ *Scothending* (конечная рифма), с точки зрения традиционного школьного определения рифмы, — только рифмонд, а в национальной исландской версификационной системе — это очень строгая форма рифмы по канону, усвоенному целым народом. Об этом см. в статье А. Эдзарди (A. Edzardi, *Die Skaldischen Versmasse und ihr Verhältniss zur keltischen Verskunst*, «Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur», Bd. V, Halle a/S, 1878, стр. 570—589) и В. Жирмунский, *ук. соч.*, стр. 235 и след.

³² *Inno Vask, Meie kirjandusliku kriitika pankrott, Tartu, Sõnavara kirjastus, 1925, 91 стр. + 4 стр. библиографии.* В дальнейшем эта книга цитируется сокращенно — ссылками на страницу.

Инно Васьк — псевдоним Ивана Дмитриевича Беляева, местного русского поэта, владевшего и эстонским языком, (вышедшие в Тарту сборники: *Прокаженный перст, 1926; Воздвижение жизни, 1927; Голод, б. д., вероятно, 1920*). В 1925 году И. Д. Беляев был арестован и осужден за укрывательство вождя эстонского революционного пролетариата, коммуниста Ханса Хейдемманна. После освобождения из тюрьмы Беляев эмигрировал в Советский Союз. В тогдашней обстановке его критический очерк о стихах В. Адамса мог появиться только под строго оберегаемым псевдонимом.

обзор и полемический анализ появившихся по поводу книги Адамса рецензий с реальным комментарием и приложением библиографии.

Против неточной («русской») рифмы и её пропагандиста ополчились все литературные и литературно-административные авторитеты: редакторы освещающих литературную жизнь газет, вожди литературных организаций, а также и члены Правления так наз. «Культурного Капитала», являвшегося органом культурной политики, проводимой эстонской буржуазией. Застрельщиком противников новой рифмы выступил председатель Эстонского Литературного Общества (Eesti Kirjanduse Selts) Антон Юргенштейн, который «объясняет» неточную рифму... «тяжелой душевной болезнью русского общества». ³³ В рецензии на сборник «Suudlus lumme» Юргенштейн негодует на автора, которому «старые чистые рифмы уже кажутся противными и который во второй части своего послесловия советует вместо них пользоваться новой рифмой». ³⁴

На заушательскую рецензию Юргенштейна ³⁵ окликнулись и другие авторитеты старой Эстонии, чтобы осудить новую рифму по формуле «новая рифма — зло, так как она из России». ³⁶ Видный прозаик Метсанурк (Эдуард Хубель) в рецензии на сборник «Suudlus lumme» ³⁷ особенно пространно останавливается на рифмах автора и дает следующее «определение» новой рифмы: «Что такое новая рифма? Она вовсе не нова, её можно найти у всех слабых по форме поэтов. «Новая рифма» — это именно плохая, хромающая, неудовлетворительная и уродливая рифма» ((Цит. по кн.: I. Vask, стр. 37). И критик ставит знак равенства между новой рифмой и рифмоидами пастора Хорнунга (в церковном песеннике 1694 г.). В полемике против этого утверждения Хубеля было открыто сказано (I. Vask, стр. 39—40), что новая рифма вошла в эстонскую поэзию из русской, причем правильно указывается на рифмотворчество Брюсова, Блока и, в особенности, Маяковского. ³⁸

³³ Postimees, 1925, № 11, 12. 1.

³⁴ A. Jürgenstein, V. Adams, Suudlus lumme. «Postimees», 1925, № 1, 2. I. См. и стр. 31 вышеуказанной монографии И. Васка.

³⁵ Антон Юргенштейн (1861—1938) — представитель германофильской критики, переводчик «Фауста» В. Гете, идеолог кулачества и националистической интеллигенции, редактор её органа «Postimees», первый руководитель Совета буржуазного «Культурного Капитала».

³⁶ Так сформулировано в сводке на стр. 84 вышеупомянутой книги И. Васка.

³⁷ E. d. Huubel, «Suudlus lumme», V. Adamsi «rütmid». В литер. приложении к газете «Päevaleht», «Nädal», Päevalehe lisa, № 6, 9. 02. 1925.

³⁸ Первые переводы из Маяковского на эстонский язык были опубликованы в г. Нарве Ральфом Рондом (Яном Курном) уже в 1923 году, но эти футуристические и переведенные неуклюжим языком стихи не оказали тогда влияния на эстонскую поэзию. Только любитель и знаток поэзии Маяковского магистр Швальбе (Сильвет) откликнулся на их появление в журнале «Looming» (1924, № 2, стр. 135).

Вот как автор вышеназванной монографии объясняет появление новой рифмы в эстонской поэзии.

«В эстонскую поэзию новая рифма вошла, вероятно, из русской, но по языковым условиям ей пришлось подвергнуться значительным ограничениям и сужениям (напр., в отношении распространения влево от подударного гласного). Но и в таком виде она расширяет и обогащает в значительной степени возможности эвфонической организации стиха, как убедительно показал Адамс своей книгой «Suudlus lumme». Употреблением этой рифмы можно отчасти объяснить «прямо необыкновенную» «звучность и напевность» стиха у Адамса, на что обратил внимание уже магистр Анни в своем обзоре эстонской лирики 1924-го года на годовом заседании Академического Литературного Общества 15-го марта 1925 г. И я осмеливаюсь предположить, что именно опыты Адамса показывают судьбу «новой рифмы» в Эстонии. Необходимо отметить, что он первым (на что обратил внимание ex cathedra уже профессор Г. Суйтс, а в печати магистр Швальбе и лектор Правдин) задался целью сознательно и систематически развить организацию эстонской поэтической речи в этом направлении. Поэтому можно ожидать именно от его опытов дальнейшего расширения наших поэтических перспектив и в творчестве других» (стр. 40).

В разгоревшейся общей полемике противники новой рифмы то и дело прибегают к доносам на русское происхождение этой системы рифмовки, а её инициатора величают «русским дикарём» («võsavenelane»).³⁹ Однако вскоре литературоведы Тартуского университета (зав. кафедрой литературоведения Г. Суйтс, магистры Анни, Швальбе (Сильвет) и Орас, лектор русского языка Б. Правдин)⁴⁰ выясняют истинное значение реформы рифмы в сборнике «Suudlus lumme», а обстоятельное теоретическое исследование автора по истории рифмы (см. выше, примеч. 27) через семь лет вводит неточную рифму даже в школьный учебник поэтики.

Мы остановились так подробно на событиях 1925 года потому, что документы этой забытой полемики разбросаны по страницам малодоступных газет и журналов, а обобщающая монография И. Васка давно стала библиографической редкостью. Молодое поколение узнаёт о неточной рифме уже по аналогии с русской поэзией.

Итак, вышедший в 1924 году сборник «Suudlus lumme» ввёл в эстонскую поэзию неточную рифму русского образца как систему и показал принципиальную возможность расширения эстонского словаря рифм. Новая система позволяла исполь-

³⁹ I n p p o V a s k, ук. соч., стр. 52. Библиография этой полемики см. там же, стр. 92—95.

⁴⁰ B. P r a v d i n, «Suudlus lumme», Üliõpilasleht, nr. 3, 1925, 5, 03. В этой статье генезис новой рифмы Адамса объяснен наиболее правильно, очевидно, вследствие хорошего знания русской литературы автором.

зовать и изолированные в аспекте «опицианского» канона слова в продуктивном рифмотворчестве, а благодаря этому и вообще в поэтической речи, т. е. дала возможность рифмовать слова и ассоциируемые с ними мысли, до сих пор не сближавшиеся в эстонском стихе. Ведь ограниченность словаря рифм и ограничивающая форма рифмы суживала и возможности для выражения содержания (мысли, чувства, волеизъявления) в стихах, связанных слишком узкими правилами.

Так как целью предложенной в 1924 году реформы было увеличение рифмообразующих возможностей, то старые («точные») рифмы не изгонялись из обихода. Конструктивное решение проблемы заключалось в употреблении как точных, так и неточных рифм. Отсеивались только слишком примитивные формы и банальные, изношенные рифмы, предпочтение отдавалось свежим и новым по семантической нагрузке словам. Лишь в порядке эксперимента вводились рифмы омонимические (tuli — tuli, saa — sa, lõime — lõime, lood — lood — т. е. сочетания существительного с глаголом; в разбираемом сборнике всего 24 рифмы), неравносложные, «обратные» (mardus — madrus) и т. п.

Однако этот сборник, являющийся как бы иллюстрацией к рифмовой теории автора и оказавший влияние только на развитие формы эстонского стиха, по своему содержанию был (пользуясь выражением В. Маяковского о поэзии Хлебникова) поэзией для производителей, а не для массового читателя.

В широкий обиход неточная рифма была введена более всего, пожалуй, творчеством Юхана Сютисте (1899—1945), наиболее продуктивного и общепризнанного поэта демократической Эстонии. Пока отсутствуют работы по регистрации и анализу исторического словаря эстонской рифмы, нет возможности проследить все детали. Поэтому ограничимся здесь анализом рифм Сютисте по его первому сборнику «Rahutus» (1928).

Сютисте целиком принял всю систему неточной рифмы. Он пользуется ею в девяти сборниках своих стихов, вышедших в 1928—1939 гг. (Только в десятом, последнем сборнике, содержащем творчество оккупационных лет, он возвращается к технике точной рифмы).

Стихи Сютисте до 1924 года строились еще на старой системе точных рифм, причем рифмы принадлежат к морфологически одинаковым категориям. Иностранные слова рифмуются с иностранными, не изжито и употребление тавтологических и суффиксально-флексионных рифм. Морфологически-разнородные рифмы попадают еще очень редко. Но уже в первом сборнике Сютисте мы находим 1313 неточных рифм (58,4%), из них 25,4% усеченных (571). Иногда отсекаются целые слоги (paatosega — saatus, R, 54),⁴¹ что приводит к неравносложной рифме. Таких

⁴¹ Дальнейшие ссылки приводятся в тексте. Буква R означает сборник Сютисте «Rahutus», последующая цифра — страницу.

рифм в сборнике 57 пар — 5%. Преобладают неточности в консонантизме. С требованием тождества долготы гласных (на чем так настаивают пуристы) Сютисте не считается (meelin — helin, R, 55) То же и с долготой согласных: tutvaid — nuta (R, 72), tuppen — unep (R, 73), kirve — hirve (R, 83). Такие слова в эстонском произношении звучат весьма различно, так как первые компоненты рифмы по количеству принадлежат к III ступени долготы, а рифмуются они со словами, в которых согласные второй ступени.

Приводим таблицу взаимоотношения стиховых клаузул из вышеупомянутого сборника Сютисте в рифмическом аспекте: Всего 2252 стиха. Из них:

отдельных, не зарифмованных (Waise, orbridu)	125 т. е.	5,4%
белых (нерифмованных) стихов	148	„ 6,5%
стихов с точными рифмами	502	„ 22,3%
стихов с неточными рифмами	1313	„ 58,4%
прозы со спорадическими рифмоидами	131	„ 6%
не поддающихся точному анализу	33	„ 1,4%
Итого:	2252	100%

Анализ неточной рифмы Сютисте показывает, что поэт старается в первую очередь рифмовать подударные гласные, пренебрегая созвучием заударных слогов, несмотря на отсутствие редукции в эстонском языке (pere— veri, kehaga — ehale, vaikle — räike). Точно так же игнорируется и заударный консонантизм (jäänd — hääl, tuult — uus, tund — hunt). Зачастую различие в фонетическом отношении столь значительно, что не может быть никакого сомнения в том, что поэт рифмует вопреки эстонской фонетике, но согласно с новым канонем неточной рифмы.

Такая система рифмовки дала Сютисте возможность впервые сблизить слова, до сих пор не рифмовавшиеся. Что это имело не только формальное значение, показывает дальнейшая судьба многих из его сочетаний, прочно вошедших в словарь эстонских рифм.

Например, Сютисте впервые срифмовал: Tallinna — kallima (R, 22). Это новая рифма в 1941 году была использована Э. Хийром для советского агитстиха:

Me kindlustame Tallinna,
Me rahva kõige kallima.

(«Мы укрепляем Таллин — самое дорогое для нашего народа»), причем социальная смысловая функция этой рифмы через 13 лет стала прямо противоположной направленности рифмы Сютисте в 1928 году. На этом примере, одном из многих, видно, что даже отдельные рифмы имеют свою историю.

Если в первом сборнике Сютисте еще не вполне освоил новую

рифму и часто прибегает ради рифмы к неудачным неологизмам и к искажениям языка, то в следующих сборниках качество неточной рифмы улучшается. При этом, однако, сама система рифмовки остается прежней, являясь комбинацией точных и неточных рифм нового канона. Улучшается и смысловая функция рифм. Поэт сам сказал о своих рифмах:

Kord võtan puhta, korra kaudse,
Siis haaran helisevalt raudse —
See sulleb rütmi nagu lukk ⁴²

Как и все нововведения, новая система рифмовки распространялась в эстонской поэзии неравномерно. Смысл реформы был сначала понят лишь отдельными поэтами, к тому же некоторыми ошибочно, как отсутствие всяких норм при рифмовке. Реформа прошла стадии, которые проходят все нововведения: от ожесточенного сопротивления противников данной реформы через постепенное освоение до утверждения, что никакой борьбы за реформу и не было, что она прошла сама собой и вполне естественно. Задачи и размеры данной статьи не позволяют нам останавливаться на частностях проникновения новой рифмы в эстонскую поэзию. Подведем только общие итоги. Система комплексной рифмовки эстонского стиха становится общепризнанной в первой половине 30-х годов, когда она канонизируется уже и учебником поэтики.⁴³ Но всё же ряд поэтов (среди них — старый вождь «младоэстонцев» Г. Суйте) остаётся при старой рифме, а во второй половине 30-х годов появляется ряд сборников с подчеркнута старой рифмовкой, но на качественно высшем уровне. Форма дореволюционного эстонского стиха начинает восприниматься как безнадежно устаревшая. Объяснение этих фактов относится уже к области специальной истории эстонской поэзии, как и вспыхнувшая недавно (по западным образцам) мода писать вовсе безрифменные стихи и многочисленные попытки объявить рифму отжившей свой век. В истории рифмы такие перемены происходят не впервые.⁴⁴ В задачи нашего

⁴² Sütiste, Teosed, II, стр. 89. В прозаическом переводе: «То возьму чистую, то приблизительную, / затем схвачу звонкожелезную (т. е. заключительно точную рифму — В. А.), / Она, как замок, замыкает стих».

⁴³ Jaan Ainelo, Henrik Visnapuu, Poetika põhiõoni, Tartu, 1932, 184 стр. Бывшая в употреблении до этого поэтика (A. Peterson. Lühike kirjandusteooria, Tallinn, 1921) признавала только точную рифму, т. е. старый, оппцианский канон. Новейший учебник (B. Sõõt, Kirjandusteooria lühikursus, Tallinn, 1959) признает комплексный канон рифмовки, т. е. точную и неточную, для обозначения которой употреблен предложенный В. Адамсом в 1924 г. термин «ирдрийм».

⁴⁴ Напомним хотя бы «революцию лирики», провозглашенную в 1885 году Арно Хольцем и продолженную в творчестве его последователей (Цезарь Флейшлен и Отто цур Линде), насаждавших в немецкой лирике «вольный» стих без рифмы, без строфики, без метрики. Хольц в своей критике рифмы горячо утверждал, как и современные противники рифмы, что рифмованные стихи не отражают биения пульса современности. Однако эта «революция лирики» быстро прошла, как и аналогичные опыты немецких экспрессионистов.

очерка не входит рассмотрение смежных проблем и деталей.⁴⁵

Новая рифма в 30-ые годы в эстонской лирике не только получила право гражданства наряду с (улучшенной качественно) традиционной, но она всё больше проникает и в стихотворные переводы на эстонский язык классиков мировой литературы. Это происходит даже в тех случаях, когда оригинал срифмован по правилам традиционного канона. Так, в 1957 году появился перевод оды «Вольность» А. Радищева⁴⁶, сделанный с широким использованием новых усеченных рифм, не свойственных эстонскому стиху до 1924 года.

В заключение нашего сравнительно-исторического очерка нам хотелось бы сделать несколько замечаний методического характера, возникших попутно при работе над осмыслением смены традиций в истории эстонской рифмы.

К. Зелинский в имеющей принципиальное значение статье «Перевод и литературная наука»⁴⁷ недавно напомнил, что на первый план следует выдвинуть сравнительно-историческое, комплексное литературоведение. Действительно, марксистское литературоведение не может не быть сравнительно-историческим. В особенности это важно для изучения литературного мастерства, литературной «техники», которая при всей обусловленности национальными особенностями и языковыми фактами почти никогда не развивается в границах одной страны.

Работы по исследованию поэтики особенно трудоёмки, а составление исторического словаря рифм той или иной литературы непосильно для отдельного исследователя. Но научно-точная картина развития литературного мастерства возможна только при относительной полноте собранной документации, при её учёте и постепенном отсеивании несущественных вариантов. При этом историк не может забывать о роли опыта мастеров искусства, распространяющегося зачастую путем персональных связей.

Напомним, напр. роль П. Флеминга в освоении опицианского немецкого канона рифмы в Эстонии XVII века (см. нашу первую статью), роль Луи Арагона в проникновении наследия Маяковского на Запад и т. п. Такие импульсы, сталкиваясь с местной литературной традицией, видоизменяют в известных рамках форму и содержание новых произведений искусства.

Часто этот процесс происходит незаметно для широкого чи-

⁴⁵ К числу последних принадлежат, напр., вопросы об употреблении суффиксально-флексивных рифм, об оценке рифм с палатализованными и непалатализованными согласными и некоторые другие, несущественные для нашей темы. В последнее время вокруг этих деталей развернулась полемика (статьи П. Маантэ и Х. Райметса) на страницах журнала «Looming».

⁴⁶ A. R a d i ſ t ſ e v, Reis Peterburist Moskvasse, Tallinn, 1958, стр. 201—218.

⁴⁷ К. Зелинский, Перевод и литературная наука, Дружба народов, 1959, № 9, стр. 206 и сл.

тателя, но интенсивно занимает «производителей литературы», стремящихся к повышению мастерства. Это процесс строго исторический. Астроном может вычислить траектории небесных тел, химик знает заранее результаты смещения ряда элементов, литературовед же при анализе литературной ситуации или отдельного произведения должен опираться на изучение всей совокупности конкретных исторических фактов и связей. Научное изучение произведения искусства предполагает знание всего того, что предшествовало созданию этого произведения.

Изучение наследия Маяковского в сравнительно-историческом плане может вскрыть интереснейшие связи в литературе нашего времени. Это относится и к такой, казалось бы узкой области, как история современной рифмы. Если нам удалось показать это на примере истории эстонской рифмы, то опубликование настоящей статьи будет оправдано. Однако нам думается, что путь развития эстонской рифмы не единичен.

Влияние русской рифмы на эстонскую является только одним из случаев влияния русской поэзии на зарубежную (в то время) культуру стиха, случаем, особенно показательным и документированным потому, что еще живы соучастники этого историко-литературного факта. Мы убеждены, что возможно вскрыть и другие каналы проникновения такого же влияния и в стиховую культуру других народов.

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

ОПИСАНИЕ ДРЕВНЕРУССКИХ РУКОПИСНЫХ И СТАРОПЕЧАТНЫХ КНИГ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ ТАРТУСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

Ю. К. Бегунов и А. М. Панченко

В Научной библиотеке Университета г. Тарту находится собрание древнерусских рукописных книг, насчитывающее 81 рукопись XV—XX вв. Хронологически рукописи располагаются следующим образом: 13 рукописей относятся к XV в., 53 — к XVI в., 6 — к XVII в., 4 — к XVIII в., 2 — к XIX в., 1 — к XX в. Основная часть рукописей поступила в библиотеку в 1941—1943 гг. из Псково-Печерского монастыря. Эти рукописи имеют на корешках наклейки Эстонского церковного апостольского Синода и пометы рукою псковского археолога К. Г. Евлентьева конца 70-х гг. XIX в. Собрание рукописных книг имеет краткое охранное описание, выполненное в 1941—1943 гг. профессором Тартуского университета В. Мартинсоном. Однако это описание не отвечает современным требованиям, предъявляемым к научному описанию рукописей: в нем содержатся неточности в определении даты и внешних признаков рукописей (формата, почерка), не учтены приписки на полях рукописей.

Сравнение древнейшей описи библиотеки Псково-Печерского монастыря (1586—1587 гг.) с описью книг XV—XVI вв., сохранившихся в Научной библиотеке, позволяет предположить, что большинство из сохранившихся рукописей находилось в монастырской библиотеке еще в XVI веке¹. В их числе книги Исаака Сирина (Mscg. 758), Федора Эдесского (Mscg. 759), Житие Николая (Mscg. 753), Измарагд (Mscg. 746), постные и цветные Триоди (Mscg. 711, 712, 715, 717), «половина Пролога сентябрьскаго, ветчан, на бумаге» (Mscg. 745), «Богородичники в полдесть» (Mscg. 739, 740), служебные Миниеи (Mscg. 687—710), Служебники, Требники, Октоихи и другие.

Записи и пометы на полях рукописей представляют очень важный материал для истории Псково-Печерского монастыря: мы узнаем из них о поступлении в библиотеку книг из Саввопустынского, Петропавловского, Верхнеостровского монастырей, о выплате монастырем жалованья хлебозерам, квасникам, муковозам, часовщикам, о пожарах церквей, о местных почитаемых святых Савве, Ионе, Марке. Встречаются также приписки, вроде «сколь рад заец от тенега отбежав, столь рад писец, списавши книгу сию». Значительный интерес представляет ряд рукописей из собрания Научной библиотеки Тартуского университета. В числе их находится редкий Евхологион (Mscg. 736) второй четверти XVI в., содержащий молитвы русского сочинения «за посадников псковских и всех мужей пскович», за Русскую землю, «заступлением» всех русских святых. Интерес представляют также следующие рукописи: «Житие и повесть о чудесах» Николая Мирликийского (Mscg. 753), середины XVI в., Измарагд (Mscg. 746), середины XVI в., «Сказание» Авраа-

¹ Псково-Печерский монастырь, 1586 г. — Старина и новизна, 1904, № 7, стр. 255—274.

мия Палицына (Mscr. 553), последней четверти XVII в., с поздним вариантом 58-ой главы «Об оскудении казны»², «Синописис» Иннокентия Гизеля (Mscr. 407), начала 80-х гг. XVII в., «Гистория о российском дворянине Фроле Скобееве и stolничей дочери Нардина-Нашокина Аннушке» (Mscr. 768), третьей четверти XVIII в.³ Ниже мы публикуем краткое описание древнерусских рукописных и старопечатных книг, находящихся в Научной библиотеке Тартуского государственного университета.

Выражаем глубокую благодарность работникам Научной библиотеки Тартуского университета за помощь в нашей работе по изучению рукописей, особенно заведующему отделом рукописей доктору юридических наук Л. Я. Лесменту и библиографу М. Г. Либлик.

Приложение I

1. Рукописи исторического и литературного содержания

1. (Mscr. 758). Сборник постнических слов Исаака Сирина, второй четверти XVI в., в лист, 444 лл., полуустав, с заставками киноварью, золотом и красками, переплет дощатый, покрытый орнаментированной кожей, с остатками кожаных ремней от застежек. Имеется скрепа: «Сия книга, глаголемая Исаак Сирин, пречистыя богородица Печерского монастыря».

2. (Mscr. 759). Житие и Стоглав Федора Эдесского, второй четверти XVI в., в 4-ку, 186 лл., полуустав, переплет дощатый, обтянутый кожей. Пяти первых и начала шестой глав недостает. На внутренней стороне верхней крышки переплета приписка рукою К. Г. Евлентьева от 24 мая 1878 г.

3. (Mscr. 753). Житие и Повесть о чудесах Николая Мирликийского, середины XVI в., в 8-ку, 76 лл., полуустав, переплет дощатый, покрытый орнаментированной кожей. Начальных и конечных листов рукописи недостает (нехватает части «Повести о чудесах», с 1 по 6 чудо). На нижней крышке переплета скорописные владельческие и читательские приписки и помета рукою К. Г. Евлентьева, датированная 14 марта 1878 г. В конце текста «Слова о житии» имеются интересные места, свидетельствующие о русском происхождении текста: «В латинех тело его лежит, а в нас в Руси милосердие его и чудеса неизреченная...»; и молитва к Николу: «Абы нас грешных православных хрестьян избавил от насилья поганьских язык».

4. (Mscr. 746). Измарагд, середины XVI в., в 4-ку, 364 лл., полуустав разных почерков, переплет дощатый, покрытый кожей до половины доски. На л. 363 об. приписка скорописью конца XVII — начала XVIII вв.: «Книга, глаголемая Измарагд, Успения Пресвятыя Богородицы Псковского Печерского монастыря».

5. (Mscr. 407). Сборник исторического содержания, начала 80-х г. XVII в., в лист, 165 лл. (пять листов в середине — чистые), скоропись. Листов 1, 2, 5 недостает. Содержит: «Синописис» Иннокентия Гизеля по первому печатному изданию 1674 года и дополнения из третьего издания Синописиса 1680 г. только тех статей, которых нет в первом издании, а также статью из Степенной книги, о послах к Владимиру «от различных вер». Имеются владельческие приписки почерком первой половины XIX века крестьянина Якова Никифорова из деревни Тимошевой, Каргопольского уезда и др.

Рукопись поступила в библиотеку Тартуского университета в 1929 г.

6. (Mscr. 553). Сказание Авраамия Палицына, последней четверти XVII в., в 4-ку, 233 лл., скоропись разных почерков, переплет дощатый, покрытый кожей, с остатками двух латунных застежек. Текст в окончательной редакции.

² См. О. А. Дер ж а в и н а, Сказание Авраамия Палицына, М.—Л., 1955, стр. 66—67.

³ В разночтениях этот список сближается с Погодинским (ГПБ, Погодинское собрание, № 1617) и Титовским (ГПБ, Титовское собрание, № 2461; ныне этот список утерян) списками, приведенными в вариантах к основному тексту в критическом издании В. Ф. Покровской (См.: В. Ф. Покровская, Повесть о Фроле Скобееве, Труды Отдела древнерусской литературы, т. I, М.—Л., 1935, стр. 264—288).

Конечных листов рукописи недостает, текст обрывается на словах: «... и советоваша и избраша царей и государей на Московское государство благоверного и благородного великого государя Михаила Федоровича, о избра...».

Рукопись поступила в библиотеку Тартуского университета в 1931 г.

7. (Mscg. 768). «Гистория о российском дворянине Фроле Скобееве и столничей дочери Нардина-Нашокина Аннушке», третьей четверти XVIII в., в 4-ку, 18 лл., скоропись, без переплета. Между лл. 2 и 3 — вклейка выписки о «Повести о Фроле Скобееве» из «Отечественных записок» (за 1857 г., № 6, отд. IV, стр. 107) и ссылки на первое издание «Повести» в «Москвитяине» (1853 г.). На верхнем обрезе первого листа читательская приписка почерком XVIII в.: «Во время оно быша сицевое золое, и благо получиша». На последнем листе рукописи почерком XIX в. рядом со словом «конец» приписка: «Вот каков молодец!»

8. (Mscg. 820). Копия с части рукописи Казанской Духовной Академии,⁴ сделана профессором М. Покровским 25 февраля 1925 г.

Содержание: Повесть о Печерском монастыре (1682 года).

2. Рукописи богослужебного содержания

1. (Mscg. 687). Миния служебная за сентябрь, середины XV в., в 4-ку, 237 лл., полуустав, переплет дощатый, покрытый кожей.

Заставка плетеного орнамента. На листе, приклеенном к нижней крышке переплета, приписка: «Сия книга Савоустынского монастыря». Помета рукою К. Г. Евлентьева от 12 авг. 1878.

2. (Mscg. 711). Триодь постная, середины XV в., в 4-ку, 392 лл., полуустав, переплет из толстых досок, покрытый орнаментированной кожей, с одной кожаной застежкой. Начальные листы рукописи оборваны наполювину. Имеются приписки рукою К. Г. Евлентьева.

3. (Mscg. 735). Евхологион (т. е. Служебник с Требником), середины XV в., в 4-ку, 165 лл., полуустав, переплет дощатый, покрытый орнаментированной кожей, конечных листов рукописи недостает. Имеются многочисленные читательские приписки, а также помета рукою К. Г. Евлентьева.

4. (Mscg. 757). Паремейник, середины XV в., в лист, 143 лл., полуустав в два столбца, с инициалами. Имеются приписки 1679 и 1681 годов о принадлежности книги Псково-Печерскому монастырю.

5. (Mscg. 722). Октоих (1—4 гласов), второй половины XV в., в лист, 253 лл., полуустав в два столбца, переплет дощатый, покрытый орнаментированной кожей; нижней крышки, начальных и конечных листов рукописи недостает. На л. 1 об. приписка: «Поют сараван, што тот сарафан». Имеется помета К. Г. Евлентьева.

6. (Mscg. 704). Миния служебная за август, третьей четверти XV в., в 4-ку, 236 лл., полуустав, переплет дощатый, покрытый кожей, с остатками одной кожаной застежки. На полях имеются читательские пометы XV—XVI вв..

7. (Mscg. 717). Триодь цветная, третьей четверти XV в., в 4-ку, 249 лл., полуустав, переплет дощатый, покрытый орнаментированной кожей, с одной кожаной застежкой. На л. 2 — заставка плетеного орнамента, выполненная киноварью. Имеются читательские приписки, например: «Попытаю, пера покусая».

8. (Mscg. 720). Октоих (1—4 гласов), конца XV в., в 4-ку, 332 лл., полуустав разных почерков, начальных и конечных листов рукописи недостает.

9. (Mscg. 698). Миния служебная за апрель, конца XV — начала XVI в., в 4-ку, 182 лл., полуустав, переплет из толстых досок, покрытый орнаментированной кожей, нижней крышки и последних листов рукописи недостает.

10. (Mscg. 715). Триодь цветная (со страстной седмицей), конца XV — начала XVI в., в лист, 449 лл., полуустав разных почерков, переплет толстый, дощатый, покрытый орнаментированной кожей. Имеется помета К. Г. Евлентьева.

⁴ Ныне рукопись ГПБ, из Соловецкого собрания, № 671.

11. (Mscr. 718). Пентикостарион (Служба ежедневная от недели всех святых), конца XV — начала XVI в., в 4-ку, 387 лл., полуустав, переплет дощатый, покрытый орнаментированной кожей, с одной кожаной застежкой, начальных листов рукописи недостает. Имеются пометы рукою К. Г. Евлентьева.

12. (Mscr. 731). Служебник, конца XV — начала XVI вв., в 4-ку, 159 лл., полуустав, переплет дощатый, покрытый орнаментированной кожей, со следами двух застежек. Начальных и конечных листов рукописи недостает. На л. 3 следующие приписки скорописными почерками XVII в.: «На промен дано свечь Гришки на 5 алтын», «Сия книга Служебник Григория Герасимова сына Гречина».

13. (Mscr. 732). Требник, конца XV — начала XVI в., в 4-ку, 342 лл., полуустав разных почерков, переплет дощатый, покрытый орнаментированной кожей. Имеются владельческие приписки Псково-Печерского монастыря и помета К. Г. Евлентьева.

14. (Mscr. 699). Миния служебная за май, начала XVI в., в 4-ку, на 200 лл., полуустав разных почерков, переплет дощатый, покрытый тисненой кожей, с остатками двух медных застежек. На первом чистом листе следующая запись скорописью XVII в. под заглавием «Служебником по рублю»: «Две полтены хлеборезу Тимохе Горьеву, 30 алтын трапезнику Иванку Пашукову, две 17 алтын денег московских кваснеку Сисою Матвееву, рукавицы, две полтены кваснеку Гриши Москве, две полтены церковным сторожем Мене Быку, рукавицы, полтена Сенки Гловлянену рукавиц[ы] здеяни, 17 алтын денег московских воротнеком Сергею Козмену, 17 алтын Луке Буркову, (л. 1 об.) 17 алтын Гриши Козмену волосану, Гчасовщику Сенки Володимирову — зачеркнуто: Ю. Б. А. П. I, две полтены муковозом Андрюше Долгому, 21 алтын Онесимку Яковлеву поденно, 17 алтын 17 алтын Иванку Худынену, ему же за преказ фerezь Прошка Онаньина сукно сине, 17 алтын 17 алтын болиному келеинеку Васки Балую, полтена Клему Яндовинскому».

15. (Mscr. 712). Троиць постная, начала XVI в., в 4-ку, 366 лл., полуустав, переплет дощатый, покрытый орнаментированной кожей, с одной кожаной застежкой. Имеется помета К. Г. Евлентьева.

16. (Mscr. 706). Миния служебная за апрель, первой четверти XVI в., в лист, 109 лл., полуустав, в два столбца; переплет из толстых досок, покрытый орнаментированной кожей, конечных листов рукописи недостает. Имеется помета рукою К. Г. Евлентьева.

17. (Mscr. 707). Миния служебная за май, первой четверти XVI в., в лист, 150 лл., полуустав, в два столбца, начальных листов рукописи недостает.

18. (Mscr. 724). Октоих (1—4 гласов), первой четверти XVI в., в 4-ку, 79 лл., полуустав, переплет дощатый, покрытый орнаментированной кожей, начальных и конечных листов рукописи недостает. Скорописным почерком XVII в. на л. 2 чистом начало тропаря Илье пророку.

19. (Mscr. 695). Миния служебная за февраль, первой половины XVI в., в 4-ку, 337 лл., полуустав с киноварью, переплет из толстых досок, с остатками кожи, с двумя кожаными застежками. Приписка: «Книга Печерского монастыря казенная, выдана из книгохранительницы в церковь Николая Чюдотворца на святые врата, в 197 году сентября в день».

20. (Mscr. 696). Миния служебная за февраль и март месяцы, первой половины XVI в., в 4-ку, 465 лл., полуустав, переплет из толстых досок, до половины корешка покрытый кожей.

21. (Mscr. 736). Евхологион, второй четверти XVI в., в 4-ку, 227 лл., полуустав разных почерков, переплет дощатый, покрытый орнаментированной кожей, с остатками жуковин. На обороте верхней крышки приписка рукою К. Г. Евлентьева: «Весма редкая — замечательная рукопись... Служебник — Евхологион — молитвослов NB с приспособлением к Псковской Епархии. NB (м. погребений, молитва к пресв. богородице, о посадн. псковских, о соборах псковских)». Против наиболее интересных мест рукописи встречаются на полях пометы К. Г. Евлентьева. Рукопись содержит 29 глав. Наиболее интересные молитвы: молитва «заступлением» Варлаама Хутынского и Сер-

гия Радонежского, молитва «святых и живоначальной Троицы творение Марка инока», молитва утренняя «о граде» (Пскове), «о св. обители сей», молитва (см. гл. 19) «заступлением» русских святых Петра, Алексея митрополитов, Леонтия Ростовского, Варлаама Хутынского, Сергия и Никона Радонежских, Кирилла Белозерского, молитва с упоминанием архиепископов Новгорода от Иакима до Серапиона (начало XVI в.) и вел. князей от Владимира до Иоанна III, молитва, исправленная архиепископом новгородским Илейей совместно с белгородским епископом (гл. 25), молитва к иконе богородицы «за посадников псковских и всех мужей пскович» (лл. 189 об. — 191 об.), молитва «с ведре, глаголются, октении о дожди» (гл. 29) и др.

22. (Mscg. 688). Миней служебная за октябрь, второй четверти XVI в., в 4-ку, 396 лл., полуулав, переплет дощатый, покрытый кожей, с остатками застеек. На 1 л. киноварью следующее заглавие под 1 октября: «И память преподобного отца нашего Савы, живущаго над пещерою рекою, нового чюдотворца, служба Савы писана от задней доски книги». Однако в конце книги службы Савве нет, полтора листа оставлены чистыми. На последнем листе рукописи приписки одним почерком: «Сколь рад заец от тенега отбежав, столь рад писец списавши книгу сию», «Месяца октября писал ево Ивашко Алексеев сын»; другим почерком: «А в сей книге нет в 15 числе в каннуну Еуфимия нового осмой — Давида песнатворца и листы оставлены в двадцать пятой тетради».

23. (Mscg. 691). Миней служебная за январь, второй четверти XVI в., в 4-ку, 215 лл., полуулав, переплет дощатый, покрытый кожей. На последнем листе рукописи приписка: «В руцы всеведного бога отца вседержителя».

24. (Mscg. 693). Миней служебная за февраль, вторая четверть XVI в., в 4-ку, 247 лл., переплет дощатый, покрытый орнаментированной кожей, с одной застеежкой. Имеется помета рукою К. Г. Евлентьева от 27 окт. 1878 г.

25. (Mscg. 713). Триодь постная, второй четверти XVI в., в лист, 280 лл., полуулав в два столбца, начальных и конечных листов рукописи недостает. Имеется владельческая приписка, скоростью XVII в., о принадлежности книги Желачакому острову.

26. (Mscg. 714). Триодь постная, второй четверти XVI в., в лист, 291 лл., полуулав, переплет из толстых досок, покрытый орнаментированной кожей, верхней крышки недостает.

27. (Mscg. 716). Триодь цветная, второй четверти XVI в., в лист, 384 лл., полуулав, переплет из толстых досок, покрытый орнаментированной кожей, верхней крышки недостает.

28. (Mscg. 744). Пролог за сентябрь—февраль, второй четверти XVI в., в лист, 674 лл., полуулав, переплет из толстых досок, покрытый орнаментированной кожей. Имеется помета рукою К. Г. Евлентьева.

29. (Mscg. 745). Пролог за декабрь—февраль, второй четверти XVI в., в лист, 287 лл., полуулав в два столбца, переплет из толстых досок, покрытый орнаментированной кожей. Начальных и конечных листов рукописи недостает.

30. (Mscg. 689). Миней служебная за декабрь, середины XVI в., в 4-ку, 404 лл., полуулав, из двух дощатых крышек переплета сохранилась только верхняя, покрытая кожей. Конечных листов рукописи недостает. На полях имеются читательские приписки XVI—XVII вв. На внутренней стороне верхней крышки переплета рукою псковского археолога К. Г. Евлентьева приписка от 19 авг. 1878 г.

31. (Mscg. 690). Миней служебная за декабрь, середины XVI в., в 4-ку, 532 лл., полуулав, переплет дощатый, покрытый орнаментированной кожей, с остатками двух застеек. На л. 1 следующая приписка третьей четверти XVII в.: «Книга, глаголемая Миней месячная, декабрь месяца, от Николь, святых Новгородпечерского монастыря, чтобы никому не украсть. Кто украдет, тому бог суд».

32. (Mscg. 692). Миней служебная за январь, середины XVI в., в 4-ку, 454 лл., полуулав, переплет дощатый, покрытый орнаментированной кожей.

33. (Mscg. 694). Миней служебная за февраль, середины XVI в., в 4-ку, 183 лл., полуулав, без переплета. Имеется помета К. Г. Евлентьева.

34. (Mscr. 700). Миняя служебная за июнь, середины XVI в., в 4-ку, 333 лл., полуулав, переплет толстый, дощатый, покрытый кожей. На л. 332 приписки: «Сколь рад заец от тенета отбежав, столь рад писец списавши книгу сию» и «Братие не вело ж не разуме о умрь...»

35. (Mscr. 701). Миняя служебная за июнь, середины XVI в., в 4-ку, 366 лл., полуулав, переплет из толстых досок, покрытый орнаментированной кожей. Имеются пометы рукою К. Г. Евлентьева.

36. (Mscr. 702). Миняя служебная за июль, середины XVI в., в 4-ку, 369 лл., полуулав, переплет дощатый, покрытый кожей, с двумя кожаными застежками. На полях встречаются читательские пометы XVI—XVII вв. Имеются службы князьям Владимиру, Борису и Глебу.

37. (Mscr. 708). Миняя служебная за май, середины XVI в., в лист, 266 лл., полуулав в два столбца, конечных листов рукописи недостает. На 1 л. приписка почерком XVI в.: «Со святым Еремием после преподобному Пафнотию Боровскому неоткладно». Имеются службы русским святым Борису и Глебу, Феодосию Печерскому, Леонтию и Игнатию Ростовским, Алексею, митрополиту московскому, Евфросину Псковскому, «жившу над Толвой рекою».

38. (Mscr. 709). Миняя служебная за июль, середины XVI в., в лист, 285 лл., полуулав, переплет толстый, дощатый, покрытый орнаментированной кожей. На 1-ом чистом листе приписки скорописью XVII в.: «Миняя никольская», «месяц июль, подпсал пономарь Иван Ушаков своею рукою в 7144 году при архимандрите Герасиме з братиею», имеются пометы рукою К. Г. Евлентьева. Имеются службы князьям Владимиру, Борису и Глебу.

39. (Mscr. 710). Миняя служебная за август, середины XVI в., в лист, 303 лл., полуулав, переплет из толстых досок, покрытый орнаментированной кожей. Начальных листов рукописи недостает. Имеются приписки рукою К. Г. Евлентьева от 19 авг. 1878 г.

40. (Mscr. 719). Октоих (1—4 гласов), середины XVI в., в 4-ку, 488 лл., полуулав, переплет дощатый, покрытый кожей, начальных и конечных листов рукописи недостает.

41. (Mscr. 721). Октоих (1—4 гласов), середины XVI в., в лист, 308 лл., полуулав в два столбца, переплет дощатый, покрытый орнаментированной кожей, с пятью медными жуковинами и остатками двух медных застежек. На л. 308 скорописью конца XVII в. приписано начало «Сна богородицы»: «Отпочивала еси пресвятая богородица...». Имеются многочисленные читательские пометы типа «пробы пера» и приписка К. Г. Евлентьева.

42. (Mscr. 723). Октоих (1—4 гласов), середины XVI в., в лист, 321 лл., полуулав разных почерков в два столбца, переплет дощатый, покрытый кожей (сохранилась только нижняя крышка), с двумя кожаными застежками, начальных листов рукописи недостает. На л. 321 об. приписка скорописью конца XVI в.: «Продал сию книгу четырех Охтоик первого гласа Холмитин Терех Попов, сын Ондреев, Томилу книжнику и рукою свою приложил».

43. (Mscr. 725). Октоих (5—8 гласов), середины XVI в., в лист, 253 лл., полуулав в два столбца, переплет дощатый, покрытый кожей, с остатками одной кожаной застежки. На внутренней стороне нижней крышки переплета приписка скорописью XVII в.: «Се книга Охтаец Верхоостровского монастыря и подписывал Захар дяк». Имеется помета К. Г. Евлентьева.

44. (Mscr. 726). Октоих (5—8 гласов), середины XVI в., в лист, 285 лл., полуулав в два столбца, начальных и конечных листов рукописи недостает.

45. (Mscr. 727). Октоих (5—8 гласов), середины XVI в., в 4-ку, 468 лл., полуулав разных почерков, переплет дощатый, покрытый орнаментированной кожей, с остатками двух медных застежек. Имеются читательские приписки XVI—XVII вв., на л. 468 об. почерком, сходным с почерком большей части рукописи: «Повелением Григорья Микифоровича, дай бог ему здравие и спасение и отдание души грехов». Имеется помета К. Г. Евлентьева от 2 июля 1878 г.

46. (Mscr. 728). Служебник, середины XVI в., в 4-ку, 201 лл., полуулав, переплет дощатый, покрытый орнаментированной кожей, верхняя крышка не-

достает, с остатками двух кожаных застежек. На лл. 196 и об., 201 и об. имеются молитвы, приписанные полууставным почерком XVI—XVII вв.

47. (Mscg. 729). Служебник, середины XVI в., в 4-ку, 268 лл., полуустав разных почерков, переплет дощатый, покрытый орнаментированной кожей, с остатками одной медной застежки. Имеются многочисленные читательские и владельческие приписки, в их числе скрепа: «Сия книга Печерского монастыря иконописца Никиты Ермолина сына Ерша»; «Никитка Ермолин, иконник, продал сию книгу служебник Иосифу Крылошанину, бывшему четырехдесятому дьякону. Подписал я, Никитка, иконник, своею рукою»; «К сей книге яз дьякон Евстафей Павлов руку приложил и книгу продал, а взял десять алтын». Имеются пометы рукою К. Г. Евлентьева. Имеются службы святым князьям Владимиру, Ярославу-Георгию, Борису и Глебу, Михаилу Черниговскому, княгине Ольге, митрополитам Петру, Алексею, Киприану, Фотию, Ионе, Ростовским Леонтию и Исидору, Никите Переяславскому, Антонию и Феодосию Печерским, Кириллу Белозерскому, Сергею Радонежскому, Варлааму Хутыньскому, Стефану Пермскому, Евфимию Новгородскому, Дмитрию Вологодскому, Максиму юродивому московскому и др. На полях почерком XVII в. приписаны князья Всеволод-Гавриил, Александр Ярославич Невский, игумен Антоний Римлянин, Михаил Клопский и др.

48. (Mscg. 730). Служебник, середины XVI в., в 4-ку, 175 лл., полуустав, начальных листов рукописи недостает. На лл. 72 об.—77 об. скрепа скорописью XVII в.: «Продал сию книгу служебник Михайловской поп из Песок попу Никите, Кириллову сыну...». На л. 120 об. скорописью XVII в.: «В той же день, иже во святых отца нашего Сергия Радонежского», на л. 122 скорописью XVII в.: «В той же день обречение мощей великого князя Всеволода, нареченного в святом крещении Гаврила»; на л. 138 скорописью XVII в.: «В той же день преставление святого благовернаго великого князя Всеволода, нового чудотворца Псковского», на л. 142: «В той же день усение отец наших Изосимы и Савватия Соловецких», на л. 147 об.: «В той же день святых новых чудотворцов князя Петра и княгини его Февронии Муромских»; на л. 154 об.: «Память Алексея, митрополита Русского».

49. (Mscg. 734). Служебник, с Требником и Уставом, середины XVI в., в 4-ку, 217 лл., полуустав, переплет дощатый, покрытый до половины крышки кожей, с остатками кожаных застежек. Имеются приписки почерками XVI—XVII вв. на 1-м чистом листе: «К николину дни», на об. 1 л.: «Попытаю пера и чернил, каково будет в пору, тако добро и написал стал книга, глаголемая Служебник», на л. 216 об. помянник монахов скорописью XVII в. Имеется помета рукою К. Г. Евлентьева. В конце рукописи содержится молитва богородице и помянник псковских князей (от Всеволода до Давыда), новгородских архиепископов, митрополитов Петра и Алексея, Леонтия Ростовского, Меркурия Храброго Смоленского, Сергия, архимандрита, «иже в Маковици новаго чудотворца», Александра Невского, «иже оборониша Псков от немец и бишася с немци и сына его Дмитрия», «создательши обители сея <т. е. Псково-Печерского монастыря — Ю. Б., А. П.> отец и братии наших, иже zde лежащих».

50. (Mscg. 737). Часослов, середины XVI в., в 4-ку, 404 лл., полуустав разных почерков, переплет дощатый, покрытый орнаментированной кожей (сохранилась только нижняя крышка). Начальных и конечных листов рукописи недостает.

51. (Mscg. 738). Часослов, середины XVI в., в 4-ку, 684 лл., полуустав, переплет дощатый, покрытый орнаментированной кожей, с остатками двух кожаных застежек. Имеется помета рукою К. Г. Евлентьева от 2 июля 1878 г. Содержит службы Варлааму Хутыньскому, Сергию Радонежскому, Никите Новгородскому, Леонтию Ростовскому, Борису и Глебу и др.

52. (Mscg. 739). Богородичник, середины XVI в., в 4-ку, 200 лл., полуустав, переплет дощатый, покрытый кожей, с одной кожаной застежкой. Имеется помета К. Г. Евлентьева.

53. (Mscg. 740). Богородичник, середины XVI в., в 4-ку, 284 лл., полуустав, переплет дощатый, покрытый орнаментированной кожей, с одной застежкой. На последнем листе рукописи приписка скорописью XVII в.: «Се яз

Яким, Яковль сын, продал еси сию книгу богородичник Максиму Псковитину и руку свою приложил и живу в Грибневе улице». Имеются пометы рукою К. Г. Евлентьева.

54. (Mscr. 742). Паремейник, середины XVI в., в 4-ку, 253 лл., полуустав, переплет дощатый, покрытый орнаментированной кожей, конечных листов рукописи недостает. Имеются владельческие и читательские приписки, приписка об освящении церкви Ивана Предтечи в 1675 г., помета К. Г. Евлентьева и др.

55. (Mscr. 743). Типикон (II и III части), середины XVI в., в 4-ку, 402 лл., полуустав, переплет дощатый, покрытый кожей, от верхней крышки сохранилась лишь часть доски, с остатками кожаных застежек. На л. 1 (чистом) помета рукою К. Г. Евлентьева от 18 июля 1878 г.

56. (Mscr. 755). Апостол, середины XVI в., в лист, 95 лл., полуустав, переплет дощатый, покрытый орнаментированной кожей, начальных и конечных листов рукописи недостает. На л. 53 приписка скорописью XVII в.: «Попытаю чернил с тростию писати». Имеется помета рукою К. Г. Евлентьева от 2 июля 1878 г.

57. (Mscr. 756). Псалтырь, середины XVI в., в 4-ку, 184 лл., полуустав, переплет дощатый, покрытый орнаментированной кожей, начальных листов рукописи недостает. На л. 184 об. имеется приписка скорописью XVIII в. о принадлежности книги Верхнеостровскому монастырю Петра и Павла и о том, что в 1621 г. сгорела Успенская церковь с трапезной на Верхнем острове. Имеются пометы К. Г. Евлентьева.

58. (Mscr. 697). Миния служебная за март, третья четверть XVI в., в 4-ку, 317 лл., полуустав, переплет дощатый, покрытый кожей, верхней крышки недостает, имеются две кожаные застежки.

59. (Mscr. 703). Миния служебная за август, третьей четверти XVI в., в 4-ку, 314 лл., полуустав, переплет дощатый, покрытый кожей (сохранилась только нижняя крышка). Конечных и начальных листов рукописи недостает. Имеется служба митрополиту московскому Петру.

60. (Mscr. 705). Миния служебная за март, третьей четверти XVI в., в лист, 157 лл., полуустав в два столбца, переплет дощатый, покрытый орнаментированной кожей, с остатками двух кожаных застежек. Имеются службы московскому митрополиту Ионе и новгородскому архиепископу Евфимию.

61. (Mscr. 754). Служебная сборная рукопись, составленная из тетрадей разных десятилетий XVI в., в 4-ку, 371 лл., полуустав разных почерков, переплет дощатый, покрытый орнаментированной кожей. На лл. 1—2 об. оглавление рукою К. Г. Евлентьева и его помета от 22 мая 1878 г. Содержит службы митрополитам Петру и Алексею, Кириллу Белозерскому, Варлааму Хутынскому, иконе Владимирской богородицы и др.

62. (Mscr. 770). Сборная служебная рукопись, составленная из разных тетрадей XVI в., в 4-ку, 154 лл., полуустав разных почерков, переплет дощатый, покрытый орнаментированной кожей. Несколько листов в начале и середине недостает.

Содержание: служба Козме и Дамиану, заутреня по уставу Саввы Лаврского, «Свет евангельский» царя Леона Мудрого, пасхалия на 1436—1437 гг. и т. п.

На полях приписка: «Попытаю пера покусаю».

63. (Mscr. 733). Требник, конца XVI в., в 4-ку, 299 лл., полуустав, переходящий в скоропись, переплет дощатый, покрытый орнаментированной кожей, конечных листов рукописи недостает. Имеется много читательских и владельческих приписок — попа Ундозерской волости Герасия, Трофима Федотова, Василисы Денисовой, Алексея Федорова, сына Попова, двинянина Оски Попова, каргопольца Ивана Степанова Иглина. Имеется помета рукою К. Г. Евлентьева от 2 июня 1878 г.

64. (Mscr. 750). Стихирарь, крюковой, конца XVI в., в 4-ку, 351 лл., полуустав, переплет дощатый, покрытый орнаментированной кожей. Имеются приписки почерком XVI в. о принадлежности книги Псково-Печерскому монастырю.

65. (Mscr. 741). Трефологион, начала XVII в., в 4-ку, 525 лл., полуустав, переплет дощатый, покрытый орнаментированной кожей. На лл. 1 об.—2 приписка: «Месяца сентября 100 на 11 году книга Трефолой положена у Рожества пречистыя богородице Иван Михайловича Толбузина», тем же почерком на лл. 1 об.—2 приведено оглавление книги. Имеются службы Борису и Глебу и митрополиту Алексею. На лл. 518—525 выписки из книги «Чепи злата премудрости Соломона» скорописью второй половины XVII в. На последнем чистом листе приписка: «Сия книга строителя Троецкого Антония».

66. (Mscr. 747). Ирмологий и Октоих, крюковые, с месяцесловом и службами по Триодям постной и цветной, первой половины XVII в., в 4-ку, 372 лл., полуустав разных почерков, переплет дощатый, покрытый орнаментированной кожей, с остатками двух кожаных застежек. Начальных и конечных листов рукописи недостает. Имеется помета К. Г. Евлентьева.

67. (Mscr. 748). Ирмологий и Октоих, крюковые, конца XVII в., в 4-ку, 212 лл., полуустав и скоропись разных почерков, начальных и конечных листов рукописи недостает. Имеется владельческая приписка скорописью XVII в., дьячка Верхнеостровского монастыря Петра и Павла.

68. (Mscr. 769). Канонник, конца XVII — начала XVIII в., в 4-ку, 8 лл., содержит «благодарение о получении прощения». Переплетен вместе со старопечатным сочинением «О соединении веры и умиротворении церквей» (М., 1688) и «Молебным пением».

69. (Mscr. 751). Стихиры, нотные, господских и богородичных праздников, первой четверти XVIII в., в 4-ку, 185 лл., полуустав, переплет кожаный, начальных и конечных листов рукописи недостает. На лл. 1—32 скрепа о купле книги в 1725 году 9 сентября, у священника Азовского полка Марка Стефанова.

70. (Mscr. 771). Диалогизм духовный, второй половины XVIII в., в 8-ку, 173 лл., скоропись, переплет дощатый, покрытый кожей, с остатками двух медных застежек, начальных листов рукописи недостает. Имеются владельческие приписки 1761 г. священника Григория Артемьева, начала XIX в. священника Иоанна Петрова, из села Тигоды, Новоладожского уезда, духовника новгородского архиерейского дома Германа и др.

71. (Mscr. 752). Стихиры, нотные, господних и богородичных праздников, конца XVIII — начала XIX вв., в 8-ку, 293 лл., скоропись, переплет картонный.

72. (Mscr. 749). Ирмологий, нотный, начала XIX в., в лист, 205 лл., подражание полууставу, с заставкой на первом листе, переплет кожаный. На л. 205 об. приписка почерком начала XIX в.: «Сия книга Псково-Печерскова первокласна монастыря».

73. (Mscr. 760). Служба на перенесение руки Иоанна Предтечи, начала XIX в., в 4-ку, 43 лл., подражание полууставу, переплет картонный, с кожаным корешком.

Приложение II

Список книг кирилловской печати Научной библиотеки Тартуского государственного университета

1. Евангелие учительное, Ивана Федорова и Петра Мстиславца, Заблудовье, 1569 г.
2. Евангелие учительное. Ивана Федорова и Петра Мстиславца, Заблудовье, 1569 г.
3. Библия Ивана Федорова, Острог, 1581 г.
4. Библия Ивана Федорова, Острог, 1581 г.
5. Книга о постничестве Василия Великого, Острог, 1594 г.
6. Миния служебная, за ноябрь, М., 1623 г.
7. Миния служебная, за март, М., 1624 г.
8. Миния служебная, за март, М., 1625 г.
9. Трефологион, на сентябрь—ноябрь, М., 1638 г.
10. Трефологион, на декабрь—февраль, М., 1638 г.
11. Миния служебная, за январь, М., 1644 г.
12. Миния служебная, за февраль, М., 1646 г.

13. Миняя служебная, за май, М., 1646 г.
14. Миняя служебная, за ноябрь—декабрь, М., 1645—1646 гг.
15. Миняя служебная, за сентябрь—октябрь, М., 1645 г.
16. Требник Петра Могилы, Киев, 1646 г.
17. Лествица, М., 1647 г.
18. Уложение царя Алексея Михайловича, М., 1649 г.
19. Уложение царя Алексея Михайловича, М., 1649 г.
20. Уложение царя Алексея Михайловича, М., 1649 г.
21. Уложение царя Алексея Михайловича, М., 1649 г.
22. Евангелие толковое Феофилакта Болгарского, кн. I и II. М., 1649 г.
23. Требник. М., 1659 г.
24. Патерик Печерский (лицевой) Иннокентия Гизеля, Киев, 1661 г.
25. Пролог, за декабрь—февраль, М., 1661 г.
26. Беседы на евангелие от Матфея и Иоанна Златоуста, тт. I и II, М., 1664 г.
27. Поучения Григория Богослова и Шестоднев Василия Великого, М., 1665 г.
28. Жезл правления, М., 1666 г.
29. Пролог, за сентябрь—февраль, М., 1667 г.
30. Пролог, за июнь—август, М., 1667 г.
31. Псалтырь стихотворная Симеона Полоцкого, М., 1680 г.
32. Типикон, М., 1682 г.
33. Вечера душевные Симеона Полоцкого, М., 1683 г.
34. Пролог годовой, тт. I и II, М., 1685 г.
35. Миней-Четьи, за сентябрь—ноябрь, Киев, 1689 г.
36. Миняя служебная, за июнь, М., 1693 г.
37. Миней-Четьи за декабрь—февраль, Киев, 1695 г.
38. Православное исповедание, М., 1696 г.
39. Евангелие учительное воскресное, М., 1697 г.
40. Маргарит, М., 1698 г.
41. Соборник, М., 1700 г.
42. Миней-Четьи, за март—май, Киев, 1700 г.
43. Соборник, М., 1700 г.
44. Соборник, М., 1700 г.
45. Слова Ефрема Сирина и Аввы Дорофея, М., 1701 г.
46. Патерик Печерский, Киев, 1702 г.
47. Руно орошенное, Чернигов, 1702 г.
48. Евангелие толковое Феофилакта Болгарского, М., 1703 г.
49. Арифметика Магницкого, М., 1703 г.
50. И. Глушков, Топографическо-статистическое описание, СПб., 1703 г.
51. Пентикостарион, М., 1704 г.
52. Миней-Четьи, за июнь—август, Киев, 1705 г.
53. Октоих, чч. I и II, нач. XVIII в.

НЕОСУЩЕСТВЛЕННЫЙ ЗАМЫСЕЛ Б. М. ЭЙХЕНБАУМА

Доц., канд. филол. наук Б. Ф. Егоров

Неотложной задачей нашего литературоведения является издание трудов Б. М. Эйхенбаума, одного из крупнейших советских ученых. Очень желательно также довести до конца те работы, которые Б. М. Эйхенбаум не успел завершить. Считаю своим долгом сообщить о замысле, возникшем у него совсем незадолго до смерти (я слушал краткое изложение идеи в конце октября 1959 г.). Изучая переводы западных классиков на русский язык, сделанные известным М. Вронченко, Б. М. Эйхенбаум обнаружил, что по крайней мере несколько месяцев интенсивной переводческой деятельности писателя (1827—1828 гг.) приходится на период его пребывания в Тарту (Дерпте).

В это время Вронченко сближается с Н. М. Языковым. Более того. Как вспоминал студенческий товарищ последнего, А. Н. Татаринев, Языков помогал переводить классиков, если речь шла о поэзии. Вронченко, — пишет А. Н. Татаринев, — «года два жил в Дерпте и слушал астрономические лекции Струве. Он часто навещал Языкова и читал ему свои переводы из Шекспира и Мицкевича. Языков, кажется, иногда поправлял их, так как Вронченко было трудно владеть стихом».¹

Татаринев, правда, неуверенно сообщает об этом факте. Но в письмах Языкова к брату, где часто упоминается Вронченко, не всегда можно понять: о своих или чужих переводах говорит поэт. В письме Н. М. Языкова к брату Александру от 19 декабря 1827 года читаем: «Скоро пришлю тебе перевод Байронова Манфреда. Гамлет кончен и будет здесь цензурован».² Здесь о переводе сообщается таким тоном, как будто поэт посылает свои собственные произведения. А между тем в следующем письме (от 4 января 1828 года) Языков отметил, что «Манфреда» перевел Вронченко; а еще несколько дней спустя — что и «Гамлета».³

Если говорить строго, то из писем Языкова нельзя все же понять: участвовал он или нет в данных переводах. Поэтому единственным документом, свидетельствующим о помощи Языкова Вронченко, остаются пока воспоминания А. Н. Татаринова.

В поисках новых материалов Б. М. Эйхенбаум и обратился ко мне с просьбой заняться разысканиями в тартуских архивах. К сожалению, обследование показало, что дела Дерптского цензурного комитета (единственное место, где могли иметься нужные сведения) сохранились лишь частично (Центральный государственный исторический архив ЭССР) и ничего не дают для данной проблемы. Я с сожалением сообщил об этом Б. М. Эйхенбауму — за пять дней до его смерти. Он не очень огорчился, т. к. не терял надежды найти в другом месте интересующие его материалы. Увы — не нашел... Поиски, однако, следует продолжить.

Если только подтвердится факт участия Языкова в переводах Вронченко, то это будет интересное открытие в истории переводческой деятельности в России. Возможно, что рукописи Вронченко (если они сохранились) дадут ответ на вопрос.

¹ Письма Н. М. Языкова к родным за дерптский период его жизни, под ред. Е. В. Петухова, Спб, 1913, стр. 400.

² Там же, стр. 346.

³ Там же, стр. 347, 349.

ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЗАМЕТКИ

Доц., канд. филол. наук Ю. М. Лотман

«Бедная Лиза» Карамзина в пересказе крестьянина

3 августа 1799 г. А. Ф. Мерзляков писал Андрею Тургеневу: «Третьего дня был я на гулянье под Симоновым монастырем. Сначала было весело; народ, как море разливанное <...> Осмотрев целый мир, который здесь уместился около монастыря, пошел я к озеру, где утопил Карамзин бедную Лизу. Выслушав, что говорила об ней каждая береза, сел я на берегу и хотел слушать разговор ветров, оплакивающих участь несчастной красавицы. — Натурально погрузился в задумчивость и спал бы долее, если бы не разбудил меня следующий разговор:

Мастеровой (лет в 20, в синем зипуне, одеваясь). В этом озере купаются от лихоманки. Сказывают, что вода эта помогает.

Мужик (лет в 40). Ой ли! брат, дак мне привести мою жену, которая хворает уже полгода.

Мастеровой: Не знаю, женам-то поможет ли? Бабы-то все здесь тонут.

Мужик: Как?...

Мастеровой: Лет за 18-ть здесь утонула прекрасная Лиза. От того-то все и тонут.

Мужик: А кто она была?

Мастеровой: Она, то-есть, была девушка из утой деревни; мать-то её торговала пятинками, а она цветами; носила их в город, то-есть...

Мужик: Да почто же она утонула?

Мастеровой: То-есть один раз встренься с нею барин. Продай де, девушка, цветы! Да дает ей рубль. А она, бает, не надо де мне. Я продаю по алтыну. Ну! он спросил, то есть, где она живет, да ходил к ней; потом он, то есть, много истряс с нею сум<м>, то есть, дак и вздумал жениться! — она с тоски да и бросилась в воду... Да нет, лих, не то еще!... Он ей и дал, знаешь, ты, на дорогу 10 червонных, то-есть; она пошла, да и встренься ей ее подружка. Она, то-есть, ей деньги и отдала: на, де, ты, девять-то отнеси ма-тушке, а десятой возьми себе. — Ну, то-есть, пришла сюда, разделась да и бросилась в воду!...

Мужик: Ох, брат, по коже подирает!

Мастеровой: Это, брат, *любовь*!

Мужик: *Любовь*! (Помолчав). Да что же, брат, написано ли што ли это?

Мастеровой: Написано, как же, продается книжка, называется как-то бездельничества ли, што ли, право, не помню. Прикрасная, брат. Как луги-та там называют, как озера-та то-есть! Ну вот навесь как сладко. Мы, знаешь, золотим коностас в монастыре, дак нам монах дал почитать этой книжки! Я её и сам теперь купил и не жаль, брат!

Что может быть слаще для г. Карамзина? Что лучше сего панегирика? Мужики, мастеровые, монахи, солдаты — все о нем знают, все любят его!... Завидую, брат».¹

¹ ЦГИАМ, Ф. 1094 (Тургеневых), оп. 1, ед. хр. 124, лл. 2 об. — 3 об. *Бездельничества* — т. е. «Мои безделки».

О так называемой «Речи Д. В. Давыдова при вступлении в «Арзамас»

Речь, известная под этим заглавием, была опубликована в «Сочинениях» Д. В. Давыдова (т. III, СПб., 1893, стр. 236—238) и перепечатана в кн.: «Арзамас» и арзамасские протоколы», Л., 1933, стр. 244—246. Между тем, произведение это не принадлежит перу Д. В. Давыдова — это в незначительной степени измененная речь Андрея Тургенева на заседании Дружеского литературного общества от 16 февраля 1801 г. Произведение сохранилось в составе других речей общества. См.: Архив ИРЛИ (Пушкинский дом) АН СССР, Архив бр. Тургеневых, № 618, лл. 39 об. — 43.

Жуковский — масон

Принадлежность Жуковского к масонской организации до сих пор оставалась исследователям неизвестной. Между тем, факт этот оказывается не лишним интереса.

Возобновляя после долгого перерыва знакомство, Ф. Ф. Вигель писал 30 января 1849 г. Жуковскому:

«... Как бишь Вас назвать? Милостивый государь Василий Андреевич? Нет, не хочу; да как же иначе? Вспоминая два тайных общества, совсем между собой несходных, к которым я принадлежал, мне хочется сказать: «Высокопочтенный брат» или «вечно милая Светлана».¹

Второе из упомянутых обществ, конечно, «Арзамас». Первое, поскольку членство в ней связано было с титулом «высокопочтенный брат», может быть только масонской ложей. Когда же и где вступил Жуковский в масонство? Поскольку документы не дают никаких данных на этот счет, попробуем выяснить, членом какой ложи был Вигель. Список лож союза Астрей под № 19 называет «La R. \square des Amis du Nord à l'O. de St.-Pétérshbourg. Suit le Rite Suédois et travaille en langue française. Jour de fondation: le 18 mars 1817».² Среди членов числится и «membre absent, Phil. Wigel, cons. de cour.»³

В списке на 1818—1819 г., который готовился к печати, видимо, в конце 1817 г., Жуковского еще нет, а в 1819 г. ложа «прикрыла свои работы».⁴ Следовательно, Жуковский, вероятно, вступил в ложу в 1818 г. Это тем более примечательно, если учесть, что в том же году Жуковский получил приглашение вступить в Союз Благоденствия. Среди товарищей Жуковского по ложе были П. Чадаев и кн. Н. Ипсиланти.

Неизвестный отзыв о лицейском творчестве Пушкина

Отклики на литературный дебют Пушкина представляют особенный интерес, однако, число их, к сожалению, невелико. Поэтому бесспорный интерес представляет неизвестный отклик Вяземского на стихотворение Пушкина, написанное для переводного экзамена 1815 г. В недатированном письме (вероятно, сентябрь 1815 г.) Вяземский писал Батюшкову:

«Что скажешь о сыне Сергея Львовича? Чудо и все тут. Его «Воспоминания» скружили нам голову с Жуковским. Какая сила, точность в выражении, какая твердая и мастерская кисть в картине. Дай бог ему здоровья и учения, и в нем будет прок, и горе нам. Задавит, каналья!

¹ Рукописный отдел ГПБ, архив В. А. Жуковского, оп. 2, № 73, л. 34.

² Tableau Général de la Grande loge Astrée à l'O. de St.-Pétérshbourg <...> pour l'an maçonnique 58 18/19, p. 173.

Ложа Друзей Севера на Востоке Петербурга, по шведскому ритуалу, работает на французском языке. День основания — 18 марта 1817 г. — франц.

³ Там же, стр. 175. Отсутствующий член, Филипп Вигель, тайный советник — франц.

⁴ См. Tableau Général de la Grande loge Astrée pour l'an 58 20/21, p. 238.

Василий Львович, однако же, не поддается и после стихов своего племянника, которые он всегда прочтет с слезами, не забывает никогда прочесть и свои, не чувствуя, что по стихам он племянник перед тем».¹

Пушкин — читатель Сен-Жюста

Установить полный круг чтений Пушкина — задача чрезвычайно важная и, вместе с тем, трудная. В целом ряде случаев исследовательская уверенность в том, что поэт не мог пройти той или иной книги, не может опереться ни на одно прямое свидетельство.

Однако, порой, внимательное чтение текста произведений позволяет вскрыть отзвуки чтений и дум поэта и ввести в его творческую биографию совершенно новые имена.

Произнося в конvente речь против Дантона, Сен-Жюст сравнил революционеров с римлянами:

«Le monde est vide depuis les Romains; et leur memoire le remplit, et prophétise encore la liberté»¹

Текст этот сразу же приводит на память пушкинские строки

«Мир опустел...»

(К морю, II, 1, стр. 332)

«О ты, чьей памятью кровавой
Мир долго, долго будет полн...»

(Наполеон, II, 1, стр. 213)

Несмотря на разновременность этих стихотворений (1821 и 1824 годы), приведенные строки относятся к одному образу — Наполеону, и, видимо, в сознании Пушкина они были связаны.

Обращение Пушкина в кишиневский период к чтению Сен-Жюста, произведения которого он мог найти, например, в обширной библиотеке Липранди, — показательно. Вряд ли идеи автора-якобинца были созвучны настроениям Пушкина. Но в сочинениях Сен-Жюста Пушкин находил другое — революционный пафос и «римскую помпу» (выражение Белинского). Поэт, находившийся в зените своих революционных настроений, читал: «Une révolution est une entreprise heroïque, dont les auteurs marchent entre les périls et l'immortalité».²

Речь о Дантоне не случайно заинтересовала Пушкина при работе над образом Наполеона. Сен-Жюст нарисовал здесь фигуру нового Катилины, эгонста и честолюбца, жертвующего революцией ради стремления к личной диктатуре:

«... Tu as dit que l'honneur est redicule; que la gloire et la postérité étaient une sottise: ces maximes devaient te concilier l'aristocratie; elle étaient celles de Catilina».³

¹ Архив ИРЛИ (Пушкинского Дома) АН СССР, ф. 19, № 28, л. 19 об.

² Rapport sur la conjuration ourdie pour obtenir un chancement de dynastie, et contre Fabre d'Eglantine, Philippeaux, Lacroix, Danton et Camille Demoulins, Oeuvres de Saint-Just, Discours-rapports, institutions républicaines, organt-esprit de la révolution, proclamation-lettres. Introduction Jean Gratiен, 1946, p. 235.

Мир опустел после римлян, и память их его наполняет, предрекая еще свободу — франц.

³ Там же, p. 223. Революция — героическое предприятие, творцы которого движутся между гибелью и бессмертием — франц.

³ Там же, p. 232. Ты говорил, что честь смешна, слава и потомство — глупости. Эти изречения подсказала тебе аристократия, это изречения Катилины — франц. Ср. сходную характеристику эгонста-честолюбца в описании образа Мазепы.

Именно таким рисует Пушкин Наполеона:

«В его надеждах благородных
Ты человечество презрел.

Тебя пленяло самовластье» (II, 1, стр. 214)

Между «Наполеоном» и «К морю» пролег путь больших творческих исканий. Образ циника и эгоиста теперь ассоциировался с «демоном». И когда Пушкин в Михайловском, переделывая стихотворение «К морю», ввел туда образ Наполеона, строки Сен-Жюста снова пришли ему на память. Н. В. Измайлов указывал, что в первоначальной редакции отсутствуют «образы Наполеона и Байрона», отсутствует и пессимистический мотив «пустоты мира»⁴. Мысль Пушкина: мир опустел после неудачи революционных движений начала 1820-х г. — не могла быть выражена печатно, и поэтому пришлось оборвать 51 стих на половине. Но это только подчеркивало значение зашифрованной цитаты из Сен-Жюста, которая выделялась как вывод и для осведомленного читателя приоткрывала мысль Пушкина: мир наполняется героизмом революционных борцов и пустеет с их гибелью.

Пушкин и Ривароль

Все случаи цитации и ссылок Пушкина на Ривароля учтены в исследовательской литературе.¹ Между тем, одна из любопытнейших цитат до сих пор остается незамеченной.

План к «Сценам из рыцарских времен» заключается сценой появления Фауста на хвосте дьявола. Смысл ее Пушкин пояснил в скобках: «découverte de l'imprimerie, autre artillerie»² (VII, стр. 346). Приведенные слова представляют собой ссылку на хорошо известное Пушкину и его современникам изречение: «L'imprimerie est artillerie de la pensée».³ Еще до Пушкина это изречение привлекло внимание Вяземского, который включил его в свою статью «Нечто о Ривароле», опубликованную в 1810 г. в «Вестнике Европы». Среди прочих здесь читаем: «Печатание — артиллерия мыслей».⁴

Вяземского, как и Пушкина, привлекала к Риваролю, прежде всего, характерная для его творчества культура остроумия, заключавшегося в новизне и чрезвычайной точности выражения. Вяземский любил цитировать Ривароля, часто не указывая источника. Так, в письме к Жуковскому от 9 января 1823 г. он замечает: «Кажется, о ком-то говорили, qu'il avait des gestes et des cris dans son style. Такой автор был бы мой любимейший».⁵ Это пересказ изречения: «Rousseau a des cris et des gestes dans son style. Il n'écrit point, il est toujours à la tribune»⁶.

⁴ Н. В. Измайлов, Строфы о Наполеоне и Байроне в стихотворении «К морю», Временник Пушкинской комиссии, т. VI, М.—Л., Изд. АН СССР, 1941, стр. 26.

¹ См. Н. Козмин, Пушкин — прозаик и французские остроловы XVIII века (Шамфор, Ривароль, Рюльер), Известия ОРЯС АН, 1928, кн. II, стр. 536—558.

² Изобретение печатного дела, этой новой артиллерии — *франц.*

³ Печатное дело — это артиллерия мысли — *франц.* Espris de Rivarol, à Paris, МД ССС VIII, р. 44.

⁴ Вестник Европы, ч. LII, М., 1810, стр. 36.

⁵ Архив ИРЛИ (Пушкинского Дома) АН СССР, 27985/СС. 1 б. 44, л. 12 об.

... Что в его стиле есть и жесты, и восклицания — *франц.*

⁶ Oeuvres complètes de Rivarol, tome cinquième, à Paris, 1808, р. 332. В стиле Руссо были и жесты, и восклицания. Он не писал — он всегда был на трибуне — *франц.*

Парадокс Ривароля превратился под пером Пушкина в глубокое размышление о том, что средневековье пало под совокупными ударами технического прогресса, изобретения пороха и артиллерии, подорвавшей материальные основы рыцарского господства (образ брата Бертольда), и свободной мысли, просвещения, поэзии (Франц), разрушившей его духовную власть. Глубоко знаменательно, что именно в те годы, когда широко распространилась мысль об антагонизме техники и поэзии (ср. «Последний поэт» Баратынского), Пушкин выступил с утверждением их союза в антифеодальной борьбе.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Статьи

Ю. Лотман, Б. Егоров и З. Минц. Основные этапы развития русского реализма	3
Ю. М. Лотман. П. А. Вяземский и движение декабристов	24
С. Г. Исаков. О ливонской теме в русской литературе 1820—1830-х годов	143
Б. Ф. Егоров. Аполлон Григорьев — критик. Статья 1. Приложения: Библиография статей и писем Ап. Григорьева	194
З. Г. Минц. Поэма «Двенадцать» и мировоззрение А. Блока эпохи революции	247
В. Т. Адамс. Из истории эстонской рифмы. II	279

Публикации и сообщения

Ю. К. Бегунов и А. М. Панченко. Описание древнерусских рукописных и старопечатных книг Научной библиотеки ТГУ	299
Б. Ф. Егоров. Неосуществленный замысел Б. М. Эйхенбаума	309
Ю. М. Лотман. Историко-литературные заметки	310

Тартуский государственный университет
Тарту, ул. Юликооли, 18

ТРУДЫ ПО РУССКОЙ
И СЛАВЯНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ III

Редактор Б. Ф. Егоров
Корректоры Э. Минц, С. Исаков.

Сдано в набор 10/VIII 1960. Подписано к печати
22/XI 1960. Бумага 60 × 92, 1/16. Печатных
листов 19,75. Тираж 1000 экз. МВ-08410.
Заказ № 7539.

Типография им. Ханса Хейдеманна,
ЭССР, г. Тарту, ул. Юликооли, 17/19. II

Цена II р. 85 к.
(на 1961 г. — I р. 20 к.)

Цена 11 р. 85 к.
С 1/1 1961 г. — 1 р. 20 к.